This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

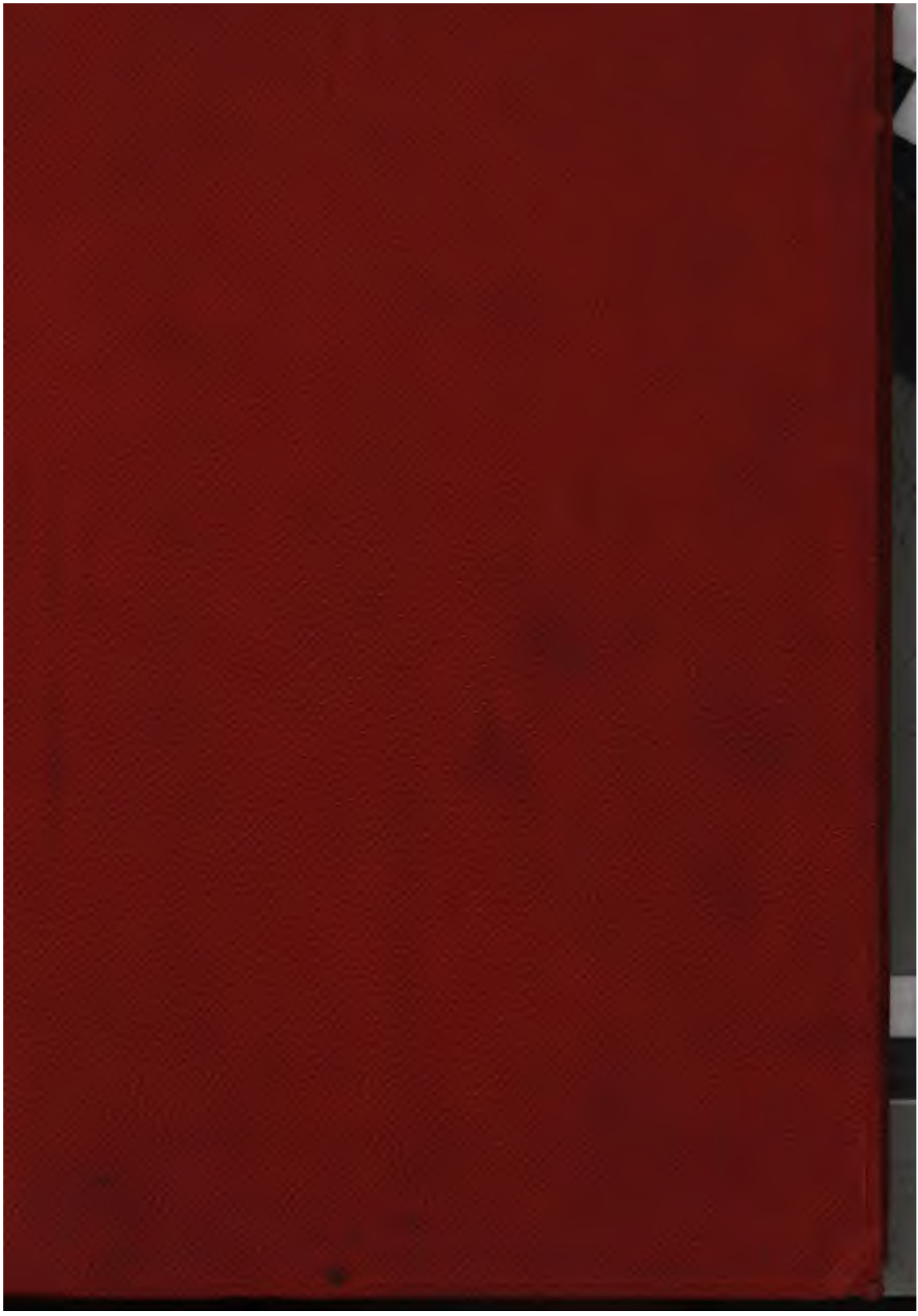
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

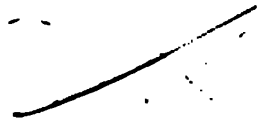
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



Б. М. МАРКЕВИЧЪ.



Markevich, B. M.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Б. М. МАРКЕВИЧА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія (бывшая) А. М. Котомина, Фонтанка, д. № 93.
1885.

PG3467
M327
1885
v 2

ЗАБЫТЫЙ ВОПРОСЪ.

Содержаніе

ВТОРАГО ТОМА:

	стран.
Часть первая	1
Часть вторая	221

ЗАБЫТЫЙ ВОПРОСЪ.

РОМАНЪ *).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Und die Tugend sie ist kein leerer Schall,
Der Mensch kann sie üben im Leben;
Und sollt'er auch straucheln überall
Er kann nach der göttlichen streben,
Und was kein Verstand der Verständigen sieht
Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth.
Schiller. *Die Worte des Glaubens.*

I.

O matutini albori!

Отъ нашей деревни до Богдановскаго считалось верстъ десять *шляхомъ*, а проселкомъ, черезъ лѣсъ, и половины того не было. Въ счастливые дни, когда мнѣ удавалось отбыть урокъ на славу (надо было для этого отхватить наизусть страницъ восемь изъ курса французской литературы Вильмена), въ эти дни, часу въ седьмомъ послѣ обѣда почтенный наставникъ мой, m-r Керети, провансалецъ и поэтъ романтической школы (de l'école d'*Hernani* et des *Orientales*, какъ выражался онъ самъ), притомъ охотникъ страстный, но злополучный, выходилъ на крыльцо съ охотничьей фуражкой на головѣ, ружьемъ въ рукѣ и ягдташемъ черезъ плечо. За нимъ

*) Впервые напечатанъ въ первыхъ четырехъ книжкахъ „Русскаго Вѣстника“ за 1872 годъ.

вылетала красивая собака его Сильва, лягавая польской породы, и съ радостнымъ визгомъ кидалась мнѣ на грудь.

— Qui m'aime, me suive! восклицалъ торжественно Керети, но и до этого Сильва, братъ Лева и я бѣжали взапуски къ оградѣ.

— Вести себя хорошо, дѣти, смотрите! раздавался съ балкона голосъ матушки.

— Галечку поцѣлуй, Лева, кричала изъ-за плеча ея сестра Настя.

Досадно мнѣ было всегда на Настю за эти слова, хотя я очень хорошо зналъ, что еслибъ она поручила не Левѣ, а мнѣ поцѣловать Галечку, я бы непремѣнно сталъ алѣе тѣхъ маковъ, что цвѣли подъ ея окномъ.

Не останавливаясь, добѣгали мы до лѣса и кидались, едва дыша, въ его высокую и зеленую траву. Какъ свѣжо, какъ привольно было тамъ въ палящіе дни нашего украинскаго лѣта! Всю жизнь, кажется, пролежалъ бы въ этой пахучей травѣ, да глядѣлъ бы въ небо сквозь темные листья дубовъ, да слушалъ бы, какъ гомонитъ лѣсъ всѣми голосами своими: трещитъ кузнечикъ, шепчутъ листы, кудкудахтаетъ перепелъ; незримая, въ самой чащѣ, тоскливо кукуетъ зозуля. Солнце заходитъ... Ахъ, да гдѣ тѣ слова, которыми я могъ бы сказать, какъ хорошо было въ нашемъ лѣсу въ эти вечерніе часы...

Но вотъ вблизи раздается выстрѣлъ и затѣмъ знакомый голосъ:

— Je l'ai manqué, malédiction! восклицаетъ съ досадой почтенный нашъ наставникъ.

Увы! та же исторія повторяется съ нимъ ровно каждый разъ, какъ вздумается ему стрѣлять. Досада его тотчасъ же обращается на добродушную Сильву, которая, услыхавъ выстрѣлъ, кинулась со всѣхъ ногъ, съ поджатымъ хвостомъ, въ совершенно противоположную сторону.

— Malédiction! восклицаетъ еще разъ Керети и бѣжитъ на нее съ поднятымъ ружьемъ.

Напрасно—Сильвы и слѣдъ простылъ. Лева прыгаетъ въ восторгѣ. Онъ радъ всякой неудачѣ m-r Керети, котораго страшно боится...

Въ лѣсу все темнѣе и прохладнѣе; его уже начинаютъ облекать вечернія тѣни. Просѣка повернула вправо. По извилистой и крутой тропинкѣ спускаемся мы въ Холодную-Балку, довольно глубокій оврагъ, на днѣ котораго шумитъ и пѣнится быстрый ручей, падая съ обрыва на камни. По обоимъ берегамъ его навалено по грудь щебня, а на нихъ лежитъ мостомъ свѣже-срубленный кленъ; поблеклые его листья печальными, слипшимися гроздями купаются въ водѣ.

— Attention! кричитъ Керети, но мы уже прыгаемъ на деревѣ, весело чувствуя, какъ оно гнется и скрипитъ подъ нашими ногами.

За ручьемъ начинаются владѣнія Ѳомы Богдановича Галагая. Еще минутъ десять ходьбы,—и изъ-за опушки рѣдѣющаго лѣса выглянуло и само Богдановское, во всей тихой прелести украинскаго вида. Направо широкоразметавшееся село подъ тѣнью яблонь и черешень. Налѣво, на пригоркѣ, господское строеніе съ обширнымъ садомъ, окаймленнымъ высокими тополями. За садомъ синѣетъ широкое озеро, пропадая вдали. Между усадьбой и селомъ большая каменная церковь съ зеленымъ куполомъ, а надъ нимъ серебряный крестъ, весь облитый прощальнымъ свѣтомъ заходящаго солнца.

Мы уже близко. Я начинаю чувствовать какую-то пріятно щекочущую истому; сердце бьется шибче, не то отъ ходьбы, не то отъ ожиданія. Мы подходимъ къ плетню, которымъ обнесенъ садъ и изъ-за котораго въ одномъ мѣстѣ торчитъ что-то въ родѣ скамейки, взбираемся на нее, перекидываемъ ногу черезъ плетень на другую оконечность ея, причемъ Керети ворчитъ что-то про себя о варварскомъ краѣ, гдѣ и калитокъ не умѣютъ устроить, и спускаемся въ садъ.

— Ау! кричитъ Лева.

— Ау! отвѣчаетъ ему голосъ изъ ближней аллеи.

А, чай вѣрно поданъ въ бесѣдкѣ. И точно: Ѳома Богдановичъ узналъ насъ. Изъ довольно обширной тесовой бесѣдки, на фронтонѣ которой вычурными кармазиноваго цвѣта буквами по бѣлому фону начертана надпись: *Монрепо, храмъ отдохновенія*, выходитъ маленькій, толстый и лысый человѣчекъ, похожій на ходячую дыню, и, протягивая къ намъ ко-

ротенькія руки, колеблется отъ смѣха и кричитъ: „Здорово, здорово, мусья французики!“ Ѳома Богдановичъ насъ иначе не называетъ. А за нимъ показалась добрая Анна Васильевна, и ея кроткіе глаза улыбаются такъ привѣтно; она видимо такъ рада намъ, что Лева и я, вмѣсто того, чтобы подойти къ ручкѣ, какъ приличествовало бы благовоспитаннымъ дѣтямъ, кидаемся къ ней просто и оба разомъ на шею. Но глаза мои уже ищутъ Галечку. Она тутъ, въ бесѣдкѣ, за столомъ, уставленнымъ чашками и тарелками, полными плодовъ. Она поднялась было на встрѣчу намъ, но я слышу, какъ гувернантка ея, miss Пинкъ,—говоритъ ей довольно громко: „For boys? Sit down!“ И она сѣла, послушная и приличная какъ всегда, скромно опустивъ глаза и слегка закусивъ нижнюю губу. Хоть бы посмотрѣла на меня! думаю я, и мнѣ кажется, что мнѣ непремѣнно въ эту минуту надо быть печальнымъ, а между тѣмъ, какъ нарочно, на душѣ у меня не печаль, а напротивъ, такъ легко, такъ весело! Лева, съ своей стороны, къ неописанному удовольствію великаго пріятеля своего, Ѳомы Богдановича, дурачится въ волю, безъ помѣхи. Керети не занимается имъ. Онъ присосѣдился къ чопорной и кругленькой миссъ Пинкъ и, по обыкновенію своему, начинаетъ дразнить ее. Англичанка краснѣетъ и сердится, и нашъ наставникъ, достигнувъ своей цѣли, самодовольно улыбается и продолжаетъ уже тише свой, испещренный романтическими фразами и каламбурами, французскій разговоръ, котораго на половину не понимаетъ миссъ Пинкъ.

А между тѣмъ Ѳома Богдановичъ, поднявшись на цыпочки и ухвативши за воротъ дворецкаго своего, Богуна, шепчетъ ему что-то на ухо. Богунъ, рослый и усатый казакъ, въ широчайшихъ шароварахъ и зеленомъ жупанѣ, шитомъ желтыми шерстяными шнурами, выслушиваетъ, низко нагнувши голову и добродушно моргая глазами, это таинственное приказаніе и затѣмъ скрывается. Ѳома Богдановичъ, потирая руки, ходитъ за нашими стульями, поддразниваетъ Леву, щекочетъ по затылку то дочь, то меня, всѣхъ потчуетъ и суетится и хохочетъ пуще всѣхъ.

Время идетъ. Въ померкшей вышинѣ уже зажглись и ми-

гаютъ звѣзды. Изъ-за тополей выплыла луна и потекла по чистому небу. Блѣдно-золотистый свѣтъ ея мягко играетъ на волосахъ Галечки, озаряетъ ея тонкій, нѣжный профиль, и, глядя на нее, мнѣ вспоминается сказка,—дядька мой Максимычъ на нихъ большой мастеръ,—о распрекрасной царевнѣ, что въ высокомъ терему сидитъ, пригорюнившись, у окна косящата, съ огненною звѣздой среди самаго лба.

Вдругъ, среди общей тишины, раздаются звуки. Поютъ, поютъ дивную украинскую пѣсню. Свѣжій дѣтскій голосъ, свѣтлый и звенящій какъ стекло, зачинаетъ:

Сыдыть голубь на берези, голубка на вышни;
Скажи мини, сердце мое, що маешь на мысли!
Якъ не хочишь, мій мыленькій, дружиною буты,
То дай мини таке зилья, щобъ тебе забуты!

А за нимъ густые и мягкіе, какъ бархатъ, голоса принимаютъ тихимъ хоромъ:

Буду пыты черезъ сылу и крапли не впущу;
Тоди тебе я забуду, якъ очы заплющу.

Это пѣвчіе Ѳомы Богдановича, собранные Богуномъ въ большой аллеѣ. Объ этомъ-то такъ таинственно шепталъ на ухо своему дворецкому, вися на его воротѣ, Ѳома Богдановичъ.

— Согласно спиваютъ, бисовы дѣти! говоритъ онъ по-малороссійски, отъ избытка чувствъ; вся круглая фигурка его сіяетъ торжествомъ.—А что, Гануся, каковъ голосъ у Онисыма сынка? спрашиваетъ онъ, подходя къ женѣ, — сегодня въ первый разъ поетъ!

Но Анна Васильевна не отвѣчаетъ. Она только головой качнула и вся ушла въ свое кресло. Ѳома Богдановичъ очень доволенъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ на жену пѣвчими; онъ проводитъ рукой по ея волосамъ. Анна Васильевна не измѣнила положенія, только рука ея тихо ловитъ руку мужа и подноситъ ее къ губамъ...

А хоръ поетъ между тѣмъ:

Любилыся, кохалыся, якъ голубкы въ пари,
А тепера розыйшлыся якъ чорніи хмары.

И льется пѣсня за пѣсней въ невозмутимой ясности лѣтняго вечера. А деревья чуть-чуть трепещутъ; зашепчутъ верхушки тополей подъ набѣгающимъ вѣтеркомъ и опять смолкнутъ... Боже мой! гдѣ оно, гдѣ это счастливое время?...

— Господа, пора домой! говоритъ Керети, показываясь на порогѣ бесѣдки.

— Погодите, погодите! восклицаетъ торопливо Ѳома Богдановичъ, — сейчасъ *Чайку* споютъ, безъ *Чайки* я васъ не пущу.

Но наставникъ нашъ неумолимъ, и, не дождавшись *Чайки*, мы идемъ, сопровождаемые всѣмъ семействомъ Галагаевъ, ко двору, гдѣ ждетъ присланная за нами бричка. Прощаемся.

— Скажите маменькѣ, чтобы въ воскресенье непремѣнно привозила васъ, говоритъ Анна Васильевна, осѣняя насъ крестомъ на благополучный путь.

— Настя приказала поцѣловать тебя, Галечка! восклицаетъ вдругъ Лева. Ему только теперь вспомнилось порученіе сестры.

— Такъ на же и ей отвези, отвѣчаетъ Галечка и цѣлуетъ его въ лобъ.—Прощайте, Боренька, обращается она затѣмъ ко мнѣ и низко присѣдаетъ. „Какая она лукавая“, думаю я.—„счастливецъ Лева!“

А счастливецъ Лева и не догадывается о своемъ счастіи; онъ заснулъ какъ убитый, едва прикоснулась голова его къ подушкамъ брички. Правда, ему всего пѣнадцатый годъ, а мнѣ уже минуло пятнадцать!

Тронулись. Бодрою рысью бѣгутъ наши кони по гладкой дорогѣ, вьющейся лентой среди безконечныхъ полей. Свѣжій вѣтерокъ вѣетъ въ лицо. Тихо зыбится, куда ни взглянешь, уже высокій, тяжелѣющій колосъ. Темное облако набѣгаю на мѣсяцъ. Впереди загорѣлся огонекъ: это чумаки заночевали въ степи и варятъ ужинъ. Мы быстро пронесемъ мимо ихъ; я едва успѣваю замѣтить два загорѣлыя лица въ бараньихъ шапкахъ, надвинутыхъ на самыя брови, съ люльками въ зубахъ, костлявую руку, протянутую къ котелку, широкую голову вола и колесо телѣги, ярко освѣщенныя пламенемъ. А тамъ потянулся опять нескончаемый рядъ колосьевъ и будто

совершаютъ какое-то чудное таинство: такъ молчаливо и важно изгибаются они надъ землею. Подымешь голову,—а тамъ еще многочисленнѣе и таинственнѣе, и несчетнѣе колосьевъ, все новыя и новыя звѣзды будто льются изъ темной глубины неба. „Максимычъ“, думаю я, „до сихъ поръ увѣренъ, что звѣзды—это все праведныя души, смотрящія на землю. А неужели на родинѣ Керети лучше, чѣмъ у насъ?“ спрашиваю себя, глядя на моего гувернера, уснувшаго рядомъ съ Левой,—„онъ съ такимъ восторгомъ говоритъ о ней? Нѣтъ, не можетъ быть, не повѣрю, чтобъ было гдѣ-нибудь лучше, чѣмъ у насъ! Вотъ какъ поютъ Богдановскіе пѣвчіе:

Да не будетъ крашче нашей Украины!

„Да не будетъ крашче“... повторяю я, обнимая за шею друга моего, Сильву, лежащую подлѣ меня на передней скамейкѣ брички (она догнала насъ уже въ Богдановскомъ), и укладываясь головой на ея спинѣ. А кони мчатся все такъ же быстро, такъ же звучно грохочутъ колеса... Но нѣтъ, это уже не грохотъ колесъ, это иные звуки: мнѣ чудится, точно все поетъ кругомъ меня,—и безграничное поле, колыхаясь подъ вѣтромъ, и старый лѣсъ нашъ съ его темными дубами, и ручей, прыгающій по камнямъ оврага, и всѣ они хоромъ поютъ:

Да не будетъ крашче нашей Украины!

„Сидыть голубь на берези, голубка на вышни“, начинаетъ вдругъ нѣжный дѣвичій голосъ. Это голосъ Галечки! Да, точно, это она, въ вѣнкѣ изъ колосьевъ, а среди ихъ невыносимымъ блескомъ горитъ самая яркая звѣзда неба...

— Какъ вы запоздали! слышу я сквозь сонъ. Открываю глаза и снова быстро зажмуриваю ихъ. Изъ окна бьетъ прямо въ бричку ослѣпившая меня полоса свѣта,—вотъ она, Галечкина звѣзда. Мы дома, сама матушка стоитъ на крыльцѣ.

— Я давно васъ жду, говоритъ она, цѣлуя насъ, — мнѣ уже Богъ знаетъ что вздумалось. Керети отвѣчаетъ, что она совершенно напрасно тревожила себя: она-молъ вѣрно позабыла, что онъ былъ съ нами. Соннаго Леву уносятъ на ру-

ахъ въ дѣтскую. Я самъ едва держусь на ногахъ, едва въ силахъ пожелать доброй ночи матушкѣ и тетушкѣ Фелисатѣ Борисовнѣ, батюшкиной сестрѣ, которая, въ огромномъ тюлевомъ чепцѣ набоку, сидитъ въ гостиной, за вѣчнымъ граншасьянсомъ. Она, по милому обыкновенію своему, посылаетъ мнѣ на сонъ грядущій какое-то кислое замѣчаніе, но на этотъ разъ я не въ состояніи отвѣчать ей. Въ дверяхъ показался Максимычъ, съ шандаломъ въ рукѣ. Какъ сквозь туманъ, вижу я предъ собой зеленыя, мѣстами облупившіяся стѣны моей низенькой спальни, съ прадѣдовскимъ портретомъ надъ шкафомъ и постоянно отвореннымъ окномъ, въ которое дерзко врывается вѣтвь растущей подъ нимъ липы. Липа цвѣтетъ. Вся комната полна ея благоуханіемъ. Какъ *вкусно* глядитъ, изъ-подъ бѣлаго какъ снѣгъ канифаснаго одѣяла, подушка, взбитая заботливою рукой Максимыча! Какъ скоро и сладко засыпаю я, какіе золотые сны снятся мнѣ опять!...

Блаженные дни, свѣтлыя зори жизни, спасибо вамъ!

II.

Въ день рожденія Анны Васильевны, 18-го мая, которое приходилось въ этомъ году на воскресенье, положено было у насъ ѣхать въ Богдановское всѣмъ *кагаломъ*, какъ выражался батюшка своимъ насмѣшливымъ, нѣсколько презрительнымъ языкомъ. Но самъ онъ наканунѣ уѣхалъ подъ какимъ-то предлогомъ въ городъ. Скажу здѣсь мимоходомъ, что онъ не любилъ деревенской жизни, смѣялся надъ провинціальнымъ бытомъ и вѣчно скучалъ по столицамъ, въ которыхъ прожилъ лучшіе свои годы и откуда заставили его уѣхать разстроенныя его дѣла. Въ Тихихъ-Водахъ (такъ называлась наша деревня,) онъ проводилъ все утро въ своемъ кабинетѣ, за чтеніемъ иностранныхъ журналовъ, которые выписывалъ во множествѣ, а по вечерамъ ходилъ по залѣ, заложивши руки за спину, не говоря ни съ кѣмъ по цѣлымъ часамъ. Не разъ замѣчалъ я слезы въ глазахъ матушки, когда высокій, красивый и вѣчно разодѣтый, какъ на званый вечеръ, отецъ мой начиналъ свою молчаливую прогулку, съ выраженіемъ неодолимой тоски на лицѣ. Сосѣдей онъ не посѣщалъ вовсе, да и они къ намъ мало ѣзжали. Быть-можетъ, ихъ озадачивало до чрезмѣрности учтивое обращеніе съ ними батюшки, или догадывались они, что подъ его холодною и разсѣянною наружностью скрывался необыкновенный даръ подмѣчать въ каждомъ человѣкѣ его слабую или смѣшную сторону и что никто лучше его не умѣлъ иной разъ выставлять ихъ въ карикатурѣ, часто однимъ словомъ, движеніемъ, подмигиваніемъ глаза. Надъ Ѳомой Богдановичемъ въ особенности, съ его

пѣвчими и пирами, отецъ мой трунилъ постоянно и безпощадно, къ большой досадѣ матушки, очень любившей все семейство Галагаевъ.

Тетушка Фелисата Борисовна также не поѣхала съ нами Ночью разразилась довольно сильная гроза, и отъ испуга у нея схватило подъ ложечкой. Всю ночь шныряли по дому ея горничныя, со снадобьями, припарками и кувшинами съ кипяткомъ. Матушка провозилась съ нею до самаго утра, но, какъ ни убѣждала ее, тетушка рѣшительно объявила, что „ни за какія коврижки“ не тронется изъ Тихихъ-Водъ.

Мы отправились съ maman и сестрой. Керети уѣхалъ еще наканунѣ—давать французскій урокъ Галечкѣ. Какъ ни спѣшили, но обѣдня началась уже давно, когда мы пріѣхали въ Богдановское. За церковною оградой стояло множество экипажей всѣхъ родовъ и видовъ—отъ высокой, разукрашенной гербами, кареты, шестеркой, принадлежавшей генералу Рындину, командовавшему въ нашихъ странахъ кавалерійскою дивизіей, и до скромной *чертопхайки* уѣзднаго засѣдателя. На паперти, подъ ракитами, окружавшими церковь, толпился народъ. Весело мелькали, при ослѣпительномъ свѣтѣ солнца, бѣлыя свитки крестьянъ, въ перемежку съ красными куртками гусаровъ, стоявшихъ на квартирахъ въ Богдановскомъ, червоныя ленты, барвиночки да маки на черныхъ волосахъ дивчатъ. Кое-какъ, боковыми дверями, протѣснились мы въ церковь. Она была полна молельщиковъ, какъ въ самые большіе праздники; все сосѣдство сочло долгомъ пріѣхать поздравить Анну Васильевну. На почетномъ мѣстѣ у праваго клироса, выставляя впередъ широкую и выпуклую грудь, всю залитую орденами, стоялъ генералъ Рындинъ, плечистый и здоровый старикъ, съ густыми бровями и усами, рѣзко отдѣлявшимися своимъ чернымъ цвѣтомъ отъ совершенно сѣдой головы, и подлѣ него, въ синемъ фракѣ и нанковыхъ панталонахъ, Ѳома Богдановичъ, весь млѣющій отъ ожиданія. Хоръ готовился къ концерту. Тихо колебалась за золотою рѣшеткой царскихъ дверей только что задернутая алая завѣса. Голубоватою струйкою тянулся дымъ ладана къ растворенному окну, по косому и трепетному столбу свѣта. Подъ высокимъ куполомъ перелетали

ласточки. Пѣвчіе, въ новыхъ синихъ кафтанахъ съ золотымъ позументомъ, тѣснились вокругъ регента, Богуна, точно тонкія лозы вокругъ столѣтняго дуба. Ѳома Богдановичъ не отрывалъ отъ нихъ глазъ; крупныя капли пота текли по его лоснящимся щекамъ; онъ затаилъ дыханіе, онъ приросъ на мѣстѣ. Но вотъ Богунъ опустилъ руку,—раздались таинственныя слова молитвы, и каждая черта добраго помѣщика засіяла восторгомъ; онъ поднялъ голову, сложилъ свои коротенькія ручки на кругленькомъ животѣ,—видно было, что онъ тихо подпѣвалъ за хоромъ: Хвалите Бога во святыхъ его! „Вотъ бы теперь взглянулъ на него батюшка“, подумалъ я, „сказалъ-ли бы онъ опять, что Ѳома Богдановичъ такъ же смыслитъ въ пѣніи, какъ поросенокъ въ апельсинахъ.“ Въ эту минуту, кажется, нѣтъ на свѣтѣ человѣка счастливѣе его! Да и точно: серебряный голосъ Онисима сынка забиралъ за самую душу. Анна Васильевна, которую я только теперь отыскалъ глазами на ея обычномъ мѣстѣ, въ самомъ темномъ углу церкви, утирала глаза платкомъ. Барыни громко вздыхали. Самъ генералъ Рындинъ казался тронутымъ и осѣнялъ себя крестомъ такъ старательно, будто намѣревался припечатать пальцы свои къ тѣлу. Пока матушка съ Левой и Настей тихонько пробирались въ сторону Анны Васильевны, я остановился у дверей, но, окинувъ глазами молельщиковъ, признаюсь, къ стыду моему, мнѣ стало уже не до молитвы. Отовсюду кивали мнѣ пріятельскія головы, подмигивали улыбающіеся глаза, да украдкой подымались и слагались руки въ какіе-то таинственные и разнообразные знаки, смыслъ которыхъ впрочемъ былъ у всѣхъ одинъ и тотъ же: а дай вотъ только обѣднѣ отойти, нагуляемся въ волю! Всѣ они были тутъ, товарищи наши и сверстники, обычные посѣтители гостепріимнаго и веселаго Богдановскаго. И Саша Рындинъ, нашъ главный предводитель, смотрѣвшій смѣло своими свѣтлыми глазами, ловко стянутый въ пажескій мундиръ,—диковинку въ нашихъ странахъ. И Петя Золоторенко, по прозванью *бутузъ*, выучившій насъ стрѣлять картофелемъ изъ камышевыхъ трубочекъ. И Николай Жабинъ, котораго мы называли „донскою жабой“, потому что онъ очень любилъ читать изъ Озерова трагедіи:

Россійскіе князья, бояре, воеводы,
Пришедшіе чрезъ Донъ отыскивать свободы...

причемъ немилосердно трещалъ буквой р, а слово „Донъ“ произносилъ какъ бы изъ пустой бочки. И маленькій Опицкій промелькнулъ въ толпѣ, лихой, бѣдовый мальчикъ, который, бывало, взлѣзетъ на самую высокую верхушку тополя, обойметъ его ногами, а руки и туловище откинетъ назадъ и кричитъ оттуда пугачомъ. Но кто же это между ними совершенно незнакомый мнѣ мальчикъ? Я его никогда до этихъ поръ не видалъ въ Богдановскомъ, да и никто изъ *нашихъ*, повидимому, не зналъ, кто онъ, потому что всѣ они, очевидно, глядѣли на него съ тѣмъ же любопытствомъ, какъ и я самъ. Онъ былъ высокъ и тонокъ и на видъ однихъ лѣтъ со мною, но большіе темносиніе глаза его поразили меня своимъ выраженіемъ, глубокимъ и не дѣтскимъ. Веснушки слегка покрывали его блѣдныя щеки. Длинные, пепельнаго цвѣта волосы вились большими кудрями, въ безпорядкѣ, очень красивомъ на взглядъ. Во всей его наружности вообще было что-то свободное и изящное, чего я не умѣлъ объяснить себѣ тогда, но что рѣзко отличало его отъ всѣхъ насъ. Онъ понравился мнѣ съ перваго раза. „Однако кто же это можетъ-быть?“ спрашивалъ я себя, между тѣмъ какъ глаза незнакомаго мальчика, вызванные вѣроятно моимъ упорнымъ взглядомъ, поднялись на меня съ какою-то застѣнчивою гордостью, какъ бы говоря: „я не привыкъ, чтобы на меня такъ смотрѣли!“ Я тотчасъ же отвернулся, чувствуя, что ни за что не хотѣлъ бы показаться ему дерзкимъ. Когда я рѣшился, черезъ нѣсколько времени, снова взглянуть на него, онъ уже отошелъ въ сторону, а на его мѣстѣ стояла высокая молодая дама, также совершенно мнѣ незнакомая,—и отъ нея я уже былъ не въ силахъ оторвать глазъ. Дама была необыкновенно красива. Я по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ не встрѣчалъ такого лица, не подозрѣвалъ подобной красоты. Еще наканунѣ мнѣ казалось, что краше Галечки Галагай нельзя себѣ ничего представить; еще наканунѣ, заучивая въ саду французскій урокъ, я занимался, въ честь ея, сочиненіемъ русскаго стихотворенія, въ которомъ, между прочимъ, была слѣдующая, помню, прелестная строфа:

Плѣняешь ты воображенье
И милой скромностью движенья,
И блескомъ темненькихъ очей,
Вселяющихъ къ тебѣ почтенье
И привлекающихъ людей...

и остальное въ томъ же родѣ...

И Боже мой! какъ предъ этою новою, сіяющею красотой показалась мнѣ жалка и нистожна Галечка! Она стояла тутъ же, подлѣ матери,—въ своемъ коротенькомъ платьѣ, съ своимъ длиннымъ, смуглымъ личикомъ. Какъ худа и нескладна показалась она мнѣ! „У нея руки точно веретена!“ сказалъ я себѣ, презрительно и мелькомъ взглянувъ на нее. И, безсовѣстно забывая предметъ моего недавняго обожанія, я принялся снова жадно вглядываться въ незнакомую красавицу. „Не сестра-ли она тому мальчику, что стоялъ тамъ передъ ней“, думалъ я; „она на него похожа.“ Такіе же, какъ и у него, густые и бѣлокурые волосы выбивались такъ же небрежно изъ-подъ ея голубой, очень открытой шляпки. Очеркъ и цвѣтъ ея глазъ напоминали его глаза. Но выраженіе этихъ глазъ, надъ которыми близко сходились двѣ тонкія дуги бровей, гораздо темнѣе волосъ; но ея почти прозрачныя, подвижныя ноздри,—какъ вишни алыя, и полныя губы, изъ-подъ которыхъ, бѣлѣй березовой коры, сверкали маленькіе и ровные зубы,—все это не походило на строгое и задумчивое выраженіе лица ея молодаго брата; все это какъ будто манило къ себѣ и дразнило въ то же время и дышало неотразимымъ и невѣдомымъ мнѣ до этого очарованіемъ. Она стояла, опершись спиной о стѣну, съ легкимъ наклономъ всего тѣла впередъ. Круглое очертаніе ея плечъ обрисовывалось изъ-подъ бѣлой шали, въ которую она куталась какъ бы отъ холода. „Еслибъ я стоялъ подлѣ нея,“ подумалъ я, „я бы посмотрѣлъ ей прямо въ глаза и сказалъ бы ей: „Mon Dieu, madame, comme vous êtes jolie!“ И отъ этой мысли я вдругъ, не знаю почему, застыдился, покраснѣлъ и опустилъ глаза. Но что это значитъ? Красавица глядитъ въ мою сторону, головка ея слегка наклонилась,—она кланяется, она мнѣ кланяется? Сердце у меня забилось. Я отвѣчалъ ей глубокимъ поклономъ, чуть-ли даже

ногой не шаркнулъ. На этотъ разъ дама взглянула на меня съ видимымъ неудовольніемъ, кивнула мнѣ головой и какъ-то странно улыбнулась. Вся кровь прилила мнѣ въ голову: я чувствовалъ, что краснѣю по самые глаза, краснѣю до слезъ. Я быстро отвернулся. Подлѣ меня стоялъ, вѣроятно только-что вошедшій въ церковь, молодой и статный гусарскій офицеръ въ мундирѣ, шитомъ серебряными колечками по воротнику, съ большимъ хохломъ, взбитымъ на правый бокъ, и тщательно закрученными усами. Онъ смотрѣлъ въ сторону бѣлокурой дамы и улыбался, какъ бы отвѣчая ея улыбкѣ. Я понялъ,—они были знакомы, она ему кланялась, они улыбались сообща моему глупому поклону! Невыразимая досада овладѣла мною, и, сверкая глазами, я взглянулъ прямо въ лицо офицеру. Офицеръ посмотрѣлъ на меня вскользь и, прислонясь плечомъ къ косяку двери, подлѣ которой стоялъ, повернулся лицомъ къ иконостасу. Онъ, видимо, даже и не замѣтилъ моего вызывающаго взгляда. Вся моя смѣлость разлетѣлась въ прахъ въ одно мгновеніе. „Я для него мальчишка, козявка, которую онъ даже не замѣчаетъ!“—подумалъ я, и въ первый разъ въ жизни обидное чувство униженія и собственной немощи болѣзненно заныло во мнѣ. Я упалъ духомъ сразу. Съ какимъ кислымъ и унылымъ выраженіемъ глядѣлъ я теперь на моего врага (такъ успѣлъ я уже окрестить офицера), и на прекрасную даму! Она не смотрѣла болѣе въ нашу сторону, но что-то говорило мнѣ, что она не теряетъ изъ виду моего сосѣда. Съ своей стороны, гусаръ, казалось, благоговѣйно слѣдилъ за службой, хотя и не крестился, что̀ меня нѣсколько удивляло, но я видѣлъ, что ни малѣйшее движеніе красавицы не ускользало отъ него. Его глаза то-и-дѣло сверкали какимъ-то боковымъ лучомъ по ея направленію. Я не могъ не сознаться, что глядѣлъ онъ молодцомъ въ своемъ щегольскомъ мундирѣ, что онъ былъ и красивъ, и строенъ, и держалъ себя безукоризненно. Но въ его рѣзкихъ и правильныхъ чертахъ, въ проницающемъ взглядѣ его темныхъ глазъ,—онъ къ тому же имѣлъ способность закидывать ихъ какъ-то назадъ, будто хотѣлъ видѣть, что у него дѣлается за спиной,—во всѣхъ его движеніяхъ было что-то дерзкое и вмѣстѣ съ тѣмъ обдуманное

и холодное, что-то особенно противное моей природѣ. Никогда, я чувствовалъ, не могъ бы я полюбить, даже переносить равнодушно этого человѣка. Но я сознавалъ также, что не одною своею наружностью вселялъ онъ во мнѣ отвращеніе; сюда примѣшивалось еще какое-то новое, неиспытанное мною чувство, отъ котораго мнѣ было и больно, и стыдно заодно,—чувство, въ которомъ я боялся отдать себѣ отчетъ, что-то задирающее и оскорбительное. Я чувствовалъ, что я завидую; да, завидую всему тому, что мнѣ такъ не нравилось въ гусарѣ, но что, видно, давало ему право на взглядъ, на улыбку бѣлокурой красавицы, тогда какъ я, жалкій, ничтожный мальчикъ, могу только смѣшить ее своими неумѣстными, глупыми поклонами... „И, Господи,—гдѣ это я грѣшу!“—вспомнилъ я съ испугомъ, не смѣя поднять глазъ: темные лики святыхъ грозно глядѣли на меня, казалось, изъ-за волнистаго дыма кадилъ...

Обѣдня кончалась; священникъ выходилъ съ крестомъ изъ царскихъ дверей. Толпа двинулась впередъ, но я не рѣшился идти за всѣми и выскользнулъ изъ церкви за спиной гусара. Я чуть не плакалъ.

III.

На чистомъ воздухѣ мнѣ стало легче. Свѣжо повѣяло мнѣ вѣтромъ въ горящее лицо. Солнце такъ кротко сіяло; такъ спокойно глядѣли вокругъ меня простыя, добрыя лица. Какимъ-то умирающимъ гуломъ гудѣли колокола въ вышинѣ. Я вздохнулъ всею грудью, какъ бы просыпаясь отъ тяжелаго сна.

— Борисъ, ты, кажется, забылъ къ кресту подойти? И матушка, вышедшая за мною изъ церкви, взяла меня за руку, пристально глядя на меня. — Зачѣмъ ты ушелъ? Что съ тобой?

Я не знаю, что отвѣчалъ бы ей. Мнѣ было не въ привычку таиться отъ матушки; я ее любилъ страстно. На мое счастіе, насъ уже окружала толпа, выходившая изъ церкви. Генералъ Рындинъ, впереди всѣхъ, велъ подъ руку Анну Васильевну. Она едва успѣвала откланиваться, благодарить, касаться губами ко лбу гостей, наперерывъ бросавшихся „къ ручкѣ“. Громкія поздравленія оглашали воздухъ. За гостями все село кинулось къ ней. Ее чуть съ ногъ не сбили. Напрасно взывалъ густымъ басомъ генералъ: „Осторожно, говорятъ вамъ, черти, осторожно!“ Напрасно, тончайшимъ фальцетомъ, пищала о томъ же толстая попадья, держа въ обѣихъ рукахъ подносъ съ огромнымъ кренделемъ, утыканнымъ подгорѣвшимъ изюмомъ; крестьяне ловили и цѣловали края платья Анны Васильевны: „мати наша, голубонька бѝла“, восклицали старухи, продираясь къ ней; дивчата и маленькія дѣти протягивали ей вѣнки изъ полевыхъ цвѣтовъ, кузовочки съ яго-

дами и грибами. Бѣдная Анна Васильевна, по обыкновенію, вся горѣла отъ замѣшательства. Ѳома Богдановичъ — тотъ просто плакалъ въ умиленіи сердечномъ и побѣжалъ обратно въ церковь благодарить своихъ пѣвчихъ.

Наконецъ толпа стала рѣдѣть, и мы могли добраться до Анны Васильевны. Она обнялась съ матушкой и поцѣловала меня.

— Тебѣ будетъ новый товарищъ, Боря, сказала она,— ты его навѣрно полюбишь... Сынокъ бѣднаго Герасима Иваныча, домолвила она, обращаясь къ матушкѣ:—они вчера изъ К. пріѣхали къ моему рожденію; спасибо Любочкѣ, не позабыла. Да гдѣ же она? спросила Анна Васильевна, озираясь кругомъ.

— Вы о ней не безпокойтесь, отвѣчалъ на это генералъ Рындинъ, смѣясь всею грудью, — хорошенькая женщина, что казенное добро, въ водѣ не тонетъ, въ огнѣ не горитъ. При ней, кажется, на караулѣ мой ординарецъ. Онъ вамъ знакомъ, Софья Михайловна? спросилъ онъ матушку, подымая къ верху усы широкою и красною рукой, по которой бѣжали толстыя, синія жилы, точно рукава Волги на большой картѣ Россіи.

— Кто это?

— Баронъ фонъ-Фельзенъ, штабъ-ротмистръ *** гусарскаго полка; въ настоящую эпоху состоитъ у меня за адъютанта; прекрасное пріобрѣтеніе для общества (генералъ отчеканивалъ каждую свою фразу). Изъ гвардіи разжалованъ былъ; имѣлъ тамъ исторію; къ чести его впрочемъ относится: секундантомъ былъ въ поединкѣ. Въ настоящую эпоху (генералъ очень любилъ это слово,) *тамъ* этого не любятъ, строгости пошли: кого въ солдаты, кого въ армію переводятъ. Полѣдній духъ хотятъ убить въ войскѣ! докончилъ онъ, высоко поднявъ плечами.—А, да вотъ они! Прекрасная сестрица, здравія желаю!

Эти слова обращены были къ красивой дамѣ, медленно приближавшейся къ намъ. Она шла въ сопровожденіи гусара, держа въ рукѣ маленькій зонтикъ, который служилъ ей болѣе игрушкой, чѣмъ защитой отъ солнца. Она щурилась, опу-

скала глаза. Офицеръ что-то весело ей разсказывалъ. Они оба смѣялись.

— Здравствуйте, сказала она, подходя и протягивая генералу свою длинную бѣлую руку.—Я дождалась въ церкви, покуда всѣ выйдутъ. Я боюсь толпы! промолвила она съ недовольнымъ, почти презрительнымъ видомъ.

— Пора бы ѣхать, заговорила вдругъ торопливо Анна Васильевна, озираясь съ безпокойствомъ. (Я понялъ, она боялась, чтобы кто-нибудь изъ стоявшихъ вокругъ насъ гостей не обидѣлся словами красавицы).—Я еще твоего мужа не видала сегодя, Любочка, промолвила она.

— Онъ спитъ, отвѣчала та.

— Какъ теперь его здоровье? спросила матушка.

— Все то же: ничего не понимаетъ, не говоритъ, а впрочемъ здоровъ...

И она какъ-то нетерпѣливо пожала плечомъ.

„Ее зовутъ Любовь!“ промелькнуло почему-то у меня въ головѣ.

— Ты, надѣюсь, Софью Михайловну помнишь? спросила Анна Васильевна,—васъ знакомить не нужно?

— Я васъ сейчасъ узнала, сказала красавица матушкѣ, пожимая ей руку: — а какъ мы съ вами давно не видались, вспомнить страшно! Я тогда только что вышла замужъ, была почти дитя...

— Я, кажется, вашего сына видѣла въ церкви? спросила матушка,—красивый мальчикъ, на васъ похожъ.

— Mais oui, отвѣчала Любовь Петровна съ улыбкой,— un grand garçon, просто стыдно...

— Это ея сынъ, не братъ! чуть не громко вскрикнулъ я, глядя съ великимъ изумленіемъ на ея молодое, капризное, какъ у дѣвочки, лицо, не вѣря своимъ глазамъ и чувствуя между тѣмъ, что снова краснѣю.

— И собой молодецъ! примолвилъ генералъ, смѣясь густымъ басомъ и дребезжащимъ смѣхомъ.—Жаль, физикой жидокъ, а то хоть бы сейчасъ въ кавалергарды.

Любовь Петровна прищурилась, взглянула на генерала и пожала плечами съ невыразимымъ оттѣнкомъ насмѣшки.

— Да гдѣ же онъ? гдѣ Вася? спросилъ генералъ, поворачиваясь всѣмъ тѣломъ и потянувъ головой изъ-за высокаго воротника своего мундира.

— Мы здѣсь, папа, отвѣчалъ ему изъ толпы голосъ Саши:—что тебѣ нужно?

Онъ подошелъ къ отцу, держа за руку кудряваго, голубоокаго мальчика,—*ея* сына.

— А! сказалъ генералъ, окидывая обоихъ ихъ быстрымъ взглядомъ, но въ которомъ легко было прочесть, что онъ въ эту минуту сравнивалъ ихъ и что сравненіе оказалось все въ пользу краснощекаго, здороваго Саши. Оба налицо! Въ порядкѣ!

И онъ снова задребезжалъ своимъ густымъ смѣхомъ.

— У васъ большія дѣти? говорила между тѣмъ матушкѣ Любовь Петровна.

— Вотъ мой старшій сынъ.

Матушка обернулась ко мнѣ.

— Ah! c'est Monsiur? промолвила она и засмѣялась, — мы знакомы... Онъ у васъ премилый и *преучтивый*, добавила она, взглянувъ на меня.

Эти слова, этотъ насмѣшливый взглядъ прямо относились къ моему несчастному поклону... Я бы, кажется, въ эту минуту съ радостію провалился сквозь землю,—и съ нею вмѣстѣ! Никого въ мірѣ не ненавидѣлъ я такъ, какъ ее въ эту минуту.

— Вотъ моя карета, возгласилъ генералъ. — Не угодно ли, сударыни? Она четверомѣстная. Сестрица, Софья Михайловна, Анна Васильевна, прошу. Да гдѣ же ваши барышни? я ихъ не вижу.

— Онѣ поѣхали всѣ въ линейкѣ, съ англичанкой, закричалъ въ отвѣтъ бѣжавшій изъ-за ограды и запыхавшійся Ѳома Богдановичъ; — я ихъ вывелъ другими дверями. Поѣзжай, Ганна, принимать дорогихъ гостей: и васъ прошу, говорилъ онъ суетливо дамамъ, едва переводя духъ и усаживая ихъ въ карету,—а мы съ его превосходительствомъ въ коляскѣ, а дѣти...

— Мы пѣшкомъ пойдемъ, возразилъ Саша,—всѣ вмѣстѣ пойдемъ.

Вокругъ него собрались уже всѣ наши товарищи. Все это кричало, прыгало, обнималось, хохотало.

— Орда! забасилъ весело генералъ и отправился съ Ѳомой Богдановичемъ къ колескѣ.

Толпа гостей потянулась за ними. Одинъ гусарскій офицеръ, мой *врагъ*, не пошелъ за прочими.

— Здравствуйте, мой юный другъ, сказалъ онъ, протягивая руку кудрявому мальчику, котораго звали Васей: — какъ вы себя чувствуете послѣ дороги?

— Здравствуйте, отвѣчалъ ему холодно Вася, не глядя на него и не подавая ему руки, такъ что тотъ долженъ былъ, къ немалому моему удовольствію, довольно неловко опустить свою руку.

Саша Рындинъ нахмурился и съ неудовольствіемъ посмотрѣлъ на Васю.

— Вы пойдете съ нами, Эдуардъ Карлычъ, сказалъ онъ живо офицеру, который крутилъ усы и улыбался какою-то недоброю усмѣшкой. — Насъ много, мы пойдемъ справа по шести, а вы будете нашимъ эскадроннымъ командиромъ. Хотите?

— Гдѣ мнѣ, старику, съ вами справиться! отвѣчалъ гусаръ, сверкнувъ бѣлыми зубами, которые показались мнѣ остры, какъ у щуки. — Благодарю за честь. У меня есть здѣсь какая-то таратайка.

Онъ приложилъ руку къ шляпѣ, надъ которою развѣвался щегольски по вѣтру длинный бѣлый султанъ, и пошелъ за ограду, гремя своею круглою и сверкающей саблей.

— Зачѣмъ ты ему руки не подалъ? спросилъ Саша, только-что офицеръ отошелъ отъ насъ.

— Я его не люблю, отвѣчалъ Вася, подымая свои большіе глаза на Рындина.

— Вотъ на! Это почему?

— Не люблю, повторилъ мальчикъ. И глаза его потускнѣли. Меня такъ и подмывало кинуться ему на шею.

— Почему? я тебя спрашиваю! настаивалъ Саша.

— Каждый воленъ любить, кого хочетъ, сказалъ глубоко-

мысленно Петя Золоторенко, извѣстный между нами своимъ безпристрастіемъ.

— У него недоброе лицо, у твоего гусара, добавилъ я.

— Все глупости! закричалъ Саша, топая ногой. — Онъ молодецъ собой и отличный офицеръ, на Кавказѣ отличался, а вы молокососы и ничего не понимаете, вотъ что!

— У! яки дурный генералъ! завизжалъ вдругъ пронзительнымъ голосомъ маленькій Опицкій и неожиданно съ налета вскочилъ ему прямо на плечи.

Саша весь побагровѣлъ, сдернулъ его съ себя одною рукой, а другою принялся бить его немилосернымъ образомъ.

— Саша! вскрикнулъ задрожавъ Вася и кинулся къ нему.

Но Рындинъ ничего не слушалъ. Мы едва могли общими силами вырвать Опицкаго изъ его рукъ. Неисправимый шалунъ едва всталъ на ноги, весь помятый и исцарапанный, высунулъ языкъ и, потрясая худенькимъ кулачкомъ, закричалъ Сашѣ:

— Погоди, москаль! дай мнѣ вырости!

— Ребенка! безсильнаго! говорилъ Вася тихо.

Саша качнулъ головой. Ему стало совѣстно.

— Другой разъ не будешь! проговорилъ онъ еще дрожащимъ голосомъ, но уже безъ всякаго гнѣва.

— Сломить тебѣ когда-нибудь голову! замѣтилъ Опицкому Жабинъ въ видѣ наставленія.

— Что жь! И *сломаю*, возразилъ онъ не задумавшись.

Онъ точно сломилъ ее нѣсколько лѣтъ спустя, подъ солдатскою фуражкой, въ глубокомъ ущельи Чечни...

Саша былъ еще весь взволнованъ и притомъ замѣтно не доволенъ собой. Онъ повернулся и молча пошелъ по направленію дома.

Всѣ двинулись за нимъ.

Опицкій уже скакалъ на одной ножкѣ.

— Какой безстрашный, сказалъ мнѣ Вася, глядя на него:—я такого еще не встрѣчалъ.

— И Саша безстрашный, замѣтилъ я. — Онъ ничего не боится, и добрый, только вспыльчивъ. А Опицкій извѣстный забіяка.

— Да, сказалъ Вася, — Сашу ужь такъ воспитывали. У него отецъ самъ такой... рубака, домолвилъ онъ.

— И у Опицкаго тоже, сказалъ я:—отецъ его Саррагоссу бралъ, знаете, въ Испаніи есть такой городъ?

— Знаю. Вася улыбнулся.—Какъ же это онъ ее бралъ?

Мнѣ показалось, что Вася не вѣритъ мнѣ.

— Спросите всѣхъ, всѣ знаютъ, я ужь конечно не буду лгать, увѣрялъ я его, нѣсколько обиженный, — онъ у Наполеона служилъ.

— Гдѣ же онъ теперь?

— Онъ недалеко отсюда живетъ, у Ѳомы Богдановича арендуетъ имѣніе, Селище называется, отсюда версты четыре всего, и отъ насъ близко...

Черезъ четверть часа я успѣлъ передать ему біографіи и родословныя всей нашей веселой компаніи, начиная съ самого себя, описать наши съѣзды въ Богдановскомъ по праздничнымъ днямъ, наши шумныя забавы...

До дому было съ версту. Разговаривая, мы стали мало-помалу отставать отъ прочихъ.

— Здѣсь бываетъ такъ весело всегда, говорилъ я.—Вы въ первый разъ въ Богдановскомъ?

— Я былъ здѣсь ребенкомъ, но не помню... Да, сказалъ онъ съ разстановкой,—здѣсь хорошо, есть просторъ глазамъ! Какъ широко! Прелесть!

Онъ видимо думалъ совсѣмъ о другомъ, чѣмъ я.

Онъ озирался кругомъ, на село, на лѣсъ, на поля, пропадавшія въ свѣтлой дали...

Онъ откинулъ голову назадъ; глаза его сіяли.

— За границей этого не увидишь... простора этого, договорилъ онъ, снимая съ головы фуражку и откидывая назадъ свои длинные волосы, которые вѣтромъ все относило ему на глаза.

— А вы были за границей?

— Два года слишкомъ, отвѣчалъ онъ съ замѣтнымъ оттѣнкомъ грусти въ голосѣ.

— Скажите, спросилъ я,—весело за границей жить?

— Не знаю... Мы ѣздили для отца... Онъ боленъ третій годъ...

— Такъ давно! Что же съ нимъ такое?

Глаза Васи мгновенно потускнѣли; онъ отвернулся.

— Онъ безъ ногъ и безъ языка, въ параличѣ... проговорилъ онъ глухо, не смотря на меня.

— Параличъ! это ужасно! Не говорить! ничего не понимать! И я содрогнулся невольно.

— Не понимать! воскликнулъ быстро Вася, поворачиваясь ко мнѣ:—кто это вамъ сказалъ?

— Ваша матушка, чуть не отвѣтилъ я, но остановился. Я смутно понялъ, что этого не слѣдуетъ говорить ему. — Я думалъ... параличъ... пробормоталъ я.

— Папа видитъ все, понимаетъ... онъ хочетъ говорить и не можетъ... Вотъ что ужасно!...

На блѣдной щекѣ Васи засверкали слезы...

— Саша вѣрно захочетъ въ войну играть. Вы будете? сказалъ я поспѣшно, не зная, какъ разсѣять его.

„Зачѣмъ это я спросилъ его объ отцѣ," укорялъ я себя. „Какой это день сегодня вышелъ для меня несчастный!"

— Не знаю, я никакихъ игръ не знаю, отвѣчалъ онъ улыбаясь и видимо черезъ силу.

Я взглянулъ на него съ удивленіемъ.

— Вѣдь я одинъ: у меня нѣтъ ни братьевъ, ни сестеръ, объяснилъ онъ съ тою же улыбкой и тою же звучащею въ голосѣ грустью.

— А Саша вамъ не родня?

— Онъ мнѣ двоюродный братъ,... но мы вѣдь съ нимъ врозь живемъ.

— Двоюродный братъ! повторилъ я.—Такъ вотъ почему генералъ называлъ вашу maman сестрицей?

— Да, она родная сестра покойницѣ Сашиной матери.

— Вы и Аннѣ Васильевнѣ родня тоже?

— Отецъ мой родной племянникъ Ѳомы Богдановича, сынъ его сестры; она была замужемъ за дѣдомъ моимъ, Лубянскимъ.

— Вы теперь изъ-за границы пріѣхали? спросилъ я опять Васю.

— Да, недавно. Мы пріѣхали теперь изъ К., вмѣстѣ съ дядюшкой и Сашей.

— И этотъ офицеръ... баронъ... и онъ съ вами пріѣхалъ? старался проговорить я какъ можно равнодушнѣе.

— Да, сказалъ Вася сквозь зубы.

— Онъ служитъ у вашего дядюшки?

— Да, кажется. Онъ ѣхалъ впередъ, заготовлялъ намъ лошадей.

— Развѣ это надобно? Это его должность?

— Не знаю, отвѣчалъ онъ отрывисто и пожалъ плечами. Можетъ быть онъ и изъ удовольствія,... не знаю.

— А онъ мнѣ очень не нравится! сказалъ я по нѣкоторомъ молчаніи, между тѣмъ какъ на языкѣ такъ и вертѣлось спросить его: отчего *онъ* не любитъ гусара?

Вася быстро обернулся на меня.

Я невольно опустилъ глаза.

Не знаю, что прочелъ онъ на моемъ лицѣ, но онъ не отвѣтилъ мнѣ ни слова, и мы молча продолжали путь.

Подходя къ дому, мы услышали веселые крики и смѣхъ. Это былъ Саша, поднимавшійся на крыльцо съ толпой мальчиковъ. На его плечахъ сидѣлъ маленькій Опицкій и понукалъ его ногами, крича пискливымъ голоскомъ: „ну, ну, живѣе, въ галопъ!“ Они дорогой помирились.

VI.

Какъ пчелы на пасекѣ въ знойный день, жужжали гости въ высокой залѣ въ два свѣта, съ хорами, въ которой отбывались по большимъ днямъ пиры Ѳомы Богдановича. Въ столовой помѣщались дамы и дѣвицы. Изъ-за растворенныхъ дверей ея можно было любоваться впрочемъ эполетами генерала Рындина; они сверкали какъ-то особенно торжественно среди женскихъ платьевъ. Генералъ одинъ удостоился этой чести. Вся остальная мужская компанія собрана была въ залѣ. Въ углу, у окна, ближайшаго ко входу, отдѣльной группой собрался цѣлый полкъ учителей, гувернеровъ и дядекъ, „нашихъ просвѣтителей“, какъ называлъ ихъ Саша Рындинъ, съ которымъ, сказать мимоходомъ, еще ни одинъ просвѣтитель не могъ ужиться долѣе недѣли. Между ними стоялъ и Керети. Увидѣвъ меня, онъ кивнулъ мнѣ ласково головой, но не отдѣлился отъ группы собратій, изъ которой отъ времени до времени вырывались глухіе взрывы сдерживаемаго хохота. Это потѣшалъ публику нѣмецъ-музыкантъ, жившій у Галагаевъ, маленькій человѣчекъ на дряблыхъ ножкахъ, съ серебряными очками, вѣчно спадавшими съ его крошечнаго ястребинаго носа. Настоящая фамилія его была Богенфришъ, но всѣ, даже Ѳома Богдановичъ, звали его почему-то Булкенфрессъ — прозвище, на которое онъ обыкновенно отвѣчалъ слѣдующимъ витцемъ: „да, я люблю булка, когда она свѣжая и румяная есть, какъ щеки у молодой прачка“. Булкенфрессъ говорилъ на всѣхъ языкахъ и на всѣхъ одинаково дурно, но имѣлъ даръ съ невозмутимѣйшимъ хладнокровіемъ отпускать такія штуки,

отъ которыхъ эти господа чувствовали даже и на другой день колотья въ боку.

За ними вслѣдъ, скромно придерживая одной рукой у груди полу своей рясы, другою зачесывая за ухо волнистые съ просѣдью волосы и низко кланяясь еще изъ другой комнаты, вошелъ высокій и тучный священникъ.

— Ахъ, батюшка, васъ только и ждемъ, милости просимъ! воскликнулъ Ѳома Богдановичъ съ другаго конца залы, завидя его и кидаясь подъ благословеніе.

— Благочестной супругѣ вашей, Аннѣ Васильевнѣ, желалъ бы принести душевное мое поздравленіе со днемъ... началъ было священникъ.

— Покорно благодаримъ, покорно благодаримъ, батюшка, она тамъ, перебилъ его торопливо Ѳома Богдановичъ, указывая ему пальцемъ на столовую.—Да не прикажете ли тминной, батюшка?

Батюшка взглянулъ на дверь столовой, потомъ на столъ съ графинами и закуской, какъ бы соображаясь.

— Тминной я выпью, Ѳома Богданычъ, рѣшилъ онъ смиреннымъ голосомъ и кланяясь въ поясъ.

И, выпивъ рюмку, направилъ стопы свои къ новорожденной.

Ѳома Богдановичъ заковылялъ поспѣшно за нимъ.

Но изъ дверей буфета, отворившихся настежь, повалилъ въ то же время запахъ кушанья. Богунъ, все еще въ пѣвческомъ кафтанѣ, выступалъ торжественно впередъ, ведя за собою рядъ людей, которые съ трудомъ несли на большихъ блюдахъ исполинскія кулебяки.

Ѳома Богдановичъ быстро повернулся на ходу и остановилъ священника.

— Снѣдь сію благословите, батюшка, сказалъ онъ, живописно вскидывая обѣ руки по направленію блюдъ.

Священникъ обернулся къ образу.

Все кинулось къ столамъ. Говоръ смолкъ. Съ какимъ-то неистовствомъ, громко жуя и чмокая губами и держа вилки свои у самыхъ зубцовъ, принялись гости Ѳомы Богдановича за уничтоженіе его кулебякъ.

Едва успѣли мы съ Васей проглотить кусокъ пирога, какъ уже Саша торопилъ насъ.

— Полно вамъ жадничать, еще обѣдъ впереди. Они тутъ цѣлый часъ чавкать будутъ, говорилъ онъ, указывая на гостей,—а у насъ время только пропадаетъ. Пойдемте въ садъ въ войну играть.

— Давай, давай! въ войну! отозвались веселые голоса товарищей, сбѣгавшихся со всѣхъ угловъ залы на призывные знаки, которые онъ дѣлалъ имъ глазами и рукой.

— Такъ за мной, ребята, маршъ! Вася, Боря, Петя, впередъ!

Настоящею ордой, какъ говоритъ генералъ, со смѣхомъ и криками побѣжали мы въ двери, ведущія на террасу, а оттуда въ садъ.

Нѣсколько человѣкъ изъ группы „просвѣтителей“ кинулись съ мѣстъ своихъ за нами въ погоню.

— Куда, господа? погодите!... не шалите!... кричали они, выбѣжавъ на террасу.

Но ихъ никто не слушалъ.

Одинъ Керети поймалъ налету брата Леву.

— Monsieur Léon, сказалъ онъ ему, — vous savez nos conventions: si vous me revenez déchiré ou sali, vous ne retournez plus à Bogdanovsk.

— Non, non, M-r Qué! увѣрялъ Лева, вырываясь изъ его рукъ, и, минуя ступеньки террасы, вылетѣлъ въ садъ однимъ прыжкомъ.

— Въ крѣпость! въ крѣпость! раздавался впереди голосъ Саши.

Крѣпость, къ которой мы прибѣжали, была небольшая четвероугольная площадка, осѣненная деревьями, вокругъ которой Ѳома Богдановичъ, по просьбѣ Саши, велѣлъ вырыть маленькій ровъ, насыпать валъ и утыкать его палисадомъ. Мы, даже не стѣсняясь, разобрали на это употребленіе сажени четыри плетня, окружавшаго садъ. Черезъ ровъ Саша перекинулъ подъемный мостъ и устроилъ у входа тяжелый шлагбаумъ, выкрашенный даже, по его указаніямъ, богдановскими малярами, тремя казенными цвѣтами. Подъ маленькою

палаткой, сложенною изъ вѣтвей, хранились наши доспѣхи, сабли и пики, небольшая мѣдная пушка и знамя, вырѣзанное изъ старой бѣлой атласной юбки, пожертвованной Анной Васильевной, и на которой Петя Золоторенко удачно намаловалъ двуглаваго орла. Саша всѣмъ этимъ очень гордился и дорожилъ.

— Давайте прежде всего жребій кидать: кому быть русскимъ, а кому туркой, распоряжался онъ. — Сколько насъ всѣхъ?

— Девятнадцать; я еще въ церкви сосчиталъ, отвѣчалъ Петя Золоторенко.

— А Людвига Антоныча считалъ?

Людвигъ Антоновичъ былъ студентъ к—го университета, жившій лѣтомъ *на кондиціи* у одного помѣщика. Онъ иногда принималъ участіе въ нашихъ играхъ и теперь очутился посреди насъ.

— Будете играть съ нами? спросилъ его Саша.

— Для чего нѣтъ? отвѣчалъ нараспѣвъ и съ сильнымъ удареніемъ на о и на первые слоги словъ, студентъ, потрясая огромными и курчавыми волосами, которые, словно черкесская шапка, мохнато вились вокругъ его головы.

— Молодецъ Людвигъ Антоновичъ! Вотъ и четное число. Ну, давайте теперь попарно на палку! чья рука выше возьметъ, тому быть русскимъ, а ниже, — ступай въ бусурманы!

Когда мы раздѣлились на партіи, причемъ было, разумѣется, не мало спора и крика, потому что большинству изъ насъ хотѣлось попасть въ русскіе, Саша скромно предложилъ было выбирать начальниковъ на голоса; но русская армія единодушно положила, что никто, какъ онъ, долженъ быть фельдмаршаломъ.

— Ну, а пашой кому быть? спросилъ онъ.

— Людвига Антоныча пашой, Людвига Антоныча! онъ всѣхъ насъ старше! закричали турки.

— Прекрасно! Согласны вы, Людвигъ Антонычъ!

— Для чего нѣтъ? отвѣчалъ тѣмъ же пѣвучимъ голосомъ студентъ.

— [illegible] въ крѣпость!

— Нѣтъ, нѣтъ! раздавалось со стороны турокъ,—на палку, кому крѣпость защищать! А то туркой будь, да еще въ крѣпости сиди, нападать не смѣй! На жребій!

— Да вѣдь это противъ исторіи! возражалъ Саша,—Русскіе всегда нападали, а турки въ крѣпостяхъ сидѣли!

— Потому они дурни были! замѣтилъ Людвигъ Антонычъ.

— Все равно! На жребій, на палку! кричали голоса, даже и изъ среды русской арміи.

— А не такъ, *не хочу турчиномъ быть!* объявилъ Петя.

Рындинъ уступилъ.

— Давайте тянуть, Людвигъ Антонычъ, сказалъ онъ, подымая палку.

Студентъ взялъ полувершкомъ выше Сашиной руки.

— Въ крѣпость, Саша! въ крѣпость! закричали, торжествуя, турки.

— Пойду! сказалъ съ неудовольствіемъ Саша,—но ужь я вамъ покажу, какъ надо защищаться; азовское сидѣнье покажу я вамъ, вотъ что!

— Увидимъ, увидимъ!

Жабинъ, попавшій въ число чалмоносцевъ, неожиданно выступилъ впередъ и, предварительно ударивъ себя, что есть силы, кулакомъ въ грудь, завопилъ:

Мечъ будетъ намъ судья, но твердо уповаю,
Что чудный крѣпостью и справедливый Богъ
Поможетъ намъ сотреть гордыни вашей рогъ!

У него были готовы стихи изъ Озерова на всѣ случаи жизни.

Саша и не отвѣтилъ ему. Но студентъ, котораго, повидимому, сильно поразилъ завывающійся басъ „донской жабы“, подошелъ къ нему и сказалъ:

— Я учусь на медика и могу васъ завѣрить, что вы можете современемъ умереть отъ какой другой болѣзни, только отъ чахотки никогда!

Общій хохотъ послѣдовалъ за этою выходкой. Опицкій съ радости даже ковырнулся въ травѣ.

— Ребята, мы только время теряемъ съ этимъ балагур-

ствомъ, говорилъ между тѣмъ Саша. — Людвигъ Антоновичъ, знаете-ли вы ваше мѣсто? У колодца, въ самомъ углу сада, подлѣ *баштана*, — и не смѣть идти на насъ раньше, чѣмъ займете свои мѣста! Тамъ и лагерь вамъ готовъ, — сторожка есть. Петя знаетъ.

— Знаю, знаю, отвѣтилъ Золоторенко,—не безпокойся!

Когда турки удалились, взявъ сабли и обмотавъ себѣ, по приказанію студента, носовые платки жгутомъ вокругъ головы для изображенія чалмы, Саша, педантъ своего дѣла, осмотрѣлъ кругомъ крѣпость, поставилъ пушку противъ подъемнаго моста, назначилъ караулъ и, оставивъ на площадкѣ свои главныя силы, отправился съ Васей, со мной и Левой отыскивать удобное мѣсто для форпостовъ. Мы ушли довольно далеко; Саша все оставался не доволенъ мѣстностью. Наконецъ онъ остановился на самомъ берегу озера.

— Здѣсь чудесно! воскликнулъ онъ,—здѣсь они насъ не обойдутъ. Становись, Лева, сюда въ кусты. Какъ только завидишь непріятеля, лети стремглавъ въ крѣпость доложить мнѣ, откуда идетъ онъ и въ какихъ силахъ. А вы, Боря и Вася, сюда за дерево! — и онъ указалъ намъ на большую ветлу, на противоположной окраинѣ аллеи. Въ случаѣ нападенія бѣгите мимо бесѣдки на соединеніе со мною. Они пустятся всѣ за вами,—Людвигъ Антонычъ, я знаю, плохой стратегикъ, прибавилъ съ важностью Саша,—а я тутъ-то и сдѣлаю вылазку, ударю имъ во флангъ, раздѣлю и потомъ разобью каждый отрядъ порознь! говорилъ онъ, пылая заранѣе торжествомъ будущей побѣды.

— Смотрите же, смотри, Лева, крикнулъ онъ брату, который уже усаживался въ свою засаду, — помните, что отъ вашей распорядительности зависитъ, такъ-сказать, участь русской арміи. Прощайте; надѣюсь, что отечество будетъ вами гордиться!

И онъ удалился, кивнувъ намъ покровительственно головой.

— Багратіонъ! хихикнулъ ему вслѣдъ Лева, выставляя изъ кустовъ свою лукавую рожицу.

— Не шали, Лева! закричалъ я ему.

Онъ живо юркнулъ и исчезъ въ зелени.

— Что же мы будемъ дѣлать? спросилъ меня Вася.

— Ждать непріятеля.

— И это долго будетъ?

— Не знаю: можетъ быть, онъ и совсѣмъ не пойдетъ сюда.

— Такъ для чего же насъ поставили?

— Для предосторожности.

— Опытный, какъ видно, воинъ Саша! сказалъ онъ, разсѣянно улыбаясь.

— Хотите, я васъ буду называть *ты*, и вы меня тоже? спросилъ я его вдругъ, самъ не понимая, какъ это у меня вырвалось.

— Благодарю васъ, хочу... благодарствуй! поправился онъ и покраснѣлъ.

— Хотѣлъ-ли бы ты быть въ настоящемъ сраженіи, Вася? поспѣшилъ я спросить его, боясь, чтобы разговоръ не оборвался на этомъ „благодарствуй“.

— Въ сраженьи? повторилъ Вася, садясь на траву. — Нѣтъ! Раны, кровь, рѣжутъ руки и ноги, проговорилъ онъ медленно и вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, какъ будто всѣ ужасы войны представлялись ему въ это время.—Лучше всего, если убьютъ разомъ.

— Лучше, если не убьютъ и побѣдишь!

— Богъ знаетъ! отвѣчалъ онъ тихо, какъ бы про себя, и затѣмъ тотчасъ же поднялъ голову, взглянулъ на меня и улыбнулся.

Лева въ это время выглянулъ опять изъ кустовъ.

— Боря, Боря! звалъ онъ шепотомъ и маня меня рукой.— Погляди сюда!

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ его засады, на половину вытащенная на берегъ, подымала корму свою большая восьмивесельная лодка, въ которой Ѳома Богдановичъ прогуливалъ иногда вечеромъ гостей своихъ по озеру. Она вытащена была вѣроятно для починки, потому что вся разсѣлась отъ жары, и большія щели сквозили въ ней на солнцѣ.

— Я взлѣзу туда, говорилъ Лева, и побѣжалъ къ лодкѣ.

— Полѣзешь и упадешь! кричалъ я ему.

Но Лева уже подкатилъ къ лодкѣ какую-то колоду, валявшуюся на берегу, поставилъ ее стоймя, взгромоздился на нее, уцѣпился обѣими руками за бортъ и очутился въ лодкѣ.

— У-а? какъ славно смотрѣть! кричалъ онъ оттуда,—теперь я ихъ ни за что не пропущу. Вотъ я влѣзъ! обратился онъ ко мнѣ, прыгая по скамьямъ и трубя въ кулакъ какой-то маршъ.

Я бы могъ урезонить его, уговорить вылѣзть изъ лодки, но мнѣ было не до Левы. Я думалъ о моемъ новомъ товарищѣ. Его улыбка не обманула меня. Я понималъ, что въ его послѣднихъ словахъ высказывалась его задушевная, безотрадная мысль. Но самъ я до этихъ поръ не испытывалъ горя, и мнѣ трудно было понять въ другомъ его постоянное, ноющее безъ умолку присутствіе.

„Какой онъ странный мальчикъ!“ говорилъ я себѣ,—„неужели же лежать въ душномъ, тѣсномъ гробу, подъ тяжелою землей,“—и я вздрогнулъ, невольно думая объ этомъ,—„лучше, чѣмъ жить, дышать этимъ вольнымъ воздухомъ?...“

Я взглянулъ кругомъ себя. День былъ такъ свѣтелъ, небо такъ сине! Блестящія капли, слѣды ночной грозы, еще дрожали на яркой листвѣ... Въ воздухѣ пахло каприфоліемъ и бѣлою акаціей...

— Взгляни-ка, Вася, какъ здѣсь хорошо! сказалъ я, переходя къ нему.

— Да, хорошо, отвѣчалъ онъ, не перемѣняя положенія.

Онъ лежалъ на спинѣ, закинувъ руки за голову, и глядѣлъ на небо.

— Какъ чудесно облака плывутъ, сказалъ онъ, — точно корабли по морю.

Я легъ въ траву подлѣ него и сталъ смотрѣть.

Бѣлыя, пушистыя облака бѣжали по синему небу. Они то свивались, то расходились и таяли, образуя безпрестанно новыя, измѣнчивыя очертанія.

— Корабль покончился, говорилъ Вася, — жаль! А тамъ, гляди, какія горы! И на нихъ точно башни пошли, а внизу цѣлый лѣсъ. Надъ Рейномъ я видѣлъ такіе старые замки...

— Вотъ звѣрь какой-то, налѣво, налѣво! закричалъ я,

увлекаясь этою причудливою и заманчивою игрой, — заяцъ, заяцъ! И уши поднялъ!...

— А посмотри, какъ красиво орелъ летитъ!

Я взглянулъ по направленію его руки. Онъ указывалъ на черную точку, мелькавшую въ вышинѣ и медленно опускавшуюся внизъ.

— Какъ хорошо ему тамъ! продолжалъ Вася.

Орлу дѣйствительно казалось хорошо *тамъ*. Онъ не леталъ, а словно нѣжился, купаясь въ свѣжихъ волнахъ лазури и едва замѣтно колыхаясь на тонкихъ оконечностяхъ своихъ широко распластанныхъ крыльевъ. Мы долго имъ любовались. Безконечною цѣпью проходили надъ нимъ облака, а онъ все чернѣлъ неподвижно въ воздухѣ, точно гордясь своей силой и свободой.

— Летаетъ себѣ подъ небомъ, заговорилъ опять Лубянскій:—ничего не знаетъ, что здѣсь дѣлается! промолвилъ онъ съ какимъ-то внезапнымъ порывомъ.

— Да, а слетитъ, такъ маленькихъ птицъ душитъ, замѣтилъ я, вспоминая какъ при мнѣ, однажды, въ нашемъ оврагѣ, ястребъ терзалъ бѣднаго голубенка.

— Мнѣ кажется, воскликнулъ Вася,—будь у меня...

Орелъ вдругъ поджалъ крылья и, ринувшись камнемъ съ высоты, исчезъ гдѣ-то вдали за озеромъ.

Вася замолкъ.

А облака, то свиваясь опять, то расходясь и тая, все бѣжали, будто спѣша, будто чья-то невидимая рука гнала ихъ куда-то далеко, къ какой-то таинственной цѣли...

— Куда спѣшите вы?... началъ было я и, обернувшись къ товарищу:

— Скажи мнѣ, Вася, спросилъ я его,—ты никогда не сочинялъ стиховъ?

— Нѣтъ, не сочинялъ, отвѣчалъ онъ, съ удивленной улыбкой,—а ты?

— Вася, я скажу тебѣ по секрету, но, ради Бога, не говори никому. Я сочиняю, но не смѣю никому показывать. Папа смѣется надъ этимъ. Онъ говоритъ всегда, что ему было

бы пріятнѣе видѣть меня будочникомъ, чѣмъ жрецомъ музъ,— это его выраженіе.

Вася пристально взглянулъ на меня.

— Скажи мнѣ, сказалъ онъ, — тебя отецъ твой очень любитъ?

— Отецъ мой? Конечно! Онъ всегда *насмѣхается* надо мной... но у него ужь такой характеръ. А онъ всѣхъ насъ любитъ.

— А твоя мать?

— Maman? воскликнулъ онъ:—любитъ ли меня? Да еще какъ, Вася!

Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

— Сколько разъ, заговорилъ я, снова возвращаясь къ любезному мнѣ предмету,—сколько разъ старался я сочинить стихи про облака, какъ они плывутъ, и куда? зачѣмъ?... Но нѣтъ, ничего у меня не выходихъ, такая досада! Я было такъ началъ: куда спѣшите вы?... А дальше? Дальше никакъ не выходитъ у меня стиха...

— Если самъ не можешь, сказалъ Вася,—такъ переведи вотъ эти стихи:

Eilende Wolken, Segler der Lüfte,
Wer mit euch wanderte, mit euch schiffte,
Grüsset mir freundlich mein Jugendland!

— Ахъ, какъ это хорошо! Что это такое? перебилъ я его.

— Это изъ Шиллера трагедіи: *Maria Stuart.*

— Maria Stuart, reine d'Ecosse, проговорилъ я машинально и скороговоркой.—Но дальше есть? Говори, Вася!

Ich bin gefangen, ich bin in Banden
Ach, ich hab keinen andern Gesandten!
Frei in Lüften ist eure Bahn,
Ihr seid nicht dieser Königin unterthan...

продолжалъ онъ.

— Ахъ, какая прелесть! Скажи еще разъ, прошу тебя, еще разъ!

— Тебѣ нравится? Я очень радъ, сказалъ онъ и повторилъ стихи еще разъ.

— Бѣдная! воскликнулъ я:—какъ ее эта гадкая Elisabeth d'Angleterre мучила!...

— Ты не читалъ *Марію Стюартъ* Шиллера? спросилъ Вася.

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, неожиданно сконфузясь, — я изъ Шиллера знаю только *Die Glocke*. У насъ только въ городѣ нѣмецкій учитель ходитъ, объяснилъ я, считая необходимымъ извиниться.—Но я *Histoire d'Ecosse par Walter Scott* читалъ. Тамъ даже сказано: Marie Stuart, cette reine aussi illustre par ses infortunes que par le charme...

Но Вася не слушалъ моихъ извиненій. Онъ, видимо, о другомъ думалъ.

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а я какъ теперь вижу его милое лицо, его темносиніе глаза, казавшіеся еще темнѣе изъ-подъ длинныхъ его рѣсницъ, задумчиво обращенные къ небу.

— Какъ ее всѣ любили! промолвилъ онъ медленнымъ голосомъ,—сколько людей умерло за нее, а она...

— Марія Стюартъ? спросилъ я,—ну, такъ что же?

— Она своего мужа позволила убить, сказалъ еще медленнѣе и тише Вася, не глядя на облака.

— Да! а ее всѣ любили! вспомнилъ я, пораженный этой мыслью и какъ будто не читалъ уже объ этомъ, и даже очень недавно.

Топотъ, крики и смѣхъ прервали разговоръ нашъ на этомъ мѣстѣ. Мы вскочили на ноги, не понимая, что случилось. Оба мы были далеко отъ дѣйствительности въ эту минуту.

— Это турки! вскрикнулъ я первый.—Въ крѣпость, Вася, въ крѣпость скорѣе!

Но мы не успѣли и тронуться; чалмоносцы съ гикомъ окружили насъ. Бѣжать къ Сашѣ не было уже никакой возможности.

— Господа! вы военноплѣнные! закричалъ, подбѣгая къ намъ, Людвигъ Антоновичъ, который былъ очень смѣшонъ въ фуражкѣ, надѣтой козырькомъ на затылокъ и обмотанной распустившимся носовымъ платкомъ, съ какою-то погнутою и ржавою шпагой въ рукѣ.

Мы сдались безпрекословно.

— Хотите-ли, чтобъ я вамъ велѣлъ руки и ноги повязать, *дабы* предупредить бѣгство, спросилъ студентъ своимъ хладнокровнымъ и пѣвучимъ голосомъ, — или предпочитаете быть плѣнными на слово *гонору*?

— На честномъ словѣ! сказалъ я за себя и за Васю.

— Хорошо! и, обращаясь къ своему войску, произнесъ съ такимъ выраженіемъ достоинства, что всѣ мы расхохотались: —Господа, я отпускаю сихъ воиновъ на шляхетское слово! А теперь, продолжалъ онъ, не надо терять времени. Эффенди Золоторенко!

Петя, отличавшійся пучкомъ метлы, колебавшимся, въ видѣ султана, надъ его чалмой, почтительно подошелъ къ своему пашѣ.

— Я объявляю вамъ, эффенди, сказалъ тотъ,—что иду со всей арміей поражать русскаго фельдмаршала, а вамъ поручаю взять три эскадрона, то-есть три человѣка, прибавилъ онъ все такъ же торжественно, — и завладѣть симъ безпечнымъ русскимъ отрядомъ.

И онъ указалъ на лодку.

Тутъ только понялъ я, отъ чего мы такъ постыдно захвачены были въ плѣнъ непріятелемъ. Лева, на быстрыя ноги котораго Саша возлагалъ такія надежды, отъ котораго „зависѣла, такъ сказать, участь русской арміи“,— Лева ничего не видалъ и не слыхалъ изъ того, что происходило вокругъ него. *Русскій отрядъ* спалъ глубокимъ сномъ на передней скамьѣ лодки, свѣсивъ ноги за бортъ.

Студентъ повелъ свое войско по большой аллеѣ, потрясая шпагой и восклицая: Аллахъ, машаллахъ, теремъ тетемъ!

Петя, Опицкій и двое другихъ мальчиковъ кинулись къ лодкѣ.

— У! у! въ плѣнъ, въ плѣнъ, сдавайся! кричали они.

Лева проснулся, поднялъ голову и быстро вскочилъ на ноги.

— Боря, Вася, помогите, турки! кричалъ онъ, метаясь въ всѣ стороны, какъ звѣрокъ, попавшійся въ ловушку.

— Они тебѣ не помогутъ, они сами военноплѣнные, говорилъ Золоторенко:—сдавайся! вылѣзай!

— Не вылѣзу! не сдамся! кричалъ братъ, раскачивая, что было силы, лодку ногами.

— А я тебя возьму! взвизгнулъ Опицкій, уцѣпляясь за бортъ.

Лева ударилъ его по рукамъ изо всей мочи. Опицкій невольно отскочилъ.

— Придите-ка, возьмите! крикнулъ братъ, весь пылая и все болѣе и болѣе горячась.

Опицкій съ проворствомъ котенка зацѣпился опять за бортъ и, съ помощью одного изъ товарищей, поднявшаго его за ноги, вскарабкался въ лодку и схватилъ брата за волосы.

Дѣло кончилось бы непремѣнно дракой, еслибы при этомъ не случилось неожиданное происшествіе.

Лодка, раскаченная Левой и подталкиваемая мальчиками, пришла незамѣтно въ движеніе, и въ ту минуту, когда Опицкій вскочилъ въ нее, съѣхала неожиданно съ берега въ воду.

Мы всѣ вскрикнули отъ испуга, но лодка не пошла далѣе; ее удержала желѣзная цѣпь, прикрѣпленная къ колу, вбитому въ берегъ.

Опицкій быстро выскочилъ изъ нея и очутился на пескѣ благополучно; но Лева, стоявшій на самомъ носу лодки, потерялъ равновѣсіе и упалъ въ воду.

Мѣсто было не глубокое, и онъ вскочилъ на ноги прежде, чѣмъ мы успѣли броситься къ нему на помощь. Онъ вскочилъ бодро и смѣясь, но, увидя вдругъ, что съ его новой курточки льется ручьями мутная вода, а бѣлые панталоны превратились въ грязную тряпку, онъ вскрикнулъ:

— Ахъ! что будетъ мнѣ онъ m-r Керети! и залился слезами.

Въ это время показался въ аллеѣ бѣгущій опрометью Саша Рындинъ. Онъ весь, казалось, былъ огонь и негодованіе; глаза его сверкали, и издали еще онъ потрясалъ кулакомъ со злости. Да и въ самомъ дѣлѣ было ему изъ чего разсердиться: хорошо вышло его Азовское сидѣнье! Турецкая армія наскочила на крѣпость его врасплохъ, пока онъ со своимъ войскомъ, въ ожиданіи извѣстій отъ Левы, забрался подъ шалашъ и повѣствовалъ о бѣгствѣ французовъ за Бе-

резину. Людвигъ Антоновичъ, какъ разсказывали потомъ мальчики, распорядился очень ловко. Онъ вошелъ съ своими въ крѣпость тихо и незамѣтно, кинулся разомъ на шалашъ, придавилъ его, да и накрылъ такимъ образомъ разомъ все Сашино войско; а затѣмъ турки принялись таскать поодиночкѣ русскихъ воиновъ за ноги, изъ-подъ вѣтвей шалаша, какъ цыплятъ изъ корзины. Война кончилась безъ боя. Саша былъ униженъ до глубины души; онъ, говорили, чуть не рыдалъ. Внѣ себя, пылающій гнѣвомъ, онъ бѣжалъ теперь вымѣщать стыдъ своего пораженія на томъ, кого болѣе всѣхъ почиталъ виновнымъ въ немъ.

— А! а! скверный мальчишка! кричалъ онъ, добѣжавъ до берега, прерывающимся голосомъ, — такъ-то ты!... такъ-то? я тебѣ поручалъ, а ты!... погоди, погоди!

Онъ кинулся было на Леву.

— Не смѣй его трогать! закричалъ я, между тѣмъ какъ Вася, предупредивъ меня, ухватывалъ его за обѣ руки.

— Онъ упалъ въ воду! закричали въ одинъ голосъ товарищи.

— Онъ храбрый вояка! сострилъ бутузъ Золоторенко,— съ храбрости ажно въ болото полѣзъ!

Лева не обращалъ вниманія на пылъ своего военачальника; онъ только глядѣлъ на вымокшіе свои панталоны и продолжалъ плакать.

— Ну, что ты разревѣлся, дрянь эдакая! закричалъ Саша.—Перестань плакать, баба!

— Я не баба, отвѣчалъ сквозь слезы обиженный братъ,— я не баба; меня въ плѣнъ не взяли! Турки столкнули лодку въ воду, я и упалъ, а они меня не взяли.

— А зачѣмъ ты лазилъ въ лодку? говорилъ Саша: — кто тебѣ приказывалъ?...

— Оттуда было хорошо смотрѣть; только я уснулъ, отвѣчалъ братъ, захлебываясь слезами.

— Да полно же плакать, говорятъ тебѣ! кричалъ на него Рындинъ; но уже не гнѣвъ, а скорѣе то, что онъ не могъ видѣть равнодушно слезъ бѣднаго мальчика, слышалось въ его голосѣ.

— Вѣдь у меня здѣсь нѣтъ другаго платья, оправдывался Лева,—m-r Керети накажетъ меня, и въ другой разъ меня не возьмутъ въ Богдановское. Ни за что не возьмутъ, я ужь знаю! повторялъ онъ съ отчаяніемъ.

— Ничего, высохнешь на солнцѣ, сказалъ кто-то.

— Надо вымыть прежде всего панталоны въ чистой водѣ; они совсѣмъ зеленые, говорилъ другой.

— Хочешь, я ихъ надѣну? предложилъ Опицкій, — а ты мои возьми.

— Твои панталоны мнѣ до колѣнъ, отвѣчалъ братъ,—ты такой каплюшка.

— Каплюшка! фурсикъ! сусликъ! завизжали при этомъ случаѣ на Опицкаго разные голоса.

— Господа, кто-то идетъ! возгласилъ одинъ изъ мальчиковъ.

Въ большой аллеѣ показалось женское платье; оно подвигалось по направленію къ озеру.

— Бѣги, Лева, спрячься! закричалъ ему тотъ же голосъ.

— Вздоръ! воскликнулъ вдругъ Саша Рындинъ. — Что за прятанье такое! Стыдно! Лева, ни съ мѣста!

— Это тетушка, сказалъ Вася,—она идетъ сюда.

Всѣ мы, а Саша впереди всѣхъ, побѣжали къ ней навстрѣчу.

— Анна Васильевна, сказалъ онъ прямо,—мы играли въ войну; Лева упалъ въ воду. Виноватъ въ этомъ я, но онъ боится своего Керети, потому что Керети противный и не возьметъ его въ другой разъ въ Богдановское. Выручите насъ, Анна Васильевна!

— Ахъ, Боже мой, бѣдный Лева! Гдѣ онъ?

Лева глядѣлъ такимъ тощимъ и жалкимъ въ своей прилипшей къ тѣлу мокрой одеждѣ, что Анна Васильевна не могла не улыбнуться, увидя его.

— Бѣдняжечка, а какъ же ты вымочился! заботливо сказала она.—Пойдемъ скорѣе со мной.

И, не думая о томъ, что могла сама выпачкать свое платье, она обняла брата за шею и пошла къ дому.

— А глядите-жь, дѣти, говорила она, улыбаясь, — чтобы не встрѣтиться намъ съ какимъ изъ вашихъ учителей?

— Нѣтъ, имъ теперь не до того, отвѣчалъ Саша.—Булкенфрессъ имъ про Блюхера разсказываетъ и, вѣрно, все вретъ, нѣмецъ!...

— Ахъ, Саша, зачѣмъ вы это говорите? замѣтила Анна Васильевна, качая головой.

— Право, Анна Васильевна, повѣрьте мнѣ; эти французы и нѣмцы всѣ лгуны и неблагодарные. А кто спасъ Европу въ 1813 году? Россія—это всѣ знаютъ.

— Конечно, конечно, Россія; только зачѣмъ вы обижаете бѣднаго человѣка?

Между тѣмъ мы подвигались впередъ; половина сада была уже пройдена благополучно, какъ вдругъ изъ боковой аллеи вышли намъ наперекрестъ два человѣка, изъ которыхъ одинъ былъ самъ грозный Керети.

Всѣ перепугались, не исключая и Анны Васильевны. Она даже поблѣднѣла, но не потеряла присутствія духа.

— Левушка, ховайся скорѣй за меня, а вы, дѣти, становитесь кружкомъ, ко мнѣ тѣснитесь, чтобы Леву не увидали...

Мы быстро сомкнулись вокругъ нея и убавили шагу. Братъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, съежившись и наклонивъ голову, шелъ за Анной Васильевной, крѣпко держа ее за платье.

Когда мы поровнялись съ Керети и его товарищемъ, Анна Васильевна остановилась. Мы прижались еще ближе другъ къ другу. Одинъ Саша отошелъ нѣсколько въ сторону и, смѣло глядя въ лицо гувернера, бренчалъ о сапогъ саблей, которая еще висѣла у него на боку.

— Vous voilà, madame, en véritable Charité, entourée d'enfants, сказалъ галантерейный французъ, вѣжливо кланяясь хозяйкѣ.—Mais je n'y vois point un de mes élèves, промолвилъ онъ, погружая быстрый и проницательный взоръ въ нашу толпу. Où est Léon, messieurs, s'il vous plait?

— Нѣтъ его здѣсь! отвѣчалъ ему за всѣхъ Саша, отрывистымъ и рѣзкимъ тономъ.

— Niet, niet, ce n'est pas là une réponse à donner, messieurs, сказалъ обидчивый французъ, не глядя на Сашу и

обращаясь ко всѣмъ вообще.—Où est Léon, je vous le demande encore?

Бѣдный Лева въ это время судорожно дергалъ платье Анны Васильевны.

— Нѣтъ-ли его въ бесѣдкѣ, въ голубой бесѣдкѣ, тамъ? сказала она запинаясь и не смѣя двинуться, чтобы не открыть виновнаго за своей спиной.

— Et pourquoi serait-il là tout seul, madame? продолжалъ неугомонный гувернеръ, глядя ей подозрительно въ глаза. Онъ, видимо, догадывался, что дѣло не чисто.

Анна Васильевна покраснѣла. Ей было стыдно лгать, а съ другой стороны понятно было, что ее обижали эти разспросы.

— М-г Керети, а прошу же васъ, сказала она съ внезапною рѣшимостью и дрожа, такъ дорого стоила ей эта рѣшимость,—прошу же васъ, оставьте; завѣряю васъ, что Лева ничего дурнаго не сдѣлалъ. Зачѣмъ мѣшать дѣтскому веселью? на то у нихъ годы такіе...

Французъ молча и сухо поклонился ей и, повернувъ въ сторону, отправился съ товарищемъ дослушивать, вѣроятно, разсказы Булкенфресса—о Блюхерѣ, какъ увѣрялъ Саша Рындинъ.

Когда они скрылись изъ виду, Лева кинулся цѣловать свою спасительницу, а Саша подошелъ къ ней и сказалъ своимъ твердымъ и честнымъ голосомъ:

— Вы просто ангелъ, Анна Васильевна!

Добрая Анна Васильевна чуть-ли не была всѣхъ насъ счастливѣе въ эту минуту.

Дойдя до дому, она увела Леву къ себѣ въ комнату и уложила въ собственную постель, въ ожиданіи, пока вымоются и высохнутъ его панталоны и куртка. Къ обѣду онъ явился такимъ щеголемъ, что Керети даже сомнительно покачалъ головой, когда увидѣлъ его, но вѣроятно почелъ за лучшее не ставить ему вопросовъ по этому поводу, а промолчалъ, какъ бы ничего не подозрѣвая.

VI.

Вернувшись въ домъ, мы разбрелись въ разныя стороны. Вася куда-то скрылся, и такъ скоро, что я и не замѣтилъ этого въ первую минуту. Саша, все еще съ досадой на лицѣ, вслѣдствіе своихъ военныхъ неудачъ, усѣлся въ пустой залѣ, рядомъ съ курившимъ тамъ одиноко ротмистромъ Гольманомъ, командиромъ гусарскаго эскадрона, стоявшаго на квартирахъ въ Богдановскомъ. Это былъ человѣкъ уже не молодой, худой и длинный, съ длинными усами, котораго Булкенфрессъ прозвалъ „командоромъ“ за его невозмутимое хладнокровіе и молчаливость. Саша одинъ умѣлъ расшевеливать его какими-то военными разспросами.

Во всѣхъ другихъ комнатахъ играли въ карты. Петя Золоторенко усѣлся подлѣ отца своего, тучнаго и добродушнаго помѣщика съ четвероугольною лысою головой; онъ, по-видимому, жилъ съ сыномъ на самой короткой, пріятельской ногѣ,— показывалъ ему карты, совѣтовался съ нимъ и, наконецъ, послѣ какой-то неудачной сдачи посадилъ его играть на свое мѣсто.

Побродивъ одиноко по комнатамъ, я пошелъ въ гостиную, думая найти въ ней Васю. Я скучалъ безъ него; его уже не доставало мнѣ и мнѣ было досадно, чуть не обидно, что онъ ушелъ, не сказавъ мнѣ—куда. Но Васи въ гостиной не было. Нѣсколько дамъ и дѣвицъ одиноко и чинно сидѣли тамъ кружкомъ, шушукая между собой, за отсутствіемъ кавалеровъ, и посмѣиваясь изрѣдка отрывчатымъ и пискливымъ смѣхомъ.

Отдѣльно отъ нихъ, на диванѣ, у окна, помѣщалась Любовь

етровна; ее окружали человѣка четыре молодыхъ людей, военыхъ, между которыми я тотчасъ замѣтилъ ненавистнаго мнѣ ельзена.

Она сняла шляпку, шаль. Бѣлое кисейное платье съ голуыми бантами сбиралось вокругъ ея тонкой таліи такими легими, красивыми складками. Волосы вились все въ томъ же иловидномъ безпорядкѣ вокругъ ея прелестнаго лица. Она нѣ показалась чуть ли еще не моложе, чѣмъ на первый глядъ. Маленькая ея ножка въ тонкомъ сквозномъ чулкѣ окоилась, вся напоказъ, на маленькой скамейкѣ, отставленой довольно далеко отъ дивана.

Она смотрѣла по направленію къ двери, когда я вошелъ ь комнату. Глаза мои встрѣтились съ ея глазами. Я вдругъ очувствовалъ, что сердце у меня снова забилось, какъ въ еркви, что я снова краснѣю по самыя уши.

„Что же это такое наконецъ? Когда же это кончится?“ оворилъ я себѣ почти съ отчаяніемъ, быстро поворачивая азадъ. Первою мыслью моею было бѣжать, бѣжать скорѣе.

Къ моему ужасу, я услышалъ, что она зоветъ меня.

— Молодой человѣкъ, куда вы?

Я замеръ на мѣстѣ, совершенно растерявшись. Она произнесла это такъ громко, что вся гостиная обернулась на еня, а я чувствовалъ, что ноги мои просто не идутъ.

— Что же вы? сказала Любовь Петровна съ такимъ натойчивымъ и удивленнымъ выраженіемъ, что нельзя было не овиноваться и слѣдовало это сдѣлать какъ можно скорѣе.

Я перемогъ себя и подошелъ къ ней.

— Вы меня боитесь? сказала она.

Я не краснѣлъ уже, я блѣднѣлъ отъ смущенія.

— Вы меня боитесь? повторила она, смотря мнѣ въ глаза і какимъ-то мягкимъ, проникающимъ голосомъ.

Трепетъ пробѣжалъ у меня по спинѣ, но это былъ сладкій трепетъ; музыка иной разъ производила на меня это впечатлѣніе.

Я рѣшился взглянуть на нее. Она прищурилась и глядѣла на меня, откинувъ голову на бокъ и улыбаясь своею, все еще насмѣшливою и вмѣстѣ съ тѣмъ неотразимою, улыбкой.

— Нѣтъ-съ, напротивъ! вырвалось у меня неожиданно.

„Что я сказалъ!“ проносилось между тѣмъ въ головѣ моей. Руки мои холодѣли. „Зачѣмъ она на меня такъ смотритъ?“ думалъ я.

— Vous vous décidez donc enfin à être aimable! сказала она, разсмѣявшись и повернувшись ко мнѣ всѣмъ лицомъ, точно хотѣла сказать: „смотри на меня въ волю, я не мѣшаю...“

„Еслибъ она велѣла мнѣ теперь кинуться въ самую средину озера, вѣдь я бы кинулся!“ подумалъ я.

И вдругъ, по странному сближенію мысли, пришли мнѣ на память слова Васи: „Сколько людей умерло за нее!“ сказанныя имъ о шотландской королевѣ, между тѣмъ какъ я съ какимъ-то томительнымъ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя тонкій и слабый запахъ духовъ, вѣявшій отъ Любови Петровны.

— Вы познакомились съ Васей? Понравился ли онъ вамъ? спросила она меня.

— Я его люблю! вырвалось у меня громко въ отвѣтъ, а хотѣлось прибавить: и за него, и за то, что онъ вашъ сынъ!

— Уже? Какъ скоро! сказала она, разсмѣвшись и глядя не на меня, а на Фельзена.

— „Чему же она удивляется?“ спросилъ я себя, нѣсколько озадаченный. „Ничего тутъ удивительнаго нѣтъ!..“

— Въ эти счастливые годы можно безнаказанно признаваться въ своихъ чувствахъ, промолвилъ гусаръ, взглянувъ на нее глазами, засверкавшими какъ пламя.

Она отвернулась, слегка усмѣхнувшись: Фельзенъ улыбался тоже, и какою двусмысленною улыбкой!

„Еслибъ я былъ царемъ, я бы его сейчасъ же послалъ казнить!“ подумалъ я, съ ненавистью взглянувъ на него.

— Я вамъ буду очень благодарна, если вы мнѣ растормошите моего сына, сказала мнѣ Любовь Петровна. — Онъ у меня такой дикій!

— Онъ сейчасъ игралъ съ нами, отвѣчалъ я.

— А! я очень рада, разсѣянно промолвила она, поправляя бантикъ на своемъ платьѣ.—Во что же это?

— Въ войну!

— Въ войну? повторилъ Фельзенъ, смѣясь.—Узнаю моло-

даго Рындина! Онъ навѣрное былъ у васъ предводителемъ? И побѣдилъ конечно?

Я не отвѣчалъ ему.

— Такъ вы побѣдили? повторила Любовь Петровна.

— Нѣтъ-съ, насъ съ Васей въ плѣнъ взяли.

— И вамъ не стыдно въ этомъ признаваться? вмѣшался опять Фельзенъ, обращаясь ко мнѣ съ любезною улыбкой, которая показалась мнѣ крайне для меня обидною.

— Отъ чего же стыдно? Стыдно только дурное дѣлать, а я ничего дурнаго не сдѣлалъ! возразилъ я, весь вспыхнувъ, и дерзко, какъ въ церкви, взглянулъ ему въ лицо.

„На этотъ разъ не отвернешься!“ сказалъ я себѣ, торжествуя въ душѣ.

Онъ дѣйствительно не отвернулся, — взглянулъ на меня прищурясь и проговорилъ насмѣшливо: „Истина, достойная всякой похвалы!“

Я поклонился Любови Петровнѣ и пошелъ изъ гостиной Проходя мимо кружка дамъ, я съ удивленіемъ услышалъ тихо, но явственно произнесенное: „браво!“ Дамы кивали мнѣ, улыбаясь, головой; одна изъ нихъ даже зааплодировала кончиками пальцевъ. „Всѣмъ противенъ этотъ нѣмецъ“! подумалъ я, — „а онъ еще смѣетъ глупыя шуточки отпускать“.

Въ дверяхъ я услышалъ, что Любовь Петровна говорила:

— J'aime son petit air paladin.

„Отъ чего же paladin?“ сказалъ я себѣ, пожимая плечами, не чувствуя себя, впрочемъ, нисколько оскорбленнымъ этими словами: напротивъ.

Но, не смотря на эти лестныя одобренія, не смотря на то, что имѣлъ случай *отдѣлать* моего врага, и предъ *ней*, и даже услышать, что ей нравится mon petit air paladin, я въ сущности доволенъ былъ только тѣмъ, что это уже кончилось, что я не стою уже передъ нею, блѣднѣя и краснѣя подъ ея обаятельнымъ, но страшнымъ, но волнующимъ взглядомъ. „Лучше подальше“, говорилъ мнѣ внутренній голосъ, между тѣмъ какъ я еще весь трепеталъ отъ этихъ новыхъ для меня ощущеній и, за нѣсколько минутъ предъ тѣмъ, готовъ былъ кинуться въ озеро по ея первому слову.

VII.

Черезъ полчаса колоколъ на дворѣ звонилъ къ обѣду. Богунъ съ своею свитой пронесъ торжественно закуску по длинному ряду комнатъ. Изо всѣхъ угловъ подымались гости: дамы выходили изъ гостиной. Нескончаемою вереницей потянулись пары къ столу. По витой лѣстницѣ спускалась съ верхняго этажа, въ которомъ жила Галечка съ своею гувернанткой, толпа смѣющихся дѣвочекъ.

— Боря, съ утра не видались! услышалъ я подлѣ себя тоненькій голосъ сестры.—Зачѣмъ не пришелъ ты къ намъ на верхъ? мы тебя ждали. И Настя, обнимая меня, лукаво поглядывала на Галечку.—А отъ чего ты не веселъ? спросила она вдругъ, заботливо глядя на меня.—Ты здоровъ?

— Здоровъ и веселъ, ты напрасно безпокоишься, Настя! отвѣчала ей за меня Галечка, быстро взглянувъ мнѣ въ лицо своими проницательными сѣрыми глазами. Мое разсѣянное выраженіе вѣроятно не понравилось ей, потому что она тотчасъ же отвернулась и обратилась, улыбаясь, съ какимъ-то вопросомъ къ Жабину, очутившемуся подлѣ нея.

Жабинъ весь вспыхнулъ отъ удовольствія.

Надо сказать, что Жабинъ былъ моимъ соперникомъ. Онъ *обожалъ* Галечку и злобно ревновалъ ее ко всѣмъ намъ. Онъ впрочемъ ее и побаивался настолько же, насколько и обожалъ, и по цѣлымъ часамъ молчалъ, вздыхая въ ея присутствіи до тѣхъ поръ, пока она не приглашала его сказать „какіе-нибудь стишки“. Тогда онъ немедленно приходилъ въ телячій восторгъ и начиналъ вдругъ выть изъ „Фиеста“:

Цвѣти, о красота Моины,
Какъ въ утро, раннею весной,
Цвѣтутъ прелестныя долины
Благоуханной красотой, —

не замѣчая, что лукавыя дѣвочки визжали отъ смѣха, глядя на его неистовыя движенія и круглые глаза, которые въ это время закатывались у него подъ самый лобъ.

Но я уже былъ совершенно равнодушенъ къ тому, улыбается или не улыбается Галечка Жабину.

Глаза мои безпокойно слѣдили за пестрою толпой, проходившею мимо насъ.

— Не видалъ-ли ты Васю? спросилъ я моего соперника.

— Какого Васю? отвѣчалъ мнѣ Жабинъ черезъ плечо. (Вотъ что значила Галечкина улыбка!)

— Васю Лубянскаго.

— А! новаго твоего друга? хихикнулъ онъ. — У него новый другъ завелся, повторилъ Жабинъ, умильно взглянувъ на Галечку,—съ утра не разставались...

— Какъ скоро! сказала Галечка почти съ тѣмъ же лѣниво-насмѣшливымъ видомъ, съ какимъ произнесла тѣ же слова Любовь Петровна, когда я сказалъ ей, что люблю ея сына.

И, обнявъ Настю за талію, прошла въ залу, не взглянувъ на меня. Жабинъ поспѣшилъ за ними, немилосердно скрипя сапогами. Саша увѣрялъ, что онъ нарочно заказываетъ себѣ сапоги „съ курантами“.

„Elles sont toutes les mêmes, les femmes!“ сказалъ я себѣ и вслѣдъ затѣмъ подумалъ: „какія это у меня сегодня все новыя и глубокія мысли приходятъ въ голову!“

Подали супъ, а Васи все не было. Потерявъ надежду обѣдать рядомъ съ нимъ, я усѣлся подлѣ Пети Золоторенко, предложившаго мнѣ помѣститься за одинъ изъ маленькихъ столиковъ, разставленныхъ вдоль главнаго, у каждаго изъ оконъ залы. Онъ былъ накрытъ всего на три прибора и стоялъ хотя въ двухъ шагахъ отъ мѣста хозяйки, но полускрытый углубленіемъ окна.

— Тутъ тебѣ по крайности никто не будетъ въ ротъ

смотрѣть, куски твои считать, заманивалъ меня Петя. Надъ обжорствомъ его издавна смѣялись старый и малый, и онъ на этотъ разъ заранѣе пріуготовилъ себѣ мѣстечко въ тѣни, гдѣ бы никто не мѣшалъ ему накушаться въ волю, по самое горло.

Третьимъ сѣлъ къ намъ какой-то еще не старый, одутловатый господинъ, съ усами, спускавшимися ниже подбородка, и волосами скобкой на вискахъ, одѣтый въ венгерку, шитую черными лентами по груди, съ виду вообще похожій на московскаго кучера.

Послѣ перваго же блюда, онъ налилъ себѣ полный стаканъ вина и, поднявъ глаза на Петю:

— Ваше здоровье! проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ, откинулъ голову назадъ и вылилъ себѣ залпомъ стаканъ въ горло.

— И вамъ того-же! отвѣчалъ хладнокровно Золоторенко и, кивнувъ ему, выпилъ рюмку вина.

— Ты его знаешь? спросилъ я шепотомъ Петю.

— *Ни!* лаконически отрѣзалъ онъ,—не рѣчистъ онъ былъ за обѣдомъ,—и наложилъ себѣ полную тарелку перепелокъ подъ соусомъ.

— *О сей їисти мастеръ, спасиби!* раздался за нами знакомый, дребезжащій хохотъ Ѳомы Богдановича. Громкій поцѣлуй чмокнулъ на полной щекѣ Пети, въ знакъ благодарности хозяина. И, заливаясь смѣхомъ, онъ покатилъ далѣе.

Добрый Ѳома Богдановичъ! Онъ казался такъ счастливъ, ходилъ такимъ козыремъ вокругъ столовъ, будто городъ приступомъ взялъ и былъ произведенъ за это въ самый большой генеральскій чинъ. Самъ онъ не садился, не ѣлъ и не пилъ и насыщался, по пословицѣ, однимъ глядѣньемъ. Гости же Ѳомы Богдановича, хотя послѣ тяжеловѣснаго завтрака не прошло и трехъ часовъ, ѣли такъ, какъ еслибы цѣлую недѣлю предъ тѣмъ питались одною древесною корой.

Зато глубокая усталость и скука изображались на лицѣ бѣдной хозяйки. Она сидѣла на главномъ мѣстѣ, между матушкой и генераломъ, и упорно молчала,—извѣстно, не мастерица была наша добрая Анна Васильевна *занимать* го-

стей своихъ. Генералъ кушалъ за четверыхъ. Матушка, вся осунувшись въ своемъ креслѣ, осторожно прикрывала зѣвоту платкомъ. Подлѣ нея, также безмолвно, сидѣла Любовь Петровна. Пышная бѣлая роза лежала на ея тарелкѣ. Она не скидавала перчатокъ и кромѣ супа ничего не ѣла. Но на лицѣ ея скрывалась не одна скука: она казалась не то разгнѣванной, не то задумчивою, какъ-бы занятою какою-то упорною и невеселою мыслью. Я прилежно слѣдилъ за малѣйшими ея движеніями, забывъ торжественное обѣщаніе, которое далъ себѣ, садясь за столъ, обѣщаніе не глядѣть на нее и даже стараться вовсе забыть, „что она на свѣтѣ есть.“ Долго сидѣла она неподвижно, блѣдная какъ роза, лежавшая предъ ней, и къ которой она повременамъ тихо наклонялась, вдыхая ея нѣжный запахъ и какъ-бы боясь дотронуться до нея рукой. Наконецъ, она подняла глаза, разсѣянно обвела ими вокругъ стола, мелькомъ остановила ихъ на Фельзенѣ, и легкая улыбка пробѣжала по ея губамъ. „Она, кажется, смѣется надъ нимъ“, сказалъ я себѣ и самъ повеселѣлъ отъ одной этой мысли.—„А что это съ нимъ сдѣлалось? онъ будто сердится“.

И точно, Фельзенъ угрюмо сидѣлъ на противоположномъ концѣ стола и пристально глядѣлъ въ раскрытое противъ него окно, скатывая шарики изъ хлѣба разсѣянною рукой. Онъ съ самаго начала обѣда ни разу не взглянулъ на Любовь Петровну.

„Онъ на нее рѣшительно дуется! За что? И какъ онъ смѣетъ, этотъ противный гусаръ?...“

Но онъ видно смѣлъ и былъ правъ, потому что насмѣшливая улыбка скоро исчезла съ лица Любови Петровны. Слабый румянецъ заигралъ на ея безцвѣтныхъ щекахъ. Съ какимъ-то капризнымъ нетерпѣніемъ стали обрывать ея влажныя губы лепестки бѣдной розы, которою она за минуту передъ тѣмъ такъ бережно любовалась. Глаза ея оживились, и все продолжительнѣе, все настойчивѣе останавливались они на Фельзенѣ, будто хотѣла она теперь, во что бы ни стало, встрѣтиться съ его глазами, требовала отъ нихъ отвѣта на какой-то, ему одному понятный, вопросъ.

Но гусаръ не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть этого вызы-

вающаго взгляда и неподвижно и упорно продолжалъ глядѣть въ окно.

„Они точно поссорились, вотъ какъ мы съ Настей ссоримся. Онъ не хочетъ смотрѣть на нее. А она... Да какое-же ей дѣло, что онъ на нее сердится?“ спрашивалъ я себя съ тоскливою досадой. Что онъ ей? Вѣдь онъ ей чужой, она вѣдь замужемъ, у нея сынъ есть!.... Неужели...?“

И цѣлый рядъ странныхъ мыслей и увлекательныхъ образовъ внезапно запестрѣлъ въ моемъ воображеніи. Все то, что до сихъ поръ проносилось въ немъ мелькомъ, безсвязно и безслѣдно,—боязливыя догадки о чемъ-то существующемъ, но невѣдомомъ и недоступномъ мнѣ, смутныя предчувствія какихъ-то соблазнительныхъ тайнъ,—все это теперь разомъ и смѣло представало предо мною. Неожиданные вопросы тѣснились въ головѣ, загораясь мгновенно, какъ ночью огоньки надъ болотомъ. Сердце мое стремительнѣе билось, лицо горѣло...

„Нѣтъ, не хочу я объ этомъ думать!“ сказалъ я себѣ и тряхнулъ головой, чтобъ отогнать искушеніе. Меня начинали пугать мои мысли.

Ѳома Богдановичъ очутился въ это время за стуломъ племянницы.

— А что, Герасима такъ и не будетъ? спрашивалъ онъ ее.—Что онъ?

— Ничего, вѣрно спитъ, отвѣчала, какъ бы приходя въ себя, Любовь Петровна, поворачивая къ нему голову и медленнымъ движеніемъ руки откидывая волосы отъ лица.

— Спитъ? А Богъ съ вами, какое-жь тамъ спанье? Пятый часъ! А спитъ,—разбудить, просить сюда.... я велю...

— Въ его положеніи, дядюшка? сказала она тихо, пристально глядя на него и сжимая свои тонкія брови. Она походила на пчелу въ эту минуту.

— Какое тутъ положенье! прервалъ ее неугомонный Ѳома Богдановичъ.—Ему надо за здравіе новорожденной выпить! Богунъ выступалъ торжественно изъ буфета съ засмоленною бутылкой въ рукѣ.—За здравіе тетки выпить ему надо,—вотъ его положеніе! молодцевато примолвилъ Ѳома Богдановичъ.

— Важно! воскликнулъ неожиданно сосѣдъ нашъ въ вен-

геркѣ и прищелкнулъ языкомъ: слова хозяина пришлись ему, видно, по вкусу.

Любовь Петровна вся зардѣлась, живо обернулась, прищурилась и пристально взглянула на него, потомъ на Ѳому Богдановича.

— Что же вы, дядюшка, моего мужа *показывать* хотите? проговорила она рѣзкимъ, поразившимъ меня какъ фальшивая нота, голосомъ и кивнула на господина въ венгеркѣ съ невыразимымъ презрѣніемъ.

— Ѳома Богдановичъ! быстро заговорила, сидѣвшая какъ на иголкахъ впродолженіе всего этого разговора, Анна Васильевна, краснѣя и прерываясь на каждомъ словѣ,—а я думаю... зачѣмъ тревожить?... Можетъ, Герасимъ Иванычъ при такомъ большомъ обществѣ...

— Ну, ну, добре, нехай по-вашему! воскликнулъ, махая руками, Ѳома Богдановичъ.—Извѣстно, гдѣ съ бабами справиться! Вотъ я послѣ обѣда велю пѣвчимъ спѣть. Вы, можетъ, не знаете, Любовь Петровна, добрая у насъ пѣсня есть:

Чоловикъ сіе жито,
Жинка каже макъ!

И, кинувшись со всѣхъ ногъ къ генералу, которому офиціантъ подавалъ въ это время блюдо съ жаркимъ, Ѳома Богдановичъ схватилъ вилку, воткнулъ ее въ жирный кусокъ индюка и положилъ кусокъ на генеральскую тарелку.

Любовь Петровна улыбалась какою-то презрительною и горькою улыбкой...

Мнѣ казалось, этому обѣду конца не будетъ. Два часа уже длился онъ. Все говорливѣе, все шумнѣе становились гости, все суетливѣе почтенный хозяинъ. Но вотъ раздалось наконецъ хлопанье пробокъ; зашипѣло шампанское. Генералъ Рындинъ поднялся съ мѣста съ бокаломъ въ рукѣ. Съ грохотомъ отодвигая и опрокидывая свои стулья, спѣшила мужская половина общества послѣдовать его примѣру. Исправничиха, сидѣвшая противъ Саши и впродолженіе всего обѣда не сводившая съ него глазъ, вскочила также, но, увидѣвъ, что

прочія дамы не шевелились, присѣла и потомъ какъ-то очень долго и неловко усаживалась на свое мѣсто.

— За здоровье нашей многоуважаемой, всѣмъ дорогой Анны Васильевны! возгласилъ генералъ потрясающимъ басомъ. Да даруетъ ей Господь Вседержитель продолженіе утѣхъ на Маѳусаиловы годы, да утѣшится она въ своихъ внукахъ, правнукахъ и праправнукахъ! Ура, господа!

— Урра! загремѣли восторженно гости въ отвѣтъ на генеральскую рѣчь, топая ногами и стуча ножами по тарелкамъ и стаканамъ. Дамы подносили бокалы къ губамъ и кивали головами, обращая умиленные взоры сначала на генерала, потомъ на новорожденную. Исправничиха, въ избыткѣ чувствъ, утирала глаза свои салфеткой. Господинъ въ венгеркѣ залпомъ выпилъ свою рюмку, быстро провелъ ею внизъ по металлическимъ пуговицамъ своего жилета, перевернулъ ее пальцами надъ головой и грохнулъ съ размаха о каблукъ сапога; стеклю полетѣло кругомъ мелкими осколками. Мы едва успѣли остеречься съ Петей, закрывъ лицо руками. „Къ счастію! Къ благоденствію!“ раздалось со всѣхъ сторонъ „Урра, гусары!“ закричалъ неистово сосѣдъ, тараща на хозяйку круглые и красные глаза, точно принималъ ее за полковника того войска, въ которомъ, должно-быть, нѣкогда служилъ. „Многая лѣта!“ грянули пѣвчіе съ хоровъ, и въ то же самое время хоръ военной музыки, котораго никто не подозрѣвалъ до этихъ поръ, протрубилъ неожиданно туши подъ растворенными окнами залы. Это былъ сюрпризъ отъ генерала инициативѣ. Ѳома Богдановичъ кинулся къ нему, припалъ къ его груди и зарыдалъ, горячо цѣлуя его звѣзду. Гости, большіе и малые, съ бокалами въ рукахъ, сплошною стѣной двинулись на Анну Васильевну, на бѣдную, дрожавшую и растерянную Анну Васильевну, невольную виновницу и вѣчную страдалицу этихъ праздниковъ, для которой всѣ эти крики, поздравленія, туши были видимо настоящей пыткой. А торжествующій Ѳома Богдановичъ былъ глубоко убѣжденъ, что онъ всѣмъ этимъ тѣшилъ свою „голубоньку Ганну.“

Галечка стояла подлѣ матери. Она успѣла подойти къ ней раньше всѣхъ, чинно присѣсть, почтительно поцѣловать ея

уку и теперь, въ свою очередь, принимала поздравленія гос-
ей и принимала, какъ бы въ упрекъ и въ образецъ крас-
ѣвшей и конфузившейся матери, такъ свободно, съ такимъ
остоинствомъ, почти величаво, будто вѣкъ ничего иного не
ѣлала, будто такъ и родилась „губернаторшей", какъ назы-
алъ ее Ѳома Богдановичъ. Очень хорошо воспитана была
'алечка!...

Чья-то рука въ это время тихо легла мнѣ на плечо.

— Вася! вскрикнулъ я съ радости такъ громко, что ма-
ушка погрозила мнѣ, улыбаясь, пальцемъ черезъ чью-то го-
ову, наклонявшуюся въ это время надъ рукой хозяйки.

Мы подошли съ нимъ къ Аннѣ Васильевнѣ. Она тяжело
ышала, какъ бы послѣ долгой и утомительной работы. Да и
казать правду, перецѣловать человѣкъ восемьдесятъ въ жар-
ій іюльскій день—стоило любой работы.

— Ты не обѣдалъ, Вася, я тебя за столомъ не видала?
просила она, обнимая его.

— Я обѣдалъ наверху, тихо, какъ бы стыдясь, прошеп-
алъ Вася.

— Съ отцомъ? договорила Анна Васильевна.

Любовь Петровна обернулась.

— Il adore son père! примолвила она.

Что хотѣла она сказать этими словами? Лице ея уже про-
снилось, синіе глаза кротко сіяли, остановившись на сынѣ,
о выраженіе ихъ было загадочно; въ нихъ, показалось мнѣ,
ыло будто сожалѣніе или тайный упрекъ. Не такъ смотрѣла
а меня матушка въ иныя, счастливыя для меня минуты...

Вася поднялъ голову. Что-то неуловимое пробѣжало у него
а лицѣ. Онъ взялъ руку матери и поднесъ ее къ губамъ.

— Что отецъ твой? спросила она, проводя слегка рукой
о его свѣтлымъ волосамъ. И, не дожидаясь отвѣта:

— Онъ добрый мальчикъ! сказала она матушкѣ съ какою-
о несвойственною ей, казалось, задумчивостью.

Но это выраженіе тотчасъ же измѣнилось. Она увидала
еня. Прежнею веселою насмѣшкой заговорили ея глаза.

— Вы его *уже* любите, не правда-ли? спросила она, лу-
аво щурясь на меня и какъ бы ожидая, что я немедленно

покраснѣю, между тѣмъ какъ матушка, обмѣнявшись быстрымъ взглядомъ съ Анной Васильевной, смотрѣла, слегка нахмурясь, на Любовь Петровну.

— Милая maman, подумалъ я,—ей не пріятно, что меня непремѣнно хотятъ сконфузить.

Но я не сконфузился на этотъ разъ и, не отвѣчая, наклонился только въ знакъ согласія.

— Пойдемъ, сказалъ я Васѣ,—сядемъ вмѣстѣ.

Мы усѣлись кое-какъ за нашъ маленькій столикъ. Петя, увидя Васю, налилъ вина въ только-что опорожненную имъ рюмку шампанскаго и, кивая ему головой, возгласилъ:

— За ваше здоровье, графчикъ!

— Зачѣмъ вы меня такъ зовете? Я не графчикъ! сказалъ Вася, глядя съ удивленіемъ на его раскраснѣвшееся лицо и глаза, обратившіеся въ маленькія, съ трудомъ моргавшія щелки.

— Не графчикъ! А я думалъ, графчикъ! *То нехай всимъ тымъ графчикамъ лыхо буде*!

И Петя взялъ Васю за руку, нѣжно посмотрѣлъ на него; лицо его приняло пресмѣшное жалобное выраженіе, и онъ неожиданно запѣлъ вполголоса стародавнюю пѣсню:

Ой Морозе, Морозенко, славный ты козаче?

— За тобою, Морозенко, вся Украйна плаче! громко подхватилъ господинъ въ венгеркѣ, заливаясь такимъ звонкимъ хохотомъ, что онъ покрылъ собою всѣ остальные голоса, смѣхъ, восклицанія, тосты разгулявшихся гостей и что вся столовая обернулась въ нашу сторону.

— Il est impossible, ce monsieur! сказала во всеуслышаніе Любовь Петровна, обернувшись къ матушкѣ, съ безпокойствомъ смотрѣвшей на насъ.

Бѣдная Анна Васильевна вздрагивала, не отрывая глазъ отъ своей тарелки.

Угрожающимъ кустарникомъ сдвинулись густыя брови генерала Рындина. Онъ откинулся на бокъ, высматривая „невозможнаго господина“. Но невозможный господинъ сидѣлъ спиной къ большому столу и, ничего не замѣчая, продолжалъ,

красный какъ піонъ, пѣть пѣсню о славномъ Морозенкѣ. Генералъ обѣжалъ быстрымъ взглядомъ длинный рядъ столовъ и, остановившись на одномъ изъ офицеровъ, моргнулъ ему. Офицеръ поспѣшно всталъ, подошелъ къ начальнику, выслушалъ какое-то его приказаніе и затѣмъ, подойдя къ нашему сосѣду, сталъ шептать ему что-то на ухо. Господинъ въ венгеркѣ измѣнился въ лицѣ, быстро обернулся, встрѣтилъ полный грозы взглядъ генерала, прямо устремленный на него, и смолкъ, смолкъ внезапно, словно земля вдругъ провалилась подъ нимъ и полетѣлъ онъ головой внизъ, въ бездонный колодезь.

— Шампанское! провозгласилъ въ это время слуга, наклоняясь къ нему съ бутылкой.

— Прочь ступай, прочь! скороговоркой проговорилъ сосѣдъ, отодвигая бутылку одною рукой, а другою принимаясь какъ-то очень невинно собирать хлѣбныя крошки, разсыпанныя по скатерти.

Онъ казался такимъ жалкимъ и перепуганнымъ, что мнѣ даже сдѣлалось неловко, и я взглянулъ на генерала почти съ испугомъ.

— Потмотри, какъ онъ присмирѣлъ, несчастный! сказалъ я тихо Васѣ, указывая на сосѣда! — Хотѣлъ бы я знать, что это генералъ велѣлъ сказать ему?

— А то вѣрно, что онъ изъ-за стола велитъ его вывести. Онъ не церемонится, дядя! Привыкъ тамъ со своими солдатами! примолвилъ Вася, дернувъ плечомъ.

— Этотъ господинъ такой mal élevé! замѣтилъ я, съ удивленіемъ смотря на Васю. Мнѣ показалось, какъ будто онъ хотѣлъ оправдывать господина въ венгеркѣ.

— Да, отвѣчалъ онъ и безъ улыбки взглянулъ мнѣ въ лицо.—Но развѣ дядя здѣсь хозяинъ?

— Вѣдь онъ генералъ, Вася! воскликнулъ я. Это былъ, въ моихъ понятіяхъ, аргументъ неотразимый.

— Да, все равно, что ястребъ на маленькихъ птицъ, сказалъ онъ, откинулъ волосы отъ лица и задумался.

Я вспомнилъ разговоръ нашъ въ саду и задумался тоже. Меня поразили Васины слова...

VIII.

Послѣ обѣда общество перешло пить кофе на террасу, подъ старыя липы, „что еще за гетмановъ сажены, старую казачину помнятъ“, какъ выражался Ѳома Богдановичъ, гордившійся ими чуть-ли не столько же, сколько своими пѣвчими. Подъ ихъ непроницаемою тѣнью вѣчно вѣяло душистою прохладой. Дерновыя скамьи, убитыя вокругъ ихъ могучихъ стволовъ, и широкій, съ подушками, ковровый диванъ, подъ холстиннымъ навѣсомъ, расположенный вдоль стѣны дома, такъ и манили къ покою и дремѣ. Насыщенные гости не заставили себя долго ждать. Напившись кофе и размѣстившись, кто какъ счелъ удобнѣе, большинство ихъ захрапѣло тутъ же, не смущаясь ложнымъ стыдомъ. Иной свѣсилъ голову на плечо, не то на грудь сосѣда; другой присвистывалъ и причмокивалъ, точно еще сидѣлъ за столомъ, въ ожиданіи сладкаго блюда; у третьяго съѣхала голова съ подушки, и онъ впросонкахъ вздрагивалъ и бормоталъ какія-то сердитыя междометія. Самъ генералъ не выдержалъ. Онъ сидѣлъ подлѣ хозяйки, прислонясь спиной къ дереву, и долго отдувался, топыря усы и усиленно моргая бровями, пока наконецъ довольно явственное мычаніе не засвидѣтельствовало, что снотворная власть именинnаго обѣда не щадитъ даже и высокаго чина.

Вслѣдъ за этимъ событіемъ настала глубокая тишина; Ѳома Богдановичъ присѣлъ въ первый разъ съ утра и тотчасъ же заснулъ, невинно сложивъ коротенькія ручки на животѣ. Офицеры, до этого громко болтавшіе съ дамами, заго-

ворили вдругъ шепотомъ, вѣроятно боясь потревожить покой начальника. Веселыя собесѣдницы ихъ закрывали платками румяныя губы. А миссъ Пинкъ, давно уже взиравшая съ негодованіемъ на этихъ отвратительныхъ мужчинъ, осмѣлившихся заснуть при дамахъ, воспользовалась случаемъ увести воспитанницу свою и ея подругъ подальше отъ такого безобразія. Она предложила имъ идти гулять на озеро.

— Les Messieurs, ils peuvent venir aussi, промолвила она, проходя мимо толпы мальчиковъ, окружавшихъ, по обыкновенію, Сашу.

— Очень намъ нужно гулять съ тобой, англійскій попугай! пробормоталъ ей вслѣдъ Саша (миссъ Пинкъ, по случаю праздника, одѣлась въ зеленое платье, съ желтымъ платочкомъ кругомъ шеи и красными гвоздиками въ волосахъ.)— Бѣгомъ ребята, въ чехарду играть!

Всѣ кинулись за нимъ.

— Тебѣ хочется въ чехарду? спросилъ меня Вася. Мы сидѣли съ нимъ рядомъ на скамьѣ, въ сторонѣ отъ прочихъ товарищей.

— Нисколько, отвѣчалъ я. — Довольно съ меня и утренней войны.

— Такъ, хочешь, я тебя познакомлю съ отцомъ моимъ? Онъ долженъ быть въ саду: его повезли гулять. Пойдемъ къ нему!

— Къ отцу твоему? Пойдемъ, пойдемъ, Вася! воскликнулъ я порывисто.

— Онъ меня полюбилъ, этотъ милый мальчикъ! говорилъ я себѣ съ восторгомъ, закидывая руку вокругъ Васиной шеи. И мы побѣжали, обнявшись, въ глубину сада, по длинной и темной кленовой аллеѣ.

Аллея приводила къ довольно обширной, круглой площадкѣ, среди которой пестрѣлъ, благоухая, роскошный цвѣтникъ. Это мѣсто извѣстно было въ Богдановскомъ подъ названіемъ „пріюта Анны Васильевны“. Она любила просиживать здѣсь одна по цѣлымъ часамъ.

Подлѣ цвѣтника стояла теперь колясочка, или, вѣрнѣе, стояло кресло о двухъ колесахъ, уложенное подушками, а въ

немъ сидѣлъ, въ большой соломенной шляпѣ, довольно тучный человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, съ почти прозрачнымъ, отекшимъ лицомъ и ногами, закутанными до пояса въ большое шерстяное одѣяло. Блѣдныя опухшія руки лежали безъ движенія на его колѣняхъ. То былъ отецъ Васи. Старый слуга, какъ лунь сѣдой, нагнувшись къ травѣ, набиралъ резеды и маргаритокъ и очень искусно подвязывалъ ихъ къ пышному букету изъ розъ и душистаго горошка. Глаза больнаго прилежно слѣдили за его работой.

То были большіе, темные, странные глаза. До сихъ поръ не могу забыть ихъ необычайнаго выраженія. Какъ въ надписи, случайно сохранившейся всецѣло на обрушенномъ памятникѣ, въ нихъ сосредоточивалась, казалось, вся жизнь, весь смыслъ жизни, покинувшей это омертвѣлое тѣло. Въ глубокой впадинѣ ихъ горѣли зоркіе, подвижные зрачки и въ нихъ говорила скорбная, но неизсякнувшая и дѣятельная мысль. „Ничего не понимаетъ!“ вспоминались мнѣ слова Любови Петровны. Нѣтъ, эти глубокіе, говорящіе глаза должны были все видѣть, все понимать: Вася былъ правъ!

Мы подошли къ больному.

Онъ поднялъ голову, живо взглянулъ на Васю, потомъ на меня и затѣмъ остановилъ на сынѣ продолжительный взглядъ, видимо полный вопросовъ.

— Мы недавно изъ-за стола, поспѣшилъ отвѣчать на нихъ Вася:—всѣ, и maman, на террасѣ, кофе пьютъ. А это Борисъ Л., промолвилъ онъ, взявъ меня за руку и подводя къ отцу: — онъ добрый, папа; тетушка Анна Висильевна его очень любитъ.

Блѣдныя губы больнаго зашевелились; послышался какой-то смутный лепетъ, прошипѣли надорванные, безсмысленные звуки и тотчасъ смолкли. Безобразная складка, что-то похожее на отчаянную, безнадежную улыбку, искривила эти безсильныя уста. Но чудесные глаза сказали свое. Они обнимали однимъ нѣжнымъ взглядомъ и меня, и Васю; они такъ явственно говорили мнѣ: „Да, я вижу, ты добрый; полюби же моего Васю!“

Я отвернулся, боясь заплакать.

— Дай ему руку; онъ хочетъ, чтобы ты ему руку далъ, шепнулъ мнѣ Вася.

Больной не покидалъ меня глазами.

Дрожащіе пальцы его правой руки слабо шевелились, какъ бы ища чего-то.

Я взялъ эту бѣдную, немощную руку и, повинуясь неудержимому влеченію, прильнулъ къ ней губами.

Я не успѣлъ поднять головы, какъ Вася обнялъ ее обѣими руками и крѣпко прижалъ къ груди своей. Это пришлось очень кстати: я былъ растроганъ и сконфуженъ въ одно и то же время и не зналъ, куда дѣть пылающее и влажное лицо мое.

— А я замѣчаю, тебѣ лучше, папа, началъ весело Вася.— Пальцы твои оживаютъ, ты ими теперь уже двигать можешь. Правда, папа, лучше тебѣ?

— Да, сказали улыбаясь глаза больнаго.

— Вотъ видишь! Въ деревнѣ ты совсѣмъ выздоровѣешь.

Больной вздохнулъ. Глаза его отуманились.

— Выздоровѣть я не могу, говорили они.

— Полно, полно грустить, папа, выздоровѣешь, непремѣнно, я тебѣ говорю... Что это ты такъ стараешься, Савелій? спросилъ Вася, обращаясь къ старому слугѣ.

— Батюшки вашего фантазію сполняю, Василій Герасимычъ, веседо отвѣчалъ тотъ, разгибая спину и вертя во всѣ стороны букетъ, оказавшійся огромнымъ.—Жаль-отъ, примолвилъ онъ, — травки подходящей не найти, въ обертку, значитъ, пустить, трафаретомъ. А впрочемъ, ничего-съ, живетъ и такъ!

И, самодовольно улыбаясь своему произведенію, старикъ бережно положилъ букетъ на колѣни своего барина, между недвижныхъ рукъ его.

— Тебѣ цвѣтовъ захотѣлось, папа? спросилъ Вася.

Губы больнаго беззвучно зашамкали. Онъ взглянулъ на сына своимъ говорящимъ взглядомъ.

Сынъ понялъ.

— Для мамы? спросилъ онъ.

— Да, отвѣчали глаза.

— Хочешь, я ей отнесу?

Больной тревожно замоталъ головой. Пальцы его слабо сжались вокругъ стеблей букета, какъ бы желая защитить его.

— Ты самъ хочешь отдать? спросилъ Вася съ какимъ-то грустнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ.

— Самъ хочу! говорили глаза и обернулись на Савелья.

Старикъ всталъ за спинку кресла, взялся за ручки.

— Мама на террасѣ, тамъ теперь тьма народу, тихо замѣтилъ Вася.

— Везите меня! отвѣчалъ упорный взглядъ его отца.

Савелій взглянулъ мелькомъ на Васю, вздохнулъ, поплевалъ на руки и тихо покатилъ больнаго по направленію дома.

Молча шли мы рядомъ съ Васей за этою колясочкою, тяжело скрипѣвшею по крупному песку. Урывками доносились до насъ далекій гамъ и хохотъ товарищей, игравшихъ въ чехарду подлѣ крѣпости. Писклявые голоса дѣвочекъ, птичій щебетъ миссъ Пинкъ прозвучали гдѣ-то недалеко. Изъ боковыхъ дорожекъ выходили группы дамъ и офицеровъ, громко смѣясь и болтая. Но, при встрѣчѣ съ нами, все это смолкало мгновенно; пугливое недоумѣніе изображалось на лицахъ гуляющихъ, и съ обидною осторожностью спѣшили они пройти мимо больнаго, какъ бы озадаченные непріятно его неожиданнымъ и непрошеннымъ появленіемъ.

„Точно съ покойникомъ встрѣчаются!“ подумалъ я, взглянувъ на Васю.

Глаза его темнѣли; онъ кусалъ губы и хмурился. Онъ видимо страдалъ.

Больной, казалось, ничего не замѣчалъ. Онъ не отрывалъ глазъ отъ своихъ цвѣтовъ. Но вдругъ онъ встрепенулся, зашамкалъ губами, залепеталъ.

— Поторопись, Савелій, сказалъ Вася, не покидавшій отца глазами.

— Неловко вамъ, Герасимъ Иванычъ? спросилъ заботливо старикъ, наклонясь къ нему черезъ спинку кресла.

Больной нетерпѣливо задвигался.

— Онъ маму видитъ, объяснилъ тихо Вася.

— Гдѣ же это онѣ? спросилъ Савелій, озираясь.

Въ одной изъ боковыхъ аллей, между деревьевъ, бѣлѣло женское платье. Сверкавшіе глаза больнаго указывали въ эту сторону. Онъ раньше всѣхъ узналъ Любовь Петровну. Онъ словно какимъ-то чутьемъ угадалъ ея близкое присутствіе.

Савелій дернулъ плечомъ и повернулъ кресло вправо.

IX.

Она сидѣла на скамьѣ, блѣдная и недвижная, прислонясь головой къ дереву, опустя глаза и руки. Густая кленовая вѣтвь тихо качалась надъ ней, и, сквозь ея лапчатые листья, вечерній свѣтъ обливалъ ее всю узорнымъ и трепетнымъ сіяніемъ.

Красавица была не одна. Подлѣ нея, за деревомъ, небрежно прислонясь къ нему плечомъ, стоялъ Фельзенъ, неизбѣжный Фельзенъ; на первыхъ порахъ я не замѣтилъ его. Въ немъ, повидимому, не оставалось уже ни тѣни того угрюмаго расположенія, съ которымъ онъ, во время обѣда, такъ упорно избѣгалъ взгляда Любови Петровны. Теперь онъ весь сіялъ, казалось. Острые зубы сверкали изъ-подъ приподнятыхъ усовъ; онъ улыбался съ какою-то гордостью, будто только что вернулся побѣдителемъ изъ сраженія.

„Они помирились, она ему простила, противный гусаръ!...“ И мнѣ сдѣлалось вдругъ невыразимо грустно.

— Votre mari! услышалъ я голосъ Фельзена.

Она вскинула голову, какъ бы просыпаясь, взглянула кругомъ. Колясочка быстро приближалась. Тоскливое напряженіе изобразилось на лицѣ сидящаго въ ней больнаго. Онъ также увидалъ Фельзена. Его большіе глаза горѣли, горѣли болѣзненно, быстро перебѣгая отъ гусара къ женѣ. Но Савелій прибавилъ шагу, подвезъ кресло прямо къ скамьѣ, занимаемой Любовью Петровной и, круто повернувъ его, изловчился такъ, что спинка кресла пришлась какъ разъ къ мѣсту занимаемому

Фельзеномъ у дерева, чуть не сбивъ съ ногъ гусара на поворотѣ. Онъ едва успѣлъ посторониться.

— Откуда вы? спросила сына Любовь Петровна. Голосъ ея слегка дрожалъ, глаза безпокойно озирались.

Больной въ свою очередь тревожно шевелился въ своемъ креслѣ. Онъ видимо старался повернуть голову. Крупныя капли пота выступили у него на лбу.

Фельзенъ стоялъ уже въ сторонѣ, за его спиной, и изподлобья глядѣлъ на Савелья, хладнокровно отиравшаго лысину свою платкомъ, сжатымъ комомъ въ кулакѣ.

— Папа привезъ вамъ букетъ, отвѣчалъ Вася, не глядя на мать.

„Къ чему? Она его въ кусты броситъ, этотъ бѣдный букетъ!“ подумалъ я печально.

— Мнѣ? Почему же именно мнѣ? повторила Любовь Петровна со слабою улыбкой. — Votre père vous l'a-t'il dit? промолвила она какъ бы шутя.

— Папа говорить не можетъ, вы это знаете! отвѣчалъ также по-французски Вася и, поднявъ голову, взглянулъ прямо въ глаза матери.

Блѣдное лицо ея покрылось слабымъ румянцемъ. Она отвела волосы отъ лица и изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ взглянула на мужа.

Онъ глядѣлъ на нее теперь не отрываясь—и какъ глядѣлъ! Жадно, страстно и безнадежно.

Пальцы его дрожали, тщетно силясь приподнять букетъ съ колѣней.

— Прими его, прими, мой бѣдный подарокъ! казалось мнѣ, говорили его влажные глаза.—Я ничего уже болѣе не могу для тебя!...

Лицо Любови Петровны измѣнилось. Поникшіе глаза ея загорались, безцвѣтныя губы алѣли. Она встала и наклонилась къ мужу.

— Благодарю, другъ мой, сказала она тихимъ голосомъ. Вася стремительно кинулся къ ней и обнялъ ее...

— Савелій, заговорила она торопливо,—ты, кажется, балуешь своего барина: въ саду сыро; я боюсь...

— Ничего-съ, сегодня имъ хуже не будетъ, отвѣчалъ старикъ, глядя на нее полуугрюмымъ, полублагодарнымъ взглядомъ.

— Нѣтъ, все лучше домой вернуться; я буду спокойнѣе. Пойдемъ, я помогу тебѣ везти, примолвила усмѣхаясь Любовь Петровна, протягивая руку къ креслу.

— Помилуйте, матушка, чтой-то безпокоиться изволите? возразилъ Савелій, ухватываясь за ручки, съ явнымъ намѣреніемъ не допускать ее.—Не извольте сомнѣваться, довезу; не впервой, слава-те Господи!

— Нѣтъ, нѣтъ, я пойду съ вами, посмотрю, какъ ты барина устроилъ на новомъ мѣстѣ, сказала она поспѣшно.—Да и надо букетъ вашъ въ воду поставить, добавила она, улыбаясь мужу.

Его глаза такъ и потонули въ ея глазахъ. „Боже мой, какъ онъ ее любитъ!“ сказалъ я себѣ и невольно отвернулся. Въ этомъ пожирающемъ взглядѣ было что-то такое, отъ чего вся кровь подымалась мнѣ въ голову.

Колясочка покатилась снова и вскорѣ исчезла за большимъ кустомъ бузины. Легкою поступью удалялась за нею Любовь Петровна съ сопровожденіи Васи.

Ни она, ни онъ ни разу не оглянулись. Одинъ больной, показалось мнѣ, все еще силился повернуть голову назадъ.

„Мнѣ-то могъ бы Вася хоть слово сказать!“ подумалъ я не безъ досады, смотря имъ въ слѣдъ.

— Не правда-ли, заговорилъ вдругъ неожиданно чей-то голосъ,—не правда-ли, молодой человѣкъ, какая это была сейчасъ трогательная семейная сцена?

Фельзенъ стоялъ передо мной, крутя усы и улыбаясь такою недоброю улыбкой, что у меня опять сжалось сердце.

Но ненависть моя къ нему превозмогла,—я смѣло поднялъ на него глаза.

— Не знаю, какъ кому, а мнѣ не смѣшно это ничуть, отвѣчалъ я.

Я думалъ такъ и срѣзать его этимъ отвѣтомъ.

Фельзенъ хихикнулъ и, пронзя меня насквозь своимъ дерзкимъ взглядомъ:

— Вы, кажется, влюблены въ M-me Loubianski, молодой человѣкъ, прошипѣлъ онъ.—Это, конечно, очень похвально и хорошій вкусъ вашъ доказываетъ. Только вы понапрасну стараетесь; вы могли сами сейчасъ убѣдиться,—M-me Loubianski боготворитъ своего супруга!

Это былъ неожиданный и мѣткій отпоръ. Я такъ и онѣмѣлъ, руки застыли; на сердцѣ ныло до тошноты неодолимое отвращеніе. Разъ какъ-то вечеромъ, въ саду, летучая мышь задѣла меня по лицу своимъ холоднымъ, голымъ крыломъ. Это было то же ощущеніе.

„Какъ смѣлъ онъ, какъ смѣлъ этотъ противный человѣкъ"! думалъ я въ отчаяніи. „Что я сдѣлалъ, чѣмъ я показалъ?... Я краснѣлъ, это правда... Но съ какого права, наконецъ, этотъ ненавистный офицеришка..."

И слезы первой обиды, перваго стыда, немощныя и жгучія слезы полились внезапно по моему лицу.

Я рванулся тогда впередъ, не помня себя...

Но Фельзена уже не было. Султанъ его развѣвался широко по вѣтру въ большой аллеѣ. Онъ шелъ къ дому быстрыми шагами.

„Онъ еще подумалъ бы, что я ему завидую. Нечему завидовать!" сказалъ я себѣ, очнувшись отъ перваго порыва и находя въ этой мысли какое-то тайное утѣшеніе.

Долго стоялъ я на томъ же мѣстѣ, перебирая въ головѣ разные планы мщенія, одинъ другаго свирѣпѣе и безпощаднѣе. Но, къ моему горю, всѣ они тотчасъ же оказывались ровно никуда негодными. Всѣ они первымъ условіемъ требовали равенства въ положеніи; а я, по неволѣ, долженъ былъ сознаваться, что „въ нашемъ отечествѣ" не возможенъ бой между мною и „большимъ человѣкомъ", что, если я оскорблю Фельзена какимъ нибудь „ловко-придуманнымъ словомъ", меня накажутъ какъ мальчика, оставятъ безъ обѣда или запрутъ въ комнатѣ, а потомъ m-r Керети будетъ пилить меня цѣлыя сутки сряду и называть при всякомъ случаѣ polisson и malheureux,—а Фельзенъ все-таки не будетъ драться со мною на шпагахъ (мнѣ почему-то сдавалось, что на шпагахъ я непремѣнно убью [illegible], оставалось одно средство: спря-

таться за дерево и, когда онъ пройдетъ мимо, выстрѣлить изъ пистолета прямо ему въ сердце. Но, какъ ни былъ я оскорбленъ, а чувствовалъ однако, что никогда не былъ бы способенъ на такое мщеніе.—„Ce n'est pas noble!“ говорилъ я себѣ, вздыхая.

„Я дождусь“, рѣшилъ я наконецъ, нѣсколько успокоившись, „дождусь своего! Не все-же мнѣ быть „мальчишкой!“ Онъ мнѣ дорого заплатитъ за то, что осмѣлился...“

Я не повторилъ тѣхъ словъ, за которыя именно Фельзенъ долженъ былъ такъ дорого заплатить мнѣ. Но тѣмъ назойливѣе скребли они у меня на сердцѣ. „Трогательная семейная сцена“, какъ выражался гусаръ, не выходила у меня изъ головы. Мнѣ все представлялась Васина мать, подъ деревомъ, озаренная вечернимъ сіяніемъ, и потомъ этотъ алчный и безнадежный взглядъ ея полумертваго мужа, между тѣмъ какъ въ душѣ моей шевелилось какое-то ѣдкое чувство раскаянья и стыда...

X.

— Борисъ! Боря! гдѣ ты? Ау! внезапно раздались невдалекѣ голоса, визжавшіе на всѣ лады, какъ септакордъ на разстроенномъ фортепіано.

Я откликнулся.

Шумная толпа дѣвочекъ и мальчиковъ выбѣжала мнѣ на встрѣчу изъ-за кустовъ. Чинная миссъ Пинкъ выступала за ними.

— А! вотъ онъ, вотъ онъ! Что ты пропалъ? Гдѣ ты былъ? Зачѣмъ ты одинъ? кричали они.

— Пойдемъ скорѣе, Боря, говорила Настя.—Maman насъ ждетъ; она сказала, мы сейчасъ домой поѣдемъ.

— Настенька, душенька, упроси твою maman остаться! обратилась къ ней Галечка, обнимая ее, и съ выраженіемъ приличной печали на лицѣ.

— Не уѣзжай отъ сихъ прекрасныхъ мѣстъ!... началъ импровизировать Жабинъ при сей вѣрной оказіи.

— Пожалуйста, безъ фамильярностей, m-r Жабинъ! воскликнула Настя, обидясь.—Какъ вы смѣете называть меня *ты!*

— Я не виноватъ, отвѣчалъ онъ, обидясь въ свою очередь,—что вы до сихъ поръ не знаете, что въ поэзіи всегда говорятъ *ты!*

И онъ, прищурясь, взглянулъ на невѣжду Настю сверху внизъ, точно съ высокаго дерева птица на темную букашку, ползущую въ травѣ.

Настя открыла было ротъ отвѣчать ему, но находчивая Галечка поцѣловала ее въ это время въ самыя губы. Настя разсмѣялась и только плечами пожала.

„Боже мой, какъ онъ смѣшонъ, этотъ Жабинъ, какія у него жалкія ребяческія чувства!“ думалъ я, не подозрѣвая, что въ этомъ случаѣ я былъ гораздо смѣшнѣе и достойнѣе сожалѣнія Жабина. Я гордился въ сущности тѣми *неребяческими* ощущеніями, которыя въ то же время заставляли меня въ глубинѣ души стыдиться и краснѣть.

— А я игралъ въ чехарду и всѣхъ перескакалъ, а Піотра Золоторенка въ *пьясекъ* свалилъ, лепеталъ между тѣмъ Опицкій, скача козликомъ вокругъ меня.—Для чѐго, для чѐго ты не игралъ? приставалъ онъ.—Саша такій *злобный* былъ, что насъ мало играли!

— Какъ это Сашѣ не надоѣстъ эта вѣчная возня! фыркнулъ Жабинъ.—Все у него игры, да игры на умѣ! Пора бы, кажется, о чемъ-нибудь дѣльномъ подумать!

И онъ взглянулъ на Галечку. Эта фраза имѣла видимо цѣлью произвести на нее эффектъ. Но приличная Галечка едва улыбнулась. За то Опицкій вдругъ завозился на мѣстѣ, защелкалъ, затопоталъ. „У! у!“ началъ онъ, указывая пальцемъ на Жабина, и запѣлъ, пристукивая въ ладъ ногами, на голосъ столь извѣстной въ то время мазурки Хлопицкаго, какія-то безтолковыя, полу-русскія, полу-польскія слова, что-то въ родѣ слѣдующаго:

А сегодня поутру, на войнѣ,
Жабинъ хлопалъ себя въ грудь
Кулакомъ, кулакомъ,
И ревелъ какъ бугай,
Что онъ саблей все возьметъ,
А паша ему сказалъ:
Отъ чахотки не умрешь,
Лжешь ты, Жаба, все ты лжешь!

Дѣвочки завизжали отъ смѣха.

— Что такое? что это значитъ? спрашивали онѣ, между тѣмъ какъ миссъ Пинкъ съ испугомъ обводила всѣхъ взглядомъ и махала руками, чтобъ Опицкій пересталъ.

— Презрѣнье—мой отвѣтъ на дерзкія слова! декламировалъ тѣмъ временемъ Жабинъ, величественно махая правою рукой. (У него готовы были стихи изъ Озерова на всѣ случаи жизни).

Опицкій, разумѣется, не понялъ и высунулъ ему языкъ.

Настя нетерпѣливо топнула ногой.

— Да пойдемте же, пойдемте скорѣе, mesdames! вѣдь намъ надо сейчасъ домой ѣхать!

— Прощай, Богдановское! заговорилъ вслѣдъ за ней печально и тихо Лева.

Со времени злополучнаго событія съ его панталонами, это было чуть-ли не первое выговоренное имъ слово. Благонравіе его доходило до умилительныхъ размѣровъ.

Матушка съ Анной Васильевной ждали насъ на террасѣ.

— Ну, дѣти, сбирайтесь скорѣе, поздно, домой пора. Лева, ты поѣдешь съ М-г Керети, примолвила матушка,—ступай, онъ тебя ждетъ.

Лева заморгалъ глазами: онъ, видно было, хотѣлъ что-то сказать, но не рѣшился и только кинулся въ объятія Анны Васильевны, восклицая съ такимъ забавнымъ отчаяніемъ: прощайте, прощайте, Анна Васильевна! что всѣ невольно разсмѣялись.

Галечка, съ выраженіемъ глубокаго сожалѣнія на лицѣ, и не отымая руки отъ Настиной таліи, стала упрашивать матушку остаться переночевать въ Богдановскомъ. Но ей отвѣчали, что „хорошенькаго понемножку, что въ Богдановскомъ насъ и безъ того слишкомъ балуютъ, что насъ къ завтраму ждутъ уроки“ и пр.

Галечка не настаивала, наклонила голову и слегка вздохнула. И все это такъ мило, такъ прилично!

Не такъ легко было матушкѣ отдѣлаться отъ неотвязчивыхъ просьбъ Ѳомы Богдановича. Услыхавъ стукъ нашихъ экипажей у крыльца, онъ выскочилъ изъ-за картъ, поймалъ ее на лѣстницѣ и неотступно убѣждалъ остаться ночевать, а не ночевать, такъ ужинать, а не ужинать, такъ фейерверкъ посмотрѣть, ну, а не то, такъ хоть чай откушать по крайней мѣрѣ. Въ противномъ случаѣ онъ ногой не ступитъ въ Тихія Воды. И такъ уже Михайло Борисовичъ, то-есть батюшка, обижаетъ его очень, никогда у него не бываетъ, а между тѣмъ, кажется, всей губерніи извѣстно, какъ Ѳома Богдановичъ уважаетъ Михайла Борисовича и матушку и все наше семейство, и что грѣшно намъ обижать его, и что онъ

велитъ лошадей нашихъ выпречь, кучеровъ въ ледникъ запретъ...

Матушка осталась непреклонною.

Ѳома Богдановичъ чуть не плакалъ, но дѣлать было нечего; притомъ его звали къ картамъ. Перецѣловавъ всѣхъ насъ по нѣскольку разъ и выторговавъ у матушки обѣщаніе пріѣхать въ слѣдующее воскресенье, онъ побѣжалъ отдать какое-то напутственное наставленіе нашимъ людямъ.

— Какъ я васъ понимаю! говорила въ это время бѣдная Анна Васильевна матушкѣ. — У меня такъ голова ломитъ, что я едва стою, а тутъ еще фейерверкъ предстоитъ!...

Матушка сидѣла уже въ каретѣ, какъ вдругъ съ крыльца сбѣжалъ весь запыхавшійся Вася.

Я очень обрадовался. Я уже было совсѣмъ потерялъ надежду увидѣть его еще разъ.

— Вы уѣзжаете? такъ скоро? Прощай, Борисъ; когда-же мы увидимся? говорилъ онъ, протягивая мнѣ руки.

— Я слышала, вы на все лѣто пріѣхали въ Богдановское, отвѣчала ему за меня матушла изъ кареты.—Надѣюсь, васъ отпустятъ къ Борису въ Тихія Воды?

— Ахъ! какъ бы я хотѣлъ, какъ бы я хотѣлъ! воскликнулъ онъ.—Только не знаю... Ты *его* видѣлъ, сказалъ онъ мнѣ, понижая голосъ.—Можно ли его оставить...

— Онъ не останется одинъ, возразилъ я,—Анна Васильевна, повѣрь, такъ будетъ за нимъ ходить...

— Конечно, тетушка Анна Васильевна... Онъ пріостановился... И maman тоже, поспѣшилъ онъ прибавить, взглянулъ на меня и слегка смѣшался. Я постараюсь, непремѣнно постараюсь пріѣхать; благодарю васъ за приглашеніе, сказалъ онъ, кланяясь матушкѣ. И, обнявъ меня:—я у тебя въ долгу, Борисъ, примолвилъ онъ мнѣ на ухо.

— За что въ долгу? спросилъ я его съ удивленіемъ.

— За *него!* Ты съ нимъ добрый такой былъ; я этого никогда не забуду.

Я кинулся ему на шею. Мы крѣпко, крѣпко поцѣловались.

— Какой онъ, сдается мнѣ, славный мальчикъ! сказала матушка, когда я усѣлся противъ нея, и карета наша трону-

лась.—И какъ онъ хорошъ собой! примолвила она, любуясь Васей.

Онъ стоялъ на крыльцѣ, тонкій и стройный какъ молодая верба. Вѣтеръ слегка раздувалъ его кудрявые волосы. Онъ тихо улыбался, провожая насъ глазами...

Мы выѣхали за ограду.

— Ты, кажется, Борисъ, очень подружился съ нимъ? начала матушка, когда Вася скрылся изъ виду.

— О да, maman! еслибы вы знали, какой онъ милый! Я и съ отцомъ его познакомился. Вотъ ужь можно сказать, несчастный человѣкъ, maman!

— Да, я его видѣла; мы къ нему ходили съ Анной Васильевной. Именно несчастный: въ его годы, въ такомъ положеніи! Я бы не узнала его. А онъ меня узналъ, къ моему удивленію.

— Вы вѣрно по глазамъ его это замѣтили, maman?... У него удивительные глаза. А вы были знакомы съ нимъ еще прежде?

— Я помню его еще молодымъ человѣкомъ, до его женитьбы, отвѣчала матушка и вздохнула слегка.

— Какъ онъ жену свою любитъ! воскликнулъ я невольно, подъ живымъ впечатлѣніемъ сцены въ саду.

— Ты почему знаешь? быстро спросила матушка.

Я покраснѣлъ до ушей и, запинаясь, принялся разсказывать объ эпизодѣ съ букетомъ. О Фельзенѣ я не упомянулъ ни единымъ словомъ.

А между тѣмъ я чувствовалъ такую жажду разсказать все, все матушкѣ; меня такъ терзала мысль, что въ первый разъ въ жизни я таюсь отъ нея. Но я не могъ, рѣшительно не могъ! Да и тутъ же третьей была насмѣшница Настя; нѣтъ, я бы, кажется, скорѣе согласился умереть, чѣмъ сказать *все*.

Матушка молча слушала, пристально глядя на меня.

— Она очень красива! медленно проговорила она наконецъ.

— Кто, maman? спросилъ я, хоть очень хорошо понималъ, кто...

— Лубянская, Любовь Петровна, мать твоего пріятеля. Или она тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, нравится, едва могъ я выговорить. „О, еслибъ я только смѣлъ сказать, въ чемъ меня обвиняютъ!“ думалъ я съ тоской.

— Она удивительно хороша для своихъ лѣтъ, продолжала матушка.

— А она развѣ стара?

— Да, она тремя-четырьмя годами моложе меня, не болѣе: ей должно быть тридцать два-три года. А посмотрѣть на нее— молоденькая дѣвчонка.

— Я ее въ церкви за сестру Васи принялъ, maman.

— И не ты одинъ. На мать взрослаго сына она не похожа. Свѣжа, какъ въ семнадцать лѣтъ, весела, голосъ молодъ, готова до сихъ поръ глазки дѣлать встрѣчному и поперечному, сказала матушка какъ-то вскользь и слегка сжавъ брови.

— Maman, знаете что? заговорила неожиданно Настя, все время молчавшая до этого.—Я увѣрена, que cette dame дѣлала глазки Борѣ!

— Отъ чего ты увѣрена? живо обернулась на нее матушка.

— Потому что онъ былъ такой гадкій сегодня съ Галечкой. Вообразите себѣ, онъ хоть бы слово сказалъ ей во весь день!

— Ну, твоя Галечка, начала матушка и пріостановилась.— C'est une petite pécore! договорила она, засмѣявшись.

Настя открыла большіе удивленные глаза, вздохнула, прижалась въ уголъ кареты и тутъ же заснула крѣпкимъ сномъ.

Матушка съ улыбкой взглянула на нее, потомъ на меня и, прислонясь головой къ другому углу:

— Такъ какъ же, Борисъ, сказала она насмѣшливо:—хороша по твоему Любовь Петровна?

То была, я помню, какая-то неизъяснимо сладкая для меня минута. Этою шуткой матушка какъ бы отпускала мнѣ тѣ вины, въ которыхъ я сознавался въ глубинѣ души.

— Да, maman, она хороша, только вы тысячу разъ лучше! воскликнулъ я, схватывая ея руку и покрывая ее поцѣлуями.

— Добрѣе, это еще пожалуй,—поправила меня матушка, улыбнулась еще разъ и закрыла глаза.

Въ каретѣ становилось темно. Солнце давно сѣло. Послѣд-

няя блѣдно-алая полоса свѣта потухала надъ самою землей; дальнія поля тонули въ синихъ тѣняхъ. Наступала ночь, тихая, звѣздная, южная ночь.

Я высунулъ голову въ окно и долго-долго глядѣлъ въ быстро убѣгавшую даль. „Богъ съ нимъ, съ Богдановскимъ!“ рѣшилъ я вдругъ почему-то, потанувъ въ себя съ жадностью струю прохладнаго ночнаго воздуха. И вдругъ,—точно какая-то цѣлебная волна влилась мнѣ въ грудь,—куда дѣвались всѣ мои тревоги? Точно не я, а кто-то другой, чужой мнѣ, вынесъ весь этотъ полный волненій день, а я, я чувствовалъ себя все тѣмъ же беззаботнымъ и счастливымъ мальчикомъ, какимъ еще нынѣшнимъ утромъ ѣхалъ по той же дорогѣ изъ Тихихъ-Водъ въ Богдановское. Матушка, Настя были тутъ со мною; ихъ платья касались моихъ колѣней; при ясномъ мерцаніи звѣздъ я различалъ ихъ милыя лица. „Завтра“, думалъ я, съ какимъ-то особенно пріятнымъ чувствомъ увѣренности, „завтра пріѣдетъ учитель математики изъ уѣзднаго училища; пойдутъ опять уроки, жизнь побѣжитъ „обыкновенною дорожкой!“

Богдановское съ его пѣвчими и гостями, шумъ праздника, возня товарищей, Галечка, Фельзенъ, Любовь Петровна, сосѣдъ мой за столомъ,—все это уже сливалось въ моей памяти въ одинъ смутный и будто бы давнишній сонъ...

XI.

Прошло три недѣли,—цѣлая вѣчность. Жизнь въ Тихихъ Водахъ давно уже бѣжала по той „обыкновенной дорожкѣ“, о которой я мечталъ съ такимъ удовольствіемъ, возвращаясь изъ Богдановскаго. Эта дорожка начинала теперь на мои глаза все болѣе и болѣе походить на длинный путь по степи, сухою осенью, когда хлѣбъ убранъ съ полей, низко сжатые стебли колоса печально желтѣютъ надъ сѣрою землей, и конца не видать пыльной, унылой дорогѣ. Время тащилось съ невыразимымъ однообразіемъ. Утромъ уроки, вечеромъ уроки; за обѣдомъ молчаніе и невеселыя лица. Батюшка все еще не возвращался изъ города и не писалъ ни строчки. Бѣдная maman проводила дни въ тревогѣ, тщетно ожидая его. Тетушка Фелисата Борисовна, вѣчно страдавшая какою-нибудь болѣстью, брюзжала подъ этимъ предлогомъ и шипѣла отъ ранняго утра до поздней ночи, и то-и-дѣло срывала чепчикъ съ сѣдой головы, съ тѣмъ же неизмѣннымъ восклицаніемъ: „Фу-ты, душно, смерть моя!“ Къ тому же погода стояла пасмурная и дождливая, и m-r Керети началъ опять кашлять. Онъ не жаловался, какъ тетушка; но мы съ братомъ по цѣлымъ днямъ не смѣли подступиться къ нему, боясь, пуще всякихъ криковъ, его раздраженнаго, злобнаго молчанія. Нечего было думать о прежнихъ удовольствіяхъ, о прогулкахъ въ саду, кончавшихся обыкновенно тѣмъ, что заѣдемъ пить чай къ Галагаямъ.

— Теперь даже и въ лѣсъ съ Сильвой не пускаютъ, не то что въ Богдановское! говорилъ печально Лева,—точно въ тюрьмѣ сидишь! Хоть бы голубушка Анна Васильевна къ намъ пріѣхала!

„Съ Васей!“ добавилъ я мысленно.

Я каждый день думалъ о немъ. Всѣ остальныя воспоминанія послѣдней поѣздки нашей въ Богдановское какъ будто замерли въ моей памяти, лишь для того, чтобы дать мнѣ болѣе простора думать о моемъ новомъ пріятелѣ. Я припоминалъ всѣ подробности нашего знакомства, послѣднія слова, сказанныя имъ при прощаніи со мною, и говорилъ себѣ съ гордостью: „Онъ полюбилъ меня, онъ будетъ моимъ другомъ!“ До этихъ поръ у меня не было друга въ томъ смыслѣ и въ томъ объемѣ, какіе мое воображеніе давало этому слову. Изъ сверстниковъ моихъ Саша Рындинъ былъ мнѣ всѣхъ болѣе близокъ, но между нами было такъ мало общаго. Онъ былъ воинъ отъ головы до ногъ, воспитывался отцомъ-воиномъ, читалъ однѣ военныя книги, мечталъ только о походахъ и битвахъ. Петя Золоторенко, тотъ ничего не читалъ и ни о чемъ не думалъ никогда,—съ нимъ мнѣ рѣшительно бывало скучно. Жабинъ былъ такъ надутъ, такъ самодоволенъ, такъ смѣшонъ со своимъ Озеровымъ и со своими вздыханіями. „Какъ выше, какъ лучше всѣхъ ихъ Вася!“ думалъ я, стараясь воскресить въ памяти его милыя черты и досадуя, что какъ нарочно Саша и Жабинъ и цѣлая толпа непрошеныхъ лицъ представлялись мнѣ сами собою въ живыхъ и ясныхъ очертаніяхъ, между тѣмъ какъ я напрасно усиливался удержать вѣчно ускользающій предо мною образъ Васи. „Онъ будетъ настоящимъ моимъ другомъ“, повторялъ я себѣ, когда бывало, уйдя въ садъ и не боясь зоркихъ взглядовъ Насти,—она въ послѣднее время какъ-то особенно насмѣшливо подглядывала за мною,—я ложился въ траву и глядѣлъ на проходящія тучки, какъ тогда съ нимъ въ Богдановскомъ: „ему можно все сказать, „всю душу“ повѣрить, онъ не будетъ смѣяться надъ моими стихами; онъ, я вижу, тоже любитъ, что и я люблю, и ненавидитъ то же“... Фельзенъ и за нимъ Любовь Петровна невольно вспоминались мнѣ при этомъ, но я моталъ головой, по старой привычкѣ, чтобъ отогнать докучную мысль, и принимался опять думать о Васѣ.

Между тѣмъ надежда скоро увидѣть его уменьшалась для меня съ каждымъ днемъ. Сношенія наши съ Богдановскимъ

какъ будто совершенно прекратились. Матушка не сдержала обѣщанія, даннаго ею Ѳомѣ Богдановичу: ей было не до выѣздовъ. Дни проходили за днями; ни Анна Васильевна, ни Вася не пріѣзжали въ Тихія Воды.

Изъ города наконецъ пришло письмо, но не отъ батюшки, а отъ его камердинера, и содержало невеселыя извѣстія: у батюшки открылась подагра. „Хоша господинъ докторъ", писалъ грамотѣй москвичъ-камердинеръ, „никакой въ томъ опасности не находятъ, а очень мучительно, потому главное безпокойно: у насъ въ домѣ передѣлка идетъ, стучатъ, и хоча баринъ въ верхнемъ этажѣ имѣютъ помѣщеніе, а въ нижнемъ этажѣ стукнутъ долотомъ въ стѣну, а у барина въ ногѣ отдаетъ..."

Матушка перепугалась страшно.

— Сестрица, я завтра въ городъ ѣду! сказала она, дочитавъ письмо и утирая слезы, которыя такъ и текли у нея по лицу.

Тетушка Фелисата Борисовна тотчасъ же окрысилась и фыркнула въ отвѣтъ, что ни за что не останется одна въ деревнѣ.

— Здѣсь тебя не то вылѣчить, завѣщанія-то тебѣ некому будетъ написать! (Она каждый день пугала матушку чаяніемъ своей близкой кончины.) Я поѣду съ тобою въ городъ.

— А дѣтей кому я повѣрю? слабо возражала на это растерявшаяся матушка.

— Фу-ты, душно, смерть моя! закричала разгнѣванная тетушка, срывая чепчикъ съ головы.—Кому дѣтей повѣрить! Что же? прикажешь мнѣ изъ-за твоихъ дѣтей умирать безъ призрѣнія? Вези ихъ съ собой въ городъ!

— Вы слышали, у насъ тамъ перестройка. Гдѣ мы тамъ всѣ помѣстимся?

— Бери Настю, а мальчиковъ оставь съ французомъ.

— Онъ боленъ, онъ того и гляди сляжетъ, говорила матушка въ раздумьи.

— А я ему не лѣкарь! рѣзко отвѣчала Фелисата Борисовнѣ.—Чьими молитвами сама живу, не знаю!

И безъ дальнѣйшихъ объясненій ушла въ свою комнату и

риказала укладываться немедленно. Она до самой ночи про-ıдѣла на чемоданѣ, охая и шпыняя своихъ горничныхъ, ко-рыхъ держала цѣлое стадо.

Бѣдная матушка рѣшительно не знала, что дѣлать и на го рѣшиться.

Молчаливо и грустно сидѣли мы вечеромъ за чаемъ, какъ другъ послышался подъ окнами стукъ подъѣзжавшаго эки-ажа и вслѣдъ затѣмъ въ столовую вошла совершенно нео-иданно Анна Васильевна.

Сердце у меня такъ и запрыгало. Я кинулся къ дверямъ. о Анна Васильевна была одна.

Ее встрѣтили громкими, радостными криками.

— Добрый вечеръ, добрый вечеръ, милые вы мои, тороп-ıво отвѣчала она, обнимая каждаго поочередно.—А не ви-ıла же я васъ, не видала дней столько, что и счетъ поте-ıла. Забыли, разлюбили вы насъ, Софья Михайловна. Ну, ı Богъ вамъ проститъ! Вижу, живеньки вы, здоровы всѣ, я тому рада...

— А у васъ что дѣлается, Анна Васильевна? спросила maman.

— А у насъ что? отвѣчала вздохнувъ ея пріятельница.— у насъ все одно: была ярмарка, ярмарка и по сейчасъ: инъ съ мѣста, другой на мѣсто. Сегодня я ужь не утер-ѣла, Ѳомѣ Богданычу своему говорю: какъ себѣ хотишь, а въ Тихія Воды поѣду, Софью Михайловну провѣдать. Взяла а и уѣхала, вотъ на-же имъ всѣмъ! домолвила она, засмѣ-вшись своимъ внезапнымъ добрымъ смѣхомъ, при которомъ акъ-то необыкновенно мило ежилось ея маленькое, худоща-ое и нѣсколько болѣзненное лицо.

— И какъ хорошо сдѣлали! сказала матушка, цѣлуя ее:— ı не то, я такъ бы и уѣхала, не простившись съ вами.

— А куда это, куда? спросила съ безпокойствомъ Анна Васильевна.

Maman передала ей про болѣзнь батюшки, про свое за-трудненіе.

— Ахъ, Боже мой миленькій! чего же вы затрудняетесь?

Поѣзжайте завтра съ Настей и сестрицу забирайте съ собою, а Бориса и Леву я заберу...

— Вы? добрая моя!...

Матушка даже покраснѣла отъ удовольствія. Видно было, что эта мысль не приходила ей въ голову и что она очень обрадовалась предложенію своей пріятельницы.

— А вы что думали? молвила смѣясь Анна Васильевна.— Заберу обоихъ и поѣдемъ, а вернетесь, представлю назадъ цѣлыхъ и здравыхъ... Какъ Вася мой будетъ радъ! обратилась она ко мнѣ:—онъ тебя очень полюбилъ, Боренька; когда уѣзжала я, прибѣжалъ ко мнѣ: тетушка, говоритъ, Бориса отъ меня поцѣлуйте покрѣпче.

Я весь горѣлъ отъ радости.

— Ты радъ, я знаю, шепнула мнѣ на ухо Настя,—faire le grand garçon въ Богдановскомъ... Гадкій!

И она такъ больно ущипнула меня за локоть, что въ другое время я бы непремѣнно вскрикнулъ. Но я не чувствовалъ ни боли, ни упрековъ совѣсти въ эту минуту. Я думалъ только: „наконецъ-то судьба соединяетъ насъ; одну только ночь переспать, и мы будемъ вмѣстѣ съ Васей!“

— И не думайте, не горюйте! говорила тѣмъ временемъ Анна Васильевна задумавшейся матушкѣ.—Завтра рано вмѣстѣ и выѣдемъ всѣ. Съ Богомъ поѣзжайте себѣ въ городъ, а я съ мальчуганами вашими до дому; въ одинъ часъ и поѣдемъ. Пошлите, прошу, сейчасъ въ Богдановское, чтобы меня сегодня не ожидали. Я у васъ ночую! заключила она рѣшительнымъ тономъ. Она, видимо, расхрабрилась, наша добрая Анна Васильевна, и очень выросла въ собственномъ мнѣніи съ тѣхъ поръ, какъ рѣшилась „взять да и уѣхать“ отъ гостей своихъ.

Лева ликовалъ и то-и-дѣло кидался обнимать старую свою пріятельницу-баловницу.

Въ половинѣ десятаго его услали по обыкновенію спать.

— Настя, Борисъ, и вамъ пора! сказала матушка.—Завтра надо подняться пораньше.

Мы простились.

Едва успѣлъ я ступить въ большую неос[illegible] гости-

ную, по пути въ мою комнату, какъ услышалъ голосъ Анны Васильевны:

— До смерти люблю вашего Бориса, говорила добрая женщина матушкѣ,—славный онъ у васъ такой...

— Ахъ, добрая моя, поспѣшно заговорила за ней maman,— насчетъ Бориса у меня къ вамъ будетъ просьба.

„О чемъ это?“ подумалъ я съ удивленіемъ, безсознательно замедляя шаги.

— М-г Керети боленъ, продолжала матушка.—Я не знаю право, какъ быть; нельзя и требовать теперь, чтобъ онъ вѣчно былъ при дѣтяхъ, а между тѣмъ я бы не желала, чтобы Борисъ, въ особенности, слишкомъ разсѣевался. У васъ всегда такая пропасть народу...

— Какъ въ Ромнахъ на ярмаркѣ, домолвила съ какою-то покорностью и вздыхая, Анна Васильевна.—Знаю я, знаю; что будете съ моимъ Ѳомой дѣлать! — Впрочемъ насчетъ вашего Бориса не безпокойтесь. Я его съ французомъ наверху помѣщу, подлѣ Герасима Иваныча; тамъ они и будутъ жить рядомъ съ Васей, и учиться могутъ вмѣстѣ, и забавляться... Вотъ еще скажу вамъ, Софья Михайловна, золотой мальчикъ этотъ Вася Лубянскій! Я такъ рада, что привезу ему завтра товарища! А то вѣдь день цѣлешенькій одинъ съ отцомъ убогимъ...

— А Любовь Петровна не съ мужемъ? живо спросила матушка.

Анна Васильевна не сейчасъ отвѣчала.

— Нѣтъ, наверху ей мѣста мало и встаетъ она поздно. Она внизу живетъ, въ павильонѣ...

— Ну, и тѣмъ лучше! проговорила матушка такъ тихо, что я едва разслышалъ.

Но пріятельница ея громко и вопросительно проговорила:

— Тѣмъ лучше?

Матушка, въ свою очередь, не торопилась отвѣчать.

— Вы не смѣйтесь, добрая моя, начала она наконецъ, слегка заикаясь,—я это, думая о Борисѣ, сказала.

— Какъ такъ о Борисѣ? переспросила опять сосѣдка съ [illegible] изумленіемъ.

— Я буду откровенна съ вами, отвѣчала матушка. — Борису шестнадцатый годъ минулъ. Я знаю, я старалась такъ держать его, до сихъ поръ онъ ребенокъ. Но онъ мальчикъ пылкій, съ воображеніемъ; въ эти годы голова начинаетъ бродить... Чѣмъ дальше будетъ онъ отъ такой женщины, какъ Любовь Петровна, тѣмъ...

— Что же вы объ ней думаете, Софья Михайловна? съ испугомъ въ голосѣ прервала ее Анна Васильевна, громко всплеснувъ руками. — Боже миленькій, что вы объ ней думаете?

Сердце такъ и стучало у меня. „Стыдно подслушивать, уходи скорѣе!“ шептала моя совѣсть, между тѣмъ какъ неодолимое любопытство приковывало ноги мои къ полу.

— Я думаю, чтъ мальчику вскружить голову не трудно, сказала матушка съ оживленіемъ,—а Любовь Петровна такъ привыкла кружить головы всѣмъ и каждому, что попадись ей Борисъ, она и его въ себя влюбитъ за неимѣніемъ лучшаго; я замѣтила тогда у васъ на именинахъ: ея глаза и не мальчика съ ума сведутъ! А я нахожу, рано ему еще о женщинахъ думать, моему Борису!...

Я весь вспыхнулъ въ темномъ углу моемъ.

„Maman все замѣтила!“ едва не сорвалось у меня съ языка. Я прикусилъ его чуть не до крови и весь обратился въ слухъ.

— Нѣтъ, отвѣчала сосѣдка,—Богъ знаетъ, что вы думаете, Софья Михайловна! Не возьметъ Любочка такого грѣха... Вѣдь Борису съ ея сыномъ одни годы! Да и не то, не то у нея теперь на думкѣ.

Анна Васильевна пріостановилась.

— Любочка несчастная женщина, повѣрьте! заключила она неожиданно и глубоко вздохнула.

— Несчастная?

— Боюсь я за нее, боюсь одного человѣка! продолжала вздыхать Анна Васильевна.

— Кого же вы это боитесь? съ новымъ удивленіемъ спросила матушка.

„Знаю!“ воскликнулъ я внутренно, прежде чѣмъ Анна Васильевна успѣла произнести это ненавистное имя.

— Баронъ Фельзенъ? Этотъ офицеръ, пріѣхавшій тогда съ генераломъ Рындинымъ? Развѣ они еще въ Богдановскомъ?

— Генералъ давно уѣхалъ, а тотъ остался; третью недѣлю живетъ у насъ. Ѳома Богданычъ ни за что его отпустить не хочетъ; обвелъ онъ совсѣмъ моего стараго, нѣмецъ этотъ лукавый! А то еще сегодня мнѣ сказали, онъ и совсѣмъ у насъ останется; командиръ будетъ того эскадрона, что у насъ въ селѣ стоитъ. Гольдманъ нашъ, который теперь командуетъ, можетъ слышали? — въ майоры вышелъ... Не къ доброму это, Софья Михайловна, чуетъ мое серденько, не къ доброму!...

— Сколько я могу судить о ней, сказала на это холодно матушка,—ни этотъ господинъ Фельзенъ, ни кто другой не можетъ быть для нея опасенъ. Мнѣ кажется, добрая моя, что у вашей племянницы сердце не изъ очень чувствительныхъ.

— Ахъ, Софья Михайловна, что вы говорите! И странное волненіе зазвучало въ голосѣ Анны Васильевны.—Какъ можно сказать про женщину, что она никогда не полюбитъ!... Съ каждой можетъ случиться такое несчастіе, съ каждой!...

— Несчастія можно, пожалуй, добиться, отвѣчала maman съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ, — да еще если будешь непремѣнно искать его.

— Искать? Спаси Мати Пресвятая Богородица! И не ищите, само придетъ, само! захочетъ врагъ, вездѣ тебя найдетъ, отъ него не уйдешь никуда...

— Отъ этого врага всегда можно уберечься, замѣтила матушка.

— Не убережешься, Софья Михайловна, нѣтъ! Одинъ Богъ милосердый можетъ тебя спасти тогда, одинъ Богъ!

— А разсудокъ намъ на что данъ, а долгъ?...

На этомъ словѣ разговоръ оборвался.

Я не смѣлъ дышать. На каминѣ, надъ самымъ моимъ ухомъ, часы загремѣли вдругъ безконечную арію.

Когда послѣдній звукъ ихъ смолкъ подъ высокимъ потол-

комъ гостиной, я услыхалъ опять голосъ Анны Васильевны. Она говорила про Любовь Петровну.

— ... Съ самаго дѣтства не было ей доли; только родилась она живая да веселая; тѣмъ только, можетъ, и спасла себя отъ отчаянія. Родные ея богатые люди были, да отецъ ея все разорилъ; какъ умеръ, семейство оставилъ большое и почти-что нищее. Мать ея хворая была и хмурая такая, говорятъ, что не давай Боже! Изъ княжескаго рода шла; къ бѣдности привыкнуть не могла никакъ. Дѣтей своихъ она, Богъ ее знаетъ, не любила, или характеръ у нея такой ужь несграбный былъ, только Любочка разсказывала мнѣ, что мать ее къ себѣ почти на глаза не пускала. Такъ и росла она до шестнадцати годовъ, одна, безъ ласки, безъ совѣта, — сестры ея раньше замужъ повыходили. А выросла она красота малеванная, головонька умная, ловкая да быстрая...

— Да, я ее помню въ Петербургѣ, примолвила матушка, — когда они только-что пріѣхали, послѣ свадьбы, изъ Москвы. Лубянскій привозилъ ее тогда ко мнѣ. Бѣдняжка! онъ былъ влюбленъ въ нее какъ сумасшедшій!

— И Герасиму Иванычу не вышла доля на этомъ свѣтѣ! печально сказала на это Анна Васильевна. — Не умѣлъ онъ, не умѣлъ привлечь къ себѣ жены. За него Любочка противъ воли пошла.

— Да, это мнѣ говорили; но отъ чего такъ, скажите? Онъ въ то время молодъ былъ и собой очень не дуренъ, человѣкъ всегда былъ умный...

— И служилъ хорошо, и съ состояніемъ человѣкъ, досказала Анна Васильевна, — любая дѣвушка пошла бы за него съ радостью, Софья Михайловна. А она изъ-за того чуть очей своихъ не выплакала...

— Не нравился-ли ей кто-нибудь другой?

— Было и этого, пожалуй. Студіозусъ былъ одинъ, противъ окошка ея жилъ, подъ самою крышей; сама мнѣ сказыва [illegible] на въ зрительную трубу все выгляды- [illegible] самыя жалостныя пѣсни игралъ... [illegible] хохотомъ; да и я едва

успѣлъ зажать ротъ обѣими руками, такъ забавно проговорила все это наша милая Анна Васильевна.

— Студентъ, зрительная труба, жалобныя пѣсни! да развѣ все это серьезно? вѣдь это все пустое ребячество, добрая моя! сказала матушка, продолжая смѣяться. — Можно-ли изъ-за этого глаза выплакать?

— То-то оно и есть, что было то все ребячество глупое, да Герасимъ Иванычъ не умѣлъ понять того; — сгоралъ ужь онъ слишкомъ по ней. Вы, можетъ, не знаете, Софья Михайловна, какъ онъ на ней женился. Былъ онъ въ Москвѣ проѣздомъ. Въ церкви Божіей увидалъ ее въ первый разъ. А только увидалъ, такъ и врѣзался, взгорѣлъ какъ копна отъ грозы. Въ домъ къ нимъ въ первый разъ пріѣхалъ—свататься. До того времени не бывалъ въ домѣ никогда. Мать Любочкина, пустая голова, прости Господи, на первомъ же этомъ разу слово ему дала. Призвала Любочку и говоритъ: благодари меня, я тебѣ жениха нашла; такъ та и упала, чувствъ лишилась. Мать свою, знаете, она пуще грѣха смертнаго боялась; изъ рукъ ея мужа принять—лучше бы, говоритъ меня, живую въ землю зарыли... Ну, а можетъ и то, что она ни говори, скрипачъ-то этотъ музыкой своею серденько ея молодое и тронулъ тогда... Что за разумъ бываетъ у насъ въ молодые глупые годы! примолвила Анна Васильевна съ какимъ-то болѣзненнымъ вздохомъ. — Только мать на своемъ поставила, проклятіемъ ей пригрозила и за Герасима Иваныча просватала, да сама же, съ сердцовъ, али съ дурости своей, сама ему про студента и открыла. На его счастье, Ѳома Богданычъ въ ту пору въ Москвѣ былъ, ѣздилъ шерсть продавать; а то бы онъ, Герасимъ Иванычъ, музыканта бы зарѣзалъ!...

— Что вы? воскликнула матушка.—Онъ такъ ревнивъ былъ?

— А вы что думали? Загубилъ онъ этимъ самымъ все свое счастіе! Какъ еще женихомъ былъ, запугалъ онъ до смерти бѣдную Любочку, запугалъ своею ревностью,.. и ласками своими запугалъ потомъ, примолвила Анна Васильевна, понижая голосъ.—Такая ужь, знаете, кровь въ жилахъ его текла, Софья Михайловна; они свой родъ отъ старыхъ казаковъ ведутъ,—пропадай моя голова, да и шабашъ!...

— Послушайте, добрая моя, сказала матушка,—я помню, когда жила она въ Петербургѣ, я видѣла Любовь Петровну въ свѣтѣ. Она была очень въ модѣ, принимала весь городъ, кокетничала направо и налѣво; воля ваша, она нисколько не походила на запуганную женщину.

— Скажите, спросила поспѣшно Анна Васильевна, — говорили про нее тогда что-нибудь такое нехорошее?

— Нѣтъ, я не слыхала. Она слыла большою кокеткой,— и только. Женщины съ ней мало дружились, многія ей завидовали. Мужчины влюблялись въ нее толпой и говорили, что она холодная какъ ледъ. Мнѣ, признаюсь вамъ, во всемъ этомъ жалокъ былъ ея мужъ. Онъ видимо томился и страдалъ этою жизнью. Въ свѣтѣ на него никто не обращалъ вниманія; онъ былъ для всѣхъ мужъ красавицы Лубянской. Но меня, хотя и сама я была молода въ то время, что-то влекло къ нему, и я какъ-то всегда умѣла отыскивать его мрачную фигуру, вѣчно забившуюся въ уголъ и изъ-подъ темныхъ бровей сверкавшую большими грустными глазами. Этотъ человѣкъ былъ несчастливъ,—у него это было на лицѣ написано.

— Не умѣлъ онъ, не умѣлъ; самъ сгубилъ счастье свое! повторила, вздыхая, Анна Васильевна. Какая разумная головато была, а все у него вкось да мимо попадало.. Самъ вѣдь онъ хотѣлъ, самъ просилъ Любочку веселиться, повезъ ее въ этотъ свѣтъ вашъ столичный. На балы, да на театры эти пораструсилъ онъ въ пять годковъ всѣ тѣ гроши, что старый батька его—скупой былъ старый,—сорокъ лѣтъ по куточкамъ понапрятывалъ. А знаете ли, Софья Михайловна, каково ей жить было, Любочкѣ? Вы въ гостяхъ ее видали и говорите: не походила она на запуганную женщину. А какъ вернутся они домой изъ гостей, она такъ ужь и знаетъ, такъ и ждетъ. Войдетъ онъ къ ней въ спальню, сядетъ около постели: „Говори мнѣ, Любочка, не томи мою душу, кого ты любишь?“ Она молчитъ: вѣдь и отвѣтовъ нѣтъ на такіе спросы! „Я знаю“, говоритъ онъ опять, а самъ блѣдный, въ лицѣ измѣнится,— „знаю, говоритъ, меня ты не любишь и не любила никогда,— но не для всѣхъ же сердце твое плита могильная! Я всѣ-жу, знаю, говоритъ, въ тебя влюбленъ вотъ тотъ-то,

тотъ,—считать начнетъ,—говори, кого ты любишь, кого?“ Глаза у него загорятся, дрожитъ самъ... Любочка сказывала, : страхъ, и жалость на него глядѣть! А захочетъ она оправ-ать себя,—и не давай Боже! Вскочитъ, какъ безумный сдѣ-ается. „Ты обманываешь меня, ты змѣя, кричитъ, изъ рукъ оихъ выскользнуть хочешь!“ Другой разъ не выдержитъ она, аплачетъ. Онъ въ ноги ей повалится. „Скажи, говоритъ, что нѣ дѣлать, что мнѣ дѣлать! стѣны развѣ головой ломать, тобъ ты меня полюбила!“ „Другая на моемъ мѣстѣ“, гово-ила мнѣ не одинъ разъ Любочка, „другая бы году въ такомъ еклѣ не прожила; а меня, говоритъ, счастливый характеръ ой спасалъ: утру слезы и на завтра опять танцовать ѣду“.

— Я говорю вамъ, у ней сердца нѣтъ! пылко воскли-ула матушка.

— Послушайте, Софья Михайловна, возразила такъ же ливо ея пріятельница,—судите вы ее, какъ себѣ хотите, а я амъ по истинѣ скажу: Герасимъ Иванычъ мнѣ по мужу пле-янникъ родной и жалѣю я его, такъ жалѣю, что и словъ казать не найду, а только и Любочку я не могу винить! Са-и вы сказали, нехорошаго про нее ничего не слышали. Долгъ вой она исполняла. А въ чувствахъ нашихъ одинъ Богъ ми-осердный судья.

— Я ее и не виню, но, по всему, что сами же вы раз-казываете, нельзя однако думать, чтобъ она страдала избы-омъ этихъ чувствъ, замѣтила насмѣшливо матушка.

— Любочка сама знаетъ, сама мнѣ признавалась, поспѣ-ила отвѣчать Анна Васильевна,—когда, говоритъ, это безу-ie у него проходило, что можно было съ нимъ тихо гово-ить, я ему не разъ предлагала: „послушайте, чего вы хоти-е отъ меня? Я никого не люблю и вамъ покорна: другаго и ребовать отъ меня нельзя; только той любви, которой вы хо-ите, я и не пойму никогда; видно ужь уродилась я на свѣтѣ акая непонятная. Гдѣ же мнѣ взять для васъ того, въ чемъ Богомъ мнѣ отказано? Вы говорите, мучитесь черезъ меня. Можетъ, это и правда; не знаю изъ-за чего, а вижу только, то изъ-за этого и я покою не имѣю. Позвольте мнѣ уѣхать къ сестрѣ къ Рындиной; безъ меня вамъ, Богъ дастъ, полег-

читъ. Вы, можетъ, еще найдете себѣ счастье; вы забудете меня, а можетъ,—что вѣдь придумала!—можетъ, говоритъ, еще найдете себѣ женщину, которая полюбитъ васъ такъ, какъ вы себѣ желаете, а какъ я не умѣю любить ни васъ, и никого на свѣтѣ"... Такъ нѣтъ, не соглашался онъ. Упадетъ въ кресло, закроетъ лицо руками: „нѣтъ, говоритъ, разстаться съ тобой я не могу! видно доля мòя ужь такая несчастливая,—пропадать безнадежно у твоихъ ногъ!"...

— Что же тутъ было хорошаго съ ея стороны? воскликнула опять maman.—Это значило подливать масла въ огонь!

Но заступница Любови Петровны продолжала, не отвѣчая на это замѣчаніе:

— Видитъ Любочка, точно тоскуетъ онъ, мучится, все держитъ въ головѣ своей, что должно-быть она къ кому-нибудь питаетъ страсть. Вотъ она ему разъ: „Герасимъ Иванычъ, говоритъ, вы человѣкъ служащій, занятой, вамъ за мною скучно въ общество ѣздить. Хотите, я перестану бывать въ свѣтѣ, скажусь больной, не буду ни души принимать"? Не согласился онъ и на это.—„Я, говоритъ, жертвъ отъ тебя не приму; что тебѣ за радость жить съ глазу на глазъ со мной? Я, говоритъ, и такъ уже загубилъ твою молодость". Что съ нимъ дѣлать?... Такъ не одинъ годъ прошелъ. Дѣлался онъ, знаете, все хмурѣе и хмурѣе. Любочка и рѣшилась. Стала просить его, что ей ужъ давно на Украину хочется поглядѣть, что это за Украина такая, что имѣніе у него тамъ хорошее, а они живутъ въ Петербургѣ, да дѣла свои только поразстроили. Тамъ, говоритъ, и воздухъ хорошъ; Вася нашъ тамъ здоровенькій будетъ. А Васѣ тогда шестой годъ пошелъ, и все хворый былъ онъ въ нашемъ Петербургѣ. Внялъ наконецъ, почуялъ Герасимъ Иванычъ, а самого-то его давно тянуло въ родную сторону; они тогда и пріѣхали къ себѣ въ село, Горки прозывается; вотъ что теперь Романенковское, отъ васъ верстъ двадцать будетъ,—тогда оно Герасима Иваныча было. Тутъ я съ Любочкой и познакомилась. Годъ цѣлый прожили мы тогда съ ними.

— Скажите, спросила maman,—не сошлись они тогда, не пересталъ онъ ревновать?

— Да къ кому было ревновать ему здѣсь? Къ моему старому развѣ? Ей, знаете, здѣсь и было одно утѣшеніе, что пріѣдетъ Ѳома Богданычъ, посмѣшитъ ее. Въ Богдановское Любочка не любила ѣздить. „У васъ, говорила, шумно, дядюшка, а я одного покоя ищу".

— Это должно было нравиться Лубянскому, замѣтила опять матушка.

— Нравиться? Она здѣсь съ тоски помирала. Развѣ онъ этого не видалъ, не понималъ развѣ, что не для нашей, по правдѣ сказать, глухой стороны родилась она такою красавицей и разумницей? Сами знаете, Софья Михайловна, каково, послѣ столичнаго свѣта, можетъ показаться наше житье деревенское!

Матушка тихо вздохнула. Она, вѣрно, вспомнила про молчаливыя батюшкины прогулки изъ угла въ уголъ большой залы...

— Съ сосѣдями они знакомства не вели, продолжала Анна Васильевна.—Сынъ ея маленькій былъ, нѣмка-нянька не отходила отъ него, съ усердіемъ была женщина; Любочкѣ и заняться нечѣмъ было; тѣмъ только и убивала время, что лежитъ себѣ на диванѣ, книжки читаетъ, что привезла изъ Петербурга. Герасимъ Иванычъ тоже весь Божій день сидитъ одинъ въ кабинетѣ; а выйдетъ—молчитъ, очей не подымаетъ, точно какъ бы совѣстно ему на жену глядѣть... А какъ пришла еще осень, тяжко загудѣли вѣтры въ степу! Домъ у нихъ, знаете, большой былъ, старый—старый; за Разумовскаго еще дѣдъ Герасима Иваныча строилъ. Сидимъ мы другой разъ съ Любочкой, пообѣдавши, вдвоемъ; такой страхъ заберетъ, скажу вамъ, такъ тяжко подѣлается, какъ передъ часомъ смертнымъ. Гудитъ вѣтеръ, мететъ подъ окномъ, съ крыши черепицу рветъ, въ трубахъ будто младенца малюсенькаго рѣжутъ, воетъ... А то еще двери супротивъ тебя сами собой вдругъ какъ отворятся! А у нихъ, знаете, залъ древній былъ, высокій, а въ немъ темь и мракъ, какъ въ криницѣ,—да вдругъ какъ рявкнетъ тамъ, какъ зазвенитъ стекломъ разбитымъ,—и вихремъ у насъ заразъ всѣ свѣчи загаситъ. Родилась я, знаете, такая глупая, пужливая, зачураюсь со всей силы другой разъ!...

А Любочка только смѣется бывало! Наконецъ уже Ѳома Богданычъ уговорилъ ихъ переѣхать на зиму въ Богдановское.

— И не жаловалась она никогда на эту жизнь, скажите?

— Видно не знаете вы ея, Софья Михайловна! Любочка умирать будетъ, не пожалуется. Сама она, по своей охотѣ, не уѣхала бы отсюда никогда. Герасимъ Иванычъ пожелалъ Горки продать, съ долгами расквитаться хотѣлъ. Любочка долго его даже отговаривала, да давалъ ему Романенко хорошую цѣну, онъ и продалъ; тогда они и поѣхали назадъ.

— Странная она женщина, воля ваша! медленно проговорила матушка.

— Это точно, скажу, странная она, странная! сказала Анна Васильевна, помолчавъ; — ее даже другой разъ понять трудно. А повѣрьте, только лукавства нѣтъ въ ней ни на грошъ. Особливо тогда, какъ молоденькая она была, что на думкѣ, что на сердцѣ, то у нея и на языкѣ бывало. По второму разу, какъ познакомились мы, поразсказала она уже мнѣ всю жизнь свою, съ дѣтства малаго. Признаюсь вамъ, Софья Михайловна, заворожила она меня совсѣмъ тогда; какъ дочь родную полюбила я ее. А съ другаго боку, знаете, посмотрю на Герасима Иваныча, ажъ въ груди защемитъ. Такъ задаромъ, часто думаю, у обоихъ счастье пропадаетъ. Попробую, думаю, допытать у нея тихимъ разговоромъ: чѣмъ обиженной она себя отъ мужа считаетъ? Однако, какъ ни билась, нѣтъ, одно говоритъ: „ничего я противъ него не имѣю, онъ человѣкъ хорошій, я его уважаю“.—Можетъ ты и уважаешь его, говорю я на то, только любви твоей, ласки къ нему я еще не видала; а вижу, что онъ изсохъ весь по тебѣ; это я вижу! — „Знаю, отвѣчаетъ, но я не могу, не могу, тетушка! Сколько разъ уговаривала я себя, по цѣлымъ ночамъ плакала, обѣты себѣ тайные давала... Я знаю, говоритъ, мнѣ слово сказать, улыбнуться ему стоитъ,—и онъ себя счастливѣе царя почитать будетъ,.. но я не могу, всѣмъ святымъ клянусь,— не могу! Только услышу, идетъ онъ изъ другой комнаты, и всѣ обѣты мои сгинули, пропали; языкъ мой сохнетъ, вся кровь отливаетъ къ сердцу. Когда онъ беретъ меня за руку, когда поцѣловать меня хочетъ, я чувствую, какъ вся я какъ

ледъ становлюсь, и онъ точно тогда прижимаетъ къ груди своей мраморную плиту, какую кладутъ на могилы"... И повѣрите мнѣ, Софья Михайловна, разсказываетъ это мнѣ она, а сама вся блѣдная, блѣдная... Богъ его знаетъ, какъ онъ ей такое чувство внушилъ! губы у ней даже какъ холстъ бѣлыя сдѣлаются... Такъ, признаюсь, жаль мнѣ ее станетъ... — Послушай, говорю, Любочка, ни винить, ни хвалить я тебя не могу: не суди, да не осужденъ будешь. А только говори мнѣ по чистой совѣсти: ты не жалѣешь-ли кого, не гадаешь-ли по комъ думки?—„По комъ же это мнѣ думку гадать, тетушка?" передразниваетъ она меня; смѣялась она всегда моимъ хохлацкимъ словамъ, промолвила, засмѣявшись, Анна Васильевна.—Да вѣдь, говорю, ты сама мнѣ призналась, за тобой много мужчинъ пропадало? Смѣется. — Либили они тебя? — „Не знаю, говоритъ; одинъ офицеръ обѣщался застрѣлиться изъ любви ко мнѣ, только живъ и посейчасъ." — Нѣтъ, говорю, ты не шали, Любочка; я не шутя спрашиваю: изъ этихъ мужчинъ всѣхъ, что за тобой пропадали, сама ты никого не полюбила? „Тетушка, говоритъ она мнѣ на это, и за обѣ руки взяла, — замѣтили вы, что я никогда перчатокъ не сымаю?" — Вижу; это у васъ, вѣрно, такая мода въ Петербургѣ. — „Нѣтъ, говоритъ, я не изъ моды, а изъ-за того, чтобы ничьи мужскія губы не касались моей голой руки... Когда сниму перчатки, будетъ значитъ, что я кого-нибудь полюбила!... Только не знаю, говоритъ, когда это случится,— а до сихъ поръ всѣ мужчины для меня то же, что Герасимъ Иванычъ"... И сама опять вся застынетъ, вся блѣдная сдѣлается...

— А въ кокетствѣ своемъ признавалась она вамъ, Анна Васильевна?

— Сколько разъ признавалась! „Безъ этого, говоритъ, въ свѣтѣ веселиться нельзя, а мнѣ веселиться надо было, мнѣ это одно и оставалось въ жизни, тетушка!" И такая она чудная, право! „Бывало, сказываетъ, на балу, когда все это разгорится, музыка такъ и заливается, а ловкій кавалеръ, да еще влюбленный въ тебя, уноситъ тебя по залѣ, — я часто, говоритъ, думала: сегодня ночью *онъ* меня, можетъ, зарѣжетъ

изъ ревности, — такъ дай же хоть натанцуюсь въ послѣдній разъ! И повѣрите, увѣряетъ, никогда я такого веселья не чувствовала, какъ тогда!“—Ну, говорю я ей, храбрая же ты, Любочка! Я бы отъ одного страха отъ этого три раза успѣла помереть до того часу, а ты говоришь, тебѣ весело было!... Напослѣдокъ спрашивала я ее: а до замужества твоего, Любочка, признавайся, никого ты не любила?—„Никого, я дитя была“, отвѣчаетъ и такъ прямо мнѣ въ глаза глядитъ.—Ну, смѣюсь я ей, а музыканта того, что въ трубу на тебя глядѣлъ?—Какъ она покатится! — „Ахъ, да! говоритъ, къ этого я точно была влюблена, пока близко не увидала; а разъ въ церкви онъ сталъ рядомъ со мною, — у него на щекѣ была большая бородавка съ волосами. Я его тутъ же въ церкви и разлюбила“...

— Послушайте, Анна Васильевна, сказала матушка,—можетъ быть племянникъ вашъ и виноватъ, виноватъ уже во всякомъ случаѣ въ томъ, что увлекся страстью къ существу, которое его не любило и любить не могло. За то же онъ по винѣ и наказанъ: въ сорокъ лѣтъ человѣкъ безъ ногъ и безъ языка! Но *она*, изъ-за которой онъ всю жизнь свою погубилъ, неужели она, по-вашему, во всемъ права?

— Боже ты мой! со слезами въ голосѣ отвѣчала на это Анна Васильевна, какъ бы глубоко взволнованная этимъ замѣчаніемъ. — Нѣтъ, я такъ думаю, злодѣя на свѣтѣ, чтобы взглянулъ на Герасима Иваныча и не пожалѣлъ бы его... Конечно, примолвила она, запинаясь и вздыхая,—можетъ не безъ грѣха и Любочка... За то можетъ Богъ и наказалъ ее теперь этимъ... барономъ нѣмецкимъ.

— Да скажите, пожалуйста, спросила maman,—что васъ такъ пугаетъ этотъ баронъ?

— А то пугаетъ, Софья Михайловна, что чуетъ сердце мое,—не добрымъ это кончится!

— Вы думаете она перчатки скинетъ? сказала матушка и засмѣялась.

— Ахъ, не смѣйтесь, Софья Михайловна, тревожно заговорила Анна Васильевна,—не смѣйтесь! Право, говорю вамъ, боюсь я за нее. Большаго свѣта вашего я не знаю, вѣкъ

свой на Украйнѣ прожила, а людей я видала. Повѣрьте мнѣ, хитрый это человѣкъ и прожженный, и всю эту женскую науку какъ по книгамъ прошелъ. Отъ Любочки, знаете, у насъ тамъ всѣ безъ ума сдѣлались. Ну, офицерство-то наше, доморощенное, тѣ, по простотѣ, курятъ ей, да финтятъ съ утра до вечера. Смотришь, одного она обсмѣяла, другаго обсмѣяла, — такъ они другъ за дружкой и отъѣзжаютъ. Со стороны смотрѣть даже на это весело. А онъ, нѣтъ, онъ другую политику держитъ. Съ хитрости другой разъ день цѣлый къ ней не подходитъ, а все видитъ, слѣдитъ за ней. Съ Ѳомой Богданычемъ начнутъ они о пѣніи, или что тамъ другое говорятъ, и онъ будто этимъ разговоромъ занятъ, руками даже машетъ это... А въ головѣ, видно, все она, все какъ бы за ней подсмотрѣть; нѣтъ-нѣтъ, — и сверкнетъ на нее очами...

— А глаза у него хороши, замѣтила матушка.

— Какъ у бѣса въ пеклѣ, прости Господи! съ негодованіемъ воскликнула Анна Васильевна. — Богъ знаетъ, что вы нашли въ нихъ хорошаго, Софья Михайловна. Лукавые, недобрые у него глаза, чтобъ имъ лихо было!

„У ехиднаго князя Сатаны Вельзевуловича полымемъ горятъ очи змѣиныя“,—пришли мнѣ на память слова изъ какой-то сказки Максимыча. Мнѣ вспомнился въ то же время тотъ взглядъ, которымъ глядѣлъ на меня Фельзенъ въ Богдановскомъ саду; дрожь пробѣжала у меня по тѣлу, и я съ невольнымъ страхомъ взглянулъ въ темный уголъ гостиной; точно онъ опять, этотъ змѣиный взглядъ, сверкнулъ тамъ въ колеблющейся мглѣ...

Но въ столовой заговорили снова, и я опять весь обратился въ слухъ.

— А Любочку и узнать нельзя теперь, молвила Анна Васильевна, — невеселая такая стала, все молчитъ, будто что тяжкое хоронитъ на сердцѣ. Куда это ея смѣлость, смѣхъ ея вольный дѣвался? И не пойму я ихъ, право: то какъ бы обиженная сидитъ она, будто гнѣвная, другой разъ на его разговоръ словомъ не отвѣтитъ, а то вдругъ на себя не похожа станетъ, гордость свою позабудетъ, подниметъ на него очи

такъ жалостно, точно какъ прощенія просить, точно чувствуетъ, что виновата противъ него. А чѣмъ это она можетъ виновата быть противъ этого нѣмца лукаваго, сами скажите, Софья Михайловна?...

— Неужели, въ ея годы? начала было матушка и не договорила. — Мнѣ жаль ея сына! примолвила она, помолчавъ, и потомъ спросила: — а долго еще останутся они у васъ въ Богдановскомъ?

— Любочка обѣщалась пожить съ нами. Герасиму Иванычу, слава Богу, будто полегче стало. Вотъ, Софья Михайловна, ѣздили по чужимъ сторонамъ, ничего не наѣздили. Давно бы къ намъ на Украйну. Нашъ воздухъ вольный, вылѣчитъ лучше всѣхъ тѣхъ микстуръ лядащихъ, что нѣмцы повыдумывали; это я вамъ истинную правду говорю, подтвердила Анна Васильевна.—Ѳому Богданыча, продолжала она,— Любочка просила опекуномъ къ Васѣ. Онъ и ея дѣлами управляетъ.

— Какими дѣлами? сказала матушка:—у нея развѣ имѣніе какое-нибудь?

— Она теперь сама съ состояніемъ, отвѣчала Анна Васильевна. — Герасимъ Иванычъ, когда Горки свои продалъ, скоро потомъ, черезъ Ѳому Богданыча, купилъ въ Черниговской губерніи хорошее имѣніе, 800 душъ, и на ея имя записалъ. Старый мой за то ему часто выговаривалъ. Ты, говоритъ, сына своего обижаешь! А онъ отвѣчаетъ: не хочу, чтобы послѣ моей смерти Любочка отъ кого зависѣла, а сына она сама не обидитъ; я ее знаю...

Новый бой часовъ на каминѣ покрылъ голосъ Анны Васильевны, и затѣмъ послышался въ столовой шумъ отодвигавшихся стульевъ.

На цыпочкахъ, притаивъ дыханіе, выбрался я изъ гостиной.

М-r Керети еще не спалъ. Онъ лежалъ въ постели съ любимою своею книгой: *Notre Dame de Paris*, въ рукахъ. Я объявилъ ему, что мы переѣзжаемъ завтра въ Богдановское.

— Eh bien, ma foi, c'est ce qu'on a pu trouver de mieux dans l'occurence! отвѣчалъ онъ, къ немалому моему удивле-

нію. Я думалъ, самолюбивый французъ непремѣнно обидится, что матушка не спросила предварительно его мнѣнія.

— Je ne serai pas faché de rire un peu avec ce diable de musicien, промолвилъ онъ, усмѣхнувшись. Ce diable de musicien означало на его языкѣ Булкенфресса, къ которому мой наставникъ питалъ нѣкоторую слабость.

Пожелавъ ему доброй ночи, я улегся въ постель. Но уснуть я не могъ. Подслушанный мною разговоръ не выходилъ у меня изъ головы и глубоко волновалъ меня. Я снова припоминалъ все видѣнное и испытанное мною въ Богдановскомъ, и снова въ воображеніи моемъ загорались соблазнительные образы, шевелились новые смѣлые вопросы. Напрасно звучали мнѣ матушкины слова: „рано еще Борису о женщинахъ думать“; напрасно старался я забыть и повторялъ себѣ съ тоской: не хочу, не хочу я объ этомъ думать. Меня неотступно преслѣдовали, не давали мнѣ покоя слова Анны Васильевны,—изо всего разговора они болѣе всего поразили меня: „запугалъ онъ ее ревностью, запугалъ и ласками своими“. Что же это за ласки были? тщетно добивался я отгадать, между тѣмъ какъ я весь горѣлъ и замиралъ, шепча эти слова, среди тишины ночи: „что за ласки такія, отъ которыхъ она стала какъ гробовая плита? Развѣ есть такія страшныя ласки?“

— Finirez vous bientôt de vous tortiller là-bas? закричалъ на меня m-r Керети изъ-за растворенной двери своей комнаты и закашлялся своимъ надрывающимъ, чахоточнымъ кашлемъ.

Я прижался подъ одѣяломъ; но блѣдные лучи зари уже играли на рамкѣ прадѣдовскаго портрета, когда я наконецъ заснулъ на моей сбившейся и горячей подушкѣ.

XII.

Максимъ разбудилъ насъ съ Керети часу въ восьмомъ. На дамской половинѣ, докладывалъ онъ, всѣ давно встали, завтракъ готовъ и лошадей запрягаютъ. Я быстро соскочилъ съ постели и съ радостнымъ чувствомъ принялся одѣваться. День стоялъ великолѣпный; въ растворенное окно, сквозь вѣтви моей старой липы, проникалъ въ комнату свѣжій, пахучій вѣтерокъ. Никогда, кажется, не чувствовалъ я себя такимъ бодрымъ, такимъ счастливымъ, какъ въ это утро. Печальный видъ матушки, которую мы застали съ Анной Васильевной, Настей и Левой въ столовой за завтракомъ, досадливо кольнулъ меня: онъ словно отзывался упрекомъ. „За что? думалъ я,—и изъ чего это, право, maman вѣчно безпокоится? вѣдь не на вѣкъ же мы разстаемся!“ А тутъ еще Настя, подлѣ которой мнѣ пришлось сидѣть за столомъ, пристала ко мнѣ:

— Ты такой противный и равнодушный, une figure endimanchée, quand maman est dans la peine, — гадко смотрѣть на тебя.

— А ты завистливая дѣвчонка и больше ничего! отвѣчалъ я.

Настя посмотрѣла на меня совершенно озадаченная, на рѣсницахъ ея показались слезы,—она ужасно обидѣлась, но сдержалась и, повернувшись ко мнѣ плечомъ, сказала только:

— Я на дерзости не отвѣчаю.

— Ну, конечно, вы царевна, въ родѣ друга вашего Галечки Галагай! отпустилъ я ей „шпильку“.

Настя мигомъ обернулась; все лицо ея озарилось насмѣшкой, и, глядя мнѣ прямо въ глаза, сказала:

— А ты теперь *насмѣхаешься* надъ Галечкой, потому что ты...

Она не договорила.

— Потому что, что? переспросилъ я, чувствуя въ то же время, что краснѣю по уши.

— Я знаю, расхохоталась Настя и значительно качнула головой.

— Что ты знаешь?

— Не скажу!

„О, Боже мой, опять то же, *encore cette femme*! тоскливо шевельнулось во мнѣ,—и Настя, и maman, всѣ думаютъ, что я"...

Матушка между тѣмъ о чемъ-то шепотомъ переговаривала съ m-r Керети. „Обо мнѣ, навѣрное!" думалъ я, глядя на нихъ, и досада все болѣе и болѣе овладѣвала мною.

— Фу-ты, душно, смерть моя! влетѣла, запыхавшись, въ столовую тетушка Фелисата Борисовна и всѣмъ своимъ грузнымъ тѣломъ опустилась въ кресло. Она была одѣта совсѣмъ по-дорожному, въ какой-то, сверхъ платья, полумужской шинели въ рукава, съ огромнѣйшимъ мѣшкомъ въ рукѣ и краснымъ фуляромъ, пристегнутымъ сзади къ чепцу и развѣвавшимся по ея плечлмъ.

— Пора бы, кажется, и ѣхать! воскликнула она. — А то отъ жары здѣсь умрешь!

— Вы бы манто скинули, кротко предложила ей матушка.

— Покорно благодарю, — это, чтобы мнѣ простудиться! фыркнула въ отвѣтъ тетушка.

— Да вѣдь вы еще не завтракали.

— Когда же это я такъ рано завтракаю! Успѣю въ каретѣ, запаслась про случай. И тетушка указала на свой мѣшокъ.

— Что же, мы готовы, сказала, вздохнувъ, maman.

— Съ Богомъ, съ Богомъ! заторопилась Анна Васильевна, все время до этого болтавшая съ Левой, къ обоюдному, какъ видимо было, удовольствію ихъ.

Всѣ встали, обернулись къ образу, помолились, потомъ опять сѣли и, поднявшись, перекрестились и направились въ

переднюю. Тамъ уже возились, толкались и шмыгали люди съ подушками, мѣшками и всякимъ господскимъ добромъ.

— Фрося, Фро-о-о-ся? кричала Фелисата Борисовна, точно ее ножомъ рѣзали.

— А я туточки! отвѣчала ей, продираясь сквозь толпу, пятнадцатилѣтняя дѣвочка, младшая и любимѣйшая изъ горничныхъ тетушки.

— А ты, курносая, вѣчно фуляръ мой забудешь подать! Поди сейчасъ, отыщи!

— А на що жь мини шукаты, когда жь вы іого на очипокъ соби начѣпили? отвѣчала балованная дѣвочка, закрывая рукавомъ свои сверкающіе зубы, чтобы не прыснуть отъ смѣха.

Не она, такъ всѣ остальные тутъ бывшіе громко расхохотались, даже Анна Васильевна, видимо побаивавшаяся тетушки и осторожно избѣгавшая разговоровъ съ нею. Фелисата Борисовна быстро закинула руку за голову, дернула платокъ, вырвавъ вмѣстѣ съ нимъ кусокъ изъ своего кисейнаго чепца, и, раздраженная общимъ смѣхомъ, тутъ же наложила на Фросю опалу, приказавъ ей оставаться въ Тихихъ Водахъ подъ строгимъ присмотромъ ключницы Мавры Ивановны, а вмѣсто Фроси ѣхать съ нею въ городъ толстой Хиврѣ, съ тѣмъ только, чтобы толстая Хивря отнюдь не смѣла въ городѣ ходить о босу-ногу, какъ это она дѣлала постоянно въ деревнѣ, а непремѣнно взяла бы съ собой башмаки и чулки, давно ей купленные тетушкой, но и по сю пору лежащіе ненадѣванными въ сундукѣ Хиври. Толстая Хивря, очевидно обрадованная, кинулась со всѣхъ босыхъ ногъ своихъ за сундукомъ, въ которомъ хранились ея бацмаки съ чулками, а тетушка, поймавъ за рукавъ Леву, хохотавшаго звончѣе всѣхъ присутствовавшихъ, прочла ему достодолжную нотацію, главный смыслъ которой заключался въ томъ, что она давно бы его, скверная мальчишку, высѣкла, не будь только его баловницъ, подъ которыми, разумѣется, слѣдовало понимать матушку и Анну Васильевну.

Бѣдная Анна Васильевна, встрѣтившись съ разгнѣваннымъ взглядомъ тетушки, ужасно струсила.

— А ну же, идемъ садиться, идемъ скорѣе! залепетала она, поблѣднѣвъ и дергая меня за куртку.

Лева вырвался изъ рукъ тетушки и въ одинъ скачокъ очутился въ двухмѣстной коляскѣ Анны Васильевны, первой поданной къ крыльцу.

Анна Васильевна даже перекрестилась, занявъ въ ней свое мѣсто, такъ рада она была, что ушла отъ тетушки. Я помѣстился рядомъ, а Лева между нами. М-r Керети слѣдовалъ въ брикѣ съ Сильвой и съ Максимычемъ на козлахъ. Грузная четверомѣстная наша карета шестерикомъ, съ матушкой, тетушкой, Настей и съ Хиврей на запяткахъ, догоняла насъ съ трудомъ, тяжело качаясь съ боку на бокъ на огромныхъ своихъ рессорахъ.

На пятой верстѣ, у креста, поставленнаго на перекресткѣ трехъ *шляховъ*, экипажи остановились. Всѣ изъ нихъ вышли, кромѣ Фелисаты Борисовны, изнемогавшей отъ жары и скинувшей съ себя не только уже шинель, но и чепчикъ.

— Умираю, смерть моя! громко охала она въ своемъ углу, обмахиваясь большою вѣтвью, которую откуда-то успѣла ей добыть толстая Хивря, пока матушка, вся въ слезахъ, обнимала и благословляла насъ съ братомъ.

— Помни, что ты не ребенокъ, Борисъ, да и не взрослый тоже, и веди себя какъ слѣдуетъ порядочному мальчику въ твои годы, чтобы мнѣ съ отцомъ твоимъ не стыдно за тебя было, говорила она мнѣ, долго и нѣжно цѣлуя меня. — Обѣщай мнѣ, что когда увидимся, ты мнѣ все откровенно, какъ ты всегда это дѣлалъ до сихъ поръ, разскажешь про себя, все, что бы ни было съ тобою, хорошее и дурное, все. Обѣщаешь?

— Обѣщаю, maman, говорилъ я растроганный, цѣлуя ея руки, но не смѣя взглянуть ей въ лицо. „Помоги мнѣ только, Боже, сдержать обѣщаніе“, думалъ я, хотя въ эту минуту твердо былъ увѣренъ, что ничего не сдѣлаю такого, что пришлось бы мнѣ потомъ скрывать отъ матушки. Но я припомнилъ вчерашнія ея слова Аннѣ Васильевнѣ. Если вдругъ *ей* захочется „влюбить меня въ себя“, какъ же мнѣ быть тогда и какъ это разсказать потомъ maman?

Нетерпѣливые возгласы тетушки изъ кареты положили конецъ нашимъ прощаніямъ. Всѣ размѣстились опять по своимъ мѣстамъ, лошади тронули, и экипажи наши разъѣхались въ разныя стороны. Долго еще слѣдилъ я за матушкиною колымагой, подымавшей за собою цѣлыя облака пыли, пока не исчезла она за первыми хатами казеннаго села, на которое круто заворачивала дорога въ К. Веселое настроеніе мое исчезло, и я не открывалъ рта до самаго Богдановскаго. Анна Васильевна не докучала мнѣ никакими вопросами и только изрѣдка вопросительно поглядывала на меня. Одинъ Лева, по обыкновенію, трещалъ какъ стрекоза, прерывая свою болтовню лишь для того, чтобы кидаться на шею своей „баловницѣ“, выражая ей напередъ восторгъ свой за всѣ радости, которыя ему сулило житье у нея: Анна Васильевна выпросила у матушки позволенія помѣстить его съ собою въ собственной спальнѣ и отпускать къ Керети только на уроки,—выше этого счастья Лева не могъ и придумать ничего.

На большихъ часахъ Богдановскаго дома колоколъ мѣрно отбивалъ двѣнадцать ударовъ въ то самое время, когда мы выѣзжали на *красный* дворъ. Посреди его стояло нѣсколько человѣкъ, внимательно слѣдившихъ за прыжками и вольтами статнаго сѣраго коня, на которомъ крѣпко и красиво сидѣлъ всадникъ въ бѣломъ китель и какой-то вычурной, не русской формы, красной, шитой золотымъ снуркомъ фуражкѣ, молодецки надвинутой прямымъ козырькомъ на правый глазъ. Всадникъ былъ баронъ Фельзенъ. Онъ весело перекидывался словами съ Ѳомой Богдановичемъ, Булкенфрессомъ и старикомъ Золоторенкомъ, составлявшими группу его зрителей. Грохотъ коляски нашей, переѣзжавшей мостикъ предъ службами, услыхалъ онъ первый. Круто, однимъ поворотомъ руки, обернулъ онъ въ ту же минуту лошадь вправо и далъ шпоры. Мигомъ взвился конь на заднихъ ногахъ и съ страшною ланцадой перелетѣлъ черезъ перила, отдѣлявшія красный дворъ отъ проѣзжей дороги. Кучеръ нашъ невольно осадилъ своихъ лошадей; съ балкона послышался чей-то пронзительный испуганный возгласъ. Но Фельзенъ на своемъ фыркавшемъ въ бѣлой пѣнѣ конѣ стоялъ уже у нашего экипажа, съ вычурною

почтительностью склонивъ голову предъ Анной Васильевной и держа на отлетѣ въ рукѣ свою красную фуражку.

— Не пужайсь, не пужайсь, Ганночка! кричалъ Ѳома Богдановичъ, бѣгомъ направляясь къ женѣ, поспѣшно вылѣзавшей съ нами изъ коляски, между тѣмъ какъ Фельзенъ, не теряя времени, скакалъ къ крыльцу. Надъ нимъ, на широкомъ балконѣ, заставленномъ померанцовыми деревьями и цвѣтами, бѣлѣли женскія платья. Галечка и Любовь Петровна,— кто изъ нихъ крикнулъ, догадаться было не трудно. Когда я подходилъ къ дому, ко мнѣ донесся обрывокъ фразы:

— ... sachez bien que je tiens aujourd'hui à la vie, madame, говорилъ снизу Фельзенъ, закинувъ голову назадъ и улыбаясь своею заискивающею и острою улыбкой.

— Ah! je l'avoue, vous m'avez fait une peur atroce! отвѣчала ему съ балкона Любовь Петровна, смѣясь громкимъ, но принужденнымъ, какъ мнѣ казалось, смѣхомъ.

Галечки на балконѣ уже не было. Она бѣжала съ лѣстницы навстрѣчу матери и, будто разсчитавъ каждый шагъ свой, у самаго порога низко наклонилась предъ ней, почтительно цѣлуя ея руку, между тѣмъ какъ Любовь Петровна весело кричала ей съ балкона:

— И не стыдно, вамъ, тетушка, такъ пропадать!

На насъ съ Левой она не обратила никакого вниманія.

„Гдѣ ей теперь! подумалъ я, она... Напрасно только maman безпокоилась насчетъ меня“, примолвилъ я съ горечью, за которую тотчасъ же упрекнулъ себя.

Какъ за то радъ намъ былъ добрѣйшій Ѳома Богдановичъ! Лева успѣлъ уже ему все пересказать, и Ѳома Богдановичъ торопилъ людей устроить насъ такъ, какъ договорилась Анна Васильевна съ матушкой, то-есть Леву въ ея спальнѣ, а меня съ Керети—въ двухъ комнатахъ рядомъ съ Герасимомъ Ивановичемъ и Васей. Самъ онъ, взявъ меня за руку, потащилъ наверхъ, въ эти комнаты.

— Вася, гдѣ ты? кричалъ онъ еще съ лѣстницы.

— Здѣсь, дядя, послышался знакомый голосъ, и милая бѣлокурая голова свѣсилась съ перилъ наверху.

— А вотъ гляди, привезли еще плѣнника, чтобы тебѣ

одному въ темницѣ не сидѣть! хохоталъ Ѳома Богдановичъ, уцѣпившись рукой за воротникъ моей куртки и едва успѣвая переступать со ступени на ступень своими коротенькими ножками.

Вася поспѣшно сбѣжалъ къ намъ на встрѣчу. Я повисъ ему на шеѣ.

Онъ былъ очень обрадованъ, узнавъ, что мы надолго пріѣхали въ Богдановское.

— Болѣзнь отца твоего не опасна? заботливо спросилъ онъ, когда я ему разсказалъ, какъ это все случилось.—А моему, ты знаешь, лучше! примолвилъ онъ, пожимая мою руку, которую не выпускалъ изъ своихъ.

— А вотъ сейчасъ побачимъ на него, сказалъ Ѳома Богдановичъ, добираясь до верхней ступеньки и садясь отдохнуть на лавку у стѣны, въ ожиданіи людей, тащившихъ наши чемоданы. Ступайте, ступайте, я живенько за вами.

Вася отворилъ дверь налѣво и повелъ меня по корридору, на который, какъ въ гостинницахъ, выходили съ обѣихъ сторонъ двери отдѣльныхъ жилыхъ покоевъ. Въ концѣ его, въ большой угольной комнатѣ, помѣщался отецъ Васи.

— А тутъ вотъ рядомъ мой пріютъ, говорилъ весело Вася, а напротивъ Савелій, а вотъ гдѣ, вѣроятно, ты съ своимъ гувернеромъ будете жить.

— Ахъ, это тѣ комнаты, что выходятъ окнами въ большую залу,—знаю!

— Да, кажется; я не бывалъ... Пойдемъ къ папа, пока ихъ отопрутъ и принесутъ ваши вещи.

Мы застали Герасима Ивановича въ креслѣ у большаго стола, на которомъ наложена была цѣлая груда Гревдоновскихъ женскихъ головокъ, литографированныхъ изображеній разныхъ историческихъ лицъ и сценъ и парижскихъ карикатуръ. Старикъ Савелій отбиралъ ихъ по порядку одну за другою и тщательно укладывалъ подъ глаза барину. Больному, повидимому, очень нравилось это развлеченіе, и онъ такъ поглощенъ былъ имъ, что не замѣтилъ, какъ мы подошли къ самому его креслу. Онъ былъ гладко выбритъ, остриженъ и

показался мнѣ очень помолодѣвшимъ, въ своемъ свѣжемъ бѣльѣ и свѣтлой лѣтней одеждѣ.

— Папа, посмотри, кого я тебѣ привелъ! молвилъ Вася, подходя къ нему и осторожно обнимая его.

Онъ меня тотчасъ же узналъ, улыбнулся,—не какъ тогда, въ саду,—улыбнулся какъ всѣ люди, и приподнялъ, къ немалому моему удивленію, свою правую руку.

— Вы очень поправились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ, сказалъ я, взявъ эту руку, которая далеко уже не была такая ледяная, какъ тогда.

— Это еще не все! воскликнулъ радостио Вася:—онъ заговоритъ сейчасъ!

Больной улыбнулся снова, губы его зашевелились, и онъ съ трудомъ, тихо и медленно, но такъ, что я явственно могъ разслышать, проговорилъ:

— Я очень радъ васъ видѣть...

— А я какъ радъ, что вамъ лучше, Герасимъ Иванычъ! васъ узнать нельзя!

Вася восторженно глядѣлъ на отца и на меня; мое непритворное удивленіе удостовѣряло его, что состояніе больнаго шло дѣйствительно несомнѣнно къ лучшему.

Но самъ больной вѣрилъ-ли своему выздоровленію, сознавалъ-ли онъ это несомнѣнное *лучше*, которому такъ радовался его сынъ? Едва-ли! Все та же унылая, безотрадная мысль, выраженіе которой такъ поразило меня при первой встрѣчѣ съ нимъ, горѣла все тѣмъ же неугасимымъ огнемъ въ глубокихъ впадинахъ его глазъ; онъ усиленно старался улыбаться, а эти темные глаза въ то же время какъ будто говорили мнѣ: „не вѣрю, я не вернусь къ жизни, — да и къ чему?...“

„О, Боже мой, думалъ я, какой онъ несчастный, безконечно несчастный человѣкъ! И къ чему онъ такъ добивался *ея* любви, къ чему пугалъ *ее* этими непонятными „ласками, отъ которыхъ она стыла какъ плита могильная?“

Я старался не глядѣть на Васю, словно онъ могъ отгадать, что пробѣгало у меня въ мысли въ это время.

Ѳома Богдановичъ явился мнѣ на выручку. Онъ съ шу-

момъ влетѣлъ въ комнату, объявляя, что комната моя готова и Керети тоже, и что самъ французъ тутъ, и что онъ къ нему послалъ Булкенфресса, чтобы французу одному скучно не было, и что племянникъ его, Герасимъ Ивановичъ, совсѣмъ молодецъ, и что все отлично вообще, и Ганнуся такъ славно умомъ прикинула, выведя Софью Михайловну изъ затрудненія и привезя насъ въ Богдановское, что онъ отблагодаритъ ее тѣмъ, что на Успеніе дастъ всему сосѣдству балъ, на которомъ окончательно оправившійся Герасимъ Ивановичъ будетъ съ нимъ, Ѳомой Богдановичемъ, „откалывать гопака". Весь этотъ добродушный вздоръ сопровождался, по обыкновенію, хохотомъ, бѣганьемъ взадъ и впередъ по комнатѣ, щекотаніемъ собесѣдниковъ своихъ подъ мышки и всѣмъ этимъ гамомъ, который будто носилъ въ себѣ добрый помѣщикъ какъ табакерку съ музыкой, и безъ котораго онъ жить не могъ, какъ рыба безъ воды.

— А *гарныя цацки* прислалъ я тебѣ? спросилъ онъ вдругъ Герасима Ивановича, держась подъ бока отъ смѣху и указывая на попавшуюся ему на столѣ каррикатуру, изображавшую французскаго короля Луи-Филиппа въ видѣ груши.

Больной нѣсколько разъ качнулъ утвердительно головой.

— Ну вотъ, я радъ, и не скажу какъ радъ! Спасибо барону! Я ему все говорю: а чѣмъ бы это мнѣ моего недужаго утѣшить? А онъ говоритъ: картинки покажите ему, у меня ихъ интересная коллекція. Вотъ и прислалъ; тутъ еще не все, обѣщалъ другую папку прислать.

Герасимъ Ивановичъ задвигался вдругъ тревожно въ своемъ креслѣ.

— Что, папа? подбѣжалъ къ нему Вася.

Больной зашевелилъ губами.

— Не надо! прошепталъ онъ.

— Чего не надо, папа?

Глаза указывали на эстампы, лежавшіе на столѣ, рука нетерпѣливо двигалась сверху внизъ...

— Унести ихъ прочь?

— Да! да! съ напряженіемъ, довольно громко произнесъ больной.

Ѳома Богдановичъ, открывъ ротъ, съ изумленіемъ глядѣлъ на эту сцену: онъ ничего не понималъ.

Вася съ замѣшательствомъ взглянулъ на дядю.

— Ему довольно, объяснилъ онъ,—онъ утомляется...

— А утомляется, такъ и не надо! воскликнулъ совершенно удовлетворенный Ѳома Богдановичъ.—Борисъ, бери это все, неси къ своему французу, пусть подивуется на своего короля, какая изъ него здоровая *дуля* вышла... А можетъ, онъ обидится? спросилъ онъ меня,—такъ ты ему не показывай.

— Нѣтъ, смѣясь отвѣчалъ я, собирая эстампы,—ему это, напротивъ, очень понравится: онъ Луи-Филиппа терпѣть не можетъ.

— О! скажите на милость, своего короля терпѣть не можетъ! И Ѳома Богдановичъ приподнялъ плечи съ негодованіемъ.—Я же вотъ правду всегда говорю, что французы самый лядащій народъ!... Ну, до свиданія! А гдѣ обѣдать будешь? спросилъ онъ меня.

Вася поспѣшилъ сообщить мнѣ, что онъ обѣдаетъ съ отцомъ въ его комнатѣ. Я отвѣчалъ Ѳомѣ Богдановичу, что если Герасимъ Ивановичъ позволитъ, то и я буду обѣдать съ ними.

— Да, да, закивалъ утвердительно больной.

— Ну, и славно, ну и хорошо! Втроемъ и будете! Собирай цацки, Борисъ, ходимъ до твоего француза!

Въ отведенномъ намъ покоѣ мы застали Максимыча, уже успѣвшаго разобрать и разложить наше добро по шкапамъ и столамъ, и Керети, весело болтавшаго съ пріятелемъ своимъ Булкенфрессомъ. Приходъ Ѳомы Богдановича, принесенныя мною каррикатуры еще увеличили эту веселость. Музыкантъ въ глаза подымалъ на смѣхъ своего Gutsbesitser'а, какъ называлъ онъ Ѳому Богдановича, который въ простодушіи своемъ и допустить не могъ, что онъ служитъ посмѣшищемъ человѣку, живущему у него на хлѣбахъ. Ѳома Богдановичъ плохо разумѣлъ по-французски, а объяснялся еще хуже; изъ этого проистекали презабавныя недоразумѣнія, выходившія еще

смѣхотворнѣе въ переводѣ ихъ Булкенфрессомъ Керети, который только рукой отмахивался, повторяя: Mais finissez donc, vous allez me faire périre de rire! Онъ наконецъ замѣтилъ по моимъ глазамъ, что ему неприлично принимать участіе въ этомъ шутовствѣ, оскорбительномъ для человѣка, подъ кровомъ котораго мы находились.

— Voyons, finissez donc pour de bon! сказалъ онъ музыканту,—vous devenez inconvenant!

Булкенфрессъ глянулъ на меня изъ-подъ очковъ, сжалъ губы и смолкъ. А добрѣйшій хозяинъ, трепля его по плечу, поощрялъ его:

— Ай да нѣмецъ, — потѣшилъ! Съ нимъ со скуки не помрешь! Pas mourir triste avec lui! пояснилъ онъ Керети.

— Non, monsieur, non, jamais, отвѣчалъ ему тотъ, отворачиваясь, чтобы не расхохотаться снова.

Ѳома Богдановичъ ушелъ, а за нимъ Булкенфрессъ увелъ къ себѣ моего гувернера.

— Безпокойно имъ будетъ здѣсь, кивая во слѣдъ Керети головой, сказалъ мнѣ Максимычъ, едва остались мы съ нимъ вдвоемъ.

— А почему ты думаешь?

— Сами видите, окна-то куда выходятъ. Здѣсь по вечерамъ лясы да плясы, въ самой этой залѣ, значитъ, индѣ до пѣтуховъ; говорятъ, иной разъ всякая тутъ музыка бываетъ, пьютъ и играютъ,—вотъ этотъ самый музыкантъ исполняетъ, а съ нимъ и вся офицерія здѣшняя. Гдѣ же больному покой себѣ имѣть? Да и вамъ самимъ, Борисъ Михайловичъ, не знаю, какъ спать-то вамъ будетъ здѣсь.

— Э! еще какъ спать буду, Максимычъ!

— Ну, глядите, чтобы мнѣ завтра одѣяла съ васъ не тащить. Не ожидаю я здѣсь большаго покоя ни для кого, то-есть, примолвилъ мой дядька, морщась и шевеля плечами, что всегда означало въ немъ крайнее неудовольствіе. — Содомъ, какъ есть содомъ! подтвердилъ онъ, значительно взглянувъ на меня,—поживите, сами увидите, а не увидите, такъ это, значитъ, для васъ еще лучше.

„Максимычъ, подумалъ я, вѣрно что-нибудь слышалъ про этого противнаго барона и про....“ Но мнѣ стыдно было разспрашивать моего старика, и я снова отправился къ Васѣ. „Когда я *ее* увижу, непремѣнно замѣчу, въ перчаткахъ она или нѣтъ“, обѣщалъ я себѣ, припоминая опять то, что разсказывала вчера Анна Васильевна матушкѣ.

XIII.

Герасимъ Ивановичъ спалъ въ своемъ креслѣ. „Анна Васильевна только-что къ нему заходила, сказалъ мнѣ Вася, и ушла къ дочери.“ Вася повелъ меня въ свой пріютъ, какъ онъ называлъ очень милую съ ковромъ комнатку, въ которой когда-то спала Галечка, переведенная теперь, по случаю пріѣзда Лубянскихъ, въ другую часть того же этажа. Онъ передалъ мнѣ, что отецъ его обыкновенно засыпаетъ по нѣскольку разъ въ день, за то ночи проводитъ почти безъ сна, сидя одинъ, въ потьмахъ, у открытаго окна. „Онъ сердится, говорилъ Вася, когда Савелій или я входимъ къ нему въ это время. Но вѣдь нельзя же оставить его совсѣмъ одного, и мы поэтому чередуемся съ Савеліемъ и еще другимъ человѣкомъ, который при папа. Я дежурю въ своей комнатѣ отъ девяти часовъ до двѣнадцати, потомъ приходитъ мнѣ на смѣну Савелій и сидитъ здѣсь до двухъ, а потомъ тотъ человѣкъ до зари; на зарѣ папа всегда заснетъ, и это его лучшій сонъ.

— И это все ты такъ устроилъ? спросилъ я.

— А то кто же? отвѣчалъ онъ улыбаясь.

— Нѣтъ, я думалъ... твоя мама...

— Мама... да... пробормоталъ Вася, и онъ торопливо провелъ рукой по лицу. — Она обыкновенно приходитъ сюда утромъ, послѣ завтрака....

— Ты только тогда ее и видишь?

— Она живетъ тамъ, въ павильонѣ. Вася указалъ въ окно по направленію сада, — обѣдаетъ она внизу со всѣми, а я здѣсь, и вечеромъ также здѣсь, внизъ я почти никогда не

схожу... А много ты стиховъ сочинилъ за все это время? спросилъ онъ меня вдругъ, очевидно желая заговорить о другомъ.

— Нѣтъ, я ничего не сочинялъ, такъ скучно было. Мнѣ очень хотѣлось тебя видѣть, Вася.

— Спасибо тебѣ, Боря, ты добрый. Со мною не весело, какъ съ другими, я это знаю, а вотъ ты полюбилъ меня...

— И еще какъ! Мнѣ кажется, что я съ тобой друженъ отъ самой колыбели. Отчего это такъ бываетъ, что сразу увидишь, и вдругъ полюбишь?

Вася улыбнулся.

— Пословица говоритъ: рыбакъ рыбака видитъ издалека. Ну, и хорошіе люди тоже, должно-быть, узнаютъ другъ друга...

— А развѣ хорошій человѣкъ, прервалъ я его, — непремѣнно долженъ полюбить такого же хорошаго? Развѣ такъ не можетъ случиться, что просто полюбишь, самъ не зная за что?

— И что тогда? спросилъ неожиданно Вася.

— Что? не знаю... промолвилъ я, озадаченный такимъ вопросомъ.

— Я думаю, сказалъ онъ, съ внезапнымъ волненіемъ въ голосѣ,—что отъ этого можетъ произойти много нехорошаго...

— Отчего нехорошаго, Вася?

— Надо имѣть волю надъ собой, продолжалъ онъ, не отвѣчая на вопросъ мой:—прежде чѣмъ полюбить, надо знать, что дѣлаешь...

— Да развѣ можно сказать себѣ: вотъ этого я полюблю, а вотъ этого нѣтъ? опровергалъ я его. Это невольно дѣлается.

Вася помолчалъ.

— А какъ бы ты поступилъ въ такомъ случаѣ, напримѣръ? молвилъ онъ затѣмъ, пристально глядя на меня своими большими, темно-синими глазами.—Мы вотъ такъ съ тобой, положимъ, подружились, что любимъ другъ друга какъ братья. И вотъ ты встрѣчаешь другаго мальчика, который тебѣ вдругъ понравится. Я, твой другъ, это вижу. И не я, а положимъ отецъ твой и мать, которые гораздо для тебя дороже, видятъ

это и говорятъ тебѣ: Боря, тотъ, кто тебѣ нравится, не стоитъ, чтобы ты его любилъ; но еслибъ онъ и стоилъ, знай, что если ты его полюбишь, мы будемъ несчастливы, очень, на вѣки несчастливы! Говори, что бы ты сдѣлалъ тогда?

— Я постарался бы не полюбить его, Вася; уходилъ бы отъ него, старался бы его забыть...

— А! вотъ видишь, вотъ видишь! прервалъ меня съ торжествомъ Вася.—Ты бы не захотѣлъ видѣть несчастными близкихъ тебѣ и постарался бы заглушить въ себѣ то чувство, отъ котораго могло бы придти это несчастіе? Такъ вѣдь, такъ?

— Такъ, Вася, но заглушить, какъ ты говоришь, мое чувство, не думать о немъ, я не знаю, успѣлъ-ли бы я.

— Успѣлъ бы, еслибы захотѣлъ, лишь была бы твердая воля. А главное то, что ты бы поступилъ такъ, какъ тебѣ слѣдовало, какъ тебѣ Богъ велѣлъ. Не правда-ли?

— Конечно!

— Ты былъ бы самъ, можетъ-быть, немножко несчастливъ, за то спасъ бы отъ большаго несчастія тѣхъ, кто тебѣ долженъ быть всего дороже на свѣтѣ!..

Я не отвѣчалъ Васѣ и молча глядѣлъ на него. Мнѣ вдругъ сдѣлалось очень, очень тяжело на сердцѣ. Я хорошо понималъ, о чемъ, о комъ онъ думалъ, говоря о „большомъ несчастіи“...

Самъ онъ съ мигающими глазами всталъ, откинулъ обѣими руками назадъ свои длинные волосы, заглянулъ въ комнату отца и, возвращаясь на мѣсто:

— Такъ вотъ видишь, Борисъ, сказалъ онъ, улыбаясь,— что ты, можетъ-быть, очень неосторожно поступилъ, полюбивъ меня такъ сразу, „самъ не зная за что.“ Можетъ-быть, я совсѣмъ не достоинъ, чтобы ты меня любилъ?....

— Нѣтъ, пожалуйста, не говори ты мнѣ этого! воскликнулъ я, кидаясь обнимать его.—Я знаю, какой ты отличный!...

— И ошибаешься! сказалъ онъ.—Совсѣмъ не „отличный!“ Развѣ такіе должны быть отличные люди?... Я прощать не умѣю, неожиданно, глухо примолвилъ онъ.

Слова эти какъ бы противъ его воли сорвались у него

ъ языка; онъ вдругъ поблѣднѣлъ, опустилъ голову и при-
ялся искать чего-то глазами на коврѣ.

Я задумался тоже: мнѣ не случалось до сихъ поръ слы-
ать подобныя рѣчи,—онѣ поражали меня, и тоскливо,—а вмѣстѣ
ь тѣмъ какъ бы унижая меня своимъ превосходствомъ надъ
оими мелкими, ребяческими ощущеніями, звучало для меня
го скорбное, зрѣлое чувство...

— Ты совсѣмъ какъ *большой* выражаешься, Вася, сказалъ
ему нодъ этимъ впечатлѣніемъ.

Онъ поднялъ голову и усмѣхнулся.

— Да я и не маленькій, отвѣчалъ онъ. Мнѣ на дняхъ
естнадцать лѣтъ минетъ: я совсѣмъ не почитаю себя за
ебенка.

Вотъ и мнѣ шестнадцатый годъ, только я самъ чувствую,
то я предъ тобою какъ малое дитя...

— А у тебя развѣ это есть на рукахъ? отвѣчалъ мнѣ
нъ, указывая на комнату, изъ которой довольно явственно
лышался храпъ его спящаго отца. Ты счастливъ, оттого ты
дитя, Борисъ,—дай Богъ тебѣ никогда не знать...

Онъ не докончилъ, прошелся еще разъ по комнатѣ и сѣлъ
рямо противъ меня.

— Послушай, сказалъ онъ, взявъ меня за обѣ руки.—Я
еперь безъ шутокъ говорю тебѣ: не привязывайся ты очень
ко мнѣ.

— Ты не хочешь! чуть не плача вскрикнулъ я.

— Шш... папа разбудишь! Я радъ, напротивъ, я тебѣ бла-
годаренъ, и не пустое слово я говорю тебѣ этимъ. У меня
до сихъ поръ не было ни единаго друга, товарища, даже
просто сверстника, съ которымъ я бы могъ поговорить, обмѣ-
няться мыслью. А вѣчно, вѣчно быть одному, вѣчно носить
свою мысль въ себѣ—ты не знаешь, какъ это бываетъ иногда
тяжело, Борисъ. Но стыдно только о себѣ думать. Я уже го-
ворилъ тебѣ, со мною не весело, отъ меня не жди того же,
что отъ Саши Рындина или отъ другихъ твоихъ товарищей:
ты самъ видѣлъ, я никакихъ игръ не знаю. У меня какія за-
бавы—всѣ тутъ вотъ. Тебѣ это или наскучитъ, Боря, и ты

станешь отдаляться отъ меня, а это мнѣ будетъ больно, потому что я привяжусь къ тебѣ,—или...

— Или что? нетерпѣливо допрашивалъ я, видя, что онъ какъ бы не рѣшается договаривать.

— Или самъ ты перемѣнишься, Борисъ...

Онъ пожалъ мнѣ руки и съ какою-то родительскою нѣжностью взглянулъ мнѣ въ лицо.

— Ты вернешься домой не тотъ, какимъ сюда пріѣхалъ... А что скажетъ на это твоя мать?

— Развѣ я ее меньше буду любить оттого, что сдѣлался твоимъ другомъ?

— Боже сохрани! возразилъ живо Вася.—Но если ты желаешь быть мнѣ искреннимъ другомъ, ты захочешь понимать меня, думать заодно со мною, ты станешь размышлять, ты увидишь, можетъ-быть, ты узнаешь многое, отъ чего ты будешь страдать и оскорбляться, и перестанешь быть тѣмъ, чѣмъ ты былъ до сихъ поръ, потому что я знаю, тетушка Анна Васильевна мнѣ еще сейчасъ говорила, у тебя сострадательное сердце и не глупая головушка. Къ чему же тебѣ страдать чужимъ горемъ? Да къ чему тебѣ и знать... Ахъ, Борисъ, право, заключилъ странный мальчикъ, — напрасно, напрасно отпустили тебя сюда!

— Нѣтъ, не напрасно! возражалъ я, — потому что горе вдвоемъ легче сносить, это всѣмъ извѣстно. Ну, я и возьму половину твоего горя!...

— О, о, какой ты отважный! улыбнулся Вася. — Только горю моему не поможетъ то, что ты, бѣлый голубокъ, замараешь въ немъ крылья.

Мрачное, почти злое выраженіе исказило мгновенно лицо Васи. Я никогда бы не повѣрилъ, что оно могло быть способно на такое выраженіе. Тутъ только понялъ я, что хотѣлъ онъ сказать, говоря, что не умѣетъ прощать...

— Онъ думаетъ, что у меня бѣлыя крылья, а я, я... И почти съ ужасомъ вспомнилъ я въ эту минуту смущеніе, какое производила во мнѣ красота его матери...

Герасимъ Ивановичъ все не просыпался, и мы проговорили съ Васей вплоть до самаго обѣда. Онъ разсказалъ мнѣ, какъ,

почти тому три года, пораженъ былъ ударомъ его отецъ. Это было зимой въ Петербургѣ. Васѣ шелъ тринадцатый годъ. Отецъ очень занимался имъ, самъ давалъ ему уроки. Комната его была смежна съ кабинетомъ Герасима Ивановича. Однажды вечеромъ отецъ его и мать уѣхали куда-то на балъ. Вася легъ въ постель, но долго уснуть не могъ; онъ съ вечера готовилъ математическую задачу назавтра и такъ и легъ, не добившись рѣшенія ея, — это его мучило и мѣшало спать. Вдругъ онъ услышалъ шумъ отворяющейся двери въ кабинетъ и чьи-то голоса. Хорошо, ступай! говорилъ его отецъ. Дверь опять затворилась. Кто-то скорыми шагами зашагалъ по коврамъ.—Ты вернулся, папа? спросилъ Вася изъ своей комнаты. Отвѣта не было. Черезъ нѣсколько времени мальчикъ опять рѣшился спросить: Папа, это ты? Но тутъ произошло что-то ужасное: какой-то грохотъ и хрипъ, отъ чего „я весь оледенѣлъ“, говорилъ Вася, „и думалъ, что умираю“. Наконецъ онъ вскочилъ и кинулся въ кабинетъ. Одна свѣча горѣла тамъ на каминѣ, и Вася съ перваго раза не могъ понять, что случилось. Отца его не было! Только оглядѣвшись увидѣлъ онъ его въ дальнемъ углу, за письменнымъ столомъ. Бѣдный отецъ его лежалъ на полу недвижно, и густая, темная кровь текла у него по щекѣ: онъ наткнулся, падая, на уголъ тумбы съ какимъ-то бюстомъ, который вмѣстѣ съ нимъ и повалился. Отчаянный крикъ мальчика поднялъ весь домъ на ноги. Бросились за докторомъ; къ счастію, онъ жилъ не далеко и былъ дома. А то Савелій самъ, ремесломъ фельдшеръ, непремѣнно хотѣлъ пустить кровь своему барину—и убилъ бы его на мѣстѣ, объяснялъ Васѣ прибѣжавшій докторъ, который объявилъ, что это нервный ударъ.—„Папа перенесли на диванъ“, продолжалъ Вася, „стали вокругъ него возиться... Я и разсказать тебѣ не могу, что со мною тутъ было: я ничего не видѣлъ, не слышалъ... Помню только, что я кидался, рыдая, къ людямъ и умолялъ: мамашу, мамашу скорѣе“! За нею поѣхали.

— Какъ она испугалась, я думаю! сказалъ я.

— Да... Я помню, какъ она вошла въ комнату, вся въ цвѣтахъ, жемчуги на шеѣ, въ такомъ прекрасномъ розовомъ платьѣ, взглянула на папа и вскрикнула...

— Она очень плакала, Вася?...

Онъ моргнулъ глазами и медленно проговорилъ:

— Она упала на стулъ и сказала: этого еще недоставало!... Потомъ расплакалась...

— Ей, должно-быть, было это очень больно, повѣрь, Вася!

— Я и вѣрю! отвѣчалъ онъ, строго взглянувъ на меня своимъ недѣтскимъ взглядомъ.

— Вы послѣ этого уѣхали за границу? поспѣшилъ я его спросить.

— Да, переѣзжали изъ города въ городъ, долго жили въ Гейдельбергѣ, въ Боннѣ, потомъ въ Швейцаріи. Медленно поправлялся папа. Ужасно то, что сознаніе очень скоро въ немъ вернулось, а бѣдное его тѣло все оставалось мертвымъ. Я очень скоро сталъ понимать его по глазамъ; ты самъ видишь, какіе они у него живые, говорящіе... Какъ ему надоѣдали доктора, еслибы ты зналъ! Ты вообрази, въ каждомъ городѣ новыя лица, новыя консультаціи — и все при немъ, какъ будто онъ въ самомъ дѣлѣ былъ мертвый. Сколько разъ я просилъ ихъ, говорилъ имъ, что онъ все слышитъ и понимаетъ. Они улыбались, не вѣрили, пошепчутъ между собой, а потомъ опять начнутъ громко... И чего-чего они ему ни предписывали! При мама онъ принималъ ихъ лѣкарство, а нѣтъ ея—онъ велитъ вылить стклянку за окно. Наконецъ въ Вѣнѣ, одинъ старикъ-докторъ, очень добрый человѣкъ, очень полюбившій насъ съ папа, сказалъ напрямикъ, что никакихъ лѣкарствъ не нужно, что вылѣчить его могутъ только три вещи, которыя онъ и проситъ maman не забывать, — взялъ перо и написалъ большими буквами, по-нѣмецки: время, чистый воздухъ и покой. Она тогда рѣшилась вернуться въ Россію, на югъ, и мы поѣхали прямо изъ Вѣны въ К., посовѣтоваться еще съ тамошними медиками. Они сказали maman, что совершенно согласны съ рецептомъ вѣнскаго ихъ собрата. Въ К. мы застали дядю Рындина и вмѣстѣ съ нимъ пріѣхали сюда.

— И въ самомъ дѣлѣ, какъ поправился отецъ твой здѣсь! Въ три недѣли, а какъ уже замѣтно!

Лицо Васи тотчасъ же повеселѣло, и онъ сообщилъ мнѣ,

что на дняхъ посѣтилъ больнаго докторъ изъ штаба генерала Рындина, видѣвшій его въ К.: онъ былъ пораженъ замѣченною имъ перемѣной къ лучшему и очень обнадеживалъ Васю.

— Я и самъ это вижу, говорилъ онъ.—Ахъ! промолвилъ онъ вдругъ, еслибы только папа согласился не сидѣть вѣчно у этого окна!

— Не все ли равно, гдѣ ему сидѣть, лишь бы воздуху ему побольше?

Вася не отвѣчалъ, и я только потомъ сообразилъ, что окно, о которомъ онъ говорилъ, выходило прямо насупротивъ павильона, занимаемаго Любовь Петровной.

— Ты однако продолжалъ учиться за границей, Вася? допрашивалъ я его. — Только по-русски кто же могъ тебя тамъ учить?

— Никто. Самъ я старался не забыть, много читалъ, мама выписывала мнѣ русскія книги. А по остальному меня готовилъ въ гимназію учитель, котораго ко мнѣ взяли въ Боннѣ, теологъ тамошняго университета, очень ученый; онъ съ нами ѣздилъ, только заболѣлъ въ Вѣнѣ и тамъ остался. Я надѣюсь, онъ пріѣдетъ скоро сюда, а то одному мнѣ успѣвать гораздо труднѣе. А что мнѣ другое дѣлать, примолвилъ онъ, слегка вздохнувъ,—какъ не учиться, когда я перестану быть полезнымъ *ему*...

XIV.

Звонъ колокола на дворѣ разбудилъ наконецъ больнаго. Онъ зашевелился, громко зѣвнулъ, и мы тотчасъ же вошли къ нему.

— Ты крѣпко спалъ, папа, смѣялся Вася,—даже подушка вотъ у тебя съѣхала, а ты не замѣтилъ. Дай я оправлю...

Но отцу его чего-то другаго хотѣлось; онъ зашепталъ, глядя на сына...

— Помоги, Борисъ, сказалъ Вася, подвезти кресло...

Мы подвезли его къ окну, къ *тому* окну, — и больной зорко принялся глядѣть въ него.

Павильономъ, въ которомъ жила Любовь Петровна, прозвано было Ѳомой Богдановичемъ одноэтажное небольшое деревянное зданіе, пристроенное имъ, ни къ селу ни къ городу, къ одному изъ крыльевъ большаго Богдановскаго дома, съ которымъ оно сообщалось довольно длинною, на колонкахъ, à jour, крытою галереей. Это было что-то въ родѣ прихотливой петербургской дачи, красивой развѣ тѣмъ, что она снизу и до самой крыши исчезала въ зелени. Дикій виноградъ, плющъ и павилика широко и густо расползались кругомъ, и поверхъ его росписныхъ ставней обвивали его тонкія, выточенныя пилястры. Ползущія растенія были какъ бы спеціальностью Богдановскаго, — нигдѣ такъ хорошо не принимались они, не росли такъ роскошно и обильно.

Колоколъ продолжалъ звонить къ обѣду,—и вотъ за этою зеленою сѣтью плюща и винограда показался и точно понесся, точно влекомый тихимъ вѣтромъ по сквозной галереѣ,

чаровательный женскій обликъ, съ пунцовою лентой вокругъ тройнаго стана, съ огромнымъ букетомъ такихъ же пунцовыхъ розъ въ рукѣ... *Она* прошла, не взглянувъ въ нашу сторону, и давно исчезла въ дверяхъ большаго дома, а онъ все еще глядѣлъ ей вслѣдъ съ какимъ-то невыразимымъ блаженствомъ и безконечною тоской въ говорящихъ глазахъ. Боже мой, какая сила любви жила въ этомъ „мертвомъ“ ѣлѣ, какъ выражался Вася!

Я отошелъ отъ окна...

— Каждый день вѣдь такъ! шепнулъ мнѣ Савелій, уставявшій тарелками столъ, на которомъ мы должны были обѣать.—Только и есть у нихъ занятія, сидѣть у окна и ждать, огда барыня пройдутъ...

Обѣдъ нашъ втроемъ прошелъ довольно весело: Вася стался занимать отца, разсказывалъ ему какой-то эпизодъ изъ сторіи Украйны, только-что имъ вычитанный у Бантыша-аменскаго, которымъ ссудилъ его Ѳома Богдановичъ; больой слушалъ его внимательно и съ видимымъ интересомъ, олько иной разъ на какомъ-нибудь словѣ онъ морщилъ лобъ легкимъ движеніемъ руки останавливалъ Васю: очевидно ыло, что смыслъ этого слова исчезъ изъ его памяти и что нъ требовалъ повторить его или разъяснить. Вася умѣлъ лать это съ большимъ искусствомъ: онъ по глазамъ отца акъ будто угадывалъ, что именно надо было сказать, чтобы вести его на понятіе о предметѣ, названіе котораго не далось ему. Понявъ, больной съ видимымъ удовольствіемъ киалъ головой и опять двигалъ рукой, чтобы сынъ продолжалъ вой разсказъ. Савелій, весьма словоохотливый старикъ, также мѣшивался иногда въ разговоръ и снисходительно, какъ къ ребенку, обращался къ барину съ какимъ-нибудь своимъ объясненіемъ, всегда вызывавшимъ улыбку Васи и даже самого больнаго. Савелій былъ столь же веселаго нрава, сколько нашъ Максимычъ угрюмъ, и, какъ говорилъ мнѣ потомъ Вася, въ самыя трудныя минуты болѣзни Герасима Ивановича умѣлъ всѣхъ ободрять и утѣшать своимъ никогда неунывавшимъ расположеніемъ духа. Странно было видѣть рѣзкую разницу въ его обращеніи съ отцомъ и сыномъ: къ первому онъ от-

носился, какъ я уже сказалъ, какъ къ нѣжно-любимому ребенку, котораго, для его же пользы, порой и пожурить не мѣшаетъ; къ Васѣ же исполненъ былъ почтительности, никогда не шутилъ съ нимъ и, что говорится, глядѣлъ ему въ глаза, стараясь угадать его желанія.

Послѣ обѣда наступилъ часъ обычной прогулки Герасима Иваныча. Савелій со своимъ помощникомъ подняли больнаго на рукахъ и на летучихъ носилкахъ спустили его по лѣстницѣ; внизу ждала его колясочка, и его покатили по аллеямъ сада. Мы отправились за нимъ съ Васей. Въ саду никого не было, всѣ еще обѣдали. Тихо шелестилъ вѣтеръ въ верхушкахъ тополей и урывками пробѣгалъ по кустамъ, словно испуганная векша. Прохладны были темныя аллеи, пахучъ воздухъ, напоенный свѣжимъ запахомъ ближняго сѣнокоса. Колясочка больнаго остановилась у цвѣтника, и Савелій принялся опять набирать цвѣтовъ для барина, а мы съ Васей ушли далеко, туда, гдѣ уже кончался садъ, а начинался ивнякъ, да ракитникъ, да высокій очеретъ, подымавшійся изъ тихой глади озера—пріютъ чирятъ и всякой водяной дичи, стадами взлетавшей надъ нимъ при нашемъ приближеніи. Мы долго гуляли по этой зеленой пустынѣ, Богъ знаетъ какъ, казалось, отдаленной отъ всякаго людскаго жилища. — Мы точно на Робинзоновомъ островѣ, говорилъ я Васѣ, и мы перекидывались шутками. Онъ дразнилъ меня и увѣрялъ, что я тамъ умеръ бы съ голоду, не умѣлъ бы даже разбить кокосовый орѣхъ, чтобы добыть оттуда молока, потому что я „нѣженка“ и „маменькинъ сынокъ“; я утверждалъ, что дикіе непремѣнно его бы съѣли, потому что онъ не умѣетъ стрѣлять изъ ружья, между тѣмъ какъ я уже три галки на своемъ вѣку убилъ. Вася расхохотался вдругъ громкимъ дѣтскимъ смѣхомъ, который былъ необыкновенно обаятеленъ въ немъ; невѣсть какую глупость я готовъ бы былъ, кажется, придумать, только чтобы заставить его такъ разсмѣяться.

— А знаешь, сказалъ я,—будь здѣсь Саша Рындинъ, онъ непремѣнно бы насмѣялся надъ нами, сказалъ бы, что мы *бабы*, и умѣемъ заниматься только *невинными разговорами*....

— Саша мудрецъ, сказалъ въ свою очередь Вася.

— Это почему?

— А потому, что онъ все кулакомъ рѣшаетъ, — легче, думать не нужно!

— Да, отвѣчалъ я, — Петя Золоторенко не даромъ говоритъ, что думать труднѣе, чѣмъ даже зайца за хвостъ поймать. Пріятель мой опять расхохотался, къ величайшему моему удовольствію...

Вернувшись къ цвѣтнику, мы застали еще тамъ Герасима Иваныча; онъ былъ не одинъ. На скамьѣ, противъ его колясочки, сидѣлъ маіоръ Гольдманъ, по прозванію „командоръ", и разговаривалъ съ нимъ при помощи Савелія. Оказывалось, что этотъ сумрачный господинъ очень благоволилъ къ Лубянскимъ, отцу и сыну, и каждый день приходилъ послѣ обѣда къ этому мѣсту, гдѣ зналъ, что найдетъ Герасима Ивановича. Разговоры его съ нимъ были не многосложны: онъ справлялся о здоровьѣ больнаго, потомъ говорилъ о погодѣ и жаловался на своего вахмистра; но больной привыкъ къ нему, и его бесѣда съ командоромъ доставляла Васѣ каждый день часа два свободныхъ, которыми онъ пользовался для одинокихъ прогулокъ „на вольной своей волюшкѣ". Онъ не любилъ и избѣгалъ встрѣчъ съ вѣчнымъ обществомъ гостей, безъ которыхъ Ѳома Богдановичъ не могъ обойтись ни единаго дня и которыхъ онъ, вѣчная суета, не способный самъ посидѣть ни минуты на одномъ мѣстѣ, повсюду таскалъ за собой и забалтывалъ до обморока, какъ насмѣшливо и презрительно выражался о немъ отецъ мой.

Командоръ сидѣлъ на скамьѣ и съ какимъ-то ожесточеніемъ курилъ свою трубку.

— Здравствуйте, ротмистръ, сказалъ ему Вася, подходя.

— Не ротмистръ,—маіоръ, поправилъ его тотъ.

— Ахъ, да, вы произведены, я слышалъ, — поздравляю, молвилъ и я, здороваясь съ нимъ.

— У-ѣз-жаетъ, проговорилъ Герасимъ Ивановичъ, глядя на сына.

— Это очень жаль, сказалъ Вася:— папа будетъ скучать безъ васъ.

— Я самъ... промычалъ маіоръ, пуская клубъ дыма изъ-подъ усовъ.

— И скоро ѣдете?

— Давно пора, да вотъ... Онъ не договорилъ.

— А вмѣсто васъ эскадрономъ будетъ командовать...

Я также не договорилъ и покраснѣлъ: мнѣ внезапно представилось, что маіоръ сейчасъ же спроситъ, откуда я это знаю, и что затѣмъ, уже „de fil en aiguille", всѣмъ сдѣлается извѣстнымъ, что я вчера подслушивалъ.

Но маіоръ прямо отвѣчалъ на то, что онъ почиталъ вопросомъ.

— Штабъ-ротмистръ баронъ Фельзенъ.

— Такъ онъ остается здѣсь? проговорилъ Вася, видимо избѣгая глядѣть на отца и на меня.

„И зачѣмъ это вздумалось мнѣ напомнить"! упрекалъ я себя внутренно:—„развѣ я не понимаю, что не надо произносить имя этого человѣка предъ бѣднымъ Герасимомъ Ивановичемъ!..."

— Да, отвѣчалъ Васѣ командоръ, и какъ бы съ злорадствомъ примолвилъ:—повозится недолго!...

— А почему такъ? не могъ я удержаться спросить.

— Въ гвардію вернутъ, угрюмо и нехотя пропустилъ онъ сквозь новое облако дыма.

— Ну, и прекрасно, пусть отправляется отсюда скорѣе! воскликнулъ я и съ торжествомъ поглядѣлъ на Васю.

— Прокатиться бы вамъ еще маленечко, Герасимъ Иванычъ? спросилъ въ то же время Савелій и, не ожидая отвѣта, взялся за ручки. Колясочка двинулась, и Вася пошелъ вслѣдъ за нею.

Длинный маіоръ поднялся со скамьи.

— Вы куда? спросилъ я его. Я былъ очень сконфуженъ и чувствовалъ, что мнѣ будетъ неловко съ Васей.

Мы пошли съ командоромъ по направленію дома.

— Отчего это, скажите мнѣ, баронъ этотъ, Фельзенъ, спросилъ я его, — ходитъ въ красной фуражкѣ? Какая это форма?

— Собственная, отвѣчалъ маіоръ и, какъ видно, полагая,

что сказалъ вещь очень забавную, принялся глухо и отрывисто смѣяться. Это было въ немъ такъ необыкновенно, что я поглядѣлъ на него, думая, что онъ не смѣется, а кашляетъ.

— Онъ мнѣ не нравится! объявилъ я и самъ удивился, къ къ чему это сказалъ.

— Кто это?

— А вашъ баронъ.

— Не мой, можете себѣ взять! фыркнулъ маіоръ, — точь въ точь тетушка Феласата Борисовна.

— Онъ давно у васъ въ полку?

— Четыре мѣсяца. На каждый изъ моихъ вопросовъ отвѣтъ маіора заставлялъ себя ждать невыносимо долго. Но я упорствовалъ.

— Онъ изъ Петербурга переведенъ?

— Съ Кавказа.

— А что онъ тамъ дѣлалъ?

— Разжалованъ былъ въ солдаты.

— Въ солдаты!

Мнѣ показалось это ужаснымъ.

— Вѣдь солдатъ бьютъ! воскликнулъ я, съ отвращеніемъ думая, что такой „солдатъ“ могъ полюбиться такой „волшебной красотѣ“, какъ Любовь Петровна.

— Бьютъ, хладнокровно отвѣчалъ тѣмъ временемъ командоръ.

— Такъ вѣдь и его могли?...

— Нѣтъ, дворяне не подлежатъ...

Маіоръ остановился посреди аллеи, вперивъ въ меня свои неподвижные круглые глаза.

— Что это вамъ вздумалось? спросилъ онъ, вздергивая усы свои кверху, и вдругъ опять засмѣялся, но уже такъ, что можно было подумать, что онъ давится.

— Какъ же онъ вдругъ опять сдѣлался штабъ-ротмистромъ?

— За отличіе въ экспедиціи вернули чинъ по арміи.

— Такъ это правда, что онъ очень храбрый?

— Должно-быть, отрѣзалъ командоръ.

— Только онъ, кажется, очень много думаетъ о себѣ, за-

говорилъ я опять. Мнѣ страстно желалось, чтобы командоръ сказалъ что-нибудь дурное про Фельзена.

— Извѣстно—гвардеецъ! сказалъ онъ только.

— А развѣ гвардейцы всѣ такіе?

— Аристократы,—не нашъ братъ, армейщина темная.

Маіоръ опять остановился, вытащилъ изъ кармана кисетъ съ табакомъ, набилъ трубку и принялся курить съ новымъ ожесточеніемъ.

— Онъ вѣдь нѣмецъ? принялся я опять допрашивать.

— Кто?

— Да онъ же, этотъ баронъ.

— Изъ Курляндіи.

— А вы откуда, маіоръ?

— Изъ Костромской губерніи.

— Такъ вы не нѣмецъ?

— Такой же нѣмецъ, какъ вы жидъ, фыркнулъ онъ снова.

— Я очень радъ этому, сказалъ я.

— Чему вы рады?

— Что вы не землякъ этому господину.

— А чѣмъ онъ васъ обидѣлъ?

Я ужасно сконфузился и разсердился на этого пучеглазаго верзилу.

— Поздравляю васъ, если вы его любите! откололъ я ему „въ пику“, какъ выражалась Настя, и замедлилъ шагомъ, чтобъ отстать и уйти отъ него.

— Чего мнѣ его любить? отвѣчалъ онъ на ходу, не замѣчая моего маневра.—На то есть у него женскій полъ, пробурчалъ онъ.

Я его опять догналъ.

— А женскій полъ его очень любитъ, скажите? приставалъ я къ маіору.

— Должно быть.

— Почему же должно-быть? Вѣдь не каждаго же долженъ женскій полъ любить?

— Извѣстно, не каждаго. Вотъ меня онъ уже пересталъ любить, а васъ еще не начиналъ, отвѣчалъ маіоръ, искоса смѣривъ меня взглядомъ.

— Почему же надо непремѣнно, чтобъ его любили? пригавалъ я.

— Потому—все имѣетъ: изъ себя видный, воспитанъ, на сякихъ языкахъ объясняться можетъ, всякую штуку видалъ, янулъ маіоръ, пріостанавливаясь на каждомъ словѣ. — А лавное — ловокъ, шельмецъ, заключилъ онъ, вытряхивая на уку золу изъ своей потухшей трубки.

— И это по-вашему хорошо? воскликнулъ я съ негодованіемъ.

— Что хорошо?

— То, что онъ... „Не могу я однако сказать ему, что этотъ ротивный баронъ хочетъ свести съ ума мать Васи!“ подумалъ я и замолчалъ.

Маіоръ пристально взглянулъ на меня и словно прочиталъ мысль мою на моемъ лицѣ.

— И не то еще бываетъ, молодой человѣкъ, — ничего съ тимъ не подѣлаешь!... А вы съ сынкомъ-то подружились? просилъ онъ.

— Съ какимъ сынкомъ? спросилъ я, въ свою очередь наивно.

— Ну, вотъ... съ Лубянскимъ?

— Я его какъ брата люблю! воскликнулъ я.

— Вона! маіоръ усмѣхнулся. — А впрочемъ это къ чести вашей: мальчикъ достойнѣйшій. А затѣмъ мое почтеніе!

Онъ приподнялъ фуражку и исчезъ за калиткой сада за которою проходила дорога на село.

XV.

Я остался одинъ, недовольный собою, недовольный и тѣмъ, какъ отзывался командоръ о „моемъ съ Васей врагѣ“. Командоръ его самъ не любитъ, не скрываетъ этого, а между тѣмъ говоритъ, что женщины должны его любить, что онъ имѣетъ *все*, чтобъ имъ нравиться. „И ничего съ этимъ не подѣлаешь“, говорилъ онъ.—Мать Васи, значитъ, должна, не можетъ его не полюбить, этого дерзкаго нѣмца, который смѣлъ мнѣ тогда прямо въ лицо сказать, что я самъ „влюбленъ“ въ нее!... О, это ужасно!... Правду говорила вчера Анна Васильевна: она несчастная женщина! говорилъ я себѣ вздыхая, а онъ... Но тутъ же, во всемъ очарованіи своемъ, представилась мнѣ Любовь Петровна, такъ, какъ я видѣлъ ее два часа тому назадъ, проходящую по галлереѣ, въ бѣломъ платьѣ, съ букетомъ яркихъ розъ въ рукѣ... Нѣтъ счастливѣе *ея* на свѣтѣ! подумалъ я и, опустивъ голову, пошелъ прямо по аллеѣ, безъ цѣли и съ какою-то разомъ охватившею меня тоской.

Аллея привела меня къ террасѣ, а на террассѣ сидѣли всѣ: и *она* въ своемъ бѣломъ платьѣ и пунцовыхъ лентахъ, и Анна Васильевна съ мужемъ, и Галечка за самоваромъ, и Фельзенъ, и еще разные офицеры и дамы. Я такъ и обомлѣлъ.

Миссъ Пинкъ увидѣла меня первая.

— О, mister Boris, mister Boris! указывала она на меня, смѣясь.

— А ходи-ко сюда, ходи! И Ѳома Богдановичъ кинулся ко мнѣ, чтобъ я не ушелъ.

— Я и не знала, что вы здѣсь, сказала мнѣ, точно не

видала меня утромъ, Галечка, когда отецъ ея чуть не за шиворотъ притащилъ меня къ столу, на которомъ она разливала чай.

— А ты къ „губернаторшѣ“ не заходилъ съ почтеніемъ? съ хохотомъ говорилъ Ѳома Богдановичъ, щекоча меня подъ мышки.

— Не удостоилъ, язвительно отвѣчала за меня Галечка.

— Я все былъ съ Васей, пробормоталъ я въ извиненіе.

— Et comment se porte, monsieur, mon fils? обратилась ко мнѣ Любовь Петровна, обмакивая сухарикъ въ чашку, которую держала въ рукѣ.

— Très-bien, madame, отвѣчалъ я не совсѣмъ твердымъ голосомъ. Онъ гуляетъ въ саду....

— Съ Герасимомъ Иванычемъ? договорила Анна Васильевна.

— Cela s'entend! промолвилъ, взглянувъ на Любовь Петровну, Фельзенъ.

„Тебѣ какое дѣло! онъ тысячу разъ лучше тебя!“ едва удержался я крикнуть ему, такъ противенъ онъ былъ мнѣ въ своей красной фуражкѣ, съ своею нахальною улыбкой.

— Vous disiez donc? кивнула ему Любовь Петровна, приглашая его продолжать прерванный моимъ появленіемъ разсказъ.

— Я ему и говорю, послушно началъ тотчасъ же Фельзенъ,—ничего изъ этого, любезный другъ, не выйдетъ. Отецъ ея никогда на это не согласится; онъ скорѣе лишитъ ея наслѣдства, а она слишкомъ умна, чтобы выйти безъ приданаго за человѣка, живущаго однимъ жалованьемъ. — Мнѣ ея приданаго не нужно, увѣрялъ онъ, а она на все будетъ согласна, я знаю, она меня любитъ. — Любитъ, пока дѣло не дойдетъ до жертвъ; повѣрь, я петербургскихъ барышень знаю!...

— Онѣ тамъ не понимаютъ, что такое значитъ настоящее чувство! хихикнула и тотчасъ же затѣмъ вздохнула одна изъ бывшихъ тутъ—молодая, кругленькая и румяная барыня.—О, какъ вы правы! примолвила она, одобрительно взглянувъ на разсказчика.

Онъ даже не повернулъ головы на ея одобреніе и продолжалъ, постукивая своими шпорами:

— Такъ и вышло. Онъ просилъ ея руки у отца, — тотъ отказалъ ему начисто и въ тотъ же день увезъ дочь въ Пятигорскъ. Онъ поскакалъ за ними. Было-ли тамъ у него съ ней свиданіе, и гдѣ, и какъ, и что сказала она ему — я не зная. Я былъ уже въ то время въ Дагестанѣ. Но, къ сожалѣнію, по печальному исходу этой исторіи видно, что онъ не достигъ желаемаго. Въ экспедиціи получаю письмо, въ которомъ между прочимъ говорилось, что Лучинцевъ, какъ я уже вамъ сказалъ, въ одно прекрасное утро застрѣлился...

— Ну, а она что послѣ этого? съ тревогой спросила румяная дама.

— А она послѣ этого, хладнокровно молвилъ Фельзенъ,— уѣхала съ отцомъ въ Петербургъ и черезъ полгода, кажется, вышла за мужъ за князя Телепнева. Мнѣ писали на дняхъ, что она благополучно разрѣшилась третьимъ сынкомъ.

— Безстыдница! воскликнула дама.

— Ничего не безстыдница! отвѣчалъ онъ ей, все такъ же не глядя на нее. Бракъ княжны съ бѣднымъ Лучинцевымъ не принесъ бы счастія ни ему, ни ей.

— Отчего это, отчего, докажите! горячилась румяная дама, зарумянившись еще сильнѣе отъ волненія и, надо полагать, отъ досады за то, что рѣшительно не глядѣлъ на нее, провинціалку, этотъ курляндскій баронъ, который такъ хорошо знаетъ петербургскихъ барышень.

— А потому, доказывалъ курляндскій баронъ, — что это былъ неровный бракъ, то, что справедливо называется une mésalliance.

— Потому что она знатна и богата, уже кричала его собесѣдница,—а онъ только умный, честный и благородный; вы не допускаете, чтобы между ними могъ произойти союзъ сердецъ! Можетъ-быть это и такъ по вашимъ петербургскимъ понятіямъ!...

— Это по понятіямъ всего думающаго міра такъ, возразилъ Фельзенъ,—только не въ томъ... Онъ видимо искалъ, какъ бы это ей сказать помягче, — не въ томъ, конечно,

казенномъ смыслѣ, какой вы придаете моимъ словамъ. Здѣсь вопросъ не въ бѣдности и богатствѣ, знатности и незнатности, а въ томъ, что дѣйствительно полный союзъ сердецъ, какъ вы изволили прекрасно выразиться, не возможенъ тамъ, гдѣ нѣтъ между союзниками правильнаго созвучія, какъ въ музыкальномъ аккордѣ...

— Это уже что-то туманно, колко замѣтила на это дама, приподнявъ свои полныя плечи.

— Это всякому и не дается понять, сказалъ безцеремонно баронъ Фельзенъ, тотчасъ же впрочемъ любезно примолвилъ:— но я говорю съ умными женщинами, которыя, смѣю надѣяться, не откажутся понимать, онъ слегка наклонилъ голову по направленію румяной дамы и тотчасъ же перевелъ глаза на Любовь Петровну, которая уныло слушала его, опершись прелестною головой на руку, и тихою улыбкой отвѣчала на его взглядъ.

— Правильнаго созвучія, какъ я говорю, — продолжалъ онъ доказывать между тѣмъ,—не можетъ быть тамъ, гдѣ инструменты не настроены по одному камертону, а слѣдовательно чѣмъ менѣе будетъ равенства въ условіяхъ, представляемыхъ каждымъ изъ соединяющихся, тѣмъ натуральнѣе слѣдуетъ ожидать, что аккордъ, производимый ими, будетъ нестерпимо фальшивъ. Вообразите себѣ, напримѣръ, дѣвушку хорошаго общества, вышедшую замужъ за русскаго купца-бородача...

— Но вашъ Лучинцевъ, сами вы разсказывали, былъ человѣкъ съ образованіемъ, а не *кацапъ*, какъ называютъ у насъ вашихъ бородачей, возражала румяная барыня, прищуривая глазки, съ очевиднымъ намѣреніемъ изобразить на своемъ лицѣ, что она дѣйствительно умная женщина.

— Да, но все же это не былъ мужъ для княжны Китти. Начиная уже съ того, что онъ былъ человѣкъ средней руки, воспитанный первоначально на скудныя средства, одолженный всѣмъ, до чего онъ дошелъ, одному себѣ...

— И вы это ему въ упрекъ ставите? Прелестно! воскликнула дама.

— Я ставлю ему это въ величайшую похвалу, еще спокойнѣе отвѣчалъ ей Фельзенъ,—и за это справедливая судьба

наградила его по достоинству. Тридцати съ чѣмъ-то лѣтъ онъ уже былъ давно полковникомъ генеральнаго штаба, съ Георгіемъ, на отличномъ счету на Кавказѣ и въ Петербургѣ; ему несомнѣнно предстояла блестящая карьера.

— Такъ, позволь тебя спросить, однако, баронъ, вмѣшался въ разговоръ одинъ изъ офицеровъ, однополчанъ его, — чѣмъ же не былъ партія Лучинцевъ для этой княжны?

— А тѣмъ, любезный Трухачевъ, съ снисходительною улыбкой и легкимъ движеніемъ плеча отвѣчалъ ему тотъ, — что есть, какъ тебѣ извѣстно, городъ Петербургъ, а въ немъ, какъ вездѣ въ большихъ городахъ, извѣстное число лицъ, составляющихъ такъ-называемый свѣтъ, общество, le monde, — называй какъ хочешь,—и что этотъ *мондъ* имѣетъ свои, произвольные и своеобразные, законы, которыхъ мы съ тобой не передѣлаемъ. Въ силу этихъ законовъ, которые я, вмѣстѣ съ тобою, готовъ сейчасъ же назвать безсмысленными, безправыми, безнравственными, все, что хочешь, но которымъ тѣмъ не менѣе всѣ подчиняются,—служебное положеніе Лучинцева, дослужись онъ хоть до военнаго министра, не давало бы ему еще права почитать себя *своимъ* въ томъ кругу, къ которому княжна Китти принадлежала съ дѣтства. Введенный въ него своею женой, онъ долго былъ бы тамъ на положеніи

Беззаконной кометы
Среди разчисленныхъ свѣтилъ,

какъ сказалъ Лермонтовъ.

— Пушкинъ, скромно поправилъ кто-то изъ офицеровъ.

— Все равно; я такъ часто слышалъ эти стихи отъ самого Лермонтова, что думалъ они его. При такихъ условіяхъ Лучинцеву, а слѣдовательно за него и женѣ его пришлось бы на первыхъ порахъ выдержать отъ этихъ „свѣтилъ“ такъ много разныхъ, болѣе или менѣе чувствительныхъ, уколовъ и оскорбленьицъ, что это одно служило бы съ перваго же начала препятствіемъ стройному аккорду изъ супружескаго счастія. Vous voyez que j'en reviens toujours à la musique, madame, добавилъ, смѣясь, Фельзенъ по адресу Любовь Петровны.

— Je vous approuve et vous prierai à cette occasion de

m'en faire plus tard, сказала она, внимательно и, какъ можно было замѣтить, одобрительно продолжая его слушать.

— Счастливыя мы съ вами, Дарья Павловна, что живемъ себѣ по простотѣ въ нашемъ степу и никогда того большаго круга надутыхъ пановъ не видали! обратилась полунасмѣшливо, полугрустно Анна Васильевна къ сосѣдкѣ своей, румяной дамѣ.

По лицу Галечки пробѣжало неудовольствіе: слова матери ей, очевидно, не понравились. Она еще одобрительнѣе и сочувственнѣе, чѣмъ Любовь Петровна, казалось, внимала разсужденіямъ господина барона фонъ-Фельзена.

— А я все же не пойму, ей-Богу, отвѣтила Дарья Павловна,—на что имъ былъ бы нуженъ этотъ надутый свѣтъ и кто имъ было бы глядѣть на него!

— Взаимная любовь такое блаженство, примолвила чувствительная дама, подымая глаза къ небу, на которомъ уже загорѣлась первая звѣздочка, — что она бѣжитъ отъ людей, а не ищетъ ихъ!

— Совершенно справедливо! съ легкимъ поклономъ сказалъ ей на это Фельзенъ,—но тутъ-то именно, въ этомъ одиночествѣ вдвоемъ, изолированные отъ людей, они еще болѣе, чѣмъ живя въ обществѣ, должны были бы придти къ сознанію, что „ихъ двое, а не пара“, какъ сказалъ кто-то.

— Ну, извините, это уже басни! воскликнула по простотѣ, какъ выражалась Анна Васильевна, румяная и вспыльчивая Дарья Павловна.

Злобнымъ огнемъ сверкнули мгновенно глаза Фельзена, но онъ сдержался, погладилъ усы и спокойно, улыбаясь, отвѣчалъ ей медово-сладкимъ голосомъ:

— Басни для тѣхъ, кто никогда не имѣлъ случая изучать исторію...

— Mais continuez donc! капризно-повелительнымъ тономъ крикнула на него Любовь Петровна, стуча ложечкой по серебряному подносу, какъ бы для того, чтобы Дарья Павловна не успѣла, въ свою очередь, сказать какую-нибудь колкость Фельзену.

Онъ продолжалъ:

— При этомъ безпрестанномъ соприкосновеніи двухъ натуръ, развившихся въ атмосферахъ совершенно различныхъ, должны были бы неизбѣжно происходить между ними непрестанныя недоразумѣнія, чтобы не сказать больше. На Кавказѣ, княжна Китти, подъ впечатлѣніемъ той дивной природы, чувства свободы, которою она тамъ относительно пользовалась, вдали отъ обычныхъ вліяній, могла увлечься Лучинцевымъ, его военною репутаціей, видѣть въ немъ героя, и дѣйствительно даже полюбить его. Онъ, понятно, полюбилъ ее страстно: это была первая такого рода женщина, съ которою онъ встрѣчался... Но перенесенные на положительную почву Петербурга, женатые, для обоихъ ихъ декорація страшно перемѣнилась бы. Разность ихъ взглядовъ, вкусовъ, привычекъ,—замѣтьте, привычекъ, такъ какъ въ жизни онѣ играютъ чуть не первостепенную роль,—сказывалась бы имъ каждый день, и съ каждымъ днемъ переносилась бы все тяжелѣ каждымъ изъ нихъ. Серьезные, положительные интересы, которымъ служилъ Лучинцевъ и которые, натурально, остались бы ему дороги, были бы совершенно непонятны для его жены и казались бы ей сухою, скучною прозой, отвлекающею его отъ исключительнаго міра любви, въ которомъ она мечтала бы жить, рѣшаясь идти за него замужъ. Съ другой стороны, неизысканность его манеръ, непривычка къ легкому, гостинному обмѣну мысли, пренебреженіе къ извѣстнымъ пріемамъ, незнаніе многихъ маленькихъ вещей, по которымъ узнается человѣкъ родившійся въ свѣтѣ,—все это говорило бы ей постоянно о недостаткахъ его воспитанія, о мѣщанской, на ея глаза, средѣ, изъ которой она подняла ее до себя... Она уже одного того не могла бы простить мужу, примолвилъ тономъ насмѣшки Фельзенъ, что онъ по-французски говоритъ съ грѣхомъ пополамъ и за столомъ ѣстъ *съ ножа*, вспоминая, что въ Англіи за такое ужасное преступленіе ее бы съ нимъ ни въ какой фешіонабельный домъ не пустили. Лучинцевъ, съ своей стороны, когда бы прошли первые порывы страсти, все болѣе и болѣе томился бы тѣмъ, что онъ называлъ бы фривольностью своей жены, разочаровывался бы, не найдя въ ней качествъ того дѣйствительно нѣсколько мѣщанскаго идеала

женщины, который могъ быть доступенъ его пониманію. Въ немъ недовольно сильно была развита эстетическая сторона, чтобъ онъ могъ простить ей недостатокъ этихъ качествъ за это изящество, которое такая женщина, какъ княжна Китти, несла бы въ его жизнь...

— А по-вашему, позвольте освѣдомиться, мѣщанскій идеалъ, чтобы женщина была вѣрная жена и добрая мать? спросила его Дарья Павловна, со всею, повидимому, ядовитостью, на какую она только была способна.

— А хотя бы и такъ! возразилъ, нисколько не смущаясь, Кельзенъ.—Вѣрная супруга и добродѣтельная мать—это, конечно, достопохвально и притомъ очень не сложно, и даже весьма выгодно, потому что даетъ такой барынѣ право быть безгранично довольной собою и безконечно нетерпимой къ другимъ. Но вообразите себѣ, еслибы съ тѣхъ поръ, какъ міръ стоитъ, всѣ женщины до одной были бы ничѣмъ инымъ, какъ только вѣрными женами и хорошими матерями? Вѣдь люди въ своемъ развитіи не ушли бы дальше птицъ, потому что и канарейка прекраснѣйшая супруга, и курица образцовѣйшая мать!...

Всѣ разсмѣялись. Ѳома Богдановичъ, въ продолженіе всего этого разговора спавшій безмятежнѣйшимъ образомъ на стулѣ, у которымъ я стоялъ, внезапно встрепенулся и чихнулъ на весь садъ.

Общество окончательно развеселѣло. Сама Дарья Павловна сложила свою досаду на курляндскаго барона и пожелала еще послушать его „чудачествъ“, причемъ въ невинности своей назвала его даже „краснобаемъ“.

Онъ говорилъ, дѣйствительно, бойко и свободно, съ едва замѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, большимъ одушевленіемъ и необыкновенною разнообразностью оттѣнковъ въ интонаціи. Онъ, какъ Саша Рындинъ въ свайку играетъ, каждымъ своимъ словомъ бьетъ прямо въ кольцо,—пришло мнѣ въ голову то сравненіе, пока я не отрываясь слушалъ его, многаго еще не понимая тогда, негодуя на самоувѣренность и высокомѣріе, которыя такъ и прорывались въ немъ, какъ ни казался онъ любезнымъ и учтивымъ, и чувствуя инстинктомъ, что самое

то, что онъ говорилъ, должно было оскорблять многихъ изъ его слушателей. Но онъ говорилъ все это такимъ скользящимъ тономъ, съ такою заманчивою живостью, что тѣ же слушатели, видимо, увлекались такъ же, какъ и я, этимъ его словомъ, которымъ онъ игралъ такъ легко и красиво, съ такою увѣренностью, что оно ему никогда не измѣнитъ, что оно всегда смягчитъ, заставитъ простить всякую рѣзкость въ его осужденіяхъ...

— Еслибъ отъ начала міра, говорилъ онъ, — женщины были бы только вѣрныя супруги и добродѣтельныя матери, намъ пришлось бы изъ человѣческой исторіи вычеркнуть лучшія ея страницы. Начать хоть бы съ того, что тогда не было бы для грековъ ни малѣйшей причины осаждать Трою, а еслибъ они Трою не осаждали, у нихъ не было бы Гомера, съ котораго, учили меня въ школѣ, начинается вся европейская культура... Все, чѣмъ люди теперь имѣютъ право гордиться,—мягкость нынѣшнихъ нравовъ, человѣчность, поэзія, искусство,—всѣмъ этимъ, несомнѣнно, мы въ наибольшей мѣрѣ одолжены вліянію женщинъ. Но это потому-ли, что вообще женщины всѣхъ вѣковъ и странъ были добродѣтельны и чадолюбивы? Мы имѣемъ право въ этомъ усомниться... Извѣстно, по крайней мѣрѣ, какія добродѣтельныя жены служили, напримѣръ, оригиналами для божественныхъ Мадоннъ Рафаэля... Мы знаемъ также, что пока, напримѣръ въ Германіи, были однѣ только добрыя жены и матери, это была невѣжественная страна, съ грубыми нравами, въ то самое время, когда рядомъ съ нею, не безукоризненныя, но очаровательныя женщины Франциска перваго, — безъ которыхъ, говорилъ этотъ историческій обожатель женщинъ, жизнь все равно, что годъ безъ весны, весна безъ розъ, — les précieuses de l'hôtel Rambouillet и фаворитки du grand roi готовили для Франціи то первостепенное положеніе, которое и до сихъ поръ признаетъ за нею просвѣщенный міръ... Въ той же Германіи умственное возрожденіе связывается съ исторіей извѣстныхъ въ началѣ нынѣшняго вѣка салоновъ Берлина и Дрездена, опять-таки съ именами умныхъ, образованныхъ, прелестныхъ женщинъ, съ вліяніемъ на великихъ

писателей, поэтовъ, мыслителей того времени. Были-ли всѣ эти женщины хорошія жены и матери? Можетъ быть — да, можетъ быть—нѣтъ,—какое намъ до этого дѣло! Онѣ заслужили признательность послѣдующихъ поколѣній тѣмъ, что содѣйствовали движенію впередъ человѣческой мысли, вдохновляли лучшихъ ея представителей, поддерживали ихъ въ борьбѣ, отстраняли отъ нихъ удары судьбы или принимали ихъ на свою голову вмѣстѣ съ ними. Не будь ихъ, сколько бы духовныхъ потерь понесло человѣчество! Можно себѣ представить, еслибы, напримѣръ, Гете въ продолженіе всей своей жизни не зналъ другихъ женщинъ, кромѣ почтенной супруги своей, которая все свое время проводила на кухнѣ, а супруга называла не иначе какъ Herr Geheim-Rath?... Или, еслибъ авторъ Манфреда или Чайльдъ-Гарольда безпрекословно подчинялся ревнивымъ требованіямъ почтенной леди Байронъ и въ угоду ей прожилъ вѣкъ свой въ разоренномъ своемъ замкѣ, въ созерцаніи ея достоинствъ? Вѣдь, надо полагать, въ этихъ добродѣтельныхъ рамкахъ не созданы были бы ни Чайльдъ-Гарольдъ, ни Манфредъ, ни Фаустъ, ни Эгмонтъ, ни Римскія элегіи... Спрашивается, вознаграждены-ли бы мы были за такой колоссальный пробѣлъ тѣмъ, что госпожа фонъ-Гете и леди Байронъ никогда, сколько намъ извѣстно, не измѣняли своимъ супругамъ и усердно нянчили своихъ дѣтей?... Я однако всѣмъ, кажется, надоѣлъ своею проповѣдью,— прервалъ себя Фельзенъ, окидывая взглядомъ безмолвно слушавшее его общество.

Но не то сказывали его глаза, недолго, но глубоко остановившіеся на Любовь Петровнѣ. „Что мнѣ до того, поймутъ или не поймутъ меня эти темные, невѣжественные люди, сказывали они,—я говорю для тебя, для тебя одной!“.

— Вашу проповѣдь я понимаю такъ, заговорила опять Дарья Павловна, — что вы для женщины не признаете ни супружескаго, ни материнскаго долга?

— А ты бы шла себѣ, Галечка, робко рѣшилась наконецъ проговорить Анна Васильевна, давно уже, съ тревогой въ глазахъ, слѣдившая за впечатлѣніемъ, какое производили на дочь слова „ехиднаго нѣмца, прости Господи!“

Галечка вспыхнула, взглянула на мать, но, не противорѣча, встала, поцѣловала ей руку и ушла въ сопровожденіи своей гувернантки. Черезъ нѣсколько минутъ я услышалъ, какъ надъ террасой, во второмъ этажѣ, щелкнула задвижка и отворилось настежъ одно изъ оконъ ея комнаты: она слушала оттуда...

— Я или очень дурно говорю по-русски, возражалъ тѣмъ временемъ Фельзенъ,—или вы на меня рѣшительно клевещете, сударыня. Ничего подобнаго я не говорилъ и въ мысли не имѣлъ. Ко всякому долгу я отношусь съ подобающимъ уваженіемъ,—но позволю себѣ думать, что призваніе женщины не можетъ быть опредѣляемо исключительно обязанностями жены и матери. Женщина,—и голосъ его зазвучалъ звончѣе прежняго,—совершеннѣйшее созданіе Божіе; не даромъ, учитъ насъ Библія, является она послѣднею въ ряду Его твореній...

— Браво! воскликнулъ Трухачевъ.

Другіе офицеры подхватили и зааплодировали Фельзену.

— Умѣете подольститься! грозя ему пальцемъ, жеманно улыбалась Дарья Павловна.

— Ну-жь и командуютъ онѣ нами! отозвался Ѳома Богдановичъ, потирая себѣ шею:—нѣтъ, скажу вамъ, горше начальства бабьяго.

— А безъ нихъ было бы такъ горько, что и жить бы не стоило, сказалъ Фельзенъ съ легкимъ вздохомъ, какъ бы давая разумѣть, что онъ эту горечь испыталъ на самомъ себѣ.— Женщины вплетаютъ небесныя розы въ земную жизнь, сказалъ одинъ великій поэтъ *). И въ самомъ дѣлѣ, я обращаюсь, сказалъ онъ улыбаясь,—ко всѣмъ одного со мною пола лицамъ, здѣсь находящимся: пусть каждый припомнитъ изъ своего прошедшаго, кому въ жизни обязанъ онъ былъ своими лучшими, счастливѣйшими минутами, кому.....

— Прекрасному полу! въ одинъ голосъ, не давъ ему кончить, прокричали офицеры.

— За компанію жидъ удавился,—пожалуй и я туда же,

*) Sie flechten und weben
Himmliche Rosen in's irdiche Leben
Schiller. *Würde der Frauen.*

одтвердилъ и Ѳома Богдановичъ, молодецки махнувъ рукой добродушно подмигивая Аннѣ Васильевнѣ.

— Изволите видѣть, какое единодушіе! весело молвилъ ельзенъ румяной дамѣ. — Еслибъ я теперь обратился къ очтеннымъ моимъ товарищамъ съ новымъ, уже нескромнымъ опросомъ: законно или незаконно достались имъ эти незабенныя для нихъ минуты,—они, я полагаю, нѣсколько затруднились бы отвѣтомъ.

— Да, да, конечно! отозвались со смѣхомъ офицеры.

— Еще бы! засмѣялась и Дарья Павловна. — Имъ при амахъ совѣстно было бы сказать правду.

— Оно и ненужно. Для насъ достаточно того факта, что аждый изъ здѣсь находящихся такъ или иначе обязанъ лучими минутами, выпавшими ему на долю въ жизни, женщинѣ. зъ такого общаго признанія мы имѣемъ полное право, слѣовательно, вывести и такое общее заключеніе: *счастіе въ ной жизни даетъ женщина.*

— Съ этимъ мы спорить не станемъ, сказала предовольная Дарья Павловна.

— А если вы согласны съ этимъ первымъ положеніемъ, ы должны согласиться и на послѣдующее. Если такимъ образомъ женщина *можетъ* давать счастье, то она и *должна* его авать.

— Такъ, вѣрно, такъ! подтвердили офицеры.

Я глядѣлъ на Любовь Петровну. Выраженіе ея лица становилось уже неуловимымъ въ тѣняхъ быстро наступавшаго ечера, но какъ будто, чтобы скрыть его еще болѣе отъ нескромнаго вниманія, она низко наклонила голову къ поясу и инялась расправлять свои ленты.

— И такъ, говорилъ торжествующій Фельзенъ, — давать частіе—вотъ прямое, главное призваніе женщины, счастье во семъ многообъемномъ значеніи этого слова...

— Чего бы ни стоило, значитъ, а подавай вамъ сладкаго люда, перебила его Дарья Павловна съ хохотомъ, — а то и женщиной называться не смѣй!

— А такъ, такъ! поддакивалъ Ѳома Богдановичъ. — Якъ

не верты, требо умерты. Давайте намъ счастіе! а не то грызьться будемъ!

— Дядюшка, не мѣшайте, спите! нетерпѣливо раздался голосъ Любовь Петровны.

Ѳома Богдановичъ послушно сложилъ руки на кругленькомъ животѣ и дѣйствительно тутъ же заснулъ опять.

— Позвольте однако, безъ шутокъ, снова начала неугомонная Дарья Павловна, — вѣдь это вамъ легко говорить, но потрудитесь объяснить, какъ это сдѣлать? Кому обязана женщина давать счастіе?... Вѣдь это нельзя такъ... Румяная барыня вдругъ почему-то сконфузилась.— И рада была бы иная... но не рѣшится...

— А почему это? какъ бы удивившись, спросилъ баронъ Фельзенъ.

— Вы сами должны понимать, женщина не можетъ.... Дарья Павловна все какъ будто не рѣшалась высказаться противъ своихъ прямыхъ обязанностей.

— Грѣхъ-то большой грѣхъ, какимъ-то шепотомъ и въ то же время взволнованно, задвигавшись въ своемъ креслѣ, промолвила Анна Васильевна.

— Объ этомъ я, конечно, не осмѣлюсь препираться, пристально взглянувъ на нее и снисходительно улыбаясь, сказалъ Фельзенъ,—но вы мнѣ позволите по этому поводу припомнить вамъ только, почтеннѣйшая Анна Васильевна, тотъ великій авторитетъ, которымъ сказано было: много прощено ей будетъ, потому что она много любила.

— Спаситель... Уже ничѣмъ несдерживаемое выраженіе упрека послышалось въ голосѣ доброй женщины.—Спаситель прощалъ... Онъ не говорилъ: грѣши!...

Она не могла удержаться и сказала это помимо воли, и тотчасъ же смолкла милая Анна Васильевна, потому что,— я такъ хорошо понималъ, что происходило въ ней въ эту минуту,— онъ, конечно, „нѣмецъ лукавый“ и Божественныя слова толкуетъ на соблазнъ, съ злою цѣлью, но все онъ человѣкъ, онъ ея гость, и она его вдругъ такъ обидѣла!...

Онъ не былъ обиженъ, но, къ удивленію моему, очевидно нѣсколько озадаченъ.

— Конечно... Я впрочемъ вовсе не хотѣлъ сказать этимъ... Онъ не докончилъ, какъ будто не находилъ удобнымъ вступать съ хозяйкой дома въ споръ по предмету, который она такъ близко принимаетъ къ сердцу.

Поручикъ Трухачевъ счелъ нужнымъ вступиться за товарища:

— Позвольте успокоить васъ, многоуважаемая Анна Васильевна. Я осмѣлюсь поручиться вамъ моею честью, что баронъ не имѣлъ и въ мысляхъ (Трухачевъ произносилъ „въ мыслѣхъ“) намѣренія сказать что-либо такое,—онъ запнулся,—что-либо несогласное, такъ-сказать, съ свѣтскимъ приличіемъ. Онъ для этого, смѣю сказать, слишкомъ образованъ, и я позволю себѣ думать, что его слова коснулись вашего слуха въ превратномъ, если смѣю такъ выразиться, смыслѣ.

— Я ничего, я противъ барона не думала, оправдывалась, совсѣмъ уже растерянная, бѣдная хозяйка.

— А воля ваша, продолжалъ неумолимый поручикъ,—казните или милуйте, а я—и вотъ прочіе господа офицеры тоже,—мы вполнѣ, такъ-сказать, должны раздѣлять съ барономъ мнѣніе въ томъ, во-первыхъ, что той, и даже тому,—это я уже отъ себя, такъ-сказать, осмѣлюсь прибавить, Анна Васильевна,—кто много любилъ, много и прощено будетъ, а во-вторыхъ, что назначеніе женщины—это именно, какъ счастливо выразился баронъ, даровать счастіе. И это даже съ полною моею откровенностью могу прямо подтвердить примѣромъ и, не идя далеко, собственно даже настоящею минутой, которую я и прочіе господа офицеры можемъ почитать для себя, прямо скажу, вполнѣ счастливою. Теперь извольте сами судить, Анна Васильевна, кому же мы должны приписать это счастіе, какъ не восхитительнымъ дамамъ, которыя благоволятъ принимать насъ въ свое общество и предоставляютъ намъ случай къ разговору, который можно, безъ лести, почесть за самый пріятный, и даже во всѣхъ отношеніяхъ?

Эта восхитительная рѣчь господина Трухачева, причемъ онъ даже всталъ и расшаркнулся, звякнувъ шпорами, имѣла огромный успѣхъ. Товарищи покрыли его рукоплесканіями,

къ которымъ тотчасъ же присоединился и пробужденный ими Ѳома Богдановичъ.

— Браво, monsieur Трухачевъ! аплодировала ему Любовь Петровна, смѣявшаяся доупаду.

— Такимъ образомъ, усердно хохотала и Дарья Павловна,—обязанности наши къ нимъ эти господа опредѣлили. Интересно теперь узнать, чѣмъ *они* за это должны отдарить насъ?

— Вы поставили вопросъ, сударыня, совершенно правильный и логично истекающій изо всего, что было сказано здѣсь объ этомъ до сихъ поръ, поспѣшилъ отвѣчать баронъ Фельзенъ, видимо довольный случаю овладѣть снова разговоромъ.— Ясно, если женщина даетъ счастіе, она имѣетъ, въ свою очередь, полное право требовать его и для себя. Къ сожалѣнію, я долженъ признаться, что получить это желаемое, это столь законно ими желаемое и необходимое имъ счастіе представляется для огромнаго большинства женщинъ задачей почти неразрѣшимою.

— А почему? воскликнула Дарья Павловна, готовясь, по-видимому, разразиться противъ всѣхъ этихъ гадкихъ мужчинъ, которые такъ много требуютъ, а съ своей стороны ничѣмъ женщинѣ пожертвовать не хотятъ.

— Очень просто, не далъ сказать ей всего этого Фельзенъ:—чѣмъ выше и сложнѣе спросъ, тѣмъ труднѣе удовлетворить ему. Женщины одарены лучше насъ: онѣ чувствуютъ глубже, онѣ понимаютъ тоньше, онѣ воспринимаютъ живѣе. Всѣ эти высшіе дары направлены у нихъ почти исключительно къ одному помышленію, сосредоточены въ одномъ чувствѣ: это помышленіе, это чувство — любовь. Извѣстно, что если для насъ, по большей части, любовь есть прекрасный эпизодъ въ жизни, для женщинъ она все, она сама жизнь. Сосредоточивая всю себя на одномъ предметѣ, женщина пріобрѣтаетъ необыкновенную силу, полноту, всесторонность въ обладаніи имъ. Въ ея сердцѣ и воображеніи слагается цѣльное, готовое представленіе, пожертвовать которымъ она не согласится безъ тяжелой, безъ болѣзненной, часто отчаянной, иногда стоящей ей жизни, борьбы. Есть женщины, — какъ

будто намѣренно медленнѣе, вдумчивѣе заговорилъ Фельзенъ,—которыя носятъ въ себѣ этотъ идеалъ такъ высоко, что онѣ даже заранѣе обрекаютъ себя на внутреннее отшельничество. Я знаю, думаютъ онѣ, что никто не въ состояніи подняться со мною до этой высоты,—и онѣ и не ищутъ. Онѣ проходятъ въ мірѣ, гордыя и повидимому спокойныя, съ холоднымъ челомъ и затаеннымъ пламенемъ въ груди, и, какъ альпійскія розы на неприступныхъ крутизнахъ своихъ, равнодушно смотрятъ на смѣльчаковъ, готовыхъ цѣной жизни заплатить за надежду подняться до нихъ. Но такихъ женщинъ немного...

Онъ остановился на минуту, но никто не воспользовался этимъ; всѣ слушали его съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Вообще же, продолжалъ онъ, переходя опять въ свой обычный, живой и веселый тонъ,—женщина прямо, настойчиво требуетъ осуществленія своего идеала въ жизни. Ей недостаточно, чтобы мужчина ей нравился; недовольно, чтобъ онъ съ своей стороны любилъ ее,—она желаетъ, проситъ, требуетъ, чтобъ онъ любилъ ее извѣстнымъ ей образомъ, любилъ не такъ, какъ Богъ ему на душу положитъ, а соотвѣтственно тому, какъ процессъ любви сложился заранѣе въ головѣ ея, со всѣми его подробностями, изъ которыхъ каждая дорога ей до боли. Самый этотъ процессъ любви, его прелюдіи, все то, что польки такъ удачно называютъ *романсованьемъ*, для большей части женщинъ дороже, чѣмъ сама любовь. Въ воспоминаніяхъ самой счастливой изъ нихъ всегда останется извѣстная доля горечи, если на дѣлѣ все это произошло не такъ, какъ представлялось ей въ грезахъ первоначальной юности, если тотъ, кого любила она, не умѣлъ говорить ей тѣмъ же волшебно-сладкимъ голосомъ и тѣ же именно волшебно-сладкія рѣчи, которыя обѣщало ей на зарѣ жизни ея молодое пробуждавшееся чувство. А много-ли изъ насъ, по правдѣ сказать, примолвилъ засмѣявшись Фельзенъ,—способныхъ пѣть такимъ волшебнымъ голосомъ?..

— Вы первый! воскликнула неожиданно Дарья Павловна.

„Только бы и меня не вздумала Анна Васильевна отправить, какъ Галечку, отсюда“, думалъ я, въ свою очередь желая все слушать и слушать его. Къ счастію, становилось уже

довольно темно, и Аннѣ Васильевнѣ было трудно меня видѣть за померанцевымъ деревомъ, на кадкѣ котораго я умостился.

Баронъ Фельзенъ сложилъ руки на груди, à la turque, и отвѣсилъ преувеличенно низкій поклонъ очарованной имъ Дарьѣ Павловнѣ.

— Продолжайте, продолжайте! крикнула она ему въ отвѣтъ.—Я интересанка, даромъ комплиментовъ не дѣлаю.

Онъ повиновался.

— Не надо забывать при этомъ, что идеалъ любви у каждой женщины свой, особенный, и восходитъ по ступенямъ безконечной лѣстницы, начиная отъ печалованія русской бабы на то, что мужъ ея не бьетъ—значитъ не любитъ, и до тѣхъ метафизическихъ областей, добравшись до которыхъ романическая женщина, какъ героиня Бальзака въ его *Le lys dans la vallée*, напримѣръ, или *Valérie* госпожи Крюднеръ, отрицаетъ уже все тѣлесное, все земное и допускаетъ лишь какое-то непрерывное воздыханіе любви двухъ душъ, посредствомъ этой же любви рафинированныхъ до чистоты безплотныхъ небожителей. Извольте же найти среди насъ, субъектовъ, соотвѣтствующихъ каждой изъ этихъ ступеней разнообразнѣйшихъ, но равно настойчивыхъ, горячихъ и совершенно притомъ—не надо забывать этого,—законныхъ женскихъ требованій!...

— Ахъ, какъ онъ насъ знаетъ, какъ знаетъ! выражала Аннѣ Васильевнѣ свое восхищеніе румяная дама.—У каждой изъ насъ,—c'est vrai—свое особенное въ головѣ и въ сердцѣ. Не потрафить имъ намъ, никакъ не потрафить, съ комическою печалью приговаривала она.

— А тотъ, кто не умѣетъ, какъ вы изволите выражаться, „потрафить“ любимой женщинѣ, возразилъ съ одушевленіемъ Фельзенъ, — тотъ и не смѣй мечтать о счастіи, потому что онъ счастья не достоинъ. Тотъ не достоинъ счастія, кто не понимаетъ, что любовь иной женщины есть высшее блаженство, какое человѣку дано взять отъ земли, и что это блаженство даромъ не дается. Да и любитъ-ли дѣйствительно тотъ, кто претендуетъ обладать сердцемъ женщины, не давъ себѣ

труда предварительно изучить ее, для кого такое изученіе не составляетъ уже само по себѣ невыразимую радость? Въ мірѣ знанія тотъ только награждается именемъ настоящаго ученаго, кто всѣмъ существомъ своимъ отдался своему предмету, кто благоговѣетъ предъ нимъ, видитъ въ немъ свою святыню и терпѣливо, шагъ за шагомъ, не останавливаясь ни передъ какимъ препятствіемъ, съ восторгомъ и трепетомъ проникаетъ наконецъ въ глубину его тайнъ. А сердце женщины развѣ не та же наука,—живая, увлекательная, всепоглощающая наука? Но въ томъ-то и дѣло, что положительные, такъ-называемые серьезные люди, какимъ былъ и бѣдный пріятель мой Лучинцевъ, pour en revenir à lui, не признаютъ ничего этого съ высоты своей положительности. Да и не могутъ они: они слишкомъ цѣльны, слишкомъ tout d'une pièce; имъ недостаетъ гибкости, у нихъ нѣтъ, если можно такъ выразиться, нравственнаго осязанія. Они понимаютъ любовь какъ какое-то органическое сліяніе двухъ существъ въ одно неразрывное цѣлое, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ оно приняло форму, краски и внутреннее содержаніе ихъ собственной индивидуальности,—другими словами, чтобъ это цѣлое было непремѣнно *онъ*, а не *она*. И это не потому, чтобъ они были деспоты, а потому что внутренній міръ женщины остается для нихъ вѣчно невѣдомою землей, что имъ никакъ не дается ключъ, отмыкающій этотъ очарованный замокъ. Они натягиваютъ на свой положительный аршинъ тончайшія фибры ощущеній, изъ которыхъ вся соткана женщина, и удивляются потомъ, и недоумѣваютъ, почему онѣ порываются подъ ихъ добросовѣстною, но грубою рукой. Они называютъ капризомъ, нервностью, фантазерствомъ то, что часто составляетъ всю сущность и всю прелесть женщины: ея впечатлительность и жадность къ впечатлѣніямъ, ея воображеніе, ея непрактичность, ея вѣчную заботу о прекрасномъ и отвращеніе ко всему, что называется матеріальною стороной жизни... Они въ состояніи сто разъ на день, не вѣдая того, что творятъ, оскорбить внутреннее чувство женщины, потому что не имѣютъ понятія о всѣхъ деликатныхъ оттѣнкахъ, какими преисполнено это внутреннее жен-

ское чувство. Женщина испытываетъ эти оскорбленія въ безднѣ мелочей, о которыхъ не догадываются эти господа, потому что сами они не могутъ дощупаться до нихъ пальцами. Да что говорить о мелочахъ! Въ самой сущности отношеній большинства насъ грѣшныхъ къ любимой женщинѣ лежитъ зародышъ ближайшихъ недочетовъ для насъ и для нея. Обыкновенно одно изъ двухъ: или, — и это чаще всего, — человѣкъ, добившись до обладанія женщины, связавъ законными узами жизнь ея со своею, полагаетъ дѣло свое конченнымъ и отлагаетъ всякое дальнѣйшее попеченіе о томъ, чтобы не дать остыть чувству, которое онъ имѣлъ счастье возбудить къ себѣ; чувство это перестаетъ быть для него нѣжнымъ растеніемъ, которое слѣдуетъ лелѣять и холить, и оберегать отъ холода, поддерживая въ немъ тотъ именно градусъ жара, что даетъ ему ростъ и цвѣтъ и живыя краски; оно, думаетъ онъ, должно, какъ береза въ лѣсу, само собой расти и покрываться листьями, не требуя отъ него болѣе никакого ухода... Или, совершено напротивъ, человѣкъ ненасытенъ въ наслажденіи этимъ чувствомъ, онъ требуетъ непрерывнаго его проявленія, его осязаемыхъ доказательствъ, онъ неустанно навязывается со своею страстію, не допускаетъ отдыха, подозрѣваетъ измѣну тамъ, гдѣ предметъ его обожанія,—вѣрнѣе сказать его несчастная жертва,—силится только на мгновеніе вздохнуть на свободѣ, онъ запугиваетъ ее порывами безумной ревности, или мрачно молчитъ и страдаетъ и томитъ ее до самой смерти этимъ молчаніемъ своимъ и тоской. И Боже мой! воскликнулъ Фельзенъ, — сколько гибнетъ такимъ образомъ или вянетъ довременно прекрасныхъ женскихъ созданій—однѣ замороженныя холодомъ окружающей ихъ атмосферы, другія задыхаясь отъ *законнаго* насилія, — онъ произнесъ это съ особымъ удареніемъ,—эгоистической страсти, относящейся къ нимъ, какъ къ рабынямъ, а не какъ къ свободно-чувствующимъ, свободно-любящимъ женщинамъ. А вы, сударыня, докончилъ онъ, обращаясь къ Дарьѣ Павловнѣ, тономъ шутливаго упрека,—вы даже не допускаете для нихъ мысли о какомъ-нибудь выходѣ изъ такого положенія!...

Что отвѣтила бы на это Дарья Павловна—осталось неизвѣстнымъ: она предупреждена была Любовью Петровной:

— Тетушка, здѣсь и темно, и сыро. Я ухожу.

Она поднялась вся вдругъ, и бѣлая, какъ чайка, въ своемъ исейномъ платьѣ вспорхнула съ мѣста и исчезла за стеянными дверьми большой залы. Все общество поднялось за ею. Ѳома Богдановичъ встрепенулся и загоготалъ тотчасъ ле, всѣхъ допрашивая, не послать-ли за его пѣвчими. Но арья Павловна объявила ему, что баронъ обѣщалъ имъ пѣть, что надо было бы послать не за пѣвчими, а за „музыкантомъ“. Ѳома Богдановичъ немедленно побѣжалъ самъ отыскать Булкенфресса.

Я ушелъ наверхъ, никѣмъ не замѣченный.

XVI.

„Хитрый *онъ* и прожженый, и всю эту женскую науку какъ по книгамъ прошелъ“, повторялъ я, взбираясь по лѣстницѣ, вчерашнія слова Анны Васильевны. И я себѣ говорилъ, что она права, что онъ и хитрый, и „прожженый“, и что командоръ, который служитъ съ нимъ въ одномъ полку, также отзывается о немъ, что онъ „ловокъ шельмецъ“, и... и не зналъ, какъ согласить это съ новымъ впечатлѣніемъ, съ какимъ я уходилъ съ террасы. Давно-ли я его такъ ненавидѣлъ, и не подалъ ли онъ мнѣ сейчасъ же новый поводъ къ этому! Развѣ я хорошо не понималъ, что все, что сказано было имъ, сказано было лишь для того, чтобы произвести впечатлѣніе на одну женщину,—онъ не даромъ разсчитывалъ на „жадность впечатлѣній“ женщинъ,—и эта женщина—мать Васи, моего друга, который такъ страдаетъ отъ того именно, что Фельзенъ производитъ „впечатлѣніе“ на его мать; развѣ онъ, этотъ дерзкій человѣкъ, не говорилъ, что „обязанность каждой женщины давать счастье“: вѣдь это прямо значитъ, что она должна полюбить *его*, то-есть забыть своего „законнаго“ мужа, сдѣлать „грѣхъ, большой грѣхъ“, какъ справедливо сказала добрая Анна Васильевна; развѣ онъ нарочно не говорилъ о ревности и „эгоистической страсти“, чтобы припомнить Любови Петровнѣ то время, когда, несчастный теперь, немощный Герасимъ Ивановичъ „пугалъ ее ревностью, пугалъ и ласками своими“? И *онъ* произвелъ то впечатлѣніе, какое желалъ: ей было такъ тяжело это припоминаніе ея прошлой „погибшей“, какъ онъ выражался, жизни, что она даже не могла слушать

далѣе, вскочила и ушла, и даже, показалось мнѣ, когда она пробѣжала мимо меня и ея лицо освѣтилось на порогѣ большой залы хлынувшимъ на нее оттуда свѣтомъ лампъ, ушла съ покраснѣвшими отъ слезъ глазами...

Все это я говорилъ себѣ и между тѣмъ никакъ не могъ найти внутри себя того прежняго чувства ненависти и отвращенія къ *нему*. Онъ такъ хорошо говорилъ и казался такимъ убѣжденнымъ въ томъ, что онъ говорилъ, и такимъ при томъ образованнымъ, si lettré, какъ выражается m-r Керети, когда очень хвалитъ кого-либо изъ своихъ французскихъ писателей; всѣ остальные вокругъ него казались такими мелкими; я увѣренъ, никто изъ нихъ не понималъ того, что онъ говоритъ, и только слушали, разинувъ рты, а онъ какъ орелъ парилъ надъ ними... Одна Любовь Петровна понимала его, потому что онъ и она люди другаго „кружка“, чѣмъ какая-нибудь Дарья Павловна, или этотъ смѣшной поручикъ Трухачевъ со своими „мыслями“, „осмѣлюсь сказать“ и „восхитительными дамами“. Она слушала его такъ внимательно, сосредоточенно, сочувственно, потому что онъ говорилъ на обычномъ, понятномъ ей языкѣ и такія вещи, которыя нравились не ей одной, а всѣмъ, даже этой самой Дарьѣ Павловнѣ, которая сначала такъ съ нимъ спорила и кончила тѣмъ, что отъ восхищенія чуть на шею ему не бросилась. Сама Дарья Павловна слыветъ у насъ хорошенькою: она такая живая, кругленькая, съ такими полными бѣлыми руками, которыя у ней всегда открыты по-локоть; и она „дѣлаетъ ему глазки“ и щуритъ ихъ и жеманится, чтобы только какъ-нибудь понравиться ему. Но онъ гордый, онъ не хочетъ и смотрѣть на нее, потому что такой человѣкъ, какъ онъ, не можетъ любить такихъ mauvais genre женщинъ, какъ Дарья Павловна, которая рѣшается брякнуть ему въ глаза, что онъ говоритъ „волшебно сладкимъ голосомъ“ и тому подобное; онъ можетъ любить только такую женщину, какова Любовь Петровна; онъ подразумѣвалъ *ее*, когда говорилъ, что „любовь иной женщины есть высшее блаженство, какое можетъ на этой землѣ выпасть на долю человѣку“; онъ *ее* сравнивалъ съ альпійскою розой, которая съ неприступной высоты смотритъ, прекрасная и хо-

лодная, на тѣхъ, кто, пренебрегая жизнью, взбирается по опаснымъ, до неба восходящимъ горамъ въ надеждѣ добыть ее. И какъ мнѣ нравилось это сравненіе Любови Петровны съ альпійскою розой! Именно она такая, rose des Alpes, перевелъ я, вспоминая что сестра Настя играла очень хорошенькую пьесу съ швейцарскимъ мотивомъ, которая такъ и называлась rose des Alpes, вспоминая и самый этотъ мотивъ и начиная его пѣть въ головѣ. Онъ ее любитъ, продолжалъ я разсуждать между тѣмъ; онъ за любовь ея готовъ отдать свою жизнь,—но онъ развѣ виноватъ, развѣ онъ можетъ идти противъ себя, противъ своего сердца, да развѣ можетъ кто-либо видѣть ее и не полюбить—да развѣ я самъ?...

Но тутъ мнѣ вдругъ вспомнился Вася и весь нашъ утренній съ нимъ разговоръ... и я остановился на лѣстницѣ, опустивъ голову, не зная куда идти, потому что чувствовалъ, что не выдержу перваго взгляда строгихъ, „безгрѣшныхъ“ глазъ Васи и выдамъ себя ему съ перваго раза со всѣми со своими „мерзкими мыслями“...

— Куда же идти? спрашивалъ я себя, стоя средь мрака на лѣстницѣ, — внизъ ко всѣмъ? Ни за что въ свѣтѣ! — Не провѣдать-ли Леву? Но онъ, вѣрно, еще не вернулся изъ Селища, куда онъ, успѣла сказать мнѣ на террасѣ миссъ Пинкъ, отправился съ Керети къ Опицкимъ...

— Что же тамъ остановился? раздался вдругъ прямо надо мной голосъ Васи.

Это было такъ неожиданно, что я весь вздрогнулъ.

— А ты что тутъ дѣлаешь? едва перемогъ я себя.

— Жду огня! намъ до сихъ поръ не приносили.

„И слава Богу, что не приносили до сихъ поръ“, подумалъ я и спросилъ:

— А какъ это ты меня въ темнотѣ узналъ?

— У меня глаза какъ у кошки и ночью видятъ, отвѣчалъ смѣясь Вася.

— Вы давно вернулись изъ саду?

— Давно; папа успѣлъ опять заснуть и скоро проснется. Скоро десять часовъ, я полагаю. А ты внизу былъ, на террасѣ?

Я стоялъ уже возлѣ него, на площадкѣ, и мнѣ казалось, го у него дѣйствительно кошачьи глаза, что онъ меня на-квозь видитъ.

— Вотъ видишь, Вася, началъ я, — когда ты съ твоимъ апа поѣхали, я пошелъ съ командоромъ, съ этимъ маіоромъ, -есть... Ну, потомъ онъ ушелъ къ себѣ, на село, а я по-елъ прямо по аллеѣ и вышелъ къ террасѣ, а тутъ Ѳома Бог-анычъ увидѣлъ меня и удержалъ...

— Къ чему же ты это мнѣ все объясняешь, Борисъ? ска-алъ Вася.—Ты точно извиняешься. Развѣ ты не воленъ идти, таваться, уходить, какъ тебѣ вздумается? Я не твой Керети, оторый, можетъ быть, требуетъ отъ тебя отчета въ каждомъ ъ твоихъ дѣйствій.

— Какъ же! Стану я ему давать отчетъ! храбро воскли-улъ я, уколотый такимъ предположеніемъ.

— Такъ тѣмъ менѣе, сказалъ онъ съ новымъ смѣхомъ,— бязанъ ты давать его мнѣ. Какой ты забавный, Борисъ!.. . теперь куда ты намѣренъ?

Онъ, слѣдовательно, не ожидалъ меня, даже не приглаалъ къ себѣ! Мнѣ представилось, что все это сіяющее небо ружбы, о которомъ я такъ мечталъ въ Тихихъ-Водахъ, обва-илось вдругъ, и я словно остался одинъ, круглый сирота а свѣтѣ...

— Я хотѣлъ къ тебѣ... но я, можетъ быть, тебѣ помѣшаю, ъ трудомъ проговорилъ я, чувствуя, что готовъ разнюниться амымъ постыднымъ образомъ.

— Я занимался, отвѣчалъ онъ, — днемъ не успѣваешь, акъ я всегда въ эту пору... Но все равно, пойдемъ ко мнѣ!

— Зачѣмъ же, я не хочу тебѣ мѣшать, повторялъ я. Ощу-еніе, что я какъ будто остался круглымъ сиротой, еще уси-илось отъ того, что онъ теперь, казалось мнѣ, только изъ алости, потому что мнѣ дѣваться некуда, рѣшается пустить еня къ себѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, пойдемъ! говорилъ Вася.

Савелій показался съ лампой на лѣстницѣ.

„Не хочу, чтобъ они замѣтили мое глупое лицо!“ И во

избѣжаніе такого срама я поспѣшилъ пройти первый въ комнату Васи.

Онъ дѣйствительно занимался предъ моимъ приходомъ. На его столѣ лежалъ раскрытый томъ *Всеобщей Исторіи* Геерена на нѣмецкомъ языкѣ и тетрадь съ надписанной страницей русскаго перевода.

— Ну садись, гость будешь, сказалъ онъ мнѣ съ улыбкой.

— Да, именно, гость—и только гость! печально молвилъ я себѣ:—все кончено!...

Мы оба помолчали:

— Ты что-то невеселъ вернулся снизу? началъ Вася, но въ голосѣ его не слышалось мнѣ того участія, съ какимъ бы я непремѣнно сдѣлалъ ему такой вопросъ, еслибъ былъ на его мѣстѣ, а онъ на моемъ.—Что тамъ, много народу? спросилъ онъ, не дождавшись даже моего отвѣта.

— Очень много, офицеры разные, дамы...

— Каждый день то же, замѣтилъ онъ, шевельнувъ плечомъ.

— Да, Анна Васильевна говоритъ, что у нихъ вѣчная ярмарка. Ѳома Богданычъ безъ этого жить не можетъ.

— Очень онъ ужь добръ и гостепріименъ, сказалъ Вася,— а люди пользуются... И что же тамъ дѣлали? спросилъ онъ опять.

— Такъ, разговаривали, отвѣчалъ я,—стараясь избѣжать его взгляда и принимаясь для этого разсматривать давно знакомую мнѣ картину, висѣвшую на стѣнѣ этой бывшей Галечкиной спальни и изображавшую святую Елисавету, королеву венгерскую, на колѣняхъ предъ больнымъ нищимъ, которому она перевязываетъ рану на ногѣ.

— И разговоръ интересный? продолжалъ между тѣмъ Вася.

— Такъ себѣ... Мнѣ становилось очень неловко.

— Или это секретъ?

Насмѣшка звучала въ его голосѣ. Я обернулся къ нему.

— Какой же можетъ быть тутъ секретъ, Вася! жалобно проговорилъ я.

— Потому что ты такъ неохотно отвѣчаешь... Прости меня,

Борисъ! молвилъ онъ неожиданно, протягивая мнѣ руку: — я точно допытываю тебя...

— Нѣтъ, Вася, нѣтъ, нисколько, я и не думалъ... Мнѣ стало легче отъ его ласковыхъ словъ.—А насчетъ разговора...

— Я знаю, о чемъ говорили, не далъ онъ мнѣ кончить, и какая-то горькая и вмѣстѣ съ тѣмъ презрительная усмѣшка сложилась на его губахъ,—про чувство, про любовь...

— Да, ты отгадалъ!

— Я знаю, повторилъ онъ,—и скажу тебѣ напередъ, что говорилъ, вѣрно, все одинъ, а другіе только слушали, да поддакивали.

— Да, почти такъ, это правда. Говорилъ все этотъ офицеръ, баронъ...

— Баронъ Фельзенъ, твердо произнесъ Вася. Онъ глядѣлъ въ своего нѣмецкаго Геерена и продолжалъ дописывать недоконченную страницу перевода, не прерывая бесѣды со мною. Онъ казался совершенно спокойнымъ, только неестественно сдвинувшіяся его брови напоминали то недоброе выраженіе, которое такъ поразило меня въ немъ утромъ.

— А онъ очень хорошо говоритъ, Вася! сказалъ я.

— Да, такъ же спокойно отвѣчалъ онъ: — онъ вообще уменъ и на все, кажется, способенъ.

— И по всему видно, примолвилъ я,—что онъ такъ много знаетъ...

— Романовъ, дѣйствительно, кажется, не мало на своемъ вѣку прочелъ!

— Нѣтъ, Вася, кажется, онъ и исторію великолѣпно знаетъ!

Онъ съ легкою улыбкой приподнялъ губу и продолжалъ писать.

— Ты мнѣ не вѣришь, не безъ досады сказалъ я, — ты думаешь, я не могу объ этомъ судить, но еслибы ты послушалъ его сегодня, ты самъ бы сказалъ, что онъ такъ краснорѣчивъ, qu'il est si lettré и что...

Вася положилъ перо, печально взглянулъ мнѣ прямо въ глаза и договорилъ за меня:

— И что онъ совершенно плѣнилъ тебя...

— Вася! кинулся я къ нему,—ради Бога, милый, не сердись на меня, выслушай только!... Я самъ не знаю, какая каша у меня теперь въ головѣ. Когда ты меня позвалъ, тамъ, на лѣстницѣ, я стоялъ и именно объ этомъ думалъ... Видишь, этотъ человѣкъ, я какъ только его увидѣлъ тогда въ первый разъ, съ перваго же раза онъ мнѣ сталъ противенъ, и когда ты Сашѣ Рындину сказалъ тогда, что ты его не любишь, я тебя еще больше полюбилъ за это... И сегодня, еслибы Ѳома Богданычъ не схватилъ меня на террасѣ, я ни за что бы не пошелъ самъ его слушать... Но я ничего не хочу скрывать отъ тебя, Вася, я тебѣ буду прямо говорить все, все, что у меня въ душѣ происходитъ,—да, онъ меня сегодня плѣнилъ, то-есть не онъ, Боже сохрани! а его разговоръ, его манера, то, что я еще ни одного человѣка до сихъ поръ не встрѣчалъ, который бы такъ ловко выражался, и съ такимъ „изяществомъ“, Вася,—объяснилъ я новымъ для меня словомъ, употребленнымъ нѣсколько разъ барономъ Фельзеномъ и которое очень мнѣ нравилось, — и потомъ еще то, Вася, что онъ такъ горячо стоитъ за несчастныхъ жертвъ...

— За какихъ же это онъ такихъ несчастныхъ жертвъ стоитъ? съ удивленіемъ спросилъ меня Вася.

— За женщинъ, Вася!... Я при этомъ смѣшался и опустилъ глаза, чувствуя, что зашевелилъ вопросъ жгучій для насъ обоихъ.

— Онъ все также пристально глядѣлъ на меня.

— Какихъ же именно женщинъ, спросилъ онъ насмѣшливо,—признаетъ этотъ господинъ „жертвами“: старухъ или молодыхъ и красивыхъ?

— Онъ говорилъ вообще о женщинахъ, о тѣхъ, которыхъ любятъ мужчины...

— И онъ о нихъ сокрушается! Видно сейчасъ—настоящій рыцарь! И это тебѣ такъ понравилось?

— Да... отвѣчалъ я конфузливо,—потому что все-таки мы, мужчины, сильны, а онѣ слабы, а... а между тѣмъ „онѣ одарены лучше насъ“, промолвилъ я и такъ неловко, что Вася тотчасъ же догадался, что я, какъ скворецъ, запѣлъ съ чужаго голоса.

— Если онѣ одарены лучше насъ, Борисъ,—то, какъ ты маешь, вѣдь выходитъ, что *онѣ* сильны, а мы слабы?

— Нѣтъ, возразилъ я,—потому что вѣдь мужчина, а не енщина почитается главнымъ въ домѣ, значитъ на сторонѣ ужчинъ и законъ, и сила, какъ тебѣ это сказать,—ну, хоть ачиная съ силы физической...

— Да, то есть, что есть женщины, которыхъ мужья ихъ ьютъ. Объ этихъ „несчастныхъ жертвахъ“ говорилъ г. фонъельзенъ? все такъ же насмѣшливо объяснилъ Вася.

— Да нѣтъ же...

— Слѣдовательно о тѣхъ именно, какъ ты сказалъ сейасъ, которыхъ мужья любятъ?

— Да... Я совершенно растерялся.

— И твой благородный рыцарь плачетъ о томъ, это этихъ несчастныхъ“ смѣютъ любить?

— Вася, ты совсѣмъ меня сбилъ, и самъ я себѣ кажусь ѣнь глупымъ въ эту минуту. Пойми ты, что тутъ былъ цѣлый разговоръ и споры съ одной дамой, ее Дарьей Павловой зовутъ. Онъ доказывалъ ей, что у каждой женщины есть ой, особенный идеалъ любви, какъ онъ выражался, но что ежду мужчинами рѣдко находятся „субъекты“, — это опять о выраженіе, — которые понимали бы этотъ идеалъ, и поому женщинъ никогда почти не любятъ такъ, какъ бы имъ отѣлось, чтобъ ихъ любили, и очень много ихъ „гибнутъ доременно“ или отъ равнодушія, или... Я испугался того, что уть не слетѣло у меня съ языка: какъ же это сказать „отъ евности“ при Васѣ? А если онъ знаетъ, что отецъ его такъ училъ ревностію жену свою?... Или оттого, что къ нимъ, акъ говорилъ баронъ, „относятся какъ къ рабынямъ, а не акъ къ свободно-чувствующимъ женщинамъ!“ Вотъ что онъ оворилъ, Вася, докончилъ я, весьма довольный, что такъ счастливо, казалось мнѣ, успѣлъ выпутаться изъ затруднительаго положенія.

Вася провелъ рукой по лицу, откинулся головой на спинку ресла и, глядя въ потолокъ, промолвилъ, будто говоря самъ съ собою:

— Не знаю, много-ли ихъ гибнетъ оттого, что ихъ лю-

бятъ не такъ, какъ имъ хочется, а что погибаютъ тѣ, которые ихъ слишкомъ любятъ—тому я знаю примѣры!...

— Не сердись на меня, Вася, ради Бога! просилъ я, подходя къ нему и взявъ его за руку:—я говорилъ тебѣ откровенно, я самъ не знаю какъ справиться со всѣми мыслями, которыми наполнена теперь моя несчастная голова. Я очень хорошо понимаю, что онъ противный человѣкъ...

— Во-первыхъ, возразилъ Вася, — что онъ даже не противный, онъ не виноватъ... Вася не договорилъ, и его щеки покрылись быстро набѣжавшимъ румянцемъ. — А потомъ, за что, скажи, буду я на тебя сердиться? За то, что рѣчи и манеры барона Фельзена тебѣ понравились? Онѣ не одному тебѣ нравятся... Или за то, что онъ тебя увѣрилъ, что женщины вообще несчастны, потому что ихъ не долюбливаютъ или перелюбливаютъ, а никогда не любятъ такъ, какъ имъ нравится? Такъ объ этомъ, — знаешь что, Борисъ, я посовѣтовалъ бы тебѣ лучше всего спросить у твоей матери, когда ты съ нею увидишься, и я желаю для тебя, чтобъ это случилось какъ можно скорѣе,—а мнѣ сердиться на тебя за это было бы такъ безсмысленно, такъ глупо... Ты ужасный еще ребенокъ, Боря, договорилъ онъ и, потянувъ къ себѣ, поцѣловалъ меня въ голову.

— Нѣтъ, Вася, нѣтъ! воскликнулъ я съ неудержимымъ порывомъ.—Не воображай, что я такой ребенокъ! Я не умѣю объясняться, не могу совладать съ тѣмъ, что у меня въ головѣ, но я все вижу, все понимаю!

— Ты все видишь... повторилъ какъ бы безсознательно Вася, и его заалѣвшее за мгновеніе передъ этимъ лицо такъ же быстро поблѣднѣло. Онъ отвернулся, точно избѣгая этихъ моихъ видящихъ глазъ, въ которыхъ онъ могъ бы найти отраженіе того, что въ эту минуту происходило въ собственной его душѣ.

— Ты говорилъ мнѣ сегодня утромъ и, можетъ-быть, думалъ, что я дѣйствительно такой ребенокъ, который... но я еще прежде, самъ...

— Хорошо, Борисъ, довольно! прервалъ меня Вася, слегка отстраняя меня рукой.—Объ этомъ нечего говорить... Только

ты, можетъ-быть, воображаешь... воскликнулъ онъ вдругъ, пораженный, видимо, какою-то новою мыслью, какъ будто подозрѣвая, что то, что я могъ представлять себѣ, могло быть еще оскорбительнѣе и тяжелѣе для него, чѣмъ то, что было на самомъ дѣлѣ. Но ничего подобнаго не прочелъ онъ въ моихъ глазахъ.

Онъ прочелъ въ нихъ лишь глубокое, нѣжное къ нему чувство.

— Я ничего не воображаю, а вижу только, что ты очень несчастливъ, Вася!...

Онъ не выдержалъ; онъ закрылъ лицо свое обѣими руками и зарыдалъ, вздрагивая плечами, зарыдалъ судорожнымъ рыданіемъ, котораго не въ силахъ были удержать эти до боли нажатыя на лицо его руки.

— Вася, Вася, не плачь, ради Бога! умолялъ я его, обнявъ его голову и цѣлуя его мягкіе волосы, мокрые отъ слезъ, которыя лились изъ моихъ собственныхъ глазъ.

— Закрой дверь, папа услышитъ... могъ только проговорить онъ.

Я побѣжалъ къ двери, заглянулъ въ другую комнату: лампа подъ темнымъ абажуромъ тускло освѣщала ее; отецъ Васи не шевелился въ своемъ креслѣ.

— Спитъ крѣпко, не безпокойся, милый.

Онъ уже успѣлъ придти въ себя и улыбался мнѣ тихою улыбкой, отирая платкомъ свое влажное лицо.

— Видишь, какая я баба, сказалъ онъ.

— А бабы говорятъ: поплачешь, легче станетъ, старался я развеселить его.

— Онѣ правы, отвѣчалъ онъ, — а то такъ тяжело бываетъ,—знаешь, сердце точно закалится, нѣтъ слезъ, какъ ни больно... Ты, Боря, какъ Моисей жезломъ своимъ изъ скалы, заставилъ литься воды. Ты, конечно, не такой великій пророкъ, какъ Моисей, примолвилъ Вася, стараясь наладить себя на веселый тонъ,—но за то добрѣйшая душа. Спасибо тебѣ!

— Что же хорошаго я сдѣлалъ, что ты меня благодаришь! Только огорчилъ тебя. И все этотъ разговоръ внизу...

Я не хотѣлъ тебѣ передавать, я предчувствовалъ, что выйдетъ скверно,—ты самъ захотѣлъ...

— Развѣ ты думаешь, это для меня ново? Ты бы не сказалъ мнѣ, я завтра догадался бы, какъ только бы *она* вошла сюда. Я по ея лицу узнаю каждый разъ, когда ее опять настроили противъ *него*,—и Вася кивнулъ по направленію отцовской комнаты.

— Какъ же ты это узнаешь? съ удивленіемъ спросилъ я.

— Какъ, сказалъ онъ вздохнувъ, — я объяснить этого не могу, но она еще слова не промолвитъ.—а я знаю. Привычка! А *онъ*, примолвилъ Вася, ты думаешь, не то же? Ея платье только еще зашуршитъ въ другомъ покоѣ, а я по глазамъ его уже вижу, чего онъ ждетъ себѣ на этотъ день: горя или радости...

— А какъ онъ ее любитъ! воскликнулъ я, припоминая сцену тогда, въ аллеѣ.

— Кажется, за это преступленіе онъ довольно и наказанъ, сказалъ Вася съ невыразимою горечью, — но и тутъ пощадить не могутъ...

Мы замолчали оба.

— Но тебя, своего сына, она навѣрное любитъ, Вася? началъ я первый.

— Да... нерѣшительно отвѣчалъ бѣдный мальчикъ;—она бы меня больше любила, еслибъ я къ *нему* не былъ такъ привязанъ...

— Знаешь что, Вася, — мнѣ кажется, ей совѣстно, что она не можетъ любить его, какъ ты?

— Она слишкомъ молода для своихъ лѣтъ, отвѣчалъ онъ не сейчасъ,—а я слишкомъ старъ: мы и не понимаемъ другъ друга...

— Да, она удивительно молода! воскликнулъ я. — Моя maman говоритъ, что она такая же, какъ въ семнадцать лѣтъ, когда отецъ твой привезъ ее въ первый разъ въ Петербургъ.

— Твоя maman, кажется, не очень любитъ ее? робко и не глядя на меня, спросилъ Вася.

— Нѣтъ, maman очень добрая и никого не ненавидитъ.— Но она очень жалѣетъ своего отца...

— А про нее ничего не говоритъ?

— Ничего дурнаго, увѣряю тебя... Вѣдь ничего дурнаго ѣтъ въ томъ, что она говоритъ про твою maman, что она ь Петербургѣ всѣхъ съ ума сводила,—правда, Вася?

— Это она вездѣ дѣлаетъ, не въ одномъ Петербургѣ, твѣчалъ онъ, все также не глядя на меня и чертя каранашомъ какія-то каракульки на своей тетради.

— А сама оставалась для всѣхъ холодна, какъ ледъ, проолжалъ я и примолвилъ: — она настоящая rose des Alpes, Вася!

— Это еще что такое? Онъ, недоумѣвая, обернулся на еня.

— Это не maman моя впрочемъ говоритъ, а этотъ баронъ акъ называлъ женщинъ... то-есть тѣхъ, объяснилъ я, сконузясь, — которыя горды, Вася... и неприступны... и стоятъ, оворилъ онъ, жизни смѣльчакамъ, которые хотятъ добраться о нихъ...

Онъ вздохнулъ глубокимъ, болѣзненнымъ вздохомъ и, снова твернувшись, проговорилъ съ отвращеніемъ:

— Ахъ, какъ это все гадко!...

И я понялъ, какъ это, дѣйствительно, должно было покаться ему гадкимъ, и какъ неосмотрительно, глупо было съ оей стороны повторять ему эту фразу, такъ грубо напоминавшую ему, что мать его могла быть предметомъ всякихъ ечистыхъ желаній и надеждъ. „Боже мой“ съ ужасомъ представилось мнѣ,—„еслибы мнѣ вдругъ что-либо подобное сказали про мою мать!“... И мнѣ стало такъ больно и такъ стыдно, что я не могъ усидѣть на мѣстѣ. Я вскочилъ со стула и отправился любоваться еще разъ висѣвшею на стѣнѣ святою Елисаветой Венгерскою, омывающею рану на ногѣ нищаго.

— А вотъ и папа проснулся, сказалъ Вася,—я пойду къ нему, а ты, Борисъ...

— Нѣтъ, я ужь къ себѣ, пора спать. Прощай, Вася.

Онъ протянулъ мнѣ руку. Я торопливо пожалъ ее, боясь встрѣтиться съ нимъ глазами, и поспѣшилъ уйти.

XVII.

У дверей нашего съ Керети аппартамента ждалъ меня Максимычъ, сидя на стулѣ, вынесенномъ имъ въ корридоръ и клюя носомъ на этомъ стулѣ. Онъ сіялъ какъ мѣсяцъ огромною своею лысиной, на которую плашмя падалъ свѣтъ нагорѣвшаго сальнаго огарка въ мѣдномъ шандалѣ, стоявшемъ на окнѣ прямо противъ него. Онъ проснулся, едва я подошелъ.

— Что это ты, Максимычъ?

— А что я?

— Отчего ты здѣсь, а не въ комнатѣ?

— А вотъ войдите,—сами увидите и услышите!

Я отворилъ дверь и, дѣйствительно, увидѣлъ и услышалъ: увидѣлъ большой свѣтъ, бившій изъ оконъ большой залы, на которую выходили наши комнаты, услышалъ звукъ фортепіано и чей-то голосъ, звучный и нѣжный, заканчивавшій какую-то блестящую итальянскую арію.

— Il chante délicieusement, ce diable d'officier! встрѣтилъ меня съ этими словами Керети; онъ стоялъ у открытаго окна со шляпой на головѣ и съ сигарой въ зубахъ. Je vous attendais pour descendre. Dormez, mon cher ami, — si vous pouvez, промолвилъ онъ съ какимъ-то преувеличеннымъ смѣхомъ.

И онъ, посвистывая и слегка покачиваясь, вышелъ изъ комнаты.

— Больно ужь веселы, пробурчалъ вслѣдъ ему Максимычъ.

— Давно вернулся? спросилъ я.

— А вотъ сейчасъ.

— Какъ, и Лева также?

— Такъ я ихъ тамъ и оставлю! сердито отвѣчалъ мой старикъ. — Я Льва Михайлыча безъ себя не отпустилъ и въ девятомъ часу доставилъ ихъ оттуда обратно и сдалъ на руки горничной здѣшней. Спятъ давно.

— А m-r Керети остался?

— Остался французъ съ полякомъ за русское здоровье венгерское тянуть, язвительно сострилъ Максимычъ.

Старикъ Опицкій, старый офицеръ Наполеоновскихъ войскъ, и не менѣе самого его старое *вытравное* его венгерское пользовались, дѣйствительно, большимъ расположеніемъ моего гувернера. Максимычъ, ходившій еще въ двѣнадцатомъ году на француза и ляха, почиталъ своимъ долгомъ видѣть врага въ каждомъ иноязычникѣ или чужеземцѣ „къ намъ прешедшемъ за порогъ"; самъ же онъ въ сущности ни малѣйшей злобы къ нимъ, какъ и ни къ кому на свѣтѣ, не питалъ, и за вѣчно болѣвшимъ Керети ухаживалъ, хотя не пропускалъ при этомъ ни единаго случая отпустить на его счетъ какую-нибудь колкость. Ненавидѣлъ Максимычъ лишь одно на свѣтѣ, это—вино: оно когда-то чуть не стоило ему жизни. Получивъ „чистую" послѣ Турецкой войны, онъ возвращался зимой къ себѣ на родину, въ Черниговскую губернію. Гдѣ-то на постояломъ дворѣ, позднимъ вечеромъ, Максимычъ выпилъ лишній стаканъ и „подъ куражемъ" затѣялъ драку съ хозяиномъ. Его вытолкали за двери. „А мнѣ наплевать", сказалъ себѣ старый солдатъ: ночь была морозная, но лунная и тихая,—и онъ бодро отправился въ путь. Но винные пары одолѣли его; не пройдя и двухъ верстъ, онъ повалился посередь дороги, окончательно опьянѣвъ, и заснулъ какъ убитый. Онъ бы, вѣроятно, никогда и не проснулся, еслибы на него чуть не наѣхала кибитка моего отца, ѣхавшаго тѣмъ временемъ изъ К. въ деревню. Максимыча подняли, оттерли, уложили въ кибитку и привезли въ Тихія Воды. Онъ отдѣлался двумя отвалившимися у него пальцами на лѣвой ногѣ, да однимъ на правой,—и съ тѣхъ поръ уже не разставался съ нами. Предъ отцомъ моимъ онъ благоговѣлъ, матушку называлъ не иначе какъ „святою", а все семейство наше „благословеннымъ". Въ бывшемъ съ нимъ случаѣ онъ видѣлъ „попущеніе Божіе за

мерзость прегрѣшеній своихъ", проводилъ все свободное время за чтеніемъ „божественныхъ" книгъ и до смерти надоѣдалъ всей дворнѣ ежедневною проповѣдью и бранчивыми выходками противъ пьянства и пьяныхъ.

— Какъ же вы теперича почивать станете, Борисъ Михайлычъ? спрашивалъ онъ, злобно кивая на раскрытое окно, откуда неслись новые звуки, звуки Ланнерова вальса, разыгрываемаго Булкенфрессомъ.

— Ничего, попробую, отвѣчалъ я, хотя въ томъ расположеніи духа, въ которомъ я вышелъ отъ Васи, мнѣ все это было также мало по сердцу, какъ и самому Максимычу.

— И это подъ самый праздникъ, подъ самое воскресенье! ворчалъ старикъ. — Священника, вишь, благочинный что-ли потребовалъ, вечерни не служили, такъ это они вмѣсто вечерни всякую музыку заиграли! А еще благочестивыми господами прозываются! Помяни Господи Царя Давида и всю кротость его. Согрѣшишь съ ними только, ей-Богу!...

— Полно браниться, Максимычъ, я спать хочу.

— Такъ и съ Богомъ, да ангелу своему получше помолиться не забудьте на сонъ грядущій, потому на новосельѣ, да еще при такомъ соблазнѣ... Я вамъ ширмы къ кроваткѣ поставилъ, чтобы, по крайности, свѣтомъ въ глаза вамъ не било. На окнахъ, гляди, ни сторки, ни занавѣси; а то хотите,— я старое одѣяло захватилъ съ вещами на всякъ случай,—можно завѣсить?

— Не нужно, Максимычъ, — и я невольно засмѣялся, вообразивъ себѣ, какъ расхохотались бы тамъ, внизу, этому старому моему одѣялу, навѣшенному на окно.

Я раздѣлся и легъ. Но помолиться получше моему ангелу мнѣ не удалось: да какъ и молиться-то было подъ звуки Pesther-Walzer?

Максимычъ ушелъ, и я остался одинъ за ширмами, въ новой необлежанной постели, не находя привычныхъ мнѣ *ямочекъ* и не зная, какъ умоститься въ ней половчѣе. А тутъ еще все этотъ Pesther-Walzer, что такъ поджигательно умѣлъ всегда разыгрывать Булкенфрессъ и такъ звучно долеталъ теперь до моего слуха, несмотря на то, что Максимычъ по-

заботился закрыть окно на всѣ задвижки! Не спалось мнѣ, а спать хотѣлось, хотя бы для того, чтобы не думать о „глупости", которую отпустилъ я Васѣ...

Но вотъ и вальсъ замолкъ, и ничего уже не слышно, кромѣ глухаго говора и гула шаговъ по паркету. Ужь не расходятся ли всѣ? Нѣтъ,—опять зазвучало фортепіано, играютъ ритурнель какого-то романса, и тотъ же голосъ, звучный и нѣжный, звенитъ за стекломъ моего закрытаго окна, словно просится онъ ко мнѣ, словно хочетъ новымъ соблазномъ смутить мою душу. Правъ былъ старикъ Максимычъ...

— Это Фельзенъ поетъ, ce diable d'officier, какъ вѣрно назвалъ его m-r Керети,—настоящій демонъ, Сатана Вельзевуловичъ, говорю я себѣ, прибирая въ головѣ все, что могло бы растравить во мнѣ злое чувство къ нему, все, что могло бы дать мнѣ силу противостоять искушенію, пытаясь зажать уши, запрятать голову между двухъ подушекъ. Но очаровательный голосъ проникаетъ и туда, подъ горячую подушку, звенитъ и сквозь зажатыя уши....

И, спустившись съ кровати, я натянулъ на себя умывальный халатъ и о босу-ногу отправился къ окну. Отворить его? А какъ увидятъ меня снизу въ этомъ нарядѣ? Окна моей комнаты выходятъ какъ разъ противъ фортепіано, вокругъ котораго, какъ я успѣлъ уже разсмотрѣть, сгруппировалось все общество. А не отворить, словъ не услышишь: какъ же это слушать безъ словъ? тѣмъ болѣе, что это уже не итальянскія, а русскія слова. Какъ быть? Нельзя-ли подальше, въ комнатѣ Керети? Прекрасно! оказывается, что она въ одно окно, и на немъ занавѣска,— можно его отворить осторожно на половинку и умоститься за занавѣской такъ, что никто не увидитъ моего халата, да и не догадается о моемъ присутствіи...

И вотъ я сижу, гляжу и слушаю, какъ изъ ложи въ театрѣ. А Фельзенъ поетъ:

Какъ сладко съ тобою мнѣ быть
И молча душой погружаться
Въ лазурныя очи твои...

О, какая это восхитительная музыка и какъ онъ это восхитительно поетъ! Какой полный, свѣжій звукъ! Какъ искусно

и выразительно замедлилась, какъ нѣжно протянулась и задрожала бархатная нота на словѣ „лазурныя“!... У *нея* лазурныя очи... Опять она! Онъ поетъ теперь, какъ тогда говорилъ, для нея одной! И она слушаетъ его теперь, какъ и тогда слушала, опершись прелестною головкой на руку, съ глубокимъ вниманіемъ, съ какою-то томною радостью на блѣдномъ лицѣ. Она сидитъ поодаль, на диванѣ у стѣны, между тѣмъ какъ Дарья Павловна облокотилась обѣими руками на фортепіано, прямо противъ поющаго, и глядитъ на него такъ, будто вотъ-вотъ и прыгнетъ сейчасъ ему въ открытый ротъ. Ѳома Богдановичъ словно маятникъ раскачивается на мѣстѣ: онъ вполнѣ счастливъ, и мнѣ не видно, но, я увѣренъ,—плачетъ отъ умиленія сердечнаго. Анну Васильевну совсѣмъ затерли обсѣвшіе вокругъ нея гости. Что-то она, бѣдная, чувствуетъ въ эту минуту, скребетъ-ли все у нея на душѣ за „Любочку“, или забыла она „думку гадати“ про нее, да про нѣмца лукаваго, и все готова ему простить, какъ и я простилъ, за его голосъ, за этотъ всеподкупающій голосъ!...

— И сердце трепещетъ въ восторгѣ
При видѣ тебя...

поетъ Фельзенъ, кончая высокою, сильною грудною нотой, наполнившею всю залу своимъ могучимъ и чистымъ звукомъ. Онъ смолкъ. Понесся новый оглушительный гулъ возгласовъ, рукоплесканій. Болѣе всѣхъ тормошится Дарья Павловна: она кинулась къ Фельзену, схватила его руку обѣими своими руками и, приподымая свои круглыя плечи, откидываетъ назадъ голову, чтобы ближе взглянуть ему въ лицо, и лепечетъ что-то быстро, оживленно, восторженно. Фельзенъ только улыбается и кланяется и, видимо, старается скорѣе уйти отъ нея,—но она не выпускаетъ его руки изъ своихъ и продолжаетъ болтать; ея черные глаза такъ и горятъ, а бѣлые зубы то-и-дѣло сверкаютъ изъ-подъ ея большихъ, полныхъ губъ, словно готовится она загрызть счастливаго пѣвца въ избыткѣ своего восторга. Но вотъ поручикъ Трухачевъ еще разъ является на помощь товарищу: онъ подходитъ къ Дарьѣ Павловнѣ и передаетъ ей какую-то просьбу,—о ней говорятъ его умоляющій

видъ, его почтительно изогнувшаяся спина и выразительныя движенія его рукъ,—онъ то простираетъ ихъ къ румяной дамѣ, то прижимаетъ къ собственному сердцу. Дарья Павловна не согласна исполнить просьбу Трухачева: она самымъ рѣшительнымъ образомъ мотаетъ головой и машетъ руками. Фельзенъ свободенъ — и спѣшитъ, осторожно скользя между наставленными стульями, скрыться подалѣе отъ всякихъ изъявленій и рукожатій, несущихся къ нему на встрѣчу. Трухачевъ, съ своей стороны, не унываетъ,—онъ мигомъ собралъ вокругъ себя всѣхъ своихъ товарищей, — и уже цѣлая толпа обступаетъ румяную даму, цѣлая толпа въ эполетахъ движетъ руками, то вскидывая ими къ ней, то нажимая ихъ къ мундирнымъ пуговицамъ, со стороны сердца. Уже явственно слышатся и голоса, сливающіеся въ выраженіи одного общаго желанія:—изъ *Москаля* изъ *Москаля-Чаривника!*

— Такъ, такъ, изъ *Маскаля*! кричитъ во всю глотку Ѳома Богдановичъ, и принимается, къ общей потѣхѣ, приплясывать и притопывать посередь залы:

— За Тетяну сто кивъ давъ,
Бо Тетяну сподобавъ,

подшѣваетъ при этомъ онъ, подмигивая и дѣлая ручкой Дарьѣ Павловнѣ. Румяная дама не упорствуетъ долѣе,—она хохочетъ и направляется къ фортепіано. Булкенфрессъ, поправивъ очки на носу, прелюдируетъ, каррикатурно барабаня въ басу, и Дарья Павловна поетъ любимую во всей нашей сторонѣ пѣсенку изъ *Москаля-Чаривника*

Ой, не звиткиль вiе витеръ,
Звиткиля мнѣ треба,
Выглядаю миленького
Зпидъ чужого неба,

Трухачевъ держитъ обѣ руки на отлетѣ и бьетъ ладонями по воздуху тактъ:

— Кажи, зирки, кажи, ясный,
Где винъ проживае...

подхватываетъ онъ, молодецки махнувъ товарищамъ, и куплетъ заканчивается уже хоромъ. Дарьѣ Павловнѣ стóитъ только

начать, а тамъ ее отъ фортепіано не оттащишь; это всѣ знаютъ. За первымъ куплетомъ идетъ второй, третій, за пѣснью новая пѣсня. Дарья Павловна поетъ пріятнымъ, мягкимъ голосомъ и почти исключительно однѣ малорусскія пѣсни, которыя передаетъ она съ большимъ мастерствомъ, со всею задушевностью и простодушіемъ народнаго украинскаго напѣва. Слушаешь Дарью Павловну, — и словно не она поетъ, а какая-нибудь черноокая дивчиночка, стерегущая своихъ овечекъ подъ жидкою тѣнью вербы, или свѣжая молодица за веретеномъ, на порогѣ хаты, въ тотъ часъ, когда вечерніе лучи льются золотымъ дождемъ на нее, и на ея бѣлую хату, и на яблоню, повисшую надъ ними шатромъ, и на жмурящагося на солнцѣ пѣгаго барбоса, единственнаго слушателя свѣжей пѣвуньи... Всѣ столпились вокругъ Дарьи Павловны. Анна Васильевна пыталась было отвлечь на минуту Ѳому Богдановича; ей, видимо, хотѣлось передать что-то ему, но онъ только рукой ей махнулъ,— вздоръ-молъ! Это она обо мнѣ безпокоится, милая, — безпокоится, что вся эта музыка и шумъ мнѣ спать не дадутъ;— она нѣсколько разъ подымала глаза на наши окна, но я погасилъ свѣчу для большей предосторожности,—снизу ничего у насъ увидѣть нельзя,—и вопросительно переводила ихъ на Керети. Керети понялъ, но остался глухъ, какъ и Ѳома Богданычъ.—Не безпокойтесь, онъ спитъ какъ убитый, il dort comme une souche, говорила въ отвѣтъ ей его улыбка, при чемъ, для скорѣйшаго объясненія, онъ поднесъ руку къ щекѣ и закрылъ на мгновеніе глаза. Почтенному наставнику моему, очевидно, нисколько не хочется покинуть веселое общество, въ особенности только-что вошедшую въ залу миссъ Пинкъ, для того, чтобы бѣжать на верхъ справиться, спитъ или не спитъ се polisson de Boris. Онъ преудобно усѣлся подлѣ молодой англичанки, и то сіяющее отъ удовольствія, то одолѣваемое смѣхомъ лицо ея свидѣтельствуетъ, что „вытравное“ старика Опицкаго имѣетъ способность удвоивать любезность ея собесѣдника.

Баронъ Фельзенъ воспользовался удобною минутой и подсѣлъ къ дивану, на которомъ помѣщалась Любовь Петровна. Что говоритъ онъ ей,—что отвѣчаетъ она ему? Сначала весе-

ые оба, выраженіе ихъ лицъ измѣняется постепенно: она ерестала улыбаться, голова ея склонилась, глаза ея видимо збѣгаютъ встрѣчи съ его глазами; рѣчь его, напротивъ, становится оживленнѣе, настойчивѣе, судя по его взволнованнымъ движеніямъ, не смотря на его замѣтное стараніе сдержать себя, на его опасеніе быть подслушаннымъ, — онъ постоянно оглядывается, онъ, кажется, болѣе всего боится близкаго сосѣдства Анны Васильевны. Но Анна Васильевна, случайно или нарочно, сѣла къ нимъ спиной и слушаетъ, какъ другіе, Дарью Павловну, — ему нечего опасаться, и онъ же весь отдается говорящему въ немъ чувству, губы его пекаются отъ волненія,—онъ постоянно отираетъ ихъ платкомъ,—онъ все ближе наклоняется къ ней, и рука его, показалось мнѣ, хочетъ дотронуться до ея руки. Она быстро тдернула эту руку,—безъ перчатки, я это замѣтилъ,—и съ спугомъ взглянула на него; она заговорила въ свою очередь, но слова ея не убѣждаютъ его; видно, онъ слушаетъ е нетерпѣливо, съ язвительною улыбкой, онъ постоянно прерываетъ ее.

И она снова опускаетъ голову, и ея бѣлая, длинная рука ъ сверкающими на ней кольцами принимается съ какимъ-то удорожнымъ движеніемъ перебирать концы ея пунцовыхъ ентъ. — Ей жаль его, но она не можетъ, думаю я себѣ. — Она rose des Alpes, она никого полюбить не можетъ!... Все умрачнѣе и злѣе становилось лицо Фельзена: я видѣлъ, какъ а какимъ-то ея словомъ онъ замолчалъ и закусилъ усы, какъ ы сдавливая въ себѣ порывъ клокотавшаго въ немъ гнѣва. І за этимъ, словно рѣшившись внезапно на послѣднее средство, онъ что-то коротко, отрывисто сказалъ ей. Это что-то, очевидно, смутило и оскорбило ее: гордымъ, упрекающимъ взглядомъ вскинула она на него; все лицо ея загорѣлось мгновенно, и, не отвѣчая ни слова, она только головой качнула. — Никогда, никогда! говорило ясно это движеніе. Онъ, весь блѣдный, всталъ, остановился предъ ней, началъ что-то говорить, жадно и пронзительно глядя на нее, будто снова хотѣлъ вызвать этотъ гордый взглядъ или склонить ее мольбой къ иному рѣшенію. Но онъ не успѣлъ,—она не хотѣла

или не могла рѣшиться взглянуть еще разъ на него, и еще разъ закачала головой. Онъ низко поклонился ей и отошелъ... Боже мой! сколько страданія сказалось вдругъ въ ея чертахъ, когда она взглянула ему вслѣдъ! — „Я все прощаю, вернись“! казалось мнѣ, сейчасъ сорвется у ней съ языка. Но она не вернула его, она откинулась на спинку дивана, — она такъ напоминала мнѣ Васю въ эту минуту,—и горько, горько усмѣхнулась,—потомъ приподнялась,—и тихо „съ покойнымъ, холоднымъ челомъ“ подошла и сѣла подлѣ фортепіано. По другой сторонѣ его стоялъ Фельзенъ и не сводилъ глазъ съ Дарьи Павловны. Но румяной дамѣ было не до его взглядовъ; она и не видѣла ихъ; она уже все на свѣтѣ позабыла: эта жеманная, „mauvais genre“, какъ я осмѣливался называть ее, Дарья Павловна — и пѣла какъ жаворонокъ въ небѣ, никого и ничего не замѣчая, полузакрувъ глаза, съ выраженіемъ безконечнаго счастія на лицѣ. Долго, внимательно глядѣла на нее Любовь Петровна и, вслѣдъ за послѣднею нотой ея пѣсни, подошла къ ней, обняла за шею и крѣпко поцѣловала ее. Дарья Павловна зардѣлась какъ маковъ цвѣтъ и низко присѣла предъ красавицей. Любовь Петровна повела взоромъ кругомъ себя, едва замѣтно зѣвнула, улыбнулась, поклонилась общимъ поклономъ всѣмъ, въ томъ числѣ и Фельзену, и, пожавъ мимоходомъ руку Анны Васильевны, вышла изъ залы.

Черезъ пять минутъ никого уже тамъ не оставалось, кромѣ Булкенфресса, собиравшаго свои ноты на фортепіано. Я направился къ своей постели, какъ вдругъ услыхалъ голоса. Любопытство снова потянуло меня къ окну.

— Was suchen sie, Hochwohlgeborener? спрашивалъ музыкантъ барона Фельзена, который искалъ чего-то по столамъ и кресламъ.

— Meine Peitsche... A, da ist sie! отвѣчалъ тотъ, показывая ему отысканный хлыстъ.

Онъ подошелъ къ нему и сказалъ нѣсколько словъ, которыхъ я не могъ разслышать. Лицо его было блѣдно, и какая-то желчная усмѣшка кривила его губы.

— Nicht möglich! съ громкимъ удивленіемъ воскликнулъ Булкенфрессъ.

— Sis sehen's morgen, отвѣчалъ небрежно офицеръ и, круто повернувъ на каблукахъ, быстрыми шагами пошелъ къ двери.

— Hören sie aber Mal, Herr Baron! закричалъ ему вслѣдъ музыкантъ и побѣжалъ за нимъ.

Они изчезли. Люди гасили лампы и свѣчи. Въ корридорѣ раздавались шаги возвращавшагося Керети. Я бросился въ постель и натянулъ себѣ одѣяло по самыя уши. Я ни о чемъ уже не думалъ,—сонъ клонилъ меня,—я чувствовалъ себя безмѣрно усталымъ и отъ прошедшей почти безсонной ночи въ Тихихъ Водахъ, и отъ всѣхъ новыхъ, разнородныхъ впечатлѣній этого перваго дня въ Богдановскомъ. Помню только, что, засыпая, мнѣ всё слышался голосъ Васи: „напрасно, Борисъ, напрасно отпустили тебя сюда“...

XVIII.

Едва успѣли мы подняться на слѣдующій день, какъ Керети обратился ко мнѣ со строгимъ наставленіемъ: вчера-молъ проболтался весь день безъ дѣла и ему на глаза не показывался, et que cela ne peut pas aller comme cela, что порядокъ нашей жизни и занятій не долженъ измѣняться, потому что nous ne sommes plus à Tikvodé, mais à Bogdanovsk, — причемъ и самъ повинился въ томъ, что слишкомъ долго засидѣлся послѣ обѣда chez ce brave Opitski и легъ спать à une heure impossible grâce à cette satanée musique et tout le tremblement! Спалъ онъ плохо и прокашлялъ всю ночь, вслѣдствіе чего былъ раздражителенъ и придирчивъ. Напившись чаю, мы тотчасъ же принялись за латинскій языкъ. Латинскимъ языкомъ я занимался съ m-r Керети только лѣтомъ; въ городѣ ко мнѣ ходилъ очень хорошій учитель изъ гимназіи, а въ деревнѣ гувернеръ мой репетировалъ только со мною то, что было пройдено мною съ этимъ учителемъ зимой. Самъ онъ былъ не очень силенъ въ предметѣ, заставлялъ меня только переводить и не вдавался ни въ какія этимологическія и синтаксическія объясненія, но не могъ за то никакъ помириться съ моимъ латинскимъ произношеніемъ, требуя, чтобъ я читалъ comme cela s'écrit en français, то-есть, curriculum, напримѣръ, не *куррикулумъ*, а „корриколомъ“, gerundium не *герундіумъ*, а „жерондіомъ“. Я, съ своей стороны, никакъ на это не соглашался и съ трудомъ удерживался отъ смѣха, когда самъ онъ принимался читать полатыни своимъ носовымъ французскимъ произношеніемъ. Ла-

тинскій урокъ рѣдко поэтому проходилъ у насъ благополучно. На этотъ разъ мы читали изъ Корнелія Непота *Эпаминонда*, котораго я твердо проштудировалъ еще зимой и переводилъ поэтому почти безъ запинки. На бѣду, въ этомъ жизнеописаніи воинственнаго Эпаминонда очень часто встрѣчаются слова bellum и gesta, и каждый разъ какъ встрѣчались они, Керети поправлялъ меня: „белломъ", „жеста", повторялъ онъ все съ большимъ и большимъ раздраженіемъ,—а я все упорнѣе отчеканивалъ каждый разъ: бéллумъ, гéста...

— Ah! Vous m'embêtez enfin avec vos bélloum et guèsta! вскрикнулъ онъ и, вырвавъ у меня изъ подъ носа книгу, швырнулъ ее со всего розмаха въ дальній уголъ комнаты.

Я взбѣсился въ свою очередь, вскочилъ и объявилъ ему, что я pour rien au monde не стану произносить какъ онъ, потому что я русскій, а не французъ, и что римляне, вѣрно, такъ смѣшно не говорили по-латыни, какъ французы говорятъ, а что онъ не смѣетъ за это me maltraîter comme cela, потому что я 'son élève et pas son esclave, и что этого ни родители мои никогда ему не дозволятъ, ни я самъ, потому что я уже не ребенокъ, не Лева, котораго онъ можетъ на колѣни ставить... Я былъ очень доволенъ мужествомъ, съ какимъ произнесена была мною эта рѣчь, и тѣмъ впечатлѣніемъ, какое она, видимо, произвела на моего Керети: онъ затихъ весь и слушалъ меня, не прерывая.

— Est ce votre nouvel ami, ce jeune homme qui passe pour un prodige, язвительно спросилъ онъ меня, когда я кончилъ,—qui vous pousse à la revolte?

— Mon bon sens, monsieur, me pouse à comprendre où finit le droit et où commence l'injustice! отпустилъ я ему въ отвѣтъ эту гремучую фразу, Богъ знаетъ какъ попавшую мнѣ на языкъ, но о которой я потомъ долго вспоминалъ съ чувствомъ великаго самодовольства.

Мой почтенный наставникъ поднялъ на меня глаза и усмѣхнулся. Такая фраза моя должна была ему понравиться, и я увѣренъ, что онъ въ эту минуту думалъ: comme c'est français ce qu'il vient de me dire là!

— Nous reprendrons notre besogne quand vous serez plus

calme, сказалъ, онъ почти ласково,— vous pouvez disposer de votre temps jusqu'à après déjeuner.

Я съ достоинствомъ отвѣсилъ ему сухой, но учтивый поклонъ и отправился къ Васѣ, „ce jeune homme qui passe pour un prodige“, какъ называлъ его, невѣдомо почему, мой горячій французъ.

У Лубянскихъ все обстояло, какъ слѣдуетъ. Герасимъ Ивановичъ спалъ своимъ первымъ утреннимъ сномъ; ночь онъ, по обыкновенію, провелъ сидя въ своемъ креслѣ и глядя въ окно; Вася сидѣлъ въ своей комнатѣ и читалъ Бантыша-Каменскаго. Я поспѣшилъ передать ему о моей перемолвкѣ съ Керети изъ-за bellum и gesta и о моемъ торжествѣ въ этомъ дѣлѣ. Онъ слушалъ меня улыбаясь; но я не безъ досады долженъ былъ замѣтить, что это торжество мое не возбуждало въ немъ никакой особенной радости, что онъ даже съ большимъ равнодушіемъ относился къ нему. Вмѣсто какого-нибудь слова поощренія, похвалы за мое „мужество въ неравномъ бою“, какъ представлялась мнѣ моя сцена съ m-r Керети,—чего я непремѣнно ожидалъ отъ него,—онъ вдругъ предложилъ прочесть мнѣ вслухъ интересное мѣсто изъ исторіи Малороссіи.

— Читай, уныло отвѣчалъ я ему.

Вася перевернулъ страницу лежавшей предъ нимъ книги и сталъ читать описаніе битвы и побѣды Хмельницкаго при Желтыхъ Водахъ.

Тяжело и дубовато показалось мнѣ это описаніе, но самый предметъ его интересовалъ меня, и по мѣрѣ чтенія воображеніе мое мало-по-малу стало разыгрываться. Я вспоминалъ высокій курганъ въ нашемъ *степу*, ту „казацкую могилу“, о которой ходило такъ много суевѣрныхъ слуховъ и всякихъ разсказовъ среди нашихъ крестьянъ; вспоминалъ, какъ однажды старый *дидъ*, что сидѣлъ у насъ на пасѣкѣ и кормилъ насъ всегда съ Левой такимъ чуднымъ липовымъ медомъ, говорилъ мнѣ, что въ Тихихъ Водахъ „когда-сь ще за Ляхивъ“, много побито было душъ христіанскихъ, что много „арматы казацькой заховано въ тій могилѣ“, а съ нею много „шаблей“, сѣделъ и сбруи конской серебряно-и-златокованныхъ, много червонцевъ, таляровъ нѣмецкихъ и камней самоцвѣтныхъ, потому

что тогда „казаки бились съ ляхами за вѣру истинную, и „казаки всю Польшу зруиновали и много понабрали добра у „католиковъ и съ тимъ добромъ до дому іихали. А іихали 'они, „да горилки старой зъ панскихъ погребовъ позабранной съ „собою пивсотни бочекъ на пивсотни парахъ воливъ везли. „И съ тій горилки, бисовой дочки, и смерть имъ пришла". Стали казаки обозомъ у самаго нашего *става*, напились той горилки и залегли спать. А жидъ проклятый навелъ на нихъ ночью враговъ. И стали ихъ рѣзать сонныхъ ляхи, а кого не перерѣзали, того въ ставъ вогнали и тамъ потопили... Вспоминался мнѣ весь почернѣлый отъ времени прадѣдовскій портретъ, что всегда, сколько я себя помнилъ, висѣлъ тамъ, въ Тихихъ Водахъ, на стѣнѣ моей спальни; вспомнился этотъ смуглый, суровый круглостриженный и усатый, съ тройнымъ подбородкомъ и какимъ-то страннымъ, не то недописаннымъ художникомъ, не то отрубленнымъ, дѣйствительно, ухомъ, ликъ предка, котораго, какъ я слышалъ отъ батюшки, тотъ самый Богданъ Хмельницкій, о комъ читалъ теперь Вася, послалъ посломъ съ двумя товарищами къ польскому королю за миромъ; миръ былъ заключенъ, а пословъ король Янъ-Казиміръ пожаловалъ въ шляхетство,—и съ тѣхъ поръ, говорилъ батюшка, идетъ нашъ дворянскій родъ... И мнѣ представлялась кровавая отчаянная сшибка на этомъ самомъ, знакомомъ мнѣ, *степу*, близъ того высокаго кургана, не въ Желтыхъ, а въ Тихихъ Водахъ, не ночью, когда бѣдныхъ казаковъ перерѣзали сонными у става, а при свѣтѣ яркаго солнца, весной, когда изумрудною зеленью покрыта земля,—и вотъ на вороныхъ коняхъ, попирая эту яркую зелень серебряными подковами, летятъ смѣлые всадники съ развѣвающимися по вѣтру рукавами; въ кунтушахъ, какіе я видѣлъ однажды въ Кіевѣ на городскомъ парадѣ въ день Крещенія *), и машутъ

*) Въ Кіевѣ, гдѣ, при польскомъ владычествѣ, существовало магдебургское право, еще въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, въ день Крещенья 6-го января, производился этотъ парадъ *муниципальной гвардіи*; конницу составляло купечество, а пѣхоту—цехи, все это со знаменами, значками, литаврами историческаго происхожденія и въ старинномъ польскомъ одѣяніи, въ которое должны были облекаться въ этотъ день и лица чисто-русскаго происхожденія, но принадлежавшія къ кіевскому городскому сословію.

они кривыми саблями, и вьются надъ ихъ головами бѣлыя перья, и врубаются они въ тѣсный рядъ чумацкихъ телѣгъ, за которыми въ черныхъ смушковымъ шапкахъ, въ широкихъ, измаранныхъ дегтемъ, шараварахъ, засѣли почернѣлые, усатые и дюжіе, какъ портретъ моего предка, казаки и палятъ оттуда изъ длинныхъ *рушницъ*... Врубаются свѣтлые кунтуши и бѣлыя перья въ эту густую и измаранную толпу, летятъ съ плечъ усатыя головы, валятся съ головъ смушковыя шапки, „смерть пришла“ казакамъ... Но вотъ изъ-за „могилы“, изъ-за того высокаго кургана вылетаетъ съ булавой въ рукѣ и въ зеленомъ кафтанѣ самъ онъ, самъ гетманъ Хмельницкій,—я почему-то никакъ себѣ его представить иначе не могъ какъ въ зеленомъ кафтанѣ, такомъ, какой обыкновенно носилъ Богунъ Ѳомы Богдановича, и съ такимъ же толстымъ лицомъ какъ у него,—на дикой, страшно ржущей и все давящей подъ собою степной лошади, и за нимъ вся „армата казацкая“... И въ одинъ мигъ все перемѣняется, и князь Іеремія Вишневецкій,—какъ двѣ капли воды похожій на старика Опицкаго,—и съ нимъ всѣ кунтуши и перья, преслѣдуемые черною тучей казаковъ, исчезаютъ за нашимъ домомъ, изъ-за котораго только слышатся мѣрные *бумъ, бумъ* какой-то большой пушки, о которой только-что прочелъ что-то Вася въ Бантышѣ-Каменскомъ...

И чтеніе его, и мои фантазіи на тему казацкихъ войнъ прерваны были Савеліемъ, который вошелъ доложить, что Герасимъ Ивановичъ проснулись и завтракъ поданъ.

Больной былъ тревоженъ,—приближалось время обычнаго утренняго ему визита Любови Петровны,—онъ почти ничего не ѣлъ за завтракомъ, глядѣлъ на дверь и прислушивался, выражая неудовольствіе нетерпѣливымъ движеніемъ головы, когда Вася или я говорили слишкомъ громко. Но красавица заставляла себя ждать. Вошла Анна Васильевна и, поздоровавшись съ Лубянскимъ, тотчасъ же обратилась ко мнѣ съ вопросомъ:—не помѣшала-ли мнѣ вчера музыка спать? Я не хотѣлъ лгать и сказалъ только, что слушалъ съ большимъ удовольствіемъ, какъ пѣла Дарья Павловна, и что это нисколько не помѣшало мнѣ затѣмъ отлично выспаться. Анна Васильевна взглянула на меня съ какою-то особенною ласковостью;—

вѣрно въ благодарность за то, что я не произнесъ имени барона Фельзена, сказалъ я себѣ.

— А все-жь Софья Михайловна не скажетъ мнѣ спасибо за то, что ты у меня не можешь засыпать въ свои часы, сказала она. — Да и французу твоему тоже нездорово. Надо будетъ васъ перевести въ другія комнаты... Только не знаю... тамъ тебѣ отъ Васи далеко будетъ, черезъ весь домъ придется проходить...

— Нѣтъ, ради Бога, милая, добрая Анна Васильевна, умолялъ я ее,—оставьте меня тамъ, гдѣ теперь! Клянусь вамъ...

— Въ чемъ это вы такъ горячо клянетесь, молодой человѣкъ? послышался за мною женскій голосъ. И, не ожидая моего отвѣта, Любовь Петровна прошла мимо, задѣвъ меня слегка рукавомъ своего широкаго распашнаго капота съ большими турецкими узорами. Она благоухала, какъ всегда, какимъ-то особенно тонкимъ запахомъ раздушеннаго бѣлья, — какъ Киприда, когда она съ Олимпа сходила къ смертнымъ, подумалъ я, припоминая мѣсто изъ *Иліады*, которую m-r Керети давалъ мнѣ читать къ переводѣ madame Dacier...

— Здравствуй, Вася, говорила она, поднося ему свою руку къ губамъ. Bonjour, mon ami!

И она перенесла эту нѣжную, длинную руку въ приподнявшуюся съ колѣнъ, дрожавшую и тянувшуюся къ ней руку мужа—и слегка прикоснулась губами къ его лбу.

Онъ жадно припалъ къ ней устами и такъ и замеръ.

Она тихо высвободила свою руку и сѣла рядомъ съ его кресломъ.

„Ну, гляди на меня, любуйся, будь счастливъ", казалось, говорило ея блѣдное, томное и нѣсколько усталое лицо.

И онъ глядѣлъ на нее во всѣ глаза, любовался ею и былъ безконечно счастливъ. Грудь его высоко подымалась, въ складкахъ рта играла несказанно нѣжная, мягкая улыбка...

— Папа аккуратно принимаетъ свое лѣкарство? спросила она Васю.

— Онъ давно ничего не принимаетъ, отвѣчалъ тотъ; — докторъ, когда былъ здѣсь въ послѣдній разъ, сказалъ, что это совершенно безполезно теперь.

— Это вашими молитвами, тетушка, сказала она, улыбаясь, Аннѣ Васильевнѣ, — онъ удивительно поправился съ тѣхъ поръ, какъ мы здѣсь.

— А ты... какъ... Лю-бочка? все глядя на нее, проговорилъ больной, и въ его глубокихъ глазахъ сказывалось все наслажденіе, какое испытывалъ онъ, что могъ произнести это слово „Любочка“...

Она взглянула на него съ удивленною усмѣшкой.

— Я ничего, отвѣчала она.

— Ты такая... блѣд-ная, проговорилъ онъ опять, и брови его озабоченно сдвинулись.

— Я плохо спала нынче и полѣнилась утромъ взять мою ванну. Vous en voyez les conséquences sur ma vieille figure, засмѣялась она ему въ отвѣтъ.

— Да и поздно же мы вчера сидѣли! воскликнула Анна Васильевна, — негодится такъ дѣлать, я всегда говорю. Ужь это мой Ѳома Богданычъ съ своей музыкой.

— А что твой Ѳома Богданычъ съ своею музыкой? неожиданно выбѣгая изъ Васиной комнаты, заегозилъ самъ онъ, уперши, какъ говорится, руки въ боки и глаза въ потолки. въ двухъ шагахъ отъ жены и ожидая въ такомъ положеніи ея отвѣта.

— А то, *старый мій*, съ ласковымъ упрекомъ сказала она,—что отъ того самаго у насъ никому въ домѣ сна нѣтъ...

— А отъ-же того самаго и нема больше! прервалъ ее съ какимъ-то отчаяннымъ жестомъ Ѳома Богдановичъ.

— Ахъ, Боже мой, миленькій! перепуганнымъ голосомъ воскликнула Анна Васильевна,—что тамъ еще случилось?

Ѳома Богдановичъ вытащилъ изъ кармана своихъ панталонъ какое-то письмо и, протягивая его, но не давая въ руки женѣ,

— Читать умѣешь? спросилъ онъ.

— Да ну же!...

— Нѣтъ, говори прежде—умѣешь читать?

— Ахъ, якій же ты нудный, Ѳома! уже засмѣялась Анна Васильевна, видя, что дѣло идетъ не „въ серьозъ“.

— Читать умѣетъ, — самъ видѣлъ, какъ послѣ вѣнца въ

книгѣ расписывалась! продолжалъ шутовство свое бѣдовый Ѳома Богдановичъ.—Хотѣлъ, чтобы сама похвалилась,—да не хотитъ, бо какъ коза упряма! Такъ на жь тебѣ, о,—читай!

Онъ сунулъ ей письмо и пошелъ здороваться со всѣми.

Анна Васильевна развернула письмо, взглянула съ нѣкоторымъ удивленіемъ на подпись и принялась читать его про себя. По мѣрѣ чтенія, лицо ея принимало все болѣе довольное, свѣтлое выраженіе. Окончивъ, она сжала письмо въ рукѣ и тотчасъ же обернулась ко мнѣ съ предложеніемъ идти съ нею къ Галечкѣ, у которой завтракаютъ Лева съ Керети; она, видимо, торопилась уйти.

— Чего же это, дядюшка, „нема у васъ бильше“ теперь? передразнивая его, спросила небрежно веселымъ тономъ, зорко между тѣмъ слѣдившая за теткой, Любовь Петровна.

— А того нема, отвѣчалъ онъ, вздыхая,—что была у насъ душа общества, а теперь безъ души остались...

— Что это значитъ? Мнѣ показалось, что голосъ Любови Петровны дрогнулъ, дѣлая этотъ вопросъ.

— А отъ—пишетъ, сказалъ, угрюмо качая головой, Ѳома Богдановичъ.—Ганнуся!...

Анна Васильевна уже уходила.

— Чего тебѣ? спросила она, не оборачиваясь.

— А куда ты?

— А на что я тебѣ?

— Давай писульку!

— Да некогда же мнѣ, возразила Анна Васильевна, спѣша къ двери и показывая этимъ, что ей не хотѣлось отдавать письма.

Ѳома Богдановичъ побѣжалъ за нею, схватилъ за руку и притащилъ въ средину комнаты.

— Давай мое добро! требовалъ онъ.

— А вотъ же не дамъ! пробовала она шутить. И какъ мало шло это ей, милой моей Аннѣ Васильевнѣ!

— Право, ma tante, все тѣмъ же неестественно небрежнымъ и преувеличенно веселымъ тономъ молвила Любовь Петровна, — еслибы мы всѣ здѣсь не видѣли, что это таин-

ственное письмо передано было вамъ дядюшкой, можно было бы подумать, что это пишетъ кто-нибудь влюбленный въ васъ.

Анна Васильевна, къ удивленію моему, вдругъ перемѣнилась въ лицѣ, выпустила изъ рукъ письмо и опустилась въ ближайшее кресло, точно ноги подъ ней подкосились.

Ѳома Богдановичъ поднялъ письмо и усѣлся съ нимъ подлѣ племянницы.

— Кто же это вамъ пишетъ? спросила она.

— А нашъ гость дорогой, милый нашъ баронъ.

— А! какъ можно болѣе равнодушно промолвила Любовь Петровна.—И что же ему нужно? договорила она послѣ паузы и оперлась головой на руку, такъ что весь верхъ ея лица закрыла эта рука.

— А вотъ, слухайте.

Фельзенъ писалъ къ Ѳомѣ Богдановичу, что полученное имъ весьма важное для него извѣстіе требуетъ его немедленнаго отъѣзда въ К., и что онъ сейчасъ же отправляется въ полковой штабъ выправить себѣ отпускъ. Онъ никакъ не можетъ опредѣлить времени своего возвращенія,—и даже далеко не увѣренъ, придется-ли ему вернуться. Во всякомъ случаѣ для него теперь не можетъ быть рѣчи о командованіи эскадрономъ, расположеннымъ въ Богдановскомъ, и онъ, съ глубокою печалью, видитъ себя вынужденнымъ разстаться съ успѣвшимъ сдѣлаться ему уже столь близкимъ, — роднымъ, смѣетъ онъ сказать,—обществомъ любезнаго, радушнаго его хозяина и милѣйшихъ хозяекъ. Обо всемъ этомъ онъ надѣялся сообщить лично Ѳомѣ Богдановичу, но такъ какъ неожиданное извѣстіе пришло къ нему сегодня очень рано, на самой зарѣ, то онъ, съ одной стороны, чтобы не терять ни минуты дорогаго времени, съ другой, не желая тревожить сна Ѳомы Богдановича, рѣшился уѣхать, не простясь съ нимъ, не обнявши его предъ долгою, по всей вѣроятности, разлукой.

„На моемъ невеселомъ, испытанномъ всякими невзгодами пути“, писалъ подъ конецъ Фельзенъ, „я нашелъ въ Богдановскомъ рай, изъ котораго изгоняетъ меня теперь вѣчно враждебная судьба... Что же дѣлать, — приходится стиснуть зубы и повиноваться. Я уношу изъ-подъ вашего крова един-

ственно свѣтлыя воспоминанія моей жизни и вѣчно (насколько лишь моя жизнь можетъ разсчитывать на вѣчность"), загадочно прибавлялъ онъ въ скобкахъ, „сохраню ихъ въ благодарномъ сердцѣ..."

— Ну, и поклонъ всѣмъ посылаетъ, передавалъ уже отъ себя Ѳома Богдановичъ, со слезами въ горлѣ, — всей вашей семьѣ, пишетъ, скажите, что никого ихъ не позабуду... А пишетъ-то какъ, Любовь Петровна, а? Вѣдь самъ Карамзинъ, какъ вы думаете, лучше его не написалъ бы, а ужь какой былъ большой сочинитель!

Ѳома Богдановичъ всхлипнулъ на этомъ послѣднемъ словѣ, такъ что можно было подумать, что онъ расчувствовался именно потому, что вспомнилъ, какой былъ большой сочинитель Карамзинъ, — и, нѣжно еще разъ взглянувъ на письмо Фельзена, вздохнулъ и засунулъ его опять въ карманъ своихъ панталонъ.

— И такъ это вдругъ! жаловался онъ.—Вчера еще такъ пѣлъ у насъ, и съ Дарьей Павловной колотился насчетъ женскаго полу, и все это такъ у него прекрасно и весело... И вдругъ сегодня—нѣтъ! Сиротами остались мы безъ него, Любовь Петровна... А почему онъ вамъ не говорилъ? спросилъ онъ ее торопливо.

Она отняла руку и взглянула на него какими-то ледяными глазами. Ни кровинки не было въ лицѣ ея.

— Что же могъ онъ мнѣ сказать?

— А насчетъ того, что ему за такая треба вышла покинуть насъ да ѣхать?

— Онъ, кажется, пишетъ, насмѣшливо отвѣчала она,— что получилъ какое-то извѣстіе сегодня рано, на зарѣ. Въ это время я сплю, дядюшка, и визитовъ не принимаю, а слѣдовательно баронъ Фельзенъ, еслибы даже и былъ намѣренъ me faire ses confidences, не нашелъ бы для этого случая. Онъ впрочемъ знаетъ, я думаю, что я вовсе не любопытна, промолвила она, привставая и протягивая снова руку мужу.

Больной задержалъ ее своими обѣими руками.

„Погоди, еще на одно мгновеніе!" говорилъ его умоляющій взглядъ.

Она опять сѣла и улыбнулась ему, какъ улыбаются дѣтямъ, когда они просятъ о новой игрушкѣ.

— Барона Фельзена, надо думать, въ гвардію перевели, сказалъ я Ѳомѣ Богдановичу.

Любовь Петровна, съ измѣнившимся лицомъ, обернулась въ мою сторону и съ тѣмъ пчелинымъ выраженіемъ, которое я уже въ ней замѣтилъ разъ, въ первый день моей встрѣчи съ нею, спросила меня:

— А вы почему это можете знать, молодой человѣкъ?

Я рѣшительно не могъ говорить съ ней, не краснѣя по уши.

— Вчера, пробормоталъ я,—майоръ Гольдманъ говорилъ, что его должны скоро перевести.

— Гольдманъ, а? Гольдманъ говорилъ тебѣ? набросился на меня Ѳома Богдановичъ.—А у меня, стараго дурня, и въ мысли не было его спытать. А вотъ мы сейчасъ Гольдмана за чупрыну, кажи, верста шляховая, всю правду про нашего барона...

И онъ со всѣхъ ногъ кинулся изъ комнаты.

Безучастно и холодно глядѣли уже опять глаза Любови Петровны.

— Скажите пожалуста, обратилась она къ Аннѣ Васильевнѣ, которая, казалось, только теперь, когда мужъ ея вышелъ, начинала приходить въ себя,—чѣмъ это баронъ Фельзенъ такъ очаровалъ дядюшку?

— А все то же—пѣнье, отвѣчала та, слабо улыбаясь.

— C'est vrai il ne chante pas mal, проговорила красавица и вдругъ принялась смѣяться. — Но вѣдь дядюшка богатъ, сказала она,—пусть выпишетъ себѣ тенора изъ Италіи: тотъ отъ него, навѣрно, въ гвардію не уйдетъ... Такъ я говорю, monsieur Loubianski? обернулась она къ мужу съ этою внезапною, напускною—это всѣми чувствовалось,—веселостью.

— Д-да, Любочка, проговорилъ онъ, словно околдованный волшебствомъ ея взгляда, ея улыбки.

— Я не люблю, когда вы меня такъ называете. Помните какъ вы звали меня когда-то? Попробуйте сказать: mon Aimée chérie.

— Mon Ai...mée...ch...che... онъ не могъ дальше, и безцвѣтныя его губы искривились въ прежнюю уродливую улыбку... Любовь Петровна съ невольнымъ чувствомъ отвращенія откинула назадъ свою наклоненную къ нему голову.

Я взглянулъ на Васю. На рѣсницахъ его дрожали слезы. Недобрыми глазами глядѣлъ онъ на мать...

— А я пойду къ Галечкѣ. До свиданія, Герасимъ Иванычъ, сказала Анна Васильевна, подошла къ нему и, обнявъ, крѣпко поцѣловала его въ голову.

— И я съ вами, тетушка.

Любовь Петровна прижала свою руку къ губамъ мужа, улыбнулась ему и, какъ бы избѣгая встрѣтиться съ глазами сына, торопливо прошла мимо его, вслѣдъ за Анной Васильевной. Я пошелъ за ними.

— Скажите, пожалуста, тетушка, молвила въ корридорѣ красавица,—она меня не видѣла,—отчего это вы хотѣли держать въ тайнѣ письмо... этого офицера къ вашему мужу?

— Ахъ, Любочка, отвѣчала съ замѣшательствомъ, остановясь на ходу, Анна Васильевна,—ты вѣдь знаешь... при Герасимѣ Иванычѣ...

— Что при Герасимѣ Иванычѣ? переспросила та гордымъ и холоднымъ тономъ.

— Я такъ боялась... что мой старый,—онъ, ты знаешь, у насъ какъ блажной, что взбредетъ на думку, то и говорить ему надо,—что сталъ бы онъ при Герасимѣ Иванычѣ свои балясы распускать про того барона, что онъ за тобою пропадаетъ и вотъ теперь, можетъ, уѣхалъ все изъ-за тебя же...

— Ну и пусть! Можетъ быть это и правда,—почемъ вы знаете? раздраженно отвѣтила на это мать Васи.

— Такъ вѣдь это и хорошо, если правда, Любочка! воскликнула Анна Васильевна.—Только ни хорошаго, ни дурнаго про такое, что при мужѣ твоемъ вѣдь не надо... вѣдь очень жестоко говорить, Любочка! промолвила она ласковымъ, почти молящимъ голосомъ. — Ты знаешь, вѣдь это его равно, что ножомъ рѣзать!...

— Такъ что же это, тетушка! воскликнула Любовь Петровна въ гнѣвномъ порывѣ, въ которомъ такъ и чуялись близкія, горячія слезы.—Это безуміе, эта безсмысленная ревность будетъ меня до гроба преслѣдовать?

И она побѣжала по корридору. Анна Васильевна едва поспѣвала за ней.

XIX.

Итти за ними было неловко. Я зашелъ къ себѣ въ комнату, не засталъ Керети, подождалъ немного — и отправился къ Галечкѣ. Тамъ также никого не было, кромѣ молодой хозяйки и миссъ Пинкъ. „Губернаторша“ приняла меня свысока и глядѣла расфуфыренною павой, въ своемъ длинномъ, неловко еще на ней сидѣвшемъ, платьѣ,—длинныя платья она выпросила себѣ дозволеніе носить только предъ самымъ нашимъ пріѣздомъ въ Богдановское. Я рѣшительно былъ у ней въ опалѣ: во-первыхъ, самъ отсталъ отъ нея и пересталъ „обожать“ съ самой первой минуты, когда увидѣлъ Любовь Петровну; во-вторыхъ, разъ она уже надѣла длинное платье и поступила на положеніе jeune personne, — она почитала для себя унизительнымъ обращать вниманіе на „мальчика“. Я понялъ это съ перваго ея слова и тотчасъ же рѣшилъ не выйти изъ ея комнаты, прежде чѣмъ не побѣсить ее хорошенько.

— Чему я обязана чести васъ видѣть? спросила она меня по-французски, едва вошелъ я къ ней, церемонно отвѣшивая мнѣ поклонъ одною головой сверху внизъ.

— Обязаны вы этимъ вашей maman, отвѣчалъ я ей на это, принимая самый развязный и равнодушный тонъ, — она меня приглашала сюда съ собой и сказала, что я застану на этой половинѣ—я, нарочно, не хотѣлъ сказать: *у васъ*,— моего брата и monsieur Керети. Я очень жалѣю, что ихъ никого здѣсь нѣтъ.

— M-r Керети и Левушка m'ont fait l'honneur de déjeuner chez moi, принимая, въ свою очередь, видъ театраль-

ной царицы, молвила Галечка,—и послѣ этого ушли, кажется, въ садъ.

— Рыбу удить на озеро, добавила миссъ Пинкъ, — но я знаю, что они ничего не поймаютъ. И она засмѣялась своимъ гортаннымъ англійскимъ смѣхомъ, показавъ мнѣ при этомъ весь заводъ своихъ бѣлыхъ, ровныхъ, но очень ужь большихъ зубовъ.

— А гдѣ же Анна Васильевна? Развѣ она не приходила сюда?

— Нѣтъ, отвѣчала опять миссъ Пинкъ.—Она также пошла въ садъ, мы ее сейчасъ видѣли въ окно...

— Avec ma cousine, сказала Галечка.

— Кто это ваша cousine? спросилъ я съ дѣйствительнымъ, въ первую минуту, удивленіемъ.

— А вы не знаете? Странно! колко и съ полупрезрительною, полулукавою улыбкой возразила она.

— Нѣтъ, не знаю.

— Ma cousine—Любовь Петровна Лубянская, мать Васи, вашего друга.

— Ахъ, вотъ кто! И я расхохотался.

— Я думаю, что такъ! вся покраснѣвъ, отрѣзала Галечка. Мужъ ея родной племянникъ папа, сынъ его сестры, — значитъ по мужу, она мнѣ cousine, и еще cousine germaine.

— Да, да, я вспомнилъ, продолжалъ я смѣяться, — но очень ужь это смѣшно, c'est très drôle, что *вы* ее называете „ma cousine".

— Mister Boris говоритъ это потому, что находитъ васъ слишкомъ молодою, чтобъ быть кузиной дамы, у которой сынъ старше васъ лѣтами, поучительно объяснила миссъ Пинкъ на своемъ родномъ языкѣ.

— Ну, конечно! сказалъ я на это по-русски.

Галечка не сочла нужнымъ возражать и, прищурившись, стала глядѣть въ окно.

— Изъ этого окошка какъ все хорошо видно и *слышно!* съ удареніемъ сказалъ я опять.

Она повернула ко мнѣ голову.

— Это что значитъ?

— То значитъ, что отсюда можно не только все видѣть, о и слышать, и не только слышать, а еще и *слушать*.

Глаза Галечки такъ и забѣгали.

— Что слушать?

— А то, что не позволяютъ, отвѣчалъ я съ самымъ невиннымъ видомъ.

— Вы дерзкій, и больше ничего! воскликнула она,—очень ль разобидѣлъ я ее,—тѣмъ болѣе, что не могла она отрить, что вчера открыла это окно и слушала изъ него то, чего ать не желала, чтобъ она слышала...

— Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? тревожно заетилась миссъ Пинкъ, ни слова, разумѣется, не понимая по-русски.

Меня это очень забавляло.

— T, i, ti, il est parti, отвѣчалъ я ей, посылая въ воздухъ поцѣлуй обѣими руками.

— Qu'est ce que vous dites? Qui est parti? недоумѣвая и рдясь, приставала она ко мнѣ.

— Don't, miss, he is stupid! закричала ей Галечка, помая свои жиденькія плечи, словно хотѣла она похоронить ня и засыпать своимъ презрѣніемъ.

— Grand merci, mademoiselle *de* Galagai! продолжалъ я фонить, съ хохотомъ расшаркиваясь предъ ней. — Только отя я stupid, а это самая настоящая правда, — и я запѣлъ:

Malbrough s'en va t'en guerre...

— Вы рѣшительно съ ума сходите!

— Нѣтъ, нѣтъ, я не схожу—у... продолжалъ я пѣть:

Mironton, ton, ton, mirontaine,

— Я правду говорю—у,

Jamais ne reviendra...

— Да кто это ne reviendra? Кто il est parti? Скажете-ли вы наконецъ! топнувъ ногой, требовала Галечка, между тѣмъ какъ ея гувернантка, хорошенькая, но зубастая, наступала на меня съ угрожающимъ лицомъ.

— Тотъ, кого вы слушали вчера изъ этого окошка, ско-

роговоркой проговорилъ я Галечкѣ.—Ce n'est pas ma faute, miss Pink, объяснилъ я ея англичанкѣ, — mais Malbrough, c'est à dire le baron Fehlsen, est parti ce matin...

— Le baron! вскрикнули онѣ въ одинъ голосъ.

— Точно такъ. Взялъ и уѣхалъ, и окна не нужно ужь будетъ открывать, жалобно пищалъ я „гувернаторшѣ". Но мои „шпильки" уже не кололи ея. Онѣ переглядывались съ миссъ Пинкъ, и на лицахъ обѣихъ ихъ изображалось самое печальное изумленіе.

„Онъ ихъ всѣхъ до одной околдовалъ!" подумалъ я и съ какимъ-то внезапно прилившимъ ощущеніемъ радости примолвилъ внутренно: „но теперь все кончено, тю-тю!"...

— И вы говорите „jamais", и онъ ужь больше сюда не будетъ и это вы правду говорите? допрашивала Галечка.

— Et c'est vrai vraiment? Qui vous a dit? допрашивала миссъ Пинкъ.

— Pour toujours! торжественно махнулъ я рукой. И эскадрономъ не будетъ командовать, и въ утѣшеніе вамъ остается все тотъ же, прежній, командоръ, и что я не stupid и не солгалъ, можете спросить у вашихъ папа и мама. Adieu, mesdemoiselles!

— Mister Boris, Боренька погодите, скажите... кричали мнѣ вслѣдъ обѣ дѣвушки. Но я ихъ не слушалъ и побѣжалъ въ садъ.

Тамъ я тотчасъ же наткнулся на Керети и Леву: они шли къ озеру съ удочками въ рукахъ. Дворовый мальчикъ безъ шапки несъ за ними въ черепкѣ червей и большую краюху хлѣба. Лева кинулся цѣловать меня съ большой радости. Онъ прыгалъ какъ козликъ и принимался цѣловать тутъ же и Керети, и замарашку-мальчика, который то-и-дѣло послѣ этого утиралъ лицо рукавомъ, размазывая пуще грязь по потному лицу и смѣясь во весь ротъ,—онъ казался счастливъ не менѣе Левы, не менѣе самой Сильвы, сопровождавшей ихъ, которая, въ свою очередь, прыгала съ радости имъ на грудь и лизала то одного, то другаго въ самыя губы. Французъ мой глядѣлъ нѣсколько сконфуженно; онъ извинился предо мною за то, что не можетъ en ce moment продолжать

со мною латинскій урокъ, говоря, что у него голова страшно разболѣлась, и очень жарко, и что онъ надѣется подышать на озерѣ свѣжимъ и влажнымъ воздухомъ, который онъ почитаетъ для себя лучшимъ лѣкарствомъ.

— Вы впрочемъ хорошо помните то, что проходили, et ma conscience ne me reproche pas le léger retard que j'apporte à vous le faire répéter, съ улыбкой примолвилъ онъ,— и весьма любезно пригласилъ меня de les accompagner à la pèche.

Я согласился, и мы самымъ дружелюбнымъ образомъ болтали съ нимъ въ продолженіе всего пути; Лева и Грицько побѣжали впередъ. Дойдя до озера, мы застали ихъ уже за дѣломъ, засѣвшими на берегу подъ большою вербой, и Лева, неопытный рыболовъ, кричалъ намъ издалека, что онъ чуть-чуть не поймалъ большущаго карася, между тѣмъ какъ замарашка-мальчикъ, неподвижно стоя съ закинутою удой, дѣлалъ ему выразительные знаки рукой, чтобъ онъ крикомъ своимъ не пугалъ рыбу. Керети тотчасъ же присѣлъ неподалеку отъ нихъ и принялся, съ гадливымъ выраженіемъ глядя на червяка, судорожно вившагося между его пальцами, насаживать его на крючокъ своей удочки. Разговоры смолкли, всѣ глаза обратились на воду. Но отъ этой неподвижной, гладкой и зеленоватой, какъ стекло въ парникѣ, воды вѣяло не свѣжестью, а какимъ-то жгучимъ, какъ въ банѣ, паромъ. Солнце точно упало въ озеро и дремало, пламенное и лѣнивое, на его днѣ; дремали вокругъ ракиты и вербы, съ ихъ потускнѣвшими отъ жары длинными и узкими, какъ змѣиное жало, листами; дремала болотная дичь въ густомъ очеретѣ, и сонная рыба не рѣшалась всплывать изъ своихъ глубей на приманку нашей мякиши и червей. Я скоро кинулъ уду, къ великому удовольствію Грыцька, у котораго взялъ ее на время, и, пожелавъ имъ всѣмъ успѣха, пошелъ искать побольше тѣни въ старыхъ аллеяхъ сада. Меня такъ и тянуло прилечь, растянуться, отдохнуть на холодкѣ отъ этой гнетущей жары. На моемъ пути лежала бесѣдка, въ которую я вводилъ уже читателя въ самомъ началѣ моихъ воспоминаній. „Монрепо, храмъ отдохновенія“,—такъ значилась она на

поэтическомъ языкѣ Ѳомы Богдановича. Она стояла на четыреугольной площадкѣ, обсаженной тополями, и состояла изъ двухъ комнатъ—одной побольше, въ которой часто пивали чай по вечерамъ, и за нею другой въ два окна съ итальянскими жалузи, которыя никогда не подымались, и потому въ этой комнатѣ было всегда почти темно и свѣжо, или, вѣрнѣе, сыро. Она служила иногда спальней для холостой молодежи, въ тѣ праздничные дни, когда въ Богдановское съѣзжалось такъ много гостей, что въ большомъ домѣ и флигеляхъ не оказывалось уже ни одного свободнаго угла. Снали на большомъ, широкомъ турецкомъ диванѣ во всю стѣну, который съ двумя или тремя низенькими столиками составлялъ всю мебель этой комнаты. На него-то я и разсчитывалъ...

Двери бесѣдки были, по обыкновенію, не заперты, и, пробѣжавъ первую комнату, я немедленно очутился „тормашками кверху“, какъ говаривалъ Саша Рындинъ, на этомъ широкомъ, низенькомъ диванѣ, въ этомъ прохладномъ, чуть не холодномъ покоѣ, куда свѣтъ проникалъ тоненькими золотыми черточками сквозь промежутки зеленыхъ дощечекъ жалузи. Сунувъ подъ голову подушку и закинувъ надъ нею руки, я почувствовалъ себя такъ хорошо, что не могъ противостоять искушенію закрыть глаза, а закрывъ глаза—заснулъ какъ-то внезапно, разомъ, самымъ неожиданнымъ для себя образомъ...

XX.

Чей-то пронзительный голосъ, звавшій меня по имени, разбудилъ меня.

— Ne criez donc pas comme cela! тотчасъ же вслѣдъ за нимъ заговорилъ другой.

Это были Лева и Керети, — они искали меня; шаги ихъ скрипѣли на пескѣ подъ окнами бесѣдки.

Я не успѣлъ отозваться, какъ изъ первой комнаты кто-то отвѣтилъ за меня:

— Il n'est pas ici.

„Это *она* здѣсь!“ воскликнулъ я про себя, не смѣя уже шевельнуться.

— Онъ, вѣрно, у Васи, послышался голосъ и Анны Васильевны.

— Mille pardons, mesdames, учтиво извинился мой гувернеръ,—voyons, Léon, marchons!...

Они ушли.

Боже мой! какъ же мнѣ теперь выйти отсюда, показаться *ей*, съ моимъ заспаннымъ лицомъ и растрепанными волосами, признаться, что я тутъ былъ и такъ постыдно спалъ среди бѣлаго дня. Нѣтъ, ни за что! Буду спать или притворюсь спящимъ, буду лежать какъ мертвый, хотя бы онѣ сами пришли сюда и стали будить меня...

А *она* продолжала между тѣмъ давно, какъ видно, начатый и прерванный криками Левы разговоръ:

— Васъ пугаетъ моя смѣлость, говорила она,—вы называете это смѣлостью! Онъ уѣхалъ, я его больше никогда, можетъ-быть, не увижу,—чего же еще вы хотите, тетушка!...

Мнѣ почудилось, что она тихо, тихо заплакала.

— Любочка, голубонька моя, растроганнымъ и тревожнымъ голосомъ возражала ей Анна Васильевна,—да я развѣ что противъ тебя говорю! Знаю я хорошо, что ты себя не забудешь, и такъ хорошо это ты сдѣлала, и покой тебѣ будетъ теперь, увидишь сама, и на серденькѣ полегчаетъ какъ только ты сама себя обдумаешь. А что я сказала, что ты смѣло говоришь...

— Я говорю, что думаю, нетерпѣливо прервала ее Любовь Петровна,—и нѣтъ еще, слава Богу, такой власти, которая могла бы помѣшать мнѣ думать и страдать, и проклинать мою жизнь! горячо воскликнула она.

— Мати Пресвятая Богородица! воскликнула въ свою очередь съ ужасомъ Анна Васильевна. — Зачѣмъ ты такія, Любочка, слова говоришь? не дай Боже!

— Проклинаю, повторила красавица,—потому что, сколько я себя помню, мнѣ до сихъ поръ не было дано ни одного дня, ни одной минуты счастія! А я счастія имѣю право требовать, какъ всякая другая,—онъ говорилъ правду...

Анна Васильевна глубоко вздохнула.

— Неправду онъ говорилъ, Любочка, сказала она, — не счастія намъ надо искать здѣсь, а чтобы только жизнь нашу прожить безъ грѣха.

— Грѣхъ ни въ какомъ случаѣ не ляжетъ на мою совѣсть, коротко и язвительно засмѣялась Любовь Петровна,— за него отвѣтятъ тѣ, кто исковеркали мою жизнь и поставили ее вверхъ дномъ. Вѣдь со мной безжалостно поступили, тетушка! Коса травы не рѣжетъ, пока она не созрѣетъ, не приметъ своей доли дождя и солнца; меня оторвали отъ куколъ и кинули на жертву какой-то африканской страсти, отъ которой я задыхалась, какъ птица подъ стекляннымъ колпакомъ... И меня же еще упрекали, — съ горечью, со злостью упрекали за мою черную неблагодарность къ тому, отъ чего я задыхалась! Развѣ я весь вѣкъ свой не слыла за холодную, вѣтреную, безсердечную женщину, за эгоистку, которая пожертвуетъ всѣми и всѣмъ на свѣтѣ для прихоти, для тщеславія, для минуты удовольствія? Развѣ каждый не считалъ

себя въ правѣ говорить, что у меня вмѣсто сердца камень въ груди, что я не въ состояніи привязываться, не могу любить никого, никогда? И каждый, это говорившій, былъ вѣдь правъ, тетушка! Но виновата-ли я была въ томъ,—виновата-ли, что всѣ мои молодыя силы были довременно пригнуты и помяты, какъ цвѣтокъ, засушенный въ книгѣ?...

— Любочка, заговорила опять Анна Васильевна,—пожалѣй ты *его*, прости,—вѣдь это онъ отъ большой любви къ тебѣ...

— О, Боже мой! съ горечью молвила Любовь Петровна:— я ему давно простила и искренно жалѣю его, какъ несчастнаго человѣка... Но не могу я однако не сознаться, — вы опять заохаете, тетушка,—что въ первый разъ могла я вздохнуть свободно лишь съ той минуты, когда... когда это съ нимъ случилось. Не весела обязанность таскать по свѣту живаго мертвеца, въ фантастической надеждѣ, что его излѣчитъ какое нибудь чудо, — я тысячу разъ однако предпочитаю это тому аду, въ какомъ жила я въ пору моей soi-disant *блестящей* жизни въ Петербургѣ!... Но я еще разъ говорю вамъ, я не упрекаю его, не жалуюсь, я упоминаю лишь объ этомъ какъ о случившемся, о давно прошедшемъ. И такъ хорошо для меня устроилось это прошедшее, что я, не живши, прожила до тридцати трехъ лѣтъ, — потому что мнѣ вѣдь тридцать три года, тетушка, il ne faut pas se faire d'illusions, я почти старая женщина... И вотъ, тише и печальнѣе заговорила она, — на этой вечерней моей зарѣ встрѣчается мнѣ человѣкъ...

— А Богъ съ нимъ, Любочка! горячо прервала ее Анна Васильевна, — лучше бы ты николи съ нимъ не встрѣчалася, съ этимъ человѣкомъ.

— Не спорю, можетъ-быть вы и правы. Я его и не искала, но я съ нимъ встрѣтилась; вѣдь этого опять вычеркнуть нельзя,—вѣдь это фактъ! Я встрѣтилась съ умнымъ, съ замѣчательно умнымъ и благороднымъ человѣкомъ, тетушка.... Я много видала на своемъ вѣку, но онъ, онъ первый, который... И я съ нимъ теперь разлучена... Я согласилась на эту разлуку... И знаете—для чего это?

— Для того, что уважаешь ты себя, Любочка, промолвила Анна Васильевна.

Она снова горько засмѣялась.

— Для того, чтобы какъ-нибудь тѣ же люди, которые говорили, что у меня камень въ груди, не сказали теперь, что у меня на мѣстѣ сердца котелъ съ кипяткомъ. Другой, въ сущности, причины нѣтъ... Вотъ какая „смѣлая“ женщина, дорогая моя и строгая тетушка!

— Такъ вѣдь тебѣ жь что было иного дѣлать? замѣтила съ успокоивающимъ, примирительнымъ оттѣнкомъ „строгая тетушка“.

— Что дѣлать! воскликнула Любовь Петровна, и ея контральтовый голосъ зазвучалъ какою-то металлическою, почти мужскою нотой, отъ которой мурашки забѣгали у меня по спинѣ.—Любить прямо, открыто, любить не стыдясь, въ тридцать три года, какъ любятъ въ восемнадцать лѣтъ, какъ и я, можетъ быть, любила бы въ свое время, еслибы не отдали меня, какъ холопку, немилому человѣку, загубившему всю мою молодость! Любить, презирая всякіе людскіе толки, гордясь предъ всѣми тѣмъ, кого свободно выбрало сердце, быть счастливою, однимъ словомъ,—вотъ что дѣлать!

Новый, всю объявшій ее ужасъ послышался въ голосѣ бѣдной Анны Васильевны:

— Подумай, подумай, что ты говоришь! лепетала она.— Такъ открыто предъ всѣми слюбиться съ чужимъ человѣкомъ— при живомъ мужѣ!... И не грѣшно-бъ было, не загрызла бы тебя совѣсть отъ стыда и жалости, что покинула бы ты его, покинула бы сына роднаго?...

— Сынъ меня не любитъ, промолвила коротко Любовь Петровна, какъ бы не желая останавливаться на этой мысли,— мужъ.... онъ даже не человѣкъ теперь... а когда былъ имъ, онъ свое взялъ! Дайте же и мнѣ мою долю счастія, вѣдь и я тоже Божіе созданіе, и я имѣю право желать не умереть безъ того, чтобъ и мнѣ посвѣтило солнце хоть на одно мгновеніе...

И она громко, слышно заплакала.

И такъ нежданны и трогательны были эти слезы, эта жалоба этой гордой, этой прелестной женщины, которая, думалось мнѣ, для того только и родилась на свѣтъ, чтобы всѣ исполняли, предугадывали ея желанія, и почитали бы это за величайшее для себя счастіе, что и я принялся какъ дуракъ плакать въ своемъ темномъ углу, уткнувшись носомъ въ твердую, пахнувшую гнилью подушку протертаго стараго дивана и весь дрожа отъ мысли, что малѣйшій шумъ, неосторожное движеніе могли выдать мое присутствіе здѣсь...

— Вы все меня грѣхомъ пугаете, тетушка, продолжала красавица,—а я вамъ скажу: есть такіе грѣхи, что нѣтъ, кажется, наказанія, котораго не вытерпѣла бы за нихъ съ блаженствомъ!... Я сама удивляюсь тому, что вамъ говорю, прервала она себя недолгимъ смѣхомъ,—я ни о чемъ подобномъ никогда до этого времени не думала, ничего подобнаго не ощущала; я самой себѣ кажусь смѣшною за этотъ поздній приливъ чувства, за эту весну сердца въ мои годы!... Но то, что я чувствую и думаю теперь,—я вамъ и говорю не скрывая. Я думаю, что не грѣхъ это, тетушка, когда женщина горячо, свято, безкорыстно любитъ человѣка, умѣвшаго завладѣть ея душой, потому что она не можетъ не любить его, потому что она любитъ, какъ живетъ, не по своей, а по чьей-то высшей волѣ; ее можно истязать, убить, что вы хотите, но вырвать изъ души ея любовь—нѣтъ силы въ мірѣ, которая могла бы успѣть въ этомъ!... А вотъ гдѣ грѣхъ и позоръ, и невыносимое мученье,—а въ этомъ позорѣ и мученіи прошла вся моя молодость,—когда женщина должна отдаваться человѣку, который внушаетъ ей не любовь, а ужасъ и отвращеніе, когда она таится и скрываетъ и лицемѣритъ,—какъ я тамъ сейчасъ у *него* принуждена была таиться и лицемѣрила...

— Не лицемѣрила ты, Любочка, возражала Анна Васильевна,—долгъ ты свой исполняла. Ты ему въ церкви Божіей, предъ святымъ алтаремъ, обѣтъ давала, что будешь ему вѣрная и послушная до могилы.

— Обѣтъ давала! Кто его далъ? я или тѣ, кто располагали мною какъ вещью, какъ существомъ безсловеснымъ? Я *его* не выбирала, я бы его никогда не выбрала! Никакому

свободно данному слову я не измѣнила, а только такое слово обязательно, только оно могло бы связать мою совѣсть...

— Любочка, печально заговорила опять Анна Васильевна,— когда слово предъ святымъ Божіимъ Евангеліемъ не будетъ насъ вязать, какое свяжетъ насъ наше человѣческое свободное слово? Вѣдь его-жь легче смѣнить, чѣмъ то, что тамъ, на небѣ, записуется! Сегодня дастъ одному женщина свободное свое слово, а завтра скажетъ: свободно его дала, свободно и назадъ беру, и другому дастъ опять то же слово. Такъ гдѣ-жь тогда законъ христіанскій? Гдѣ семья? Гдѣ миръ и благодать?

— Такъ по-вашему, порывисто отвѣчала Любовь Петровна,—справедливо, чтобы мы отвѣчали за то, что не нами сдѣлано, чтобы мы вѣкъ свой добровольно оставались несчастными, потому что вздумалось сдѣлать насъ такими тѣмъ, кто располагали, командовали нами? Не благодарить-ли еще судьбу за это, не цѣловать-ли орудіе, которымъ насъ безжалостно пытаютъ?...

— Покориться надо, Любочка, тихо, едва слышно, проговорила на это Анна Васильевна.

— Ахъ, тетушка, почти съ отчаяніемъ воскликнула красавица,—вѣдь это жестоко! Жизнь вѣдь еще не вся прошла, еще жить хочется!... Васъ Богъ хранилъ, тетушка, не давили васъ, не терзали, не знали вы тѣхъ мученій, не знали и этой жажды счастія...

— Не знала! повторила Анна Васильевна. И въ этихъ двухъ словахъ было такъ много тревоги и робости и какого-то непонятнаго замѣшательства,—что у меня сперло дыханіе, отъ любопытства, отъ ожиданія. Что же это она будетъ говорить, милая, добрая Анна Васильевна?

— Ахъ, Любочка, начала говорить она,—думала я, помру и въ могилу съ собой это возьму. Тяжко, скажу тебѣ, припоминать мнѣ то. Только не знаю, что внутри меня такъ будто теперь шевелится и нудитъ: скажи, можетъ ей для пользы, для твоей пользы, Любочка, будетъ... Ты думаешь, не знала, я ни тѣхъ мученій, ни жажды той, какъ сказала ты... И мученія тѣ, и жажду,—все я испытала. Только ты истинно сказала, что Богъ меня хранилъ. Сохранилъ онъ меня отъ

стыда вѣчнаго, и до сихъ поръ нѣтъ того дня, чтобъ я его, Творца Небеснаго, со слезами за то не благодарила... Жалуешься ты, что не спросясь тебя за немилаго замужъ тебя выдали. А на то я тебѣ опять скажу: старѣе я тебя, — за наше время никого насъ не спрашивали, почему молодыми очень выдавали насъ, такъ что жь было и спрашивать: за кого батька съ маткой скажутъ, за того и выходили. Такъ и я вышла...

— И не любили дядюшку, когда шли за него? послышался удивленный голосъ Любовь Петровны.

— А не любила жь! простодушно отвѣтила Анна Васильевна.—Я другаго любила, промолвила она, пріостановившись и вздохнувъ.

— Вы, тетушка?

— А сама я, съ тою же невыразимою прелестью простодушія и стыдливости отвѣтила она опять. — О томъ самомъ и хочу тебѣ передать...

— Кто же это былъ? спросила Любовь Петровна.

— Кто былъ?... повторила замедленнымъ голосомъ Анна Васильевна. Ей, бѣдной, видно, очень не хотѣлось выдавать это имя, которое она думала „взять съ собою въ могилу“.— Звали его Тимофей Евграфычъ, а былъ онъ родня близкій и другъ моему Ѳомѣ Богдановичу, и съ нимъ вмѣстѣ ѣздили они къ намъ въ село, когда я еще дѣвушкой была.

— И хорошій онъ былъ человѣкъ, тетушка?

— Хорошій, Любочка, только былъ онъ гуляка, голова пропащая; за него бы ни одну дочку съ хорошаго дома не отдали. Былъ онъ изъ роду богатаго и одинъ сынъ; сиротой молодымъ остался. Тогда было это гусарство въ Бердичевѣ, онъ туда служить пошелъ. Тамъ онъ въ четыре года нищимъ сдѣлался, все изъ-за компаніи, да съ простоты своей. Какъ ни съ чѣмъ онъ остался, пріѣхалъ онъ къ Ѳомѣ Богданычу, а старый мой за мной пропадалъ тогда и все это его съ собою къ намъ и возилъ. А на того всѣ у насъ кругомъ какъ на сову, аль на чуму какую глядѣли, чуть въ носъ ему, бывало, не смѣются, потому много про его глупости въ Бердичевѣ,—какъ онъ тамъ всѣ гроши свои на паненокъ, да въ карты проигралъ,—много тогда разсказывали въ нашей сторонѣ. А онъ гордый былъ, не

хотѣлъ показать, что у него, можетъ, на сердцѣ какъ въ пеклѣ огненномъ, и самъ про себя все разсказываетъ и надъ собою смѣется. И хорошо, скажу тебѣ, я его понимала и жалѣла его... Съ того самаго у меня и началось. Стала я все думать, какъ это онъ съ такихъ молодыхъ лѣтъ пагубу себѣ зробилъ, потому окромѣ тѣхъ *вполетъ*, что на плечахъ у него болтались, ничего ужь у него не оставалось ни сзади, ни спереди,—человѣкъ былъ онъ не ученый, до большихъ чиновъ дойти разума у него не хватитъ, думала я себѣ, а съ другаго боку, знаешь, честный онъ слишкомъ былъ, вздумалъ бы въ судейскіе пойти—съ голоду-бъ померъ, почему хапанцевъ ни за что бы не сталъ брать онъ съ бѣднаго человѣка. Добрый онъ былъ, скажу тебѣ, Любочка, и человѣколюбецъ, не хуже моего Ѳомы стараго, родъ ужь у нихъ весь такой; встрѣчается ему гдѣ калика, или нищая старая, а то еще слѣпой съ бандурой,—тѣхъ онъ до страсти слушать любилъ,—онъ сейчасъ руку до кишени, позабывши, что у него тамъ одинъ вѣтеръ гуляетъ... Такъ, знаешь, смотрѣть на него въ тотъ часъ жалость меня брала, ажно слезы въ очахъ у него покажутся и побѣжитъ прочь, чтобъ и слезъ тѣхъ его, и стыда люди не видали. И все это я себѣ въ душѣ держала, что оттого вышла ему недоля такая, что ни матери у него, ни сестры съ дѣтства не было, что онъ, можетъ, добраго женскаго слова николи не слыхалъ, некому было приласкать его, да при той ласкѣ разуму его научить. И такъ все журилась я о немъ и гадала себѣ такъ, что когда бы я богатая была, — спасла бы я непремѣнно этого самаго пропащаго человѣка, пошла бы я за него замужъ, а богатство свое ни за что бы въ руки ему не отдала, а что день — то давала бы ему по два карбованца на слѣпыхъ и каликъ, по ту самую пору, когда-бъ онъ настоящимъ человѣкомъ сдѣлался... Глупая, знаешь, въ тѣ годы была я, Любочка, тихо засмѣялась Анна Васильевна,— и въ головонькѣ молодой все это фантазія шла... На зарѣ, сама знаешь, всяка пташка слаще поетъ, примолвила она, словно извиняясь.

— Ахъ, милая, растроганнымъ голосомъ молвила на это Любовь Петровна,—какая же тутъ глупость, что вы любили?

— А какъ не глупость, когда я не то богатая, а можно сказать почти совсѣмъ бѣдная была, а была бы богатая, то еще хуже не отдали бы меня за такого человѣка...

— И онъ васъ любилъ, тетушка?

Не сейчасъ отвѣчала Анна Васильевна.

— Любилъ, рѣшилась она наконецъ сказать, и примолвила, помолчавъ опять:—любилъ съ того самаго часа, когда привезъ его къ намъ въ первый разъ Ѳома Богданычъ.

— И признался онъ вамъ тогда въ этомъ? снова спросила красавица: слышно было по ея голосу, что она жадно внимала разсказу тетки.

— А не дай Боже! возразила Анна Васильевна.—Какъ же бы онъ признался, когда зналъ онъ, что Ѳома взять меня хотѣлъ, а и тотъ все ему повѣрялъ, какъ брату родному. Онъ и думать того не смѣлъ, чтобы мнѣ какое слово лишнее сказать...

— А вы сами догадывались?

— Некогда жь было мнѣ о томъ догадываться, Любочка, потому Ѳома Богданычъ, не долго ждамши, просилъ меня за себя у родителевъ моихъ, и стала я его тутъ нареченная невѣста.

— Васъ принудили къ этому?

— Не принуждали меня, потому я сама не отказывалась. Онъ у насъ первый по всей губерніи женихъ былъ, и добре я знала, какая душа въ семъ человѣкѣ есть. Какъ же бы я это противъ отца и матери и противъ своего счастія пошла?... Только просила я ихъ, чтобы повѣнчали меня съ нимъ лѣтомъ, — а просватана я была въ самый Великъ день, — съ краснымъ яичкомъ поздравилъ меня невѣстой покойный батюшка, — а до лѣта, чтобы въ Кіевъ повезли меня, святой Варварѣ великомученицѣ помолиться. Хотѣла я, скажу тебѣ, чтобы за то время, что до вѣнца оставалось, мнѣ остатки про того-другаго изъ думки повыгонять и на то мудрости намолить себѣ у той премудрой святой... Итакъ я его до самаго вѣнца нашего не видала, а не видавши, да еще какъ съ богомолья вернулась я домой съ легкимъ духомъ, — и совсѣмъ не стала объ немъ думать, и съ чистою совѣстью стала предъ налой съ женихомъ своимъ...

— А на свадьбѣ вашей былъ онъ? спросила Любовь Петровна.

— А какъ не быть! Дружкой былъ даже у Ѳомы Богданыча, надъ головой его вѣнецъ держалъ.

— Что же сталось съ нимъ потомъ?

Анна Васильевна опять помолчала.

— А какъ поженилъ онъ насъ, да въ Богдановское привезъ, пожилъ онъ тутъ съ нами сутокъ пять аль шесть,— а тамъ разъ раненько, отъ всѣхъ потаившись, выѣхалъ себѣ отъ насъ,—и долго не знали мы съ Ѳомой моимъ, куда онъ это пропалъ. Ужь долго потомъ, чрезъ письмо его узнали, что онъ на Кавказѣ,—форму свою золотую гусарскую позабывши, — въ пѣхотный полкъ поступилъ и служитъ себѣ тамъ на томъ Кавказѣ, что всегда тамъ война идетъ съ черкесами...

— Какъ, тѣмъ и кончилось? воскликнула Любовь Петровна.

— Не кончилось тѣмъ, съ новымъ замѣшательствомъ, съ новымъ вздохомъ отвѣчала Анна Васильевна.

— Онъ съ Кавказа вернулся? И скоро?

— Не скоро, — седьмой годъ ужь замужемъ я была, и былъ у меня сынокъ, Павликомъ звали, по четвертому годочку шло ему тогда,—Галечки тогда и на свѣтѣ не было,—одинъ былъ онъ у меня, и слабенькій такой былъ, хворый...

Анна Васильевна пріостановилась, высморкалась, — она вѣрно заплакала, подумалъ я, какъ это всегда бываетъ съ нею, когда вспомнитъ она про своего Павлика, — и продолжала:

— Прихожу разъ къ Ѳомѣ Богданычу, гляжу—сидитъ онъ, письмо читаетъ и плачетъ себѣ одинъ. А писалъ это къ нему Тимоѳей Евграфычъ, что онъ въ грудь,—въ ту самую грудь, что, можетъ, думалъ онъ, ею выиграть, примолвила Анна Васильевна въ скобкахъ, — раненъ пулей, и что подняли его какъ мертваго съ того мѣста, гдѣ палъ онъ, и думалъ ни за что онъ живъ не останется. Пролежалъ онъ въ гошпиталѣ четыре мѣсяца, и пули той, какъ ни бились доктора, а не вынули... Да на что долгій сказъ, — и тутъ не вышла ему

доля: черезъ ту пулю долженъ онъ былъ въ отставку итти. Дали ему крестъ и маіорскій чинъ, — хорошо онъ служилъ тамъ,—и отпустили съ Богомъ... Тогда онъ опять и пріѣхалъ къ намъ.

— И поселился въ Богдановскомъ? спросила Любовь Петровна.

— Нѣтъ; далъ ему Ѳома Богданычъ въ аренду Селище свое, что теперь тотъ старый полякъ держитъ,—онъ тамъ и сталъ жить, за хозяйство взялся...

— И о васъ больше не думалъ, тетушка?

— А думалъ, Любочка, проговорила тихо Анна Васильевна,—только я опять того не знала и, можетъ, до сихъ поръ не знала бы, какъ бы не такой случай, что Ѳомѣ моему надо было въ Москву ѣхать. Старая тетка его, Переверзиха, отъ которой ему и твоему Герасиму Иванычу наслѣдство-то большое пошло, въ Москвѣ тогда жила и больная слишкомъ сдѣлалась, Ѳому и выписала къ себѣ. Онъ къ ней заразъ и поѣхалъ, а Тимоѳѣя Евграфыча просилъ за себя быть въ Богдановскомъ, меня съ ребенкомъ хранить, за управителемъ приглядѣть и все прочее... Тутъ онъ сталъ часто пріѣзжать, часто я его видать стала...

— И тутъ онъ вамъ открылся въ любви? Какъ же это случилось?...

— Сказать тебѣ, Любочка, дрожащимъ голосомъ отвѣчала она, — ты и не повѣришь, можетъ. Мигъ былъ одинъ, будто громъ безъ хмары съ неба ударилъ, такъ и это вышло... Какъ уѣхалъ въ Москву Ѳома Богданычъ, сталъ онъ, говорю тебѣ, часто ѣздить сюда, въ конторѣ посидитъ, поля объѣдетъ, а потомъ ко мнѣ зайдетъ, про Павлика спытаться,—любилъ онъ его до страсти, а и тотъ его, голубчикъ,—да посовѣтываться на счетъ какого дѣла по хозяйству. И не было у насъ съ нимъ никогда другаго сказа, какъ про траву, да про овецъ; лѣто въ тотъ годъ было горячее, не дай Богъ, и стали у насъ овцы падать, и онъ очень о томъ журился и безпокойство въ себѣ держалъ, что случилось то какъ нарочно, какъ уѣхалъ хозяинъ, — и что онъ безъ него, можетъ, не такъ поробитъ,

какъ треба. А я его утѣшала тѣмъ, что Ѳома Богданычъ добре знаетъ, что онъ за его добро стоитъ какъ за свое, а что противъ Бога никто, и ничего бъ и Ѳома Богданычъ не могъ подѣлать противъ мора! Одначе онъ овецъ перевелъ на другой степъ, а тамъ и мору того не стало. Онъ такъ радъ сдѣлался и со степу всегда пріѣдетъ ко мнѣ съ доносомъ, что овечки наши всѣ живеньки и здоровы... Такъ и пріѣхалъ онъ оттуда разъ; усталъ былъ слишкомъ отъ ѣзды и отъ жару,—и было у него въ моей горницѣ кресло любимое, вольтеромъ звалъ его Ѳома Богданычъ, въ кресло то ровно мѣшокъ съ мукой опустился! „Какъ, говоритъ, хорошо у васъ тутъ; какъ въ лѣсу, тѣнь и холодокъ“. А у меня отъ солнца всѣ сторы спущены и, правда, какъ въ лѣсу свѣжо и свѣтъ мягкій какъ въ сумеречки. Такъ и сидимъ мы, я у окошка, шарфъ на спицахъ вяжу, а онъ себѣ въ креслѣ, и молчитъ,—я думала, даже заснулъ онъ... Только слышу, застоналъ онъ такъ, тихо. Обернулась я, спрашиваю: Болитъ у васъ что?—А онъ мнѣ на это: „Пуля, говоритъ, одолѣваетъ“.—Какіе это, говорю я ему, дурни тѣ доктора, что не могли вамъ ее вынуть.—„Очень глубоко подъ ребромъ засѣла“, отвѣчаетъ; помолчалъ и опять говоритъ: „кабы не вы, то и живымъ бы не остался“. Слишкомъ удивилась я такимъ словамъ его:—А я тутъ что? спрашиваю.—„Коли-бъ пуля“, объясняетъ онъ, „не въ вашъ образокъ ударила, да въ бокъ оттого не приняла, умеръ бы я на мѣстѣ“. Тутъ я вспомнила, когда въ тотъ разъ, предъ вѣнцомъ, на богомольѣ была въ Кіевѣ, привезла я оттуда всѣмъ домашнимъ образки съ мощей Варвары великомученицы, и ему такой образокъ чрезъ Ѳому Богданыча послала.—Вы, спрашиваю, тотъ образокъ мой на себѣ носили?—„И до могилы носить буду!“ говоритъ, вытащилъ изъ-за сорочки снуръ, на которомъ висѣлъ онъ у него, всталъ и идетъ съ нимъ до меня... Я и не знаю, что сказать, подняла на него очи, а онъ,—голосъ Анны Васильевны словно надорвался,—онъ въ ноги мнѣ вдругъ упалъ: „Семь лѣтъ“, насилу черезъ слезы сказать можетъ, „семь лѣтъ, съ перваго дня, какъ увидалъ, молился я тебѣ какъ Христу“....—Что вы, что вы, Тимофей Евграфычъ! крикнула я,—побойтесь Бога! А онъ какъ всю-

читъ, обѣими руками обнялъ меня, притулилъ къ груди своей и ну цѣловать меня въ голову, въ очи, въ губы...

Она не могла продолжать отъ волненія.

— Что же вы, тетушка? не менѣе взволнованнымъ голосомъ спросила Любовь Петровна.

— А я, Любочка, едва переводя дыханіе, говорила уже бѣдная Анна Васильевна,—я и не скажу, что со мной подѣлалось, стыдъ такой мнѣ и жалость за того человѣка, что меня такъ долго любилъ и можетъ померъ бы, коліб я о немъ не думала, какъ дивчиной была, и не дала бы ему того образца, когда сердцемъ своимъ разставалась съ нимъ, и слабой такой себя я чувствовала,—только противъ тѣхъ поцѣлуевъ его не было у меня силы... И потеряла бы я себя, можетъ, Любочка, замарала бы себя на вѣки,—какъ въ тотъ самый мигъ до меня какъ голосъ съ неба дошелъ: „мама, мама“! Сынокъ мой миленькій, Павликъ мой бѣдный, тащился до меня изъ дѣтской на хворенькихъ ножкахъ своихъ и звалъ меня... И тутъ, Любочка, поняла я, что мнѣ спасеніе пришло, и женскими руками своими такъ отпихнула отъ себя человѣка того, что воевалъ на Кавказѣ, что похилился онъ отъ меня, а сама, ухвативши своего ангела-малютку, кинулась я въ спальню, да такъ съ нимъ и упала предъ крестомъ и чувствъ лишилась...

Анна Васильевна насилу договорила...

— Какъ же вы встрѣтились съ нимъ потомъ, тетушка? давъ ей отдохнуть, опять спросила Любовь Петровна.

— А не встрѣчалась ужь я болѣе съ нимъ, не видала его до самой его смерти, отвѣчала она.

— Онъ уѣхалъ?

— Не уѣзжалъ, только предъ очи мнѣ, говорю тебѣ, до самой смерти своей не показывался. На другой день послѣ того, что я тебѣ сказала, пріѣхалъ домой Ѳома Богданычъ, тетку въ Москвѣ живую не заставъ. Наслѣдство надо было пріймать послѣ нея, съ мужемъ твоимъ дѣлиться; такъ это тотъ все и робилъ,по тѣмъ имѣніямъ жилъ, а пріѣдетъ назадъ, сидитъ дома, сюда не ѣздилъ; нужно переговорить ему съ Ѳомой Богданычемъ, такъ старый мой къ нему ѣдетъ, въ Селище.

— Понятно, сказала Любовь Петровна,—онъ избѣгалъ,

васъ, ему невозможно было встрѣчаться съ вами. Но странно, неужели дядюшка этого не замѣчалъ?

Анна Васильевна пропустила эти слова безъ отвѣта, будто и не слыхала ихъ.

— И не долго жилъ онъ послѣ того, продолжала она;— не даромъ ударила его та пуля: открылась у него чахотка. Все хуже ему стало, да хуже,—и ничего про то не говорилъ мнѣ мой Ѳома, черезъ другихъ людей знала я,—а на другой годъ, какъ прилетѣли журавли, такъ онъ и кончился. Два дня предъ тѣмъ, какъ ему умереть, Ѳома и домой не пріѣзжалъ, все у него коло постели сидѣлъ. Тяжко мнѣ было за эти дни, Любочка,—чуяла я, что смерть пришла за тѣмъ человѣкомъ, что чуть меня несчастною на вѣки не сдѣлалъ, а только и не скажу тебѣ, какъ жалѣла я о немъ, сидючи одна въ своей горницѣ и поминаючи молодость свою и прежнее все... Какъ заплющилъ онъ очи, обмыли его и на столъ положили, тоди только вернулся мой Ѳома, и ко мнѣ прямо.—Что? спрошу его. „Кончился Тимоѳей Евграфычъ“, говоритъ,—и горько, горько заплакалъ и я за нимъ.—„Ганна“, сказалъ онъ опять,— „не откажи принять, что онъ предъ смертью просилъ меня отдать тебѣ“. И показываетъ мнѣ тотъ образокъ, что носилъ онъ, какъ обѣщался, до могилы,—побитый былъ онъ весь отъ пули...—Пріймаю, говорю, Ѳома, только этотъ человѣкъ виноватъ былъ предо мною, а больше еще предъ тобой виноватъ; не говорила я тебѣ, пока онъ живъ былъ... А онъ и кончить мнѣ не далъ.—„Не треба, говоритъ, все я знаю“!—Какъ знаешь?—„А такъ!“—Кто-жь тебѣ могъ сказать?—„Онъ самъ говорилъ,—какъ я только тогда вернулся съ Москвы, какъ на духу исповѣдалъ онъ мнѣ все, Ганна, что было тогда у васъ“. Я вся омлѣла, Любочка, отъ тѣхъ словъ его.—И ты, говорю, простилъ его, Ѳома? А онъ, Божья душа, обнимать меня сталъ. — „Какъ, говоритъ, не простить ему было, Ганнуся, когда добре зналъ я, какъ онъ любилъ тебя и какъ страдалъ по тебѣ; можетъ, въ недолѣ его и была-то одна минута счастія во всей его жизни, и за ту плакалъ онъ каждый день, пока жизнь кончилъ!... И обнялись мы тогда съ моимъ старымъ, а образокъ, что тотъ мнѣ оставилъ, навѣсилъ мнѣ самъ Ѳома

на шею, и ношу я его съ того мига съ крестикомъ моего Павлика,—не стало, еще черезъ годъ, и того моего голубчика сизаго,—съ ними и заховаютъ меня, Любочка...

Послышалось тихое всхлипыванье и громкій звукъ спѣшныхъ, горячихъ поцѣлуевъ.

— Ахъ вы, милая, безцѣнная моя, перерывающимся голосомъ говорила Любовь Петровна, — что вы за удивительные люди съ дядюшкой!

— Простые люди, Любочка, жить стараемся, какъ Богъ велѣлъ, отвѣчала Анна Васильевна.

— Какъ Богъ велѣлъ? послѣ довольно долгаго молчанія тихо и медленно повторила красавица. — Да,—но это очень тяжелое!...

XXI.

— Ахъ, Любочка.... начала было говорить Анна Васильевна, но была прервана на полусловѣ запыхавшимся и дребезжавшимъ какъ надорванная струна голосомъ того самаго, кого она за минуту предъ этимъ назвала „Божьею душой“. Божья душа съ хохотомъ ввалился въ бесѣдку, зацѣпивъ за дверь такъ, что стекла въ ней зазвенѣли.

— Чего вы ховаетесь? съ хохотомъ напустился онъ на двухъ дамъ.—Я васъ по всему дому ищу, съ жару какъ крыса употѣлъ, — а онѣ, о, во храмъ отдохновенія позапрятались! Бѣгалъ ажъ до села, думалъ, сидитъ Гольдманъ съ большаго жару дома, да люльку палитъ себѣ, а тамъ его нема,—я назадъ, а Богунъ ко мнѣ бѣжитъ: маіоръ, каже, въ манежу, жеребцовъ нашихъ на кордѣ гоняетъ. Я туда, а конюхъ говоритъ: былъ, да до дому пишелъ. А нехай его бисъ! Я опять туда,—а онъ самъ, долговязый, оттуда. Ну я его, какъ сказалъ вамъ, Любовь Петровна, въ тотъ мигъ за чупрыну: говори, говори, выложь правду, какъ галушку на столъ!

И онъ закатился новымъ, заразительнымъ смѣхомъ, отъ котораго я самъ едва могъ удержаться,—такъ забавно мнѣ представилось вдругъ это невообразимое зрѣлище маленькаго, кругленькаго Ѳомы Богдановича, ловящаго „за чупрыну“ безконечно длиннаго, мрачнаго и притомъ же лысаго какъ колѣно командора.

— И онъ вамъ выложилъ всю правду? смѣясь спросила Любовь Петровна.

— А такая его правда, что самъ онъ ничего не знаетъ.

И Борисъ тотъ востроносый слышалъ,—звонятъ, да не знаетъ, чи къ утренней, чи къ вечерней. А и гдѣ онъ самъ?

— Кто? спросила Анна Васильевна.

— Да Борисъ тотъ, — его французъ по всѣмъ куткамъ дома ищетъ. Не бывалъ онъ здѣсь? спросилъ Ѳома Богдановичъ и забѣгалъ по комнатѣ.

— Онъ меня сейчасъ откроетъ! съ ужасомъ сказалъ я себѣ и даже закрылъ глаза отъ страха. Къ счастію выручила Любовь Петровна.

— Не былъ, дядюшка, успокойтесь, отвѣчала она ему.— Такъ что же говорилъ вамъ господинъ этотъ, маіоръ, который у васъ лошадей на кордѣ гоняетъ?

— А говорилъ, что приходилъ къ нему раненько утромъ баронъ и сказалъ ему, что треба ему до К. ѣхать,—ну, какъ самъ онъ ко мнѣ пишетъ, о! — что приказа тамъ ихняго по полку, — это насчетъ того, чтобъ ему на мѣсто Гольдмана эскадрономъ нашимъ командовать,—что приказъ тотъ, говорю, не вышелъ, такъ онъ будетъ полковника просить,—чтобы другаго кого-съ назначили, а онъ ни за-что не можетъ эскадроннымъ быть, — о! Долговязый сердился на него за то, потому, говоритъ, опять дѣло потянется, пока полковникъ другаго назначитъ, а онъ, маіоръ напъ, скоро самъ захочетъ до себя ѣхать, пока осень не пришла, потому тамъ у нихъ хуже еще, чѣмъ у насъ, грязь невылазная. Только баронъ его не послухалъ и уѣхалъ.

— И все? спросила его племянница.

— А кажу-жь вамъ, съ досадой отвѣчалъ Ѳома Богдановичъ,—не знаетъ тотъ кикимора больше нашего.

— Бѣдный дядюшка! засмѣялась Любовь Петровна,—и вы изъ-за этого путешествовали по такому солнцу?

— Солнце меня любитъ: на сало не стопитъ, захохоталъ онъ опять.

— Труда не стоило. Уѣхалъ человѣкъ, — Богъ съ нимъ, нечего болѣе о немъ думать! рѣшительнымъ, почти строгимъ голосомъ промолвила Любовь Петровна.

— А правда твоя, правда! радостно-одобрительно воскликнула на это Анна Васильевна.

— Правда, правда, передразнилъ Ѳома Богдановичъ. — А ты, о, лучше правду скажи, скоро-ли обѣдъ? Заговорилъ о салѣ, о,—iисты захотѣлось.

— А скоро, думаю, отвѣчала она.—Гостей много у насъ сегодня?

— А какіе гости! отгрызся Ѳома Богдановичъ, — поразъѣхались всѣ. Дарья Павловна тутъ; ну, офицеровъ будетъ два, а то три; Золоторенко старый, — добрый сосѣдъ, спасибо, — пятый день живетъ; Пушковскій тутъ съ Мокшицкимъ, да исправничиха сейчасъ прикатила и съ собой изъ артиллеріи кого-сь привезла, — въ первый еще разъ у насъ. Артиллерія отъ насъ далеко стоитъ, пояснилъ онъ,—такъ мало ихъ сюда ѣздитъ, а офицерія тамъ, говорятъ, все ученые. Вы, можетъ, такихъ любите, Любовь Петровна?

— До страсти, пресерьезно отвѣчала она на это.

— А что давно не сказали! Къ Успенію всю батарею вамъ сюда выпишу! Ну, ходимъ обѣдать!

— Вы вѣчно такъ бѣгаете, дядюшка, послышался голосъ уходившей красавицы,—что я не въ состояніи догнать васъ; не ждите меня, я дойду одна потихоньку...

Я далъ имъ удалиться, и вслѣдъ затѣмъ, выбравшись изъ своей засады, юркнулъ въ боковую аллею, гдѣ не рисковалъ съ ними встрѣтиться.

Я шелъ, взволнованный, смущенный всѣмъ тѣмъ, что мнѣ такъ нечаянно довелось услышать, какъ вдругъ на поворотѣ аллеи чуть не наткнулся на Любовь Петровну. Я тотчасъ же шмыгнулъ въ сторону: мнѣ представилось, что она остановитъ меня, станетъ спрашивать, откуда я иду и гдѣ пропадалъ до сихъ поръ. Но она меня и не замѣтила. Она шла тихими, тихими шагами, держа низко надъ головой маленькій зонтикъ, отъ котораго тѣнь падала ей на лицо до самаго подбородка. Глаза ея были опущены, и въ медленной ея походкѣ сказывалась глубокая, почти болѣзненная усталость. Я жадно глядѣлъ ей вслѣдъ и говорилъ себѣ: я знаю, отчего ты такъ блѣдна и печальна, о комъ ты думаешь теперь... Но его нѣтъ, ты сама не хотѣла... онъ не „*притулитъ*“ тебя къ груди своей, не будетъ цѣловать эти темные, синіе глаза и эти бѣлыя, пол-

ныя плечи твои, что такъ чудно сквозятъ сквозь твое кисейное платье. О, есть другой, и этотъ другой — за одинъ твой *нѣжный* взглядъ готовъ бы былъ отдать всю свою молодую жизнь...

Она прошла, не догадываясь, какъ „безумно любилъ я ее“ въ эту минуту. Я вздохнулъ глубоко и пошелъ за ней, стараясь попадать ногой въ едва замѣтные слѣды, оставляемые узенькими ея подошвами на пескѣ дорожки; все же пріятно, думалъ я, чтобы нога моя ступала именно на тѣ *мѣстечки*, по которымъ проходила ея маленькая ножка.

Она уже всходила на террасу.

Тамъ на скамьѣ, подъ липой, съ газетой въ рукѣ, сидѣлъ одинокій Булкенфрессъ и какъ будто поджидалъ ее: расшаркиваясь и низко кланяясь, онъ подбѣжалъ къ ней, едва только ее завидѣлъ. Она остановилась, съ удивленіемъ, показалось мнѣ, повернувъ голову къ музыканту. Онъ торопливо замахалъ руками, заговорилъ. Разстояніе, на которомъ я находился отъ нихъ, не дозволяло мнѣ слышать ни одного слова; но я могъ видѣть, какъ Булкенфрессъ сѣменилъ и извивался ужомъ, стоя предъ красавицей, какъ передергивалъ онъ плечами и вскидывалъ на нее глазами поверхъ спадавшихъ съ его носа очковъ; какъ старался онъ въ чемъ-то, повидимому, убѣдить ее, какъ наконецъ что-то, чего я различить не могъ, какъ будто перешло изъ его руки въ ея руку. Я прибавилъ шагу; забѣжавъ за деревья, я уже близко подходилъ къ нимъ. Но вотъ Любовь Петровна кивнула слегка музыканту, еще ниже опустила свой зонтикъ и быстрою, вдругъ перемѣнившеюся походкой повернула вправо, по направленію своего павильона.

Я вышелъ въ свою очередь на террассу.

Музыкантъ глядѣлъ въ слѣдъ красавицѣ и улыбался, моргая своими лукавыми и подслѣповатыми глазками.

Онъ обернулся на шумъ моихъ шаговъ.

— Вы откуда? спросилъ онъ, окидывая меня подозрительнымъ взглядомъ.

— Какъ видите, изъ сада.

— И давно приходили сюда?

— Давно, отвѣчалъ я, смотря на него во всѣ глаза.

Музыкантъ видимо смутился.

— Да гдѣ ви былъ? Я сейшасъ имѣлъ честь разговаривайть съ madame von-Lubianski....

— Да, я видѣлъ.

— Что ви видѣлъ? тревожно воскликнулъ онъ.

— Что вы разговаривали съ madame von-Lubianski.

Онъ глянулъ на меня поверхъ очковъ, точно козелъ, готовящійся бодаться, и вдругъ захохоталъ.

— О, я вижу, сказалъ онъ, — што ви... какъ это сказывайть по-русски?... да! што ви большой *балагуръ*, молодой шловѣкъ!

— Не знаю, кто *балагуръ*, только не я! воскликнулъ я, обидясь.

— О, о, сейшасъ и фейерверкъ, пуфъ, пуфъ! Quelle cheunesse (jeunesse) imbetueuse! (impétueuse), продолжалъ онъ смѣяться.

— Никакого тутъ фейерверка нѣтъ, а только я удивляюсь, Herr Bogenfrisch, съ чего вы вздумали называть меня балагуромъ, когда я вамъ ничего *балагурнаго* не говорилъ, старался промолвить я это съ наибольшимъ хладнокровіемъ и достоинствомъ.

Онъ подбѣжалъ ко мнѣ, схватилъ меня за руку и, потрясая ее:

— Ви нишего не сказалъ, молодой шловѣкъ, проговорилъ онъ комическимъ шопотомъ, — только зачѣмъ ви какъ Deus ex machina, какъ изъ люкъ въ театръ, вдругъ псш... и вискочилъ сейчасъ за Frau von Lubianski?

— А мнѣ хотѣлось знать, отвѣчалъ я такимъ же шопотомъ, — для чего вы ждали здѣсь Frau von Lubianski, Herr Bogenfrisch.

Я и не воображалъ, что мой отвѣтъ такъ озадачитъ его: онъ, въ первую минуту, остался безъ словъ и только глядѣлъ на меня, вздергивая очки на носъ.

— И ви што узналъ? нерѣшительно спросилъ онъ наконецъ.

— Не скажу! засмѣялся я и побѣжалъ къ дому.

Онъ кинулся за мной.

— Mon cher monsieur Boris, bitte sehr, пошалуста!

Но я его не слушалъ и побѣжалъ еще шибче.

Для меня теперь было ясно: Булкенфрессъ передалъ Любови Петровнѣ письмо отъ барона Фельзена...

XXII.

— Что у васъ было съ музыкантомъ вчера? допрашивалъ меня на другой день за утреннимъ чаемъ Керети, — онъ на васъ жалуется.

— Жалуется,—на что? спросилъ я съ удивленіемъ.

Я тотчасъ же замѣтилъ, что гувернеръ мой былъ затрудненъ выразить мнѣ, въ чемъ именно состояла эта жалоба на меня Булкенфресса.

— Mais il vous soupçonne il parait, проговорилъ онъ нерѣшительно, — d'avoir surpris un entretien intime qu'il aurait eu avec cette belle dame... la mère de votre ami enfin...

Я вспыхнулъ и отвѣчалъ, что я никакого entretien intime Булкенфресса avec la mère de mon ami не слыхалъ, и что Булкенфрессъ дуракъ.

Керети нахмурилъ брови.

— Какъ же вы именно очутились тутъ въ то время, когда онъ разговаривалъ съ этою дамой?

— Очень просто, началъ я...

Но оказалось, что объяснить это вовсе не было для меня такъ просто. Вѣдь въ сущности я очутился тутъ потому, что шелъ за Любовью Петровной и даже старался попадать ногой въ ея слѣды; я ничего не слыхалъ, это правда, но я не могъ не сказать самому себѣ, что я далеко не прочь былъ услышать этотъ entretien intime музуканта avec la belle dame, и даже весьма заботился объ этомъ, напротивъ...

— Je n'ai rien entendu je vous le jure, повторилъ я,

избѣгая такимъ образомъ прямаго отвѣта на затруднительный вопросъ.

Онъ слѣдилъ пристально за моимъ выраженіемъ, очевидно стараясь отгадать то, что, въ его предположеніи, я непремѣнно долженъ былъ скрывать отъ него. Но онъ не былъ способенъ долго мучить меня допросами.

— Votre parole me suffit et je ne vous en demanderai pas davantage, довѣрчиво промолвилъ онъ.—Надѣюсь, сказалъ онъ, — что вы отъ музыканта не будете требовать никакихъ объясненій и не подадите ему даже виду, что слышали что-либо отъ меня обо всемъ этомъ вздорѣ.

— Я съ нимъ и не говорю никогда, объяснилъ я, — это онъ...

— Très-bien, très-bien... Ses appréhensions sont ridicules, je le sais. Онъ усмѣхнулся, потомъ задумался. — Je crains bien, примолвилъ онъ уже серьезно, — que cet animal là ne fourre son nez dans un guêpier dont il ne se tirera pas sauf...

Мы принялись за латинскій урокъ, который на этотъ разъ прошелъ въ полномъ мирѣ и согласіи. Отпуская меня завтракать къ Лубянскимъ, Керети обратился вдругъ ко мнѣ съ слѣдующимъ наставленіемъ:

— Mon cher Boris, il se passe ici je ne sais quel micmac, auquel il serait plus que fâcheux de vous voir mêlé. Vous me comprenez, n'est ce pas? Онъ взялъ меня за руку и значительно поглядѣлъ мнѣ въ глаза. Могъ-ли я сказать, что не понимаю его? Я молча опустилъ голову.

— Soyez donc prudent et songez à votre mère... Vous voilà prévenu! торжественно примолвилъ Керети, освобождая, къ большому моему удовольствію, руку мою изъ своей непріятно влажной руки.

„Какой мерзавецъ этотъ Булкенфрессъ", думалъ я, уходя изъ нашей комнаты. „Онъ навѣрное сказалъ m-r Керети о письмѣ Фельзена къ *ней*. Какъ объяснить иначе эти наставительныя слова моего гувернера и всѣ эти намеки его на „guèpier" и „mic-mac!"...

Въ корридорѣ я встрѣтился съ Анной Васильевной. Она

шла легкимъ и быстрымъ шагомъ, словно семнадцати-лѣтняя дѣвушка, и казалась особенно весела. Я подошелъ къ ней со здорованьемъ; она поцѣловала меня и, обнявъ за шею, повела съ собою.

— Вотъ я съ какимъ кавалеромъ, бачите? засмѣялась она, входя со мной въ комнату Герасима Ивановича.

— Браво, тетушка, отвѣчалъ ей такъ же весело голосъ Любови Петровны. Она сидѣла тутъ, за столомъ, между мужемъ и сыномъ. А гости ваши что же?

— Ничего, сидятъ, перецеловъ ѣдятъ, продолжала смѣяться Анна Васильевна. — Я Галечку хозяйкой за себя сдѣлала, и будетъ она теперь навсегда хозяйка,—и Ѳома мой на то согласенъ, потому, самъ видитъ, стара я стала, не смогу больше,—а сама я и утекла!...

Маленькое, поблекшее лицо ея такъ и ежилось отъ свѣтлой, какъ у ребенка, улыбки.

— Съ на-ми те-туш... проговорилъ больной, оживленными глазами указывая на завтракъ.

— А буду, буду! Она сѣла за столъ, усадила меня подлѣ себя и принялась за котлеты.

— Bonjour, jeune homme, сказала мнѣ черезъ столъ Любовь Петровна, въ отвѣтъ на мой поклонъ.—Отыскались вы?

Всѣ обернулись на меня. Но я чувствовалъ себя почему-то необыкновенно храбрымъ въ эту минуту.

— Я и не пропадалъ, отвѣчалъ я, смѣло глядя ей въ лицо.

— А то вчера тебя искали, пояснила Анна Васильевна.— Французъ твой говорилъ мнѣ, ты съ большаго жару подъ кустикомъ гдѣ-то спать легъ?

— Грѣшенъ, сказалъ я съ комическою интонаціей, которая вызвала общій смѣхъ. Любовь Петровна, прищурившись, взглянула на меня, потомъ на сына.

— Вы, кажется, совершенно однихъ лѣтъ съ нимъ?

— Я его старше, отвѣтилъ за меня Вася.

— И умнѣе, промолвилъ я,

— Oh, oh, quelle modestie! улыбнулась красавица.—Изъ чего же вы это заключаете?

— Мамаша, не далъ мнѣ открыть рта Вася, — вѣдь онъ меня сейчасъ начнетъ хвалить, потому что онъ необыкновенно добрый человѣкъ, и мнѣ, чтобы не краснѣть, придется убѣжать въ свою комнату. А я еще не доѣлъ котлетки,—пощадите, мамаша!

Нельзя узнать было Васю; точно и у него, какъ у Анны Васильевны, спала съ плечъ какая-то тяжелая ноша...

— И напрасно бы хвалилъ, сказала Любовь Петровна и ласковымъ, почти молящимъ взглядомъ обернулась на сына,— онъ навѣрно любитъ свою мать болѣе, чѣмъ ты меня любишь...

Вася поднялъ на нее свои большіе глаза,—на нихъ вдругъ набѣжали слезы. Герасимъ Ивановичъ тяжело дышалъ и съ посинѣвшими отъ напряженнаго вниманія жилами на лицѣ перебѣгалъ взглядомъ отъ жены къ сыну.

— А съ чего ты это, Любочка, взяла, что не любитъ тебя сынъ твой? вмѣшалась Анна Васильевна, съ тревогой и упрекомъ въ задрожавшемъ голосѣ.

— А изъ того, тетушка, что онъ слишкомъ серьезенъ, что ему никогда не вздумается, какъ всѣмъ дѣтямъ, приласкаться къ своей матери, обнять ее...

Она не успѣла договорить, какъ уже Вася повисъ на ея шеѣ, цѣлуя ее безконечными, судорожными поцѣлуями...

Герасимъ Ивановичъ опрокинулся на спинку кресла и зарыдалъ. Анна Васильевна подбѣжала къ нему со стаканомъ воды въ рукахъ.

— Это они отъ радости, не извольте сумлѣваться, успокоивалъ ее Савелій, засуетившійся вокругъ барина. Онъ сунулъ руку въ карманъ кресла, вытащилъ оттуда флаконъ и далъ ему понюхать.

— Allons, allons, pas trops d'émotion, mon ami, говорила Любовь Петровна, слегка постукивая рукой по блѣднымъ рукамъ мужа.

Онъ приподнялъ голову,—его глаза сіяли...

— Ахъ, мнѣ такъ хо-ро-шо, Лю... Лю-боч-ка, явственно проговорилъ онъ.

— Ну, и слава Богу, и дай Богъ! молвила она въ отвѣтъ.

И не лгалъ ея языкъ, не „лицемѣрили“ ея глаза: она была дѣйствительно тронута въ эту минуту, какъ Анна Васильевна, какъ Вася, какъ всѣ мы...

На всѣхъ на насъ нашло такое настроеніе, будто совершилось что-то необыкновенно и неожиданно радостное. Анна Васильевна, ни съ того ни съ сего, принялась передразнивать, какъ исправничиха представляла Дарьѣ Павловнѣ привезеннаго ею артиллерійскаго офицера, какого-то своего племянника, и говорила ей, что онъ „хоть ученый, только лоску не имѣетъ, такъ она хочетъ его *шпитче* выдрессировать черезъ дамское общество.“—И стоитъ онъ себѣ, бѣдный, несграбный такой, уши у него длинненькія, а носикъ къ верху торчитъ, какъ у щеночка лягавенькаго,—того и жду я, что она ему по носку швыркъ, да и гаркнетъ на него: „апортъ, Трезоръ!“ И такъ забавно представляла исправничиху и ея племянника Анна Васильевна, и такъ была сообщительна эта ей необычная веселость, что всѣ мы, начиная съ больнаго, принялись хохотать до упаду.

— Apporte, Tresor! крикнула Любовь Петровна и, сдернувъ съ руки перчатку, кинула ее черезъ столъ сыну. Я сидѣлъ рядомъ съ нимъ, и перчатка упала на мою тарелку. Я схватилъ ее зубами и—откуда прыть у меня взялась!—поскакалъ кругомъ стола, между тѣмъ какъ Вася, вскочивъ съ мѣста, бѣжалъ за мной, крича: „отдай, я Трезоръ, я, а ты только Амишка!“ Но я не отдавалъ и, добѣжавъ до его матери, склонилъ колѣно и протянулъ къ ней голову съ перчаткой въ рукахъ. Она взяла и слегка ударила ею по щекѣ Васи:—Вотъ тебѣ! сказала она,—а вотъ вамъ! и протянула мнѣ руку. Я жадно прильнулъ къ ней губами. Вася схватилъ ея другую руку и принялся цѣловать каждый пальчикъ отдѣльно.

— Я тебя на дуэль вызываю, Борисъ!

— И онъ тебя непремѣнно убьетъ, смѣялась Любовь Петровна, car il est plus adroit que vous, monsieur mon fils.

— Еще бы! онъ уже трехъ воронъ на своемъ вѣку убилъ.

— А ты будешь четвертая!

Она посмотрѣла на меня и улыбнулась, и ничего не было насмѣшливаго или вызывающаго въ этой улыбкѣ, ничего того,

что прежде такъ смущало меня, когда случалось мнѣ встрѣчаться съ нею. Она была для меня даже не красавица въ эту минуту. Она просто, какъ maman сдѣлала бы на ея мѣстѣ, смѣется и шутитъ съ Васей и со мной, думалъ я. И я такъ же довѣрчиво и *невинно*, какъ еслибы тутъ была не она, а maman, глядѣлъ ей въ глаза и чувствовалъ, что внутри и кругомъ меня все такъ легко, такъ свободно отъ всякой тяжелой мысли и заботы, какъ будто всѣ мы были птицы, присѣвшія на мгновеніе кругомъ этого стола, а вотъ-вотъ вспорхнемъ всѣ и полетимъ въ открытое окно...

— А спросите его, maman, говорилъ Вася,—изъ-за чего они ссорятся съ своимъ гувернеромъ!

Я долженъ былъ разсказать, — и постарался передать это какъ можно смѣшнѣе,—нашу размолвку съ Керети изъ-за bellum и gesta и какъ скучны для меня особенно thêmes de versification, которыми по два раза въ недѣлю онъ *угощаетъ* меня.

— Вотъ видите, какъ вкусы разны, сказала на это Любовь Петровна,—а я была бы очень рада, еслибъ этимъ угощали моего сына. Son français est loin d'être irréprochable.

— За то онъ отлично по-нѣмецки знаетъ, отвѣчалъ я,— а я очень плохо.

— Если хотите, maman, предложилъ Вася,—и если позволитъ тетушка...

— Все заранѣе позволяю! воскликнула Анна Васильевна.

— Такъ я могу вмѣстѣ съ кузиной Галечкой брать французскіе уроки у m-r Керети. А мы съ тобой по-нѣмецки займемся, Боря, промолвилъ Вася.

Герасимъ Ивановичъ закивалъ одобрительно головой.

— Умница Вася! весело воскликнула Любовь Петровна, поймала его за шею и поцѣловала.—А вы будете-ли довольны имѣть такого учителя? спросила меня она.—Вѣдь онъ у насъ престрогій?

— Но справедливый, такъ же шутливо отпарировалъ Вася.

— Да, да, подтвердилъ улыбающимися глазами отецъ его.

Бѣдный человѣкъ, какъ безконечно былъ онъ счастливъ въ это утро!...

XXIII.

Хорошіе дни настали для насъ съ Васей въ Богдановскомъ. Мы не разставались съ нимъ. Утромъ, послѣ двухчасоваго урока съ Керети, я заходилъ къ Лубянскимъ, и мы всѣ вмѣстѣ отправлялись къ Любови Петровнѣ въ павильонъ. Она пожаловалась какъ-то однажды на усталость и просила насъ притти завтракать къ ней. Съ тѣхъ поръ въ павильонѣ стало часто повторяться это завтраканье тѣснымъ и веселымъ кружкомъ, среди котораго Анна Васильевна представлялась чуть не самымъ оживленнымъ лицомъ. Милая женщина была, видимо, такъ счастлива сближенію ея „Любочки“ съ мужемъ и сыномъ, она была такъ рада, съ другой стороны, тому, что ея „старый“ отрѣшилъ ее отъ хозяйскихъ обязанностей, ей такъ нравилось это семейное житье, не стѣсняемое никѣмъ постороннимъ, и наши съ Васей молодыя, счастливыя лица, и звонкіе голоса, отвѣчавшіе неумолкаемымъ смѣхомъ на ея комическіе разсказы и шутки,—что она, по собственному ея выраженію, плескалась среди насъ, какъ красноперая рыбка въ водѣ прозрачной... Герасимъ Ивановичъ поправлялся съ каждымъ днемъ; онъ тверже выговаривалъ слова и уже былъ въ состояніи составлять цѣлыя фразы; дольше удерживалъ онъ въ своихъ рукахъ руку красавицы-жены, и страстная улыбка, съ которой онъ глядѣлъ на нее, уже не кривила его губъ, а придавала что-то трогательно-задумчивое его чертамъ, и глаза красавицы уже останавливались на немъ безъ прежняго страха, безъ прежняго отвращенія...

Какъ она перемѣнилась за это время, какъ непохожа стала

сама на себя! Не знаю, что происходило въ ея душѣ, что шевелилось тамъ, въ самой глубинѣ ея, но словно какимъ-то волшебнымъ опахаломъ свѣяло съ ея наружности все то, что прежде и манило, и смущало меня въ ней. Небрежнѣе вились ея свѣтлые локоны подъ небрежно повязанною подъ тонкимъ подбородкомъ черною кружевною косынкой, которую она теперь почти не снимала съ головы; синіе глаза уже не подымались, какъ бывало, вдругъ, мгновенно загораясь и искрясь то привѣтомъ, то насмѣшкой,—они словно потухли подъ бархатными своими рѣсницами, и равно мягко, равно невозмутимо останавливались они на Васѣ, на мужѣ, на мнѣ. Лѣнивѣе, усталѣе двигалась она, и длинныя блѣдныя ея руки стали, казалось мнѣ, еще длиннѣе и блѣднѣй. Она перестала быть „женщиной“ для меня: я говорилъ съ нею, какъ съ Анной Васильевной, какъ съ maman. Она смѣялась и шутила, какъ всѣ мы,—только и смѣхъ ея, и шутки были такъ же тихи, какъ ея глаза, и не чувствовалось при этомъ, что все смѣется внутри ея, какъ это бывало съ Анной Васильевной, когда она принималась „жартовать“ надъ исправничихой и ея племянникомъ.—„Надо же и мнѣ быть какъ всѣ“, говорила, казалось, несообщительная улыбка Любови Петровны...

Послѣ завтрака она обыкновенно усаживалась въ длинное кресло, скрестивъ руки на груди, закинувъ голову и полузакрывъ глаза. Она называла это „regarder en dedans“ и просила насъ съ Васей какъ-можно болѣе шумѣть и веселиться въ это время,—а не то, говорила она „je finirai par n'y plus rien voir“. Кончалось тѣмъ, что она засыпала, или притворялась, что спитъ. Герасимъ Ивановичъ, помѣщавшійся въ своемъ подвижномъ креслѣ противъ нея, не сводилъ съ нея глазъ, пока въ дверяхъ не показывался Савелій и не увозилъ его въ садъ, гдѣ, по приказанію доктора, онъ долженъ былъ часа два оставаться на солнцѣ, и куда сопровождала его обыкновенно Анна Васильевна...

Какъ я любилъ эту минуту дня, въ этомъ уютномъ павильонѣ Любови Петровны, облитомъ розовымъ свѣтомъ опущенныхъ сторъ, сквозь которыя, ложась измѣнчивою тѣнью на негустой ихъ ткани, пробивались очертанія ползучихъ растеній наруж-

ной сквозной галереи! Какъ привлекателенъ былъ этотъ розовый сумракъ и эти легкія тѣни и оригинальное убранство комнатъ; какъ хороша была эта рамка вокругъ неподвижно покоившейся, блѣдной и прекрасной матери Васи! На чердакахъ и въ старыхъ кладовыхъ Богдановскаго Любовь Петровна, еще во время своего перваго пребыванія у Галагаевъ, отрыла цѣлый магазинъ всякаго стараго добра, de vrais trésors, говорила она; все это теперь Ѳома Богдановичъ велѣлъ переклеить и перечистить и принести къ ней въ павильонъ. Брюхатые комоды и столы съ вычурными мѣдными скобками и бляхами, покрытые грудами саксонскаго фарфора, дубовые рѣзные шкафы, черные отъ лѣтъ, японскія вазы, изъ которыхъ подымались цѣлые кусты розъ и азалій, огромная клѣтка изъ золоченой проволоки, по жердочкамъ которой прыгали безъ пѣсни желтобокія канарейки, а надъ нею такой же огромный осьмиугольный китайскій фонарь, съ шелковыми кистями и повязками,— все это размѣщено, нагромождено было здѣсь въ такомъ стройномъ, красивомъ безпорядкѣ, такъ ласкало взглядъ округлостью формъ, изяществомъ рисунка, отсутствіемъ всякой рѣзкой линіи и яркаго колера: по царицѣ и хата царская, говорилъ справедливо Ѳома Богдановичъ. Я каждый разъ входилъ въ эти комнаты съ какимъ-то благоговѣніемъ, послѣ того какъ узналъ отъ Любови Петровны, что одному изъ ея bahuts болѣе трехсотъ лѣтъ отъ роду, и что мастеръ, его дѣлавшій, положилъ двадцать пять лѣтъ жизни на его отдѣлку. Любовь Петровна была большой знатокъ въ художествахъ и страстно любила „l'art dans ses grandes oeuvres et dans ses délicieux caprices“, какъ выражалась она. Иногда она подробно толковала намъ съ Васей о красотѣ и рѣдкости какой-нибудь старинной гравюры, затѣйливаго блюда временъ Бернара де-Паллиси или вычурнаго dressoir'a, когда-то украшавшаго трапезную кармелитскаго монастыря, разграбленнаго „par la bande noire“, во времена первой французской революціи. „Надо съ молодыхъ лѣтъ пріучаться любить и понимать прекрасное“, говорила она намъ...

И мы подолгу засиживались съ Васей въ этомъ изящномъ жилищѣ его матери, разглядывая ея великолѣпные альбомы,

подъ рисунками которыхъ читались имена знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, ея коллекціи старинныхъ эстамповъ, пріучаясь мало-по-малу цѣнить ихъ, сначала недоступныя непосвященному глазу, красоты и подъ конецъ приходить отъ нихъ въ восторгъ. Любовь Петровна тихой, одобрительною улыбкой отвѣчала всегда на порывы нашего восхищенія. Она удерживала насъ охотно у себя послѣ завтрака,—ей видимо было съ нами веселѣе, занимательнѣе, чѣмъ въ обществѣ мужа и даже Анны Васильевны, которая въ послѣднее время стала какъ будто утомлять ее. По уходѣ ихъ она почти тотчасъ же просыпалась и, не покидая своего глубокаго кресла, подзывала насъ къ себѣ. Мы усаживались подлѣ нея, разложивъ на столѣ папки съ гравюрами, и съ хохотомъ или съ блестящими отъ удовольствія глазами передавали ей то какой-либо изъ наиболѣе нравившихся намъ гротесковъ Калло, то баталію Ванъ-деръ-Мейлена, то Рафаэлевское Святое семейство, гравированное Эделинкомъ. Начинались толки, разсказы, споры. „А вотъ посмотримъ, что объ этомъ пишетъ Вазари“, говаривала Любовь Петровна, и я тотчасъ же кидался къ прелестному, чернаго дерева шкафу, съ дверцами, изукрашенными флорентинскою мозаикой, въ которомъ хранились ея книги, и приносилъ французскій переводъ этого знаменитаго біографа великихъ живописцевъ „cinquo cento“. Она открывала хорошо знакомую ей книгу, выбирала страницу и давала читать намъ поочередно,—причемъ на долю Васи приходилось всегда болѣе чтенія, чѣмъ мнѣ, потому что она постоянно поправляла его не совсѣмъ чистый французскій выговоръ... А сколько при этомъ сообщала она намъ замѣчательныхъ подробностей о первой, до замужества, молодости своей, проведенной ею съ родителями въ Италіи, о художественныхъ чудесахъ Рима, о Кановѣ, дружески знакомомъ съ ея покойнымъ отцомъ и дорогое вспоминаніе котораго хранилось у нея въ видѣ изваяннаго изъ мрамора медальона, на которомъ изображена она была сама въ дѣтствѣ—амуромъ съ бабочкой на рукѣ...

Мы уходили изъ павильона лишь съ приходомъ туда Ѳомы Богдановича, который являлся каждый день, часу во второмъ,

къ племянницѣ, и при которомъ не было уже мѣста никакому разговору или чтенію. Онъ обыкновенно входилъ крадучись—и тотчасъ же кидался на насъ; мы вскакивали и, вырвавшись изъ его рукъ, опрометью бѣжали въ садъ,—а онъ за нами,—но, несмотря на прыткость своихъ коротенькихъ ножекъ, догнать насъ, разумѣется, не былъ въ состояніи и возвращался къ Любови Петровнѣ, съ хохотомъ угрожая намъ на прощанье послать хлопцевъ изловить насъ и запереть въ ледникъ. Мы исчезали съ Васей въ глубинѣ аллей или уходили на село... Вася располагалъ теперь свободнѣе своимъ временемъ, чѣмъ прежде: Анна Васильевна все утро замѣняла его у отца, да и самъ Герасимъ Ивановичъ чувствовалъ себя видимо такъ хорошо, что не требовалъ постояннаго подлѣ себя присутствія сына; онъ самъ часто отсылалъ его, когда Вася иной разъ слишкомъ долго засиживался въ его комнатѣ. Мы пользовались этими свободными часами для продолжительныхъ прогулокъ. Къ намъ присоединялся обыкновенно Лева съ неотлучною при немъ Сильвой, и мы уходили иногда за нѣсколько верстъ отъ Богдановскаго, въ лѣсъ или на другую оконечность озера—удить рыбу. Лишь издали доносившійся до насъ звонъ колокола напоминалъ намъ объ обѣдѣ, и мы кидались тогда бѣжать взапуски домой. Послѣ обѣда, когда начинала спадать жара, мы расходились по урокамъ. Вася отправлялся къ Галечкѣ заниматься съ Керети французскимъ языкомъ; я усаживался въ своей комнатѣ за Корнелія Непота или за рѣшеніе математической задачи, которое доставалось мнѣ всегда очень туго, благодаря нетерпѣливому нраву моего гувернера, при которомъ природная моя неспособность къ цифрамъ обращалась въ окончательную тупость...

Но лучшее для насъ время начиналось вечеромъ, когда Герасимъ Ивановичъ засыпалъ въ своемъ креслѣ, и мы, никѣмъ не тревожимые, усаживались съ Васей въ его уютной комнаткѣ, у открытаго окна, и подъ зеленымъ абажуромъ маленькой лампы принимались за чтеніе „нашего друга“. Подъ этимъ именемъ разумѣлся у насъ Шиллеръ. Вася еще въ Германіи перечелъ его всего съ своимъ теологомъ и теперь знакомилъ меня съ нимъ... Боже мой, и понынѣ, когда все темнѣе и

темнѣе наступаютъ для меня сумерки жизни и вѣетъ отъ нихъ леденящимъ, всепроникающимъ холодомъ, и понынѣ, какъ въ тѣ незабвенные вечера, бьется горячо мое сердце, вспоминая эти первыя, эти лучшія впечатлѣнія моей молодости! „Безгрѣшныя“ уста Васи звали меня за собою въ волшебный, невѣдомый мнѣ до этой поры міръ, гдѣ все кругомъ обнимало меня прелестью, любовью, очарованіемъ,—и я шелъ за нимъ, переходя отъ восторга къ восторгу. *Богъ*, *человѣчество*, *свобода*, „die Worte des Glaubens“,—какъ захватывали всю мою молодую душу эти слова, какъ говорила мнѣ объ этихъ святыхъ вѣрованіяхъ каждая страница поэта! А Вася,—онъ весь былъ проникнутъ ими: Шиллеръ былъ для него какимъ-то божествомъ...

— Ахъ, Вася, говорилъ я ему однажды,—мы только-что прочли die Bürgschaft,—я чувствую, что съ тѣхъ поръ, какъ мы читаемъ это съ тобою, я совсѣмъ другимъ сталъ. Я ничего не понималъ до этихъ поръ, я былъ мальчишка, а теперь я человѣкомъ, *хорошимъ* человѣкомъ чувствую себя, Вася. Какъ счастливо жить, какъ мы теперь живемъ съ тобою здѣсь; всю жизнь хотѣлъ бы я такъ прожить. Скажи самъ, приставалъ я къ нему,—развѣ здѣсь намъ не хорошо?

Онъ улыбнулся.

— Очень хорошо—покамѣстъ... проговорилъ онъ.

— И всѣ счастливы, продолжалъ я восхищаться,—живемъ мы всѣ такъ вмѣстѣ, такъ дружно, и Анна Васильевна, и Герасимъ Ивановичъ, и твоя мать.

— Моя мать... повторилъ онъ.

Онъ оперся головой на обѣ руки и долго въ этомъ положеніи глядѣлъ на меня.

— Она ужасно скучаетъ, Борисъ! рѣшился онъ договорить наконецъ.

— Съ чего же ей скучать? началъ было я, но пріостановился: мнѣ вдругъ вспомнилось множество маленькихъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слѣдовало безспорно заключить, что Любови Петровнѣ было скучно.—Она однако такъ любезна къ тебѣ, вспомнилъ я ему, такъ ласкаетъ тебя...

— Да, ей самой... она сама желала бы... но она не можетъ, тихо вздохнулъ онъ на недосказанную свою мысль.

Я понялъ его, но спросилъ безсознательно:

— Чего не можетъ она, Вася?

Онъ опять долгимъ взглядомъ взглянулъ на меня и, слегка приподнимая лежавшаго предъ нимъ Шиллера:

— *Любить* какъ вотъ здѣсь, отвѣчалъ онъ,—всѣмъ существомъ, всею душой... О, еслибъ она могла, примолвилъ онъ, снова опустивъ голову,—вотъ это было бы счастіе, небесное счастіе для меня, Боря!

„Кого она могла бы такъ любить, его, къ счастію твоему, нѣтъ здѣсь, бѣдный мой Вася", подумалъ я. „Любить прямо, открыто, не стыдясь, презирая всякіе людскіе толки", точно звуча надъ самымъ моимъ ухомъ, вспомнились мнѣ эти слова его матери тогда, „въ храмѣ отдохновенія", и тихій голосъ Анны Васильевны, отвѣчавшій ей на это: „надо смириться, Любочка..."

А гдѣ онъ былъ въ это время, тотъ, кто тогда внушалъ ей тѣ слезы ея и рѣчи, чего и не подозрѣвалъ бѣдный Вася? Первое извѣстіе о немъ сообщено мнѣ было матушкой въ письмѣ изъ К., въ которомъ строго упрекала она меня за то, что я ей не писалъ тотчасъ же по пріѣздѣ нашемъ въ Богдановское. „Я такъ и Богъ знаетъ какъ измучилась бы", говорила она, „еслибы не встрѣтила на улицѣ барона Фельзена, который мнѣ сказалъ, что видѣлъ васъ обоихъ наканунѣ своего отъѣзда", и въ концѣ письма прибавляла, что тотъ же баронъ Фельзенъ весьма любезно предложилъ ей заѣхать къ намъ въ домъ, узнать, не будетъ-ли какихъ порученій къ намъ, въ случаѣ, еслибъ онъ долженъ былъ обратно ѣхать въ наши страны. Объ этомъ свиданіи матушки съ Фельзеномъ я никому, кромѣ Анны Васильевны, не сообщалъ въ Богдановскомъ. Помню, какъ смутилась добрая женщина, когда она объ этомъ узнала, какъ она взглянула на меня съ видимымъ намѣреніемъ что-то сказать,—и не сказала, а только глазами заморгала и отвернулась, а я ей за то весьма храбро отпустилъ:

— Пусть лучше я останусь безъ цвѣтныхъ чулковъ (за

этою именно посылкой и долженъ былъ заѣхать къ матушкѣ обожатель Любови Петровны), только бы не видать здѣсь этого нѣмца!

— А что онъ тебѣ сдѣлалъ, Боренька? живо спросила Анна Васильевна.

— Ничего онъ мнѣ не сдѣлалъ, только безъ него лучше!

Милая старушка не подумала спросить, что я разумѣю подъ этимъ „безъ него *лучше*“,—она взяла меня за голову и горячо поцѣловала въ лобъ.

„Онъ вернется сюда, рано или поздно вернется“, часто думалъ я послѣ этихъ моихъ разговоровъ съ Васей и Анной Васильевной, и все явственнѣе сталъ я читать теперь признаки неодолимой тоски въ чертахъ, въ каждомъ движеніи Любови Петровны. Съ каждымъ днемъ, казалось, тяжелѣе становился для нея ея образъ жизни, и нашъ тѣсный кружокъ, и чтеніе Вазари, и нескончаемая возня Ѳомы Богдановича. А между тѣмъ она, какъ бы на зло самой себѣ, упорствовала въ этомъ образѣ жизни; она никого кромѣ насъ не видала, перестала вовсе ходить въ большой домъ, обѣдала даже у себя въ павильонѣ и проводила тамъ вечера одна, пожирая томъ за томомъ французскіе и англійскіе романы, которые получала она изъ Петербурга чуть не съ каждой почтой. Анна Васильевна начинала безпокоиться и спросила разъ при мнѣ: здорова-ли она? Красавица подняла на нее глаза и только улыбнулась, — но отъ этой улыбки у Анны Васильевны вдругъ навернулись слезы... Однажды вечеромъ изъ Васиной комнаты мы услыхали музыку въ павильонѣ.

— Это Булкенфрессъ играетъ у твоей maman! сказалъ я.

— Развлеченіе ей, по крайней мѣрѣ, отвѣчалъ мнѣ Вася съ улыбкой,—только папа бы это не разбудило...

Онъ прошелъ въ покой больнаго,—но тотъ мирно и сладко спалъ, какъ всегда.

Съ тѣхъ поръ все обычнѣе и дольше стало звучать фортепіано въ павильонѣ Любови Петровны, а съ этимъ вмѣстѣ Булкенфрессъ, съ которымъ я не встрѣчался уже очень давно, сталъ вдругъ попадаться мнѣ на каждомъ шагу. Къ Керети онъ забѣгалъ каждый день поутру, въ то самое время,

когда я, окончивъ урокъ, складывалъ свои книги и отправлялся къ Лубянскимъ. Онъ былъ необыкновенно любезенъ со мной, нѣжно потряхивалъ мнѣ руку и называлъ charmant cheune (jeune) homme. Но мнѣ не нравился его лукаво-заискивающій взглядъ и его настойчивые разспросы о здоровьи Герасима Ивановича, о характерѣ Васи и тому подобномъ, касавшемся Лубянскихъ, разспросами, которыми онъ забрасывалъ меня каждый разъ. Я отвѣчалъ ему неохотно и коротко и спѣшилъ уходить отъ него. „Не для одной музыки повадился онъ такъ часто къ Любови Петровнѣ“, не разъ приходило мнѣ въ голову, но я не хотѣлъ останавливаться на этомъ; я боялся всякой посторонней мысли, способной разстроить тотъ волшебный міръ, въ который я весь былъ погруженъ въ это время. Мы читали съ Васей *Донъ-Карлоса*.... Кто-то сказалъ очень вѣрно, что каждое чувство имѣетъ свой медовый мѣсяцъ. Я именно переживалъ въ то время медовый мѣсяцъ маркиза Позы. Донъ-Карлосомъ представлялся мнѣ, разумѣется, Вася, для котораго Поза, то-есть я, съ восторгомъ отдаетъ жизнь; королеву я никакъ не могъ вообразить себѣ иначе, какъ въ прелестномъ образѣ Любови Петровны, а Филиппъ былъ опять-таки Фельзенъ, только со старымъ, какъ у генерала Рындина, но гораздо болѣе злымъ, лицомъ, и я говорилъ ему пламенныя рѣчи въ защиту Донъ-Карлоса, у котораго онъ похитилъ любовь его прекрасной и „настоящей“, законной матери...

Время шло между тѣмъ. Успеньевъ день былъ уже недалеко, и вотъ, въ одно прекрасное утро, въ мою комнату вкатился Ѳома Богдановичъ съ письмомъ ко мнѣ отъ матушки. Главная его сущность состояла въ томъ, что батюшкѣ лучше, но что докторъ никакъ не согласенъ отпустить его пока изъ К., и что поэтому ни онъ, ни матушка никакъ не могутъ опредѣлить времени возвращенія своего въ деревню. Въ самомъ концѣ сказано было, что письмо это съ посылкой доставятъ намъ вѣроятно Рындины, собирающіеся скоро ѣхать въ Богдановское.

— Саша здѣсь? вскрикнулъ я, когда дошелъ до этого мѣста, вопросительно обернувшись къ Ѳомѣ Богдановичу, ко-

торый тѣмъ временемъ болталъ съ моимъ наставникомъ на своемъ забавномъ французскомъ жаргонѣ.

— Саша! А съ чего ты взялъ? воскликнулъ онъ въ свою очередь, подбѣгая ко мнѣ.

Глаза его такъ и прыгали.

— Мама мнѣ пишетъ про посылку...

Ѳома Богдановичъ не далъ мнѣ кончить.

— Другой, другой посылку тебѣ привезъ.

— Баронъ... началъ было я.

Онъ кинулся на меня и зажалъ мнѣ ротъ рукой.

— А ты молчи! съ хохотомъ заговорилъ онъ, — ходимъ скорѣе за тою посылкой!

И, схвативъ за руку, онъ потащилъ меня, мимо недоумѣвавшаго Керети, въ корридоръ.

— А слухай же ты, Боренька, зашепталъ онъ тутъ, уцѣпившись обѣими руками за пуговицы моей куртки, — никому ты не говори, потому я хочу, чтобъ это сюрпризъ былъ на Успеніе... Такой будетъ имъ всѣмъ сюрпризъ, о побачишь!...

И онъ, заранѣе ликуя, принялся мнѣ торопливо сообщать, что посылку и письмо прислалъ баронъ Фельзенъ съ Трухачевымъ изъ Юрасовки, деревни верстахъ въ 25-ти отъ Богдановскаго, гдѣ стоялъ другой эскадронъ того полка, въ которомъ служили они оба, и что баронъ будетъ теперь тѣмъ, а не нашимъ эскадрономъ командовать, а Гольдманъ останется у насъ до осени, и что Трухачевъ далъ Ѳомѣ Богдановичу офицерское свое слово, что баронъ пріѣдетъ на Успеніе...

— И окрутилъ я опять того Трухачева тѣмъ же его словомъ офицерскимъ, попрыгивая отъ радостнаго волненія съ ножки на ножку, продолжалъ Ѳома Богдановичъ, — что не смѣетъ онъ никому ни голосомъ, ни какимъ другимъ сортомъ открыть про барона, пока самъ не пріѣдетъ тотъ. — Такъ и ты-жь смотри, востроносый, какъ маму любишь, клятву мнѣ сейчасъ давай, что никому про то въ домѣ не откроешь, ни даже французу твоему.... А коли, можетъ, онъ пытать тебя будетъ, черезъ кого ты посылку получилъ, говори на меня, да и все! Пусть идетъ до меня, откуда я получилъ. Ну, давай скорѣе клятву, давай!

Я обѣщалъ ему, и онъ стремглавъ понесся внизъ по лѣстницѣ.

— Qui donc a apporté cela? спросилъ меня Керети, когда я вернулся въ комнату въ сопровожденіи Максимыча, вносившаго довольно объемистую матушкину посылку.—Ce n'est pas jour de poste ce me semble?

Я отвѣчалъ, что доставилъ мнѣ Ѳома Богдановичъ.

— А ему же кто?

— Не знаю, невольно улыбнувшись, сказалъ я.

Керети усмѣхнулся тоже и приподнялъ плечи.

— Et pourquoi en fait il mystère le brave homme? on dirait qu'on ne le sait pas!

— А вы развѣ знаете? спросилъ я въ свою очередь, не безъ любопытства.

— Не трудно догадаться, объяснилъ мой французъ, — въ первомъ письмѣ вашей матушки было означено то лицо, чрезъ которое она думала прислать вамъ это,—а я знаю, что это лицо—ce personnage est dans la contrée depuis quelqus jours.

— Вы это знали! съ удивленіемъ воскликнулъ я. Какимъ же образомъ?

— Devinez! засмѣялся Керети.

— Je devine, сказалъ я, сообразивъ, что Булкенфрессъ могъ объ этомъ знать и передать ему.

Его лицо перемѣнило выраженіе; онъ почти строго взглянулъ на меня и отвѣчалъ, что если я и отгадалъ, то могу это держать про себя, и что вообще ни ему, ни мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что происходитъ въ домѣ, временно пріютившемъ насъ,и что чѣмъ скромнѣе буду я себя держать въ этомъ отношеніи, тѣмъ это будетъ приличнѣе и сообразнѣе съ образомъ дѣйствій d'un enfant de bonne maison.

Я выслушалъ его наставленіе съ достодолжною почтительностію.

„Только зачѣмъ же тогда нужно было ему говорить мнѣ: devinez?“ не могъ я не подумать при этомъ...

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЗАБЫТЫЙ ВОПРОСЪ.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

XXIV.

Наступилъ и Успеньевъ день. Съ ранняго утра началась суетня; только и слышно было, что звонъ колокольцевъ, лошадиный топотъ и фырканье на дворѣ, бѣготня по лѣстницѣ, шуршанье и лязгъ чемодановъ и сундуковъ, тащимыхъ людьми по корридору. Что вѣды въ ростопель приливали гости и исчезали въ отводимыхъ имъ комнатахъ, — но наводненіе ежеминутно росло, и вновь прибывавшіе начали слоняться по всѣмъ угламъ, въ ожиданіи себѣ пріюта: уже не хватало помѣщенія. Ѳома Богдановичъ влетѣлъ къ намъ съ Керети какъ угорѣлый, съ просьбой опростать скорѣе нашъ апартаментъ. Онъ, какъ сказалъ Любови Петровнѣ, послалъ приглашеніе на этотъ день всей артиллерійской батареѣ, стоявшей верстахъ въ 80 отъ Богдановскаго, — вся батарея и прибыла, то-есть толстѣйшій полковникъ и четыре тоненькихъ офицера; „люди все полированные“, говорилъ чуть не съ отчаяніемъ Ѳома Богдановичъ, „а ткнуть ихъ нема куда!“ Ткнуть ихъ онъ и рѣшилъ въ наши комнаты: я долженъ былъ перейти къ Васѣ,

а наставникъ мой отправиться во флигель къ пріятелю своему Булкенфрессу,—причемъ Максимычъ чуть не наговорилъ грубостей хозяину за безпокойство, причинявшееся этимъ его господамъ, но тотъ только рукой махалъ и въ попыхахъ своихъ, спѣша скорѣе ввести новоприбывшихъ въ опорожняемую нами комнату, ткнулъ ихъ дѣйствительно на лахань съ грязною водой, которую въ эту минуту выносилъ изъ нея мой дядька. Огромный животъ батарейнаго командира въ ужасѣ подался назадъ; мутные мыльные ручьи стекали съ его поверхности на новехонькіе панталоны и какъ зеркало свѣтлые сапоги полковника. Ѳома Богдановичъ кинулся за полотенцемъ, „полированные“ офицеры съ трогательнымъ единодушіемъ вытащили разомъ платки свои изъ кармановъ. Одинъ Максимычъ, равнодушный къ несчастію ближняго, спокойно подобравъ съ пола черепки упущеной имъ изъ рукъ лохани, вынесъ ихъ прочь, не повернувъ даже головы на сѣтованье и оханье смущеннаго такимъ пассажемъ артиллерійскаго вѣдомства...

Передъ самою обѣдней, въ ту минуту, когда все, что было въ домѣ, старые и малые, собиралось на крыльцо, чтобы всѣмъ разомъ отправиться въ церковь, показалась издали, словно несшаяся вмѣстѣ съ колокольнымъ звономъ, и съ грохотомъ подкатила къ подъѣзду щегольская и здоровая коляска генерала Рындина. Ѳома Богдановичъ, уже успѣвшій принарядиться во фракъ и въ свѣтлыя брюки, кинулся со всѣхъ ногъ встрѣчать его—и принялъ къ себѣ на грудь Сашу, выскочившаго изъ коляски первымъ и съ такимъ азартомъ, что они непремѣнно оба свалились бы съ ногъ, еслибы не случился тутъ длинный майоръ Гольдманъ, который уперъ могучую длань свою въ спину Ѳомы Богдановича и тѣмъ спасъ его отъ постыднаго крушенія. Сашу между тѣмъ подхватила на лету вся „орда“ товарищей, давно нетерпѣливо ожидавшихъ его пріѣзда. Онъ переходилъ изъ объятій въ объятія. Жабинъ привѣтствовалъ его даже какими-то стихами изъ Державина.

— Здорово, здорово, Вася, пробасилъ, облобызавъ предварительно трижды Ѳому Богдановича, старикъ генералъ, давая поцѣловать племяннику небольшое оставшееся свободнымъ

отъ волосъ мѣстечко на щекѣ своей, — все вверхъ тянешься; на службу царскую пора бы! Я вотъ Сашу надняхъ въ Питеръ везу, въ корпусъ... Ну, а что,—какъ отцу твоему?

— А совсѣмъ молодецъ, не далъ отвѣчать Васѣ Ѳома Богдановичъ,—кулакомъ теперичка вола свалитъ!

Генералъ разразился смѣхомъ.

— Люблю за сравненіе, молвилъ онъ, обнявъ и трепля хозяина по спинѣ. — А сестрица чтó, въ вожделѣнномъ?... А вотъ она сама, красавица писанная! воскликнулъ онъ—и двинулся на встрѣчу Любови Петровнѣ, вышедшей изъ садовой калитки и подымавшейся на крыльцо.

Она была въ большой круглой соломенной шляпѣ и длинномъ бѣломъ арабскомъ бурнусѣ, который падалъ съ ея плечъ какими-то удивительно благородными и красивыми складками. Она всѣхъ точно освѣтила своимъ появленіемъ.

— Эка пава! крикнулъ Ѳома Богдановичъ.

— Пожалуйте ручку, сказалъ генералъ и, овладѣвъ ею, повернулъ ладонью вверхъ и поцѣловалъ въ отверстіе перчатки.—Герасиму, слышалъ, лучше; душевно поздравляю. Ну, а вы сами?

— Вашими молитвами, прозябаю понемножку, молвила она улыбаясь.

— Въ эдакомъ раю-то прозябать! захохоталъ генералъ Рындинъ, махнувъ рукой на окрестность.—Отсюда и не выѣхалъ бы кажется...

— Я и не намѣрена, поспѣшно сказала Любовь Петровна, сдвинувъ брови.

— А я и не пущу! молодецки топнулъ ногой Ѳома Богдановичъ.

— А впрочемъ, продолжалъ генералъ, покручивая усы и смѣясь всею грудью,—я полагаю, сестрица, вы и въ царствѣ небесномъ нашли бы законную причину Господу Богу жалобу подать, еслибы вамъ, къ примѣру, запрещено тамъ было ангеловъ съ ума сводить? Такъ я говорю-съ?

— Я нахожу и теперь самую законную причину на васъ жаловаться, только не знаю кому, за ваши неумѣстныя шутки, полуусмѣхаясь, полусердясь, отвѣчала она на это.

— Какія же шутки, помилуйте-съ! не унывалъ расходившійся генералъ.—Я недавно еще имѣлъ случай видѣть одну изъ вашихъ жертвъ.

Любовь Петровна подняла на него глаза.

— Вы старый шутъ! съ громкимъ смѣхомъ проговорила она и, отвернувшись отъ него, заговорила съ Трухачевымъ, который такъ и вился подлѣ нея, улавливая видимо случай обратить на себя ея вниманіе.

Генерала Рындина даже покоробило, я это замѣтилъ,—но онъ не счелъ нужнымъ показать, что сердится.

— Отъ васъ, Любовь Петровна, и этотъ невѣдомый мнѣ доселѣ чинъ не почту себѣ за стыдъ принять, любезно отпустилъ онъ, поклонившись и браво звякнувъ шпорами.

Она обернулась къ нему опять и съ очаровательною улыбкой протянула ему руку, которую генералъ снова нѣжно поцѣловалъ въ перчатку.

— Господа, мое почтеніе, сказалъ онъ, будто только теперь замѣтивъ офицеровъ, собравшихся на крыльцѣ, — очень радъ васъ видѣть.

Онъ погрузилъ зоркій взоръ въ ихъ толпу.

— Изъ знакомыхъ здѣсь кавалеристовъ нашихъ не всѣ, кажется, пріѣхали? спросилъ онъ.

Офицеры стали перешептываться, считая другъ друга глазами.

— А будетъ ще, будетъ кавалерія, отвѣтилъ за нихъ Ѳома Богдановичъ,—а артиллерія ужь туточки!

— Здорово, юноша! заговорилъ опять старикъ Рындинъ, замѣтивъ меня,—поклонъ тебѣ привезъ отъ матушки; батюшку не видалъ, не совсѣмъ еще поправился, говорятъ... Да бишь! вдругъ вспомнилъ генералъ, — Софья Михайловна говорила мнѣ о какой-то посылкѣ, хотѣла со мною вамъ прислать... Саша, не помнишь, доставлена намъ она?

— Нѣтъ, папа, молвилъ Саша,—ее кажется...

— Получена, получена, кидаясь къ генералу и подмигивая ему, загоготалъ Ѳома Богдановичъ, — по окказіи получена... А, да вотъ и моя хозяйка!...

Краснѣющая и сконфуженная Анна Васильевна, со шляп-

кой на боку, въ сопровожденіи спокойно улыбавшейся и какъ кукла разодѣтой Галечки, поспѣшно сходила съ лѣстницы.

— Экипажи подавайте! крикнулъ хозяинъ. — Господи, да гдѣ голова у меня! И онъ схватился за нее обѣими руками.— Перекусить вамъ съ дороги треба, ваше превосходительство, перекусить.

— По горло сытъ; часъ тому назадъ, пока лошадей перемѣняли, мы съ Сашей перехватили важно, молвилъ генералъ.—Ну а послѣ обѣдни, пожалуй, можно будетъ и вторично... Многоуважаемая Анна Васильевна, не прикажете-ли, въ моей коляскѣ?

Онъ усадилъ ее, сѣлъ самъ, и дорожный шестерикъ на полныхъ рысяхъ повлекъ тяжелую генеральскую коляску въ церковь. Любовь Петровна съ Галечкой и Дарьей Павловной поѣхали за нею въ шарабанѣ, сопутствуемыя Трухачевымъ верхомъ. Съ полсотни разнородныхъ и разнокалиберныхъ экипажей помчались за ними вслѣдъ. Мы переглянулись съ Васей и, пропустивъ Сашу съ товарищами, — они предпочли отправиться въ церковь пѣшкомъ,—вскочили въ линейку, гдѣ уже сидѣлъ маіоръ Гольдманъ и два другихъ офицера его полка: они живо между собой разговаривали и не обратили на насъ никакого вниманія.

— У него сильная протекція въ Петербургѣ, говорилъ одинъ.

— На то нѣмецъ! коротко и рѣзко фыркнулъ командоръ.

— Все это такъ-съ, молвилъ другой гусаръ, — только я навѣрное знаю, что тамъ сказали: рано. Вѣдь и точно, года нѣтъ, какъ ему офицерское званіе вернули.

Первый изъ говорившихъ засмѣялся.

— А я такъ думаю, что это вздоръ. При связяхъ его и ловкости, да захоти онъ,—онъ навѣрное былъ бы уже теперь въ гвардіи. Дѣло въ томъ, что самъ онъ не хочетъ... Ему и здѣсь хорошо...

— Въ Юрасовкѣ-то? насмѣшливо спросилъ маіоръ.

— Ну, положимъ, и не въ Юрасовкѣ... Только вы поймите, Степанъ Парѳенычъ, что не изъ однихъ же чиновъ

бьются люди, особенно въ молодые годы, Бываютъ и другіе виды...

Маіоръ выпучилъ на него такіе страшные глаза, что офицеръ не смѣлъ докончить; онъ оглянулся на насъ съ Васей и тотчасъ же отвернулся, чтобы скрыть краску, которою внезапно покрылось все его лицо.

Товарищъ его, сидѣвшій къ нему спиной, рядомъ съ Васей, ничего не замѣтилъ.

— А поглядѣли бы вы, Степанъ Парѳенычъ, заговорилъ онъ,—какъ онъ себя тамъ, въ какую-нибудь недѣлю времени, устроилъ. Простую хату въ бонбоньерку, можно сказать, превратилъ, стѣны, потолки, полы, все это въ коврахъ, увѣшано оружіемъ... Тысячъ на десять, вѣрно, вывезъ онъ всякаго такого добра съ Кавказа... Да-съ, договорилъ молодой офицеръ и глубоко вздохнулъ при этомъ, — этому счастливчику хоть первую львицу изъ Петербурга не стыдно принять въ такой хижинкѣ...

— Вахмистръ, чуть не крикнулъ маіоръ, — вахмистръ у него, полагаю, что себѣ хочетъ, то и дѣлаетъ?

— Это уже само собою, отвѣчалъ, расхохотавшись, гусаръ:—только вѣдь и боится онъ его, повѣрите, страхъ! Вчера, напримѣръ...

Офицеръ началъ передавать какую-то исторію про Фельзена—рѣчь шла несомнѣнно о немъ, — и его вахмистра, изъ которой я рѣшительно ничего не понялъ, кромѣ того развѣ, что ето самое помѣшало барону отправиться сегодня утромъ въ Богдановское одновременно съ разскащикомъ, какъ они это намѣревались сдѣлать вчера.

Вася все слышалъ—и все понялъ; онъ сидѣлъ, уткнувшись въ уголъ линейки, не поворачивая головы, опустивъ глаза. Болтливые офицеры очевидно не знали, кто онъ. Едва остановились наши дроги, онъ соскочилъ и, не ожидая меня, побѣжалъ въ церковь. Командоръ расправилъ свои длинныя ноги и, остановившись на паперти, обвелъ мрачнымъ взглядомъ всю прибывшую съ нимъ компанію, то-есть двухъ товарищей своихъ и меня многогрѣшнаго. „Проваливай, молокососъ“, казалось, говорилъ мнѣ этотъ взглядъ. „И безъ тебя знаю!“ ста-

рались отвѣчать ему мои глаза. И я прошелъ въ церковь, не сомнѣваясь, что, оставшись одинъ съ гусарами, онъ прочтетъ имъ достодолжную нотацію.

Вася забился въ церкви куда-то такъ далеко, что я его и не отыскалъ. Мы увидались съ нимъ лишь по окончаніи обѣдни.

XXV.

Начался разъѣздъ. Генералъ повезъ опять Анну Васильевну въ своей коляскѣ. Ѳома Богдановичъ подхватилъ Дарью Павловну и двухъ другихъ дамъ и отправился съ ними въ большомъ открытомъ четверомѣстномъ ландо. Галечка, въ ожиданіи шарабана и Любови Петровны, не выходившей еще изъ церкви, стояла на паперти, окруженная гостями. И посмотрѣли бы вы, читатель, съ какимъ скромнымъ достоинствомъ, съ какою приличною самоувѣренностію обращалась она къ нимъ, какъ умѣла она каждому сказать привѣтливое слово, и сколько было оттѣнковъ въ ея голосѣ, въ ея улыбкѣ, смотря по тому, говорила-ли она съ почтенною дамой, съ застѣнчивымъ офицеромъ или съ нашимъ братомъ-шалуномъ! Обожатель ея Жабинъ исправлялъ при ней должность адъютанта и краснѣлъ каждый разъ, какъ она, случайно или намѣренно, подымала на него свои черные, умные глазки. Онъ ужасно суетился, ловилъ каждаго изъ товарищей, выходившихъ изъ церкви, и передавалъ приглашеніе „mademoiselle Anna“ приходить, по возвращеніи въ домъ, пить шоколадъ на ея половину, причемъ наставнически поучалъ каждаго, что отказываться нельзя, что не придти къ Галечкѣ было бы высшею неучтивостію.

— Ну и ступай самъ, пей шоколатину, бузиной запивай, а мы не пойдемъ! злобно отрѣзалъ ему Саша Рындинъ, который, по обыкновенію, собиралъ вокругъ себя охотниковъ играть въ войну и понималъ приглашеніе Галечки, какъ личную для себя обиду.

И онъ увелъ своихъ сторонниковъ подальше отъ соблазна Галечкинаго приглашенія. Лишь самые юнѣйшіе, въ томъ числѣ Лева и пріятель его Опицкій, не пошли за прочими, узнавъ отъ самой Галечки, что шоколатъ будетъ очень сладокъ и что они получатъ его каждый по двѣ чашки.

— Tu viendras aussi, Basile? обратилась Галечка къ Васѣ, который тѣмъ временемъ, безучастный ко всему, что шумѣло и двигалось вокругъ него, стоялъ рядомъ со мною на паперти, глядя въ даль глубоко задумчивыми глазами.

— Куда это? спросила подошедшая къ намъ Любовь Петровна.

Она не менѣе сына казалась задумчива и блѣдна.

Галечка объяснила.

— А меня примешь? спросила мать Васи.

— O, ma cousine, вскликнула Галечка, обнимая ее,—vous me rendez tout à fait heureuse!

— Такъ поѣдемъ скорѣе, Вася; ты могъ бы съ Борисомъ сѣсть къ намъ въ шарабанъ, онъ четверомѣстный...

— Merci, maman...

Онъ подошелъ къ ней,—она закинула ему руку за шею и прижалась лицомъ къ его лицу; не разставайся никогда со мною! точно хотѣло сказать это ея внезапное, страстное какое-то движеніе...

Я побѣжалъ отыскивать замѣшкавшійся шарабанъ.

Въ него запряжена была пара старыхъ, когда-то весьма цѣнныхъ, сѣрыхъ лошадей въ англійскихъ шорахъ; Любовь Петровна сама ими правила. Мы усѣлись вчетверомъ,—Вася впереди, рядомъ съ матерью, я съ Галечкой на заднемъ сидѣньи. Трухачевъ и еще какіе-то два гусара скакали верхами по обѣимъ сторонамъ экипажа и занимали пріятнымъ разговоромъ нашихъ дамъ до самаго пріѣзда въ домъ.

— Забѣги, Боря, къ папа, узнай, какъ ему, шепнулъ мнѣ Вася на крыльцѣ.

Любовь Петровна оперлась на его руку, и они поднялись по лѣстницѣ.

Я обогналъ ихъ и побѣжалъ къ Герасиму Ивановичу.

Онъ только-что заснулъ. Савелій сказалъ мнѣ, что онъ съ

самаго утра находился въ особенно хорошемъ расположеніи духа и все толковалъ, нельзя-ли бы ему было поѣхать къ обѣднѣ. Савелій отговорилъ его лишь тѣмъ, что барыня разсердятся-молъ на меня за то, что я привезъ васъ въ церковь, потому тамъ духота и вѣтеръ сквозной...

— Съ часу на часъ акуратнѣй себя чувствуютъ, слава Царицѣ Небесной! молвилъ старый слуга и перекрестился.— Главное потому—покой душевный себѣ имѣютъ, примолвилъ онъ, поглаживая свои бѣлые волосы и глядя умиленнымъ взглядомъ на мирно покоившагося въ своемъ глубокомъ креслѣ барина.

— Такъ я пойду, Савелій, сказалъ я.

— Съ Богомъ идите себѣ, Борисъ Михайлычъ, и Василью Герасимычу скажите, чтобъ безпокоиться не изволили, потому чего еще надо!..

У Галечки, на широкомъ балконѣ ея гостиной, съ котораго виднѣлось безпредѣльное пространство лѣсовъ, полей и деревень, исчезавшихъ въ зелени вишневыхъ садовъ,—веселое молодое общество сидѣло вокругъ стола, за которымъ миссъ Пинкъ, засуча рукава, разливала большою ложкой въ чашки шоколатъ, кипѣвшій въ большой серебряной кастрюлѣ. Жадно слѣдили дѣти за ея проворными, бѣлыми руками, еще жаднѣе принимались они за горячее лакомство,—и не мало было тутъ обожженныхъ губъ и громкаго смѣху, и улыбающихся ртовъ съ проступавшими въ то же время отъ боли крупными слезами на глазахъ...

Любовь Петровна была тутъ же; она стояла, опершись обоими локтями на перила балкона, вся погруженная, казалось, въ созерцаніе живописной окрестности, разстилавшейся предъ нею. Вася сидѣлъ неподалеку отъ нея и также безмолвно глядѣлъ въ ту же сторону. Сквозь дѣтскій визгъ и гамъ звенѣлъ доносимый урывками вѣтромъ звукъ отдаленнаго колокольчика.

Я передалъ Васѣ о его отцѣ.

Онъ молча поднялъ на меня глаза и молча пожалъ мнѣ руку. Онъ былъ, видимо, занятъ какою-то упорною, неотвязною мыслью, и слова не шли ему на языкъ.

А звонъ колокольчика становился все явственнѣе. Изъ-за лѣсу, въ самой дали, выѣхалъ какой-то экипажъ и помчался по большому шляху. Не сюда... Но, нѣтъ, — вотъ онъ повернулъ вправо, поворотилъ за околицу ближняго хутора и несется прямо на насъ. Кто это? видны только четыре лошадиныя морды и мѣрно топочущія ноги, изъ-подъ которыхъ густыми, круглыми клубами бьетъ во всѣ стороны сѣрая пыль... Любовь Петровна словно еще ближе прильнула къ периламъ... Экипажъ ужъ въѣзжалъ на красный дворъ и огибалъ огороженный среди его кругъ, на которомъ гоняли жеребцовъ Ѳомы Богдановича... Это была неуклюжая, на высокихъ рессорахъ бричка, а въ ней сидѣлъ такой же неуклюжій сосѣдъ-помѣщикъ, въ какой-то допотопной камлотовой шинели, въ синихъ очкахъ и въ кожаной фуражкѣ съ огромнымъ козырькомъ,— нѣкое подобіе почтенной тетушки моей Фелисаты Борисовны въ мужскомъ родѣ...

Любовь Петровна отдѣлилась отъ балкона и разомъ опустилась на стоявшій позади ея стулъ.

— Ахъ! слабо вскрикнула она въ то же время.

— Что съ вами, maman? обернулся къ ней Вася.

— Ничего, мой другъ, ничего! засмѣялась она, — я уронила платокъ... Онъ тамъ повисъ...

— Гдѣ, гдѣ? закричали Лева съ товарищами, подбѣгая и перевѣшиваясь черезъ перила.

Отъ земли вплоть до самаго балкона поднималась рѣшетка изъ тонкихъ жердей переплетомъ, по которой зеленой стѣной стлались густо и широко розросшіяся лозы дикаго виноградника. Тонкій, обшитый широкимъ кружевомъ платокъ Любови Петровны зацѣпился за сучекъ на половинѣ стѣны, такъ что до него нельзя было достать рукой ни съ верху, ни съ земли.

— Вотъ тебѣ и разъ! воскликнулъ Жабинъ, преглупо разставивъ руки.

— Онъ точно дразнится, засмѣялся Лева, болтая ногами и кивая свѣсившеюся за балконъ головой на платокъ, который, дѣйствительно, словно дразня зрителей, развѣвался по вѣтру, не отрываясь отъ сучка.

— Вы бы лучше побѣжали внизъ,—тамъ у садовника есть

лѣстница,—замѣтила, взглянувъ на Жабина недовольными глазами, Галечка.

— Шестомъ можно, пробормоталъ онъ, растерявшись, — такъ боялся онъ Галечку.

— Чтобы платокъ разорвать? не глядя болѣе на него и приподнявъ свои узенькія плечи, промолвила она.

— Я сейчасъ достану, сказалъ я, направляясь къ двери.

Вася побѣжалъ за мною.

— Гайда-гопъ! раздался вдругъ за нами пронзительный дѣтскій голосъ.

Мы невольно обернулись на-ходу... Маленькій Опицкій, перекинувъ ноги за балконъ, спускался, какъ бѣлка, внизъ по виноградной стѣнѣ.

Раздался общій. крикъ ужаса.—Vous tuez vous! взвизгнула миссъ Пинкъ, ухватываясь въ перепугѣ за перила, между тѣмъ какъ Любовь Петровна, закрывъ лицо руками, вскакивала съ своего мѣста.

Отъ балкона до земли было нѣсколько саженей. Хрупкія жерди такъ и гнулись, такъ и трещали подъ ногами отчаяннаго мальчика; тонкія лозы и листья сыпались, отодранные, смятые его руками; онъ могъ сто разъ оборваться, упасть, расшибиться до смерти,—а онъ еще припѣвалъ какую-то пѣсенку. Онъ уже спустился въ уровень зацѣпившагося платка, онъ уже протягивалъ къ нему руку, какъ вдругъ послышался рѣзкій и сухой трескъ, вся стѣна зелени дрогнула, будто собираясь рухнуть разомъ, — подъ ногой Опицкаго обломилась жердь...

— Finished! гробовымъ шопотомъ проговорила миссъ Пинкъ, откидываясь назадъ всѣмъ тѣломъ.

Къ счастію, все не было кончено. Мальчикъ удержался невредимъ, уцѣпясь за какую-то крѣпкую, длинную лозу, попавшуюся ему подъ руки, и, не теряя ни минуты присутствія духа, ловко сдернулъ зубами платокъ съ сучка и быстро полѣзъ тѣмъ же путемъ назадъ къ балкону.

— Внизъ, внизъ! кричала ему на всѣхъ языкахъ миссъ Пинкъ, отчаянно стуча руками по желѣзу перилъ.

Но Опицкій, не слушая ея, продолжалъ свою безстрашную прогулку по трещавшимъ жердямъ.

— Платки ваши, платки скорѣе! быстро проговорила находчивая англичанка, обращаясь къ присутствовавшимъ и топая ногой въ нетерпѣливой тревогѣ.

Она живо связала платки наши узлами, велѣла намъ всѣмъ вмѣстѣ крѣпко держать конецъ этой импровизированной ею веревки, а другой конецъ кинула подъ руки Опицкаго. Но онъ не воспользовался ею,—онъ и безъ нея долѣзалъ уже до перилъ и затѣмъ благополучно спустился обратно на балконъ.

Еще весь дрожа отъ напряженія и тяжело дыша сквозь зубы, стискивавшіе платокъ Любовь Петровны, онъ подбѣжалъ къ ней—она стояла, ухватившись за плечо сына, все еще съ зажмуренными отъ страха глазами, — и, съ какою-то рыцарскою удалью расшаркиваясь и подавая ей платокъ, проговорилъ своимъ тоненькимъ голоскомъ:

— Tout pour les dames!

Всѣ въ одинъ голосъ закричали: браво! Любовь Петровна схватила его за голову—и вдругъ заплакала...

Миссъ Пинкъ подошла къ нему, взяла за руку и, крѣпко пожавъ ее, сказала:

— You are a gentleman!

Только Галечка улыбалась все тою же своею невозмутимою улыбкой, да поэтъ Жабинъ, скрестивъ руки на груди, спросилъ, медленно роняя слова, точно гроши въ церковную кружку:

— Откуда это у него берется?

— Ужь, конечно, не у тебя выучился! отвѣчалъ я ему съ сердцемъ: терпѣть я не могъ его важности.

— Вы могли бы убиться, миленькій! говорила тѣмъ временемъ сквозь слезы Любовь Петровна: она все еще не могла успокоиться...

— Messieurs et mesdames, предложила находчивая Галечка, — хотите играть au fou? (Она полагала что „au fou“ гораздо приличнѣе, чѣмъ сказать просто: *въ дурачки.*)

— Давайте лучше въ фофаны, возразила бѣлесоватая и худая, съ острыми и красными какъ морковь локтями, барышня, петербургская институтка, лѣтъ 16-ти, недавно вернувшаяся

къ родителямъ въ наши края и которую почему-то называли Angèle. Настоящее имя ея было Анисья, а на ангела походила она столько же, сколько патока на лунный свѣтъ.

Опицкій подскочилъ къ молодой хозяйкѣ:

— Давай, давай въ фофаны играть!

— И я буду! подхватилъ Лева.

— И я, и я! крикнула вся компанія.

Перейдя съ балкона въ гостинную Галечки, всѣ усѣлись за большой круглый столъ. Галечка, усадивъ подлѣ себя съ одной стороны Васю, съ другой Опицкаго, взяла карты и, вытащивъ изъ нихъ осторожно фофана, быстро прикрыла его рукой и осторожно подсунула подъ коврикъ лампы, стоявшей на столѣ. Кто-то изъ мальчиковъ тутъ же потянулся съ дерзкимъ памѣреніемъ подглядѣть фофана, за что тотчасъ же и получилъ полновѣсный ударъ по пальцамъ отъ безпощадной миссъ Пинкъ.

Карты были сданы, игра началась.

Любовь Петровна одна осталась на балконѣ и, медленно опустившись въ кресло, подперла голову рукой,—и такъ, казалось, и замлѣла... *Ждетъ*-ли она, думалъ я, или не знаетъ, что *онъ* будетъ, и ей просто невыносимо скучно, и не живетъ она, а „прозябаетъ", какъ говорила она нынче генералу? И я глядѣлъ на нее и не могъ дать себѣ отчета, кого болѣе жаль мнѣ было въ эту минуту — ее или ея сына? Я успѣлъ уже привыкнуть читать на его лицѣ и понималъ, что онъ страдаетъ, глубоко страдаетъ; онъ такъ глядѣлъ, будто все, что происходило вокругъ него, мелькало предъ нимъ какъ въ туманѣ, будто ни единаго звука раздававшихся тутъ рѣчей не доходило до его слуха, и лица наши представлялись ему въ видѣ какихъ-то волнующихся, темныхъ пятенъ. Галечка скидывала за него его пары и слегка подталкивала его, когда приходилъ ему чередъ играть; онъ поворачивался, по ея указанію, вправо или влѣво, безсознательно, тупо поднимая на нее глаза, и ни разу не посмѣялась этому Галечка, не спросила о причинѣ его разсѣянности. Удивительно умѣла вести себя Галечка. Не даромъ говорила про нее, смѣючись, Анна Васильевна, что дочь ея, какъ только на свѣтъ Божій родилась,

осмотрѣлась кругомъ и спросила: а что, все-ли у васъ тутъ въ порядкѣ?...

— Браво, браво! раздался общій взрывъ восклицаній. Оказывалось, что всѣ играющіе вышли парами, кромѣ Опицкаго и Жабина. Одинъ изъ нихъ долженъ былъ остаться фофаномъ.

Вся компанія приняла тотчасъ же живѣйшее участіе въ завязавшейся между ними игрѣ, повскакала съ мѣстъ, окружила ихъ. Звучный хохотъ, хлопанье въ ладоши подымались каждый разъ, какъ тотъ или другой вытаскивалъ не парную карту.

Да и забавны же были они оба. Опицкій такъ фиглярилъ, съ такими уморительными ужимками скашивалъ глаза къ носу, мѣшалъ карты за спиной и подсовывалъ ихъ подъ руки Жабина на выборъ, а Жабинъ глядѣлъ на нихъ такъ мрачно, такъ ожесточенно вздыхалъ, прежде чѣмъ рѣшиться вытащить ту или другую карту, и такъ судорожно прикрывалъ ихъ своими крючковатыми пальцами, когда приходила его очередь предлагать ихъ сопернику, что сама строгая миссъ Пинкъ не могла удержаться отъ смѣха.

Наконецъ фофаномъ остался Жабинъ.

— Уррра! Чепчикъ ему, колпакъ ночной! закричали мальчики, между тѣмъ какъ Жабинъ поводилъ глазами во всѣ стороны, аки левъ рыкаяй, а Опицкій скакалъ по стульямъ и пѣлъ во все горло:

Вивать ты, вивать я,
Компанія цала?

Миссъ Пинкъ бросилась было унимать его, но онъ вырвался у нея изъ рукъ, ринулся кубаремъ на диванъ и исчезъ подъ подушками, которыя съ невѣроятнымъ проворствомъ нагромоздилъ на себя въ одно мгновеніе.

Не было никакого средства совладать съ „джентльменомъ“. Англичанка только рукой махнула и принялась сооружать изъ большаго листа сахарной бумаги дурацкій колпакъ, который тутъ же и воздѣла на главу Жабина.

Дѣвица Angèle такъ и покатилась. Очень смѣшливая была дѣвица!

— Въ Петербургѣ воспитывались, въ театрѣ бывали, а туда же смѣетесь, будто никогда сахарной бумаги не видали! накинулся на нее разсвирѣпѣвшій Жабинъ.

А тутъ еще, на его бѣду, широко растворились двери гостиной, — и въ нее ввалилась цѣлая толпа нашихъ сверстниковъ, съ Сашей Рындинымъ во главѣ.

Съ новою, удвоенною силой раздался хохотъ. Жабинъ не выдержалъ—и съ досадой сорвалъ съ головы своей дурацкій свой колпакъ.

— Не смѣйте приглашать меня на танцы сегодня вечеромъ! тотчасъ же и сказнила его за это Галечка.

Съ приходомъ Саши карты были кинуты. Онъ горячился, чуть не кричалъ, жалуясь, что война не могла у нихъ состояться за малымъ числомъ играющихъ, что мы ему измѣнили и что съ нашей стороны „неблагородно“, тѣмъ болѣе, что онъ съ нами со всѣми видится сегодня въ послѣдній разъ, потому что черезъ недѣлю его повезутъ въ корпусъ. Галечкѣ и ея подругамъ онъ едва поклонился,—онъ не любилъ и конфузился „мамзелекъ“, — не обращая никакого вниманія на засверкавшіе взоры миссъ Пинкъ и на стиснувшіяся губы ея воспитанницы.

— Ахъ, тетя, здравствуйте! сказалъ онъ, замѣтивъ наконецъ Любовь Петровну и идя на балконъ поцѣловать ея руку.—Прикажите, пожалуйста, Васѣ... онъ мнѣ двоюродный братъ, а хуже чужаго, право...

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ? спросила она съ улыбкой.

— Да что онъ сюда забился, и Бориса держитъ, точно ихъ къ женскимъ юбкамъ пришили... Вѣдь это, просто, для мужчинъ стыдно, тетя!... А у насъ черезъ нихъ все тамъ разстроилось...

— Я его не пришивала, ни Бориса тоже. Ихъ пригласила здѣшняя молодая хозяйка, и, если *она* позволитъ, примолвила мать Васи, — а они согласны, — уведи ихъ, куда хочешь!

Саша позамялся: какъ же это, въ самомъ дѣлѣ, ему про-

сить позволенія „у дѣвчонки!“ Настолько былъ онъ воспитанъ однако, что понялъ,—нельзя было далѣе простирать неучтивость.

— Mamzelle Галечка, промолвилъ онъ, быстрымъ шагомъ подходя къ ней и не подымая на нее глазъ,—вы отпустите Борю и Васю играть съ нами въ садъ?

Она смѣрила его сначала съ ногъ до головы и затѣмъ насмѣшливо улыбнулась:

— *Mamzelle Галечка*, сказала она,—не можетъ и *не желаетъ* мѣшать этимъ господамъ поступать, какъ имъ будетъ угодно.

— C'est ça! подтвердила, одобрительно кивнувъ головой, миссъ Пинкъ, на эти слова, которыя едва-ли поняла она, а тонъ, съ которымъ они были сказаны.

— Такъ пойдемте! Борисъ, Вася! крикнулъ намъ Рындинъ.

— Куда это? спросилъ разсѣянно Вася.

— Въ садъ, другъ мой, отвѣтила ему съ балкона Любовь Петровна: — сегодня не жарко, вы бы, въ самомъ дѣлѣ съ Борисомъ отправились...

Саша былъ уже у дверей,—и вся компанія пріятелей, не исключая Жабина, двигалась за нимъ.

— Tant mieux, ils sont trop bruyants! громко проговорила намъ вслѣдъ миссъ Пинкъ.

Спустившись съ лѣстницы, всѣ побѣжали опрометью въ „крѣпость“. Только мы съ Васей не поспѣшили за прочими. Онъ, попрежнему, былъ задумчивъ и разсѣянъ. Мы шли молча, рядомъ, не глядя другъ на друга.

Вдругъ онъ остановился.

— Борисъ, ты слышалъ... когда мы ѣхали въ церковь?

— Что?

— Вѣдь это про него говорили... *Онъ* будетъ опять сюда...

— Да, слышалъ, печально отвѣтилъ я.

Вася замолчалъ опять.

— Галечка однако хорошо отдѣлала Сашу, началъ я.— Онъ ужасно неучтивый, Саша...

— Какъ я ему завидую, еслибы ты зналъ! воскликнулъ

вдругъ Вася.—Онъ такой живой, бодрый,—вотъ какъ и этотъ мальчикъ сейчасъ... Знаешь, что вѣдь онъ удивительный мальчикъ, этотъ Опицкій! Онъ чуть не убился — и изъ-за чего!... А я... на что я похожъ! какимъ-то надрывавшимся, чуть слышнымъ голосомъ проговорилъ Вася:—я точно старый человѣкъ... ни молодости, ни радости... все лишь одно, да одно въ головѣ...

— Вася, полно, что это съ тобой сдѣлалось! заговорилъ было я.

— Нѣтъ, Борисъ, право, съ натянутою улыбкой сказалъ онъ, — знаешь, что я часто думаю: еслибы не папа, лучшее, чего я могъ бы для себя желать,—это умереть...

— Не смѣй, не смѣй и произносить этого слова! Какіе ужасы! закричалъ я, кидаясь къ нему, и притиснулъ голову его къ моей груди.

— Ну, и не буду, высвобождаясь изъ моихъ объятій, сказалъ онъ.

— Зачѣмъ ты такой вздоръ говоришь, Вася?

— Ну, а ты прости великодушно, коли это вздоръ... Да, а гдѣ ты будешь обѣдать, Борисъ? спросилъ онъ, спѣша перемѣнить разговоръ.

— Съ вами, какъ всегда. Вѣдь ты не оставишь Герасима Иваныча обѣдать одного. А этихъ большихъ столовъ внизу я терпѣть не могу.

— Ну, и прекрасно!

Онъ опять остановился; онъ успѣлъ уже перемочь свое унынiе, и лицо его глядѣло почти весело.

— Какъ бы намъ теперь такъ сдѣлать, молвилъ онъ карикатурнымъ шепотомъ, озираясь во всѣ стороны, — чтобы взять, да и тягу дать подальше отъ Сашиной войны?

— Очень просто: свернемъ влѣво, а тамъ въ сиреневую аллею—и алонъ маширъ цу гаузъ, какъ говоритъ вашъ Савелій.

— Алонъ маширъ! повторилъ Вася.

Черезъ пять минутъ мы сидѣли, запершись, въ его комнатѣ и читали *Die Pieccolomini*. Отецъ его еще не просыпался. По всему дому, будто дальніе раскаты грозы, шелъ

нескончаемый гулъ голосовъ, смѣха, передвигавшихся стульевъ, спѣшныхъ и тяжелыхъ шаговъ. Изъ подвальнаго этажа несся въ окна запахъ кушанья; третій день не потухалъ огонь въ обширной кухнѣ гостепріимнаго Богдановскаго. Гости недавно отзавтракали; немилосердно стучали ножами повара, готовясь къ предстоявшему обѣду...

XXVI.

Мы такъ и не трогались со своей половины до самаго вечера, и никто не тревожилъ насъ: видно Саша нашелъ, что война и безъ насъ обойтись можетъ. Пообѣдали мы, какъ всегда, втроемъ съ Герасимомъ Ивановичемъ. Онъ былъ все въ томъ же добромъ духѣ и весело допрашивалъ меня:

— Танцовать сегодня?

— Да, Герасимъ Иванычъ, непремѣнно, отвѣчалъ я. — Ѳома Богданычъ вотъ уже двѣ недѣли пристаетъ къ намъ съ Васей, чтобы мы непремѣнно пришли на балъ. Только не знаю, какъ Вася вотъ,—ему все не хотѣлось...

— Придетъ, улыбаясь отвѣчалъ мнѣ больной.

— Я танцовать не люблю, началъ было Вася.

— На-до... какъ всѣ...

— А вы бы, Герасимъ Иванычъ, спустились бы внизъ посмотрѣть. Я ужь Васю растормошу!

Вася съ неудовольствіемъ взглянулъ на меня. Отецъ его перехватилъ этотъ взглядъ:

— Я спать буду, проговорилъ онъ совершенно твердо и съ улыбкой, отъ которой сынъ его вдругъ покраснѣлъ...

Его повезли гулять послѣ обѣда. Но на этотъ разъ онъ самъ какъ будто боялся показаться въ люди и выбралъ крайнюю боковую аллею сада, по которой никто никогда не ходилъ. Мы вернулись домой очень скоро. Герасимъ Ивановичъ потребовалъ, чтобы весь туалетъ Васинъ и мой принесенъ былъ въ его комнату и чтобы мы при немъ одѣлись. Когда же все это было совершено, и мы, умытые, причесаные, даже

слегка подвитые Савеліемъ, встали предъ нимъ въ новыхъ курточкахъ и глянцевыхъ башмакахъ, онъ долго поворачивалъ насъ во всѣ стороны, видимо любуясь сыномъ, и съ какимъ-то ребяческимъ удовольствіемъ похваливалъ насъ почему-то по-нѣмецки: ganz brav, ganz brav! Мы были готовы гораздо ранѣе, чѣмъ это было нужно, и долго прохаживались по комнатѣ подъ неотрывавшимися отъ насъ взглядами вдругъ оживившагося больнаго, то подходя, по его приказанію, къ зеркалу, заколоть булавкой свороченный на бокъ галстукъ, то изображая въ каррикатурѣ, какъ мы будемъ раскланиваться дамамъ и приглашать ихъ „pour une contredanse s'il vous plait". Онъ очень смѣялся нашимъ шалостямъ и все кивалъ на меня, повторяя: „какъ онъ, какъ онъ!" И Вася, въ угоду отцу, буфонилъ, подражая мнѣ, округлялъ локти и подымался на носкахъ, точно дѣло дѣлалъ...

Въ половинѣ девятаго, наконецъ, громко, точно изъ сосѣдней комнаты, долетѣли до насъ снизу звуки полонеза. Балъ начался.

— Пора, пора вамъ! залепеталъ Герасимъ Ивановичъ и, откинувшись на спинку кресла:—музыка... какъ хорошо! проговорилъ онъ. Все лицо его просіяло.

— А спать какъ же ты подъ это будешь? заботливо спросилъ его Вася.

— Лучше... сна, отвѣчалъ онъ, закрывая глаза,—хорошо... мнѣ... идите...

Мы отправились внизъ.

Все звончѣе гремѣлъ и заливался, и такъ и забиралъ за душу чудный полонезъ Огинскаго; тамъ было, въ особенности, одно мѣсто,—такое задумчивое и съ тѣмъ вмѣстѣ увлекающее, что каждый разъ, какъ повторялось оно, меня всего передергивало: не то заплакать хотѣлось, не то вскочить на самаго бѣшенаго изъ жеребцовъ Ѳомы Богдановича и понестись на немъ въ степь, и скакать до тѣхъ поръ, пока никакой силы уже не станетъ... Мнѣ былъ хорошо извѣстенъ этотъ полонезъ,—я его уже не разъ слышалъ въ Богдановскомъ, и старикъ Опицкій даже разсказывалъ какъ-то при мнѣ Ѳомѣ Богдановичу, что композиторъ его, наскучивъ

жизнью, велѣлъ себѣ сыграть эту вещь въ послѣдній разъ и, дождавшись того самаго любезнаго мнѣ мѣста, пустилъ себѣ пулю въ самое сердце, и что съ тѣхъ поръ, въ память его, мѣсто это при исполненіи всегда сопровождается пистолетнымъ выстрѣломъ. Я передалъ это теперь Васѣ, пока мы пробирались съ нимъ по корридору въ залу, прибавивъ, что Ѳома Богдановичъ очень перепугался тогда и объявилъ, что ни за что не позволитъ стрѣлять у себя въ домѣ, въ чью бы то память ни было.

— Онъ не изъ храбрыхъ, Ѳома Богдановичъ, говорилъ я Васѣ смѣясь.

Но, къ удивленію моему, Вася вдругъ поблѣднѣлъ при этомъ разсказѣ; онъ остановился и, вперивъ въ меня какой-то странный, смущенный взглядъ, спросилъ:

— На этомъ самомъ мѣстѣ... прямо въ сердце? И когда отыграли,—его нашли уже, вѣрно, мертвымъ?...

— Да, но я только этому не вѣрю. Старикъ Опицкій очень хорошій старикъ, но знаешь, когда онъ начнетъ про своихъ польскихъ героевъ, онъ много выдумываетъ... Папа называетъ его за это monsieur de Crac...

— Какая смерть!... проговорилъ тихо мой пріятель уже въ дверяхъ залы...

Она горѣла огнями,—съ перваго раза даже глазамъ было больно. На хорахъ помѣщался большой, извѣстный во всей губерніи, оркестръ богатаго князя Пузины, выписанный къ этому дню въ Богдановское. Шурша накрахмаленными юбками и звеня шпорами, выступали по паркету одна за другою пары.

Впереди всѣхъ шелъ генералъ Рындинъ. Онъ велъ подъруку хозяйку и весело улыбался ей изъ-подъ нафабренныхъ усовъ, потряхивая своими толстыми эполетами. Анна Васильевна, маленькая, худенькая, пресмѣшно какъ-то подпрыгивала, чтобы не отставать отъ своего дюжаго, далеко забиравшаго впередъ ногами кавалера. Ѳома Богдановичъ немедленно слѣдовалъ за нею съ Дарьей Павловной, которая, какъ жена сосѣдняго уѣзднаго предводителя, была самою почетною дамой бала; онъ былъ все въ тѣхъ же неизмѣнныхъ своихъ

нанковыхъ панталончикахъ и синемъ фракѣ, — за то въ бѣломъ жилетѣ и такомъ же крѣпко-на-крѣпко накрахмаленномъ и высочайшемъ галстукѣ, длинные концы котораго торчали кверху, въ видѣ заячихъ ушей;—онъ такъ сѣменилъ ножками и празднично выпиралъ брюшко свое впередъ, будто говорилъ своимъ зрителямъ: „а такъ, такъ, добрые люди, вотъ это самое брюшко принадлежитъ самому счастливому помѣщику во всей вселенной!“ Дама его глядѣла не менѣе оживленною, не менѣе счастливою. Дарья Павловна была очень *авантажна*, въ палевомъ газовомъ платьѣ, убранномъ васильками и золотыми колосьями, такая румяная, быстроглазая, пухленькая... „Вѣдь въ нее можно было бы влюбиться сегодня“, подумалъ я, „еслибы здѣсь не было *божества*“...

О, Господи, какъ хороша была въ этотъ вечеръ Любовь Петровна, въ вѣнкѣ изъ живыхъ лилій подъ свѣтлою косой, и сама бѣлая, стройная, воздушная—какъ эти лиліи! Точно по рѣчной глади скользила ея легкая поступь; длинные глаза сіяли такимъ страннымъ, точно сквозь туманъ прорывавшимся, блескомъ...

Русалка плыла по рѣкѣ голубой,

припомнились мнѣ, едва увидѣлъ я ее, стихи Лермонтова, надняхъ прочитанные и выученные нами съ Васей наизусть;—русалкой, именно русалкой глядѣла она въ этотъ вечеръ. Она улыбалась, очевидно не слушая его, своему бравому кавалеру, старому наполеоновскому улану, Опицкому, безъ котораго не обходился ни одинъ балъ Ѳомы Богдановича. Онъ былъ, видимо, очарованъ прелестью своей дамы и съ красивою старческою молодцеватостью наклонялся къ ней и приподнималъ въ то же время свой длинный сѣдой усъ, сгибая, по-польски, колѣни подъ тактъ полонеза и слегка притопывая ногой, обутою въ гусарскій съ золотою кистью сапогъ. Толстый артиллерійскій полковникъ велъ Галечку и уже пыхтѣлъ отъ усталости, не догадываясь, что Трухачевъ, шедшій за нимъ съ Angèle, повторялъ въ каррикатурѣ каждое его движеніе, его грузную походку, его сонную улыбку. Angèle хихикала на всю залу, а за нею звонкимъ смѣхомъ хохотала вся вереница

слѣдовавшей за ними молодежи. Я подхватилъ Васю, за недостаткомъ дамы, и потащилъ его догонять другихъ.

Въ это время на другомъ концѣ залы отворились двери нараспашку. Кто-то вошелъ и остановился, склонивъ учтиво голову предъ проходившею хозяйкой и генераломъ. Блеснулъ красный ментикъ, расшитый серебряными шнурами,—и Ѳома Богдановичъ, вырвавшись изъ ряда и таща за собою свою даму, кинулся къ нему съ громкимъ голосомъ:

— Сюрпризъ! А говорилъ же я, будетъ сегодня у меня сюрпризъ!

Неожидавшій, видно, никакого сюрприза, генералъ круто осадилъ на ходу Анну Васильевну и потянулъ назадъ голову изъ высокаго воротника своего мундира. За нимъ остановились всѣ, пары смѣшались. На хорахъ послышался сухой ударъ капельмейстеровой палочки, — музыка смолкла... Ѳома Богдановичъ повисъ на шеѣ барона Фельзена...

Я почувствовалъ, какъ рука Васи внезапно похолодѣла въ моей рукѣ. Онъ отдернулъ ее и отошелъ въ сторону.

— А рады, рады, признайтесь, — заслужилъ я отъ васъ спасибо? говорилъ хозяинъ, ухватывая опять руку Дарьи Павловны и, самъ весь колеблясь отъ смѣха, подводя ее къ новоприбывшему.

— Я, въ самомъ дѣлѣ, очень рада вамъ, баронъ, отвѣчала румяная дама, подавая ему руку и глядя на него своими черными, веселыми глазами.

— А вы тамъ что, наверху, заснули себѣ! загоготалъ снова Ѳома Богдановичъ, закинувъ голову и махая рукой музыкантамъ. Вальса швитче, греми музыка вальса! Баронъ, отличайтеся!

Фельзенъ тотчасъ же охватилъ талію Дарьи Павловны и стремительно понесся съ нею по залѣ.

Трухачевъ подлетѣлъ къ Любови Петровнѣ.

Я успѣлъ уже помѣститься поближе къ ней и глядѣлъ на нее во всѣ глаза.

— Вы меня не уроните? засмѣявшись спросила она Трухачева. И ничего не сказали для меня эти шутливыя слова, эта ея спокойная равнодушная улыбка; только еще блѣднѣе

показалось мнѣ ея лицо, еще сосредоточеннѣе выраженіе ея потемнѣвшихъ глазъ.

Лихой поручикъ помчалъ ее и, въ доказательство своей ловкости, сдѣлалъ съ ней цѣлыхъ три тура.

— N'abusons pas! засмѣялась она опять, вырываясь отъ него и возвращаясь на прежнее мѣсто.

Фельзенъ и его дама стояли тутъ же.

— Baron, mon oncle a raison—c'est une vraie surprise! молвила Любовь Петровна на его глубокій поклонъ, оправляя обѣими руками свою прическу.—Quel coup de vent vous ramène ici? продолжала она, медленно протягивая ему руку.

— Un coup d'état manqué, madame! отпарировалъ онъ, пожимая эту руку съ глубокимъ поклономъ.

— Какъ онъ любезенъ, однако! со смѣхомъ обратилась она къ Дарьѣ Павловнѣ.—Еслибъ его coup d'état удался ему, мы бы никогда, значитъ, его болѣе здѣсь не увидали?

— Совершенно справедливо, тѣмъ же тономъ и также обращаясь къ Дарьѣ Павловнѣ, отвѣчалъ гусаръ,—и съ этою единственною цѣлью онъ былъ даже предпринятъ.

— Ecoutez, воскликнула румяная дама, — да вы просто грубите!

— Нисколько, отвѣчалъ онъ,—я спасалъ себя отъ гибели, какъ всякая уважающая себя власть.

— Это значитъ?...

— Это значитъ то, повторилъ почти серьезно Фельзенъ,— что прекрасная здѣшняя сторона devenait trop île de Calypso pour moi...

— Et la nymphe Eucharis? едва давъ ему кончить, вопросительно подняла на него глаза Любовь Петровна.

Что-то неуловимое, мгновенное, какъ блескъ зарницы, промелькнуло въ обмѣненномъ ими взглядѣ,—но отъ этого *чего-то* меня точно ножомъ рѣзнуло по сердцу. За это *что-то*, почувствовалъ я въ это мгновеніе, люди не задумываются отдавать жизнь...

— Et la nymphe Eucharis? спросила опять Любовь Петровна, переводя глаза на Дарью Павловну и улыбаясь ей такъ, что не могло оставаться сомнѣнія, кого именно она раз-

умѣла подъ нимфой, противъ очарованій которой счелъ баронъ Фельзенъ нужнымъ прибѣгнуть къ coup d'état...

Румяная дама зардѣлась по самыя уши.

— Que dites-vous, ради Бога, душечка! воскликнула она, испуганно простирая руки къ Любови Петровнѣ.

— Rien d'impossible, отвѣчала та, — quand on est jolie comme vous...

И, приподнявъ свой круглый съ ямочкой локоть, причемъ тонкая ея талія качнулась, точно стебель цвѣтка, русалка опустила руку на плечо подошедшаго къ ней въ это время офицера и полетѣла съ нимъ по залѣ. Дарья Павловна робко, какъ бы не смѣя уже болѣе глядѣть прямо въ лицо Фельзена, взглянула на него сбоку.

— Отсутствующіе всегда неправы, прогорилъ онъ, усмѣхаясь своею, давно знакомою мнѣ, двусмысленною улыбкой.

— Пойдемте лучше вальсировать, безъ улыбки отвѣчала она на это.

„Зачѣмъ *она* хочетъ увѣрить эту бѣдную Дарью Павловну, что Фельзенъ влюбленъ въ нее?“ подумалъ я. „Вѣдь она лучше всѣхъ знаетъ, что это неправда... И неужели она не знала, что Фельзенъ непремѣнно пріѣдетъ сегодня,—не выжидала-ли она его утромъ у Галечки? Къ чему же это притворство, къ чему обманъ?“ Недоброе чувство шевелилось во мнѣ: мнѣ словно стыдно было за нее, и въ то же время я чувствовалъ, что самъ я готовъ бы былъ на всякій обманъ, на самую постыдную ложь, за то только, чтобы, какъ этотъ гусарскій офицеръ, вальсировавшій теперь съ нею, имѣть счастіе обнять ее моею рукой и крѣпко-крѣпко держать ее, такъ, чтобъ ея бѣлое, обнаженное плечо прижалось къ моей груди, чтобъ ея дыханіе чувствовалъ я на лицѣ моемъ... Но я не умѣю вальсировать, да еще въ два темпа... А еслибы даже умѣлъ,—я не могъ бы, я бы упалъ въ обморокъ, кажется... Какъ это они всѣ могутъ вальсировать съ нею, и такъ близко держать ее къ себѣ, и съ ума не сходятъ отъ счастія!...

— Кадриль французскую! раздалась новая команда Ѳомы Богдановича. Я опять отправился въ сосѣдство красавицы.

Она стояла подлѣ Анны Васильевны и Галечки и разговаривала съ Дарьей Павловной.

— M'accorderez vous la premiѣre contredanse, mademoiselle? спросилъ Фельзенъ, подходя къ молодой хозяйкѣ.

— Avec plaisir, поспѣшила отвѣтить Галечка, — она, кажется, только этого и ожидала,—заморгавъ даже отъ удовольствія.

— Борисъ, громко сказала, обернувшись ко мнѣ, Любовь Петровна:—я, кажется, вамъ обѣщала эту кадриль?

Она мнѣ никогда не обѣщала ничего подобнаго, и это неожиданное предложеніе наполнило меня такимъ восхищеніемъ, что я даже слова не могъ промолвить, а только взглянулъ на нее такъ, что она разсмѣялась и ударила меня слегка вѣеромъ по щекѣ.

— Я сейчасъ найду vis à-vis, пробормоталъ я, кидаясь его отыскивать.

— Вамъ нуженъ vis-à-vis? остановилъ меня баронъ Фельзенъ:—позвольте вамъ себя предложить, у меня нѣтъ...

Музыка заиграла кадриль изъ *Бронзоваго коня*. Дрожащею рукой прикоснулся я къ рукѣ русалки и сталъ съ нею въ рядъ, противъ Галечки и Фельзена.

Онъ былъ, казалось, весь занятъ своею юною дамой и разсказывалъ ей что-то очень веселое, заставлявшее Галечку то-и-дѣло прятать въ букетъ смѣявшееся лицо свое. Любовь Петровна, въ свою очередь, разсѣянно глядѣла по сторонамъ и только повременамъ обращалась ко мнѣ съ короткимъ напоминаніемъ: à vous! Я отъ удовольствія и непривычки постоянно путался.

Въ третьей фигурѣ, пока я усердно балансировалъ въ chaine anglaise, до меня донеслось слово „мазурка“, проговоренное Фельзеномъ.

— Non, non, vous avez Eucharis, спѣшно отвѣчала ему, проходя на мѣсто, Любовь Петровна.

— Неужто она ревнуетъ его къ Дарьѣ Павловнѣ? засѣло у меня въ головѣ, и я почему-то никакъ не могъ отвязаться отъ этой мысли.

— Prenez moi la taille, jeune homme, неожиданно послышался мнѣ ея голосъ.

Послѣднюю фигуру кадрили танцовали галопомъ. Я обнялъ талію моей дамы, обнялъ стремительно и безотчетно...

Огоньки запрыгали у меня въ глазахъ: безумное желаніе прикоснуться губами къ бѣлому плечу ея неодолимо охватило меня... Я еще крѣпче прижалъ ее къ себѣ...

— Mais lachez-moi donc, maladroit! крикнула она на меня: она приписывала это моей неловкости!...

Я ее выпустилъ, нечаянно, вдругъ, какъ выпускаютъ пойманную птичку изъ руки, въ которой она отчаянно трепещетъ...

Ее подхватилъ мой vis-à-vis; подъ моею рукой очутилась длинная, темнокожая и сухая Галечка...

Не знаю, какъ передалъ я ее опять Фельзену, какъ снова перешла ко мнѣ отъ него Любовь Петровна, какъ кончилась эта кадриль,—я уже ничего не видѣлъ, не понималъ:—точно туманомъ задернулось для меня все окружающее и нестерпимо била кровь въ виски...

XXVII.

Я очнулся на террасѣ, подъ безоблачнымъ и безлуннымъ небомъ, съ котораго, чудилось мнѣ, глядѣли на меня, точно зоркія и строгія зѣницы, большія мигающія звѣзды. Отъ померанцевыхъ деревъ проносился въ прозрачномъ и тепломъ воздухѣ какой-то невыразимо тонкій, почти неуловимый запахъ. Свѣтъ изъ оконъ падалъ на нихъ длинными правильными полосами, и зрѣющій плодъ индѣ желтѣлъ подъ ихъ сочными отливисто-темными листами.

Въ одной изъ этихъ полосъ свѣта отчетливо рисовалась смѣлая фигура Саши Рындина. Онъ сидѣлъ на кадкѣ и разговаривалъ съ кѣмъ-то, незримымъ за деревомъ раздѣлявшимъ ихъ, но котораго можно было узнать по длиннымъ ногамъ, вылѣзавшимъ впередъ изъ мрака, словно на показъ. Это былъ *командоръ*, вѣчный Сашинъ собесѣдникъ. Еще кто-то третій пріютился на другой кадкѣ, подалѣе отъ нихъ, но о его присутствіи здѣсь можно было догадаться лишь по блеску свѣта, падавшему на его бѣлый жилетъ: лица не было видно за тѣнью низко опускавшейся надъ нимъ шапки апельсиннаго дерева.

Саша меня не замѣтилъ.—Тѣмъ лучше, подумалъ я,—онъ бы непремѣнно сталъ приставать за нашу съ Васей „измѣну“ утромъ... И я усѣлся на диванѣ у стѣны, въ самой темн. Я еще не успѣлъ совладать съ собою, я весь еще горѣлъ соблазномъ пережитой мною минуты...

— Когда, подъ Денневицемъ, горячо говорилъ между тѣмъ Саша,—папа отбилъ эти двѣ пушки подъ самымъ носомъ французовъ, развѣ это не было геройство?

— Ловкое дѣло, промычалъ на это изъ-за дерева командоръ.

— Или, подъ Кулевчей, когда отъ его выстрѣловъ взорвало всѣ зарядные ящики въ арміи визиря, и онъ съ кавалеріей ринулся съ горы...

— Нашъ полкъ ходилъ, проговорилъ опять маіоръ,—я взводомъ командовалъ...

— Счастливецъ вы! воскликнулъ Саша.—И вы еще можете говорить, что геройства нѣтъ!...

— Удача!

— *Удача!* повторилъ недовольнымъ тономъ Рындинъ:— Суворовъ говорилъ: сегодня счастье, завтра счастье, надо когда-нибудь и умѣнье...

— Кому мать, кому мачиха, договорилъ, не отвѣчая на его возраженіе, командоръ.

Рындинъ въ свою очередь не слушалъ его.

— А я хочу быть такимъ же героемъ, какъ папа, котораго вся русская армія, вся Россія знаетъ, который въ исторію попалъ,—въ исторію *Двѣнадцатаго* года, Степанъ Парѳенычъ! восторженно примолвилъ онъ.—Меня убьютъ, или, повѣрьте, и я заслужу, какъ онъ, Георгіевскій крестъ, спасая отечество!...

— Можно, только-бъ случай вышелъ, подтвердилъ одобрительно маіоръ,—и въ этихъ словахъ его слышалось, что онъ дѣйствительно вѣрилъ въ то, что такой человѣкъ, какъ Саша Рындинъ, заслужитъ Георгіевскій крестъ или будетъ убитъ.

— Какъ не быть случаю! самоувѣренно сказалъ тотъ.

— Н-ну! сомнительно промурлыкнулъ маіоръ.

— Что ну?

— Кто къ намъ теперь къ чорту полѣзетъ! объяснилъ онъ.

— Послѣ Парижа! горделивымъ голосомъ воскликнулъ Рындинъ.—Еще бы!... Только неужели вы думаете, что по выходѣ въ офицеры я останусь киснуть въ гвардіи, тянуть тамъ носокъ на парадѣ? Шалишь! У меня давно въ головѣ планъ сдѣланъ, и, я знаю, папа будетъ не прочь,—какъ произведутъ, я тотчасъ же перейду поручикомъ на Кавказъ....

— Лихо! отозвался командоръ.

Саша Рындинъ всталъ, поднялъ голову.

— Ночь какая славная!... Вообразите себѣ, Степанъ Парѳенычъ, въ такую ночь экспедицію на Кавказѣ,—я все теперь знаю, баронъ Фельзенъ мнѣ подробно все разсказывалъ.... Вообразите,—дикое, узкое ущелье, и лѣпятся по немъ солдатики наши, одинъ за другимъ, никто не смѣетъ слова промолвить, строгій приказъ,—штыки припрятаны, чтобъ не блестѣли при мѣсяцѣ, кругомъ все горы, только небо да звѣзды сверху видно.... И вотъ до хребта добрались благополучно, перевалили,—а тамъ въ долинѣ аулъ, черкесы, завалы... Урра! наши кидаются на завалъ, черкесы оттуда отвѣчаютъ убійственнымъ огнемъ.... Но вдругъ во флангѣ ихъ появляется другая наша колонна, врагъ бѣжитъ, мы врываемся въ аулъ,—и все гибнетъ подъ нашими ударами.

— За что? прервалъ его вдругъ тихій голосъ, голосъ Васи,—это онъ сидѣлъ тамъ, подъ деревомъ, въ бѣломъ жилетѣ.

— Какъ за что? гнѣвно крикнулъ Рындинъ, прерванный на самомъ торжественномъ мѣстѣ своей фантазіи.

— За то, что они спасаютъ свое отечество, какъ ты свое хочешь спасать? такъ же тихо отвѣтилъ Вася.

— Н-ну! неодобрительно пробурчалъ опять маіоръ.

— Какъ же ты можешь такъ глупо разсуждадь? И Саша кинулся, размахивая руками, къ Васѣ.—Вѣдь они хищники, разбойники, которые живутъ грабежемъ нашихъ, *русскихъ* областей! Развѣ мы можемъ допускать это?

— Не допускайте ихъ грабить у насъ, а если вы отправляетесь къ нимъ—*губить* ихъ, вы такіе же злые хищники, какъ они...

— Знаешь, Вася, сказалъ рѣзко Рындинъ,—еслибы ты не былъ мой двоюродный братъ, я подумалъ бы, что ты жидъ какой-нибудь, у котораго нѣтъ отечества, и потому ему всѣ народы равны. Въ тебѣ *русской жилки* нѣтъ совсѣмъ.... И это потому, что тебя по Нѣмечинѣ слишкомъ долго таскали,—вотъ что! докончилъ онъ, и быстрыми шагами отошелъ отъ него.

Я былъ ужасно оскорбленъ за моего *друга* и соскочилъ

съ мѣста, съ намѣреніемъ вызвать Сашу на споръ уже со мною, въ защиту Васи. Но я не успѣлъ: съ звонкимъ говоромъ и смѣхомъ высыпала въ эту минуту изъ гостиной на террасу длинная вереница танцующихъ, подъ предводительствомъ Трухачева,—онъ придумалъ закопчить шестую фигуру кадрили прогулкой по саду....

— Погодите, погодите! слышенъ былъ за ними покатистый хохотъ Ѳомы Богдановича.—Жидовскій шлюбъ (свадьбу) заразъ устроимъ!

Пары остановились на мгновеніе. Дарья Павловна, стоявшая впереди съ Трухачевымъ, обвела глаза кругомъ и увидѣла Сашу.

— Александръ Иванычъ, крикнула она,—вы не танцуете, какой срамъ! Я папашѣ вашему пожалуюсь...

— У мень дамы нѣтъ, отвѣчалъ онъ.

— Такой душка, какъ вы, и чтобъ у васъ дамы не было! Хотите со мной, я васъ приглашаю?..

— А меня ужь не нужно? встревоженно и плачевно вскрикнулъ Трухачевъ.

— И васъ нужно, и Александра Иваныча нужно, заливалась она смѣхомъ, какъ ребенокъ.—У меня будутъ два кавалера. Я не храбрая, а вы, Богъ васъ знаетъ, въ какую темноту заведете насъ, — такъ мнѣ двухъ нужно, чтобы волки меня не съѣли.

— Веду, веду! послышался снова крикъ Ѳомы Богдановича. Онъ выскочилъ на террасу: за нимъ бѣжали четыре музыканта со скрипками.

— Скрипицы впередъ ступай, скомандовалъ онъ,—да *вай-вай* вальса пили!

Музыканты стали во главѣ танцующихъ и заиграли весьма извѣстный въ нашемъ околодкѣ вальсъ на еврейскій мотивъ, „вай-вай вальсъ“, какъ называлъ его Ѳома Богдановичъ. Двадцать лѣтъ спустя, слушая въ первый разъ *Гугенотовъ* Мейербера, мнѣ вспомнился этотъ мотивъ, несомнѣнный первообразъ начала знаменитаго дуэта Рауля и Валентины въ 4-мъ дѣйствіи...

Дарья Павловна, не покидая руки Трухачева, подхватила

другою Сашу Рындина. Подпрыгивая и спѣша, исчезали одна за другою пары во мракѣ большой аллеи. Въ самомъ хвостѣ ихъ шли Фельзенъ и Любовь Петровна, укутанная въ свой бѣлый бурнусъ. Они казались непричастны общему веселому расположенію и двигались безъ улыбки и безъ словъ, не подымая глазъ другъ на друга...

Терраса опустѣла. Вася исчезъ; даже командоръ убралъ куда-то свои длинныя ноги.

— Вася! крикнулъ я.

Отвѣта не послѣдовало. Куда онъ ушелъ? Я отправился въ садъ, въ надеждѣ встрѣтиться съ нимъ.

Едва слышенъ былъ звукъ скрипокъ. Бѣлыя женскія платья, при слабомъ мерцаніи звѣздъ, походили издали на легкіе клубы тумана, волновавшіеся надъ землей. И тѣхъ уже не видно стало. Ночь ушла снова въ свое торжественное безмолвіе. И такъ примирительно вѣяло отъ этой тишины ея!... Мнѣ захотѣлось вдругъ заплакать, тихими, долгими слезами заплакать, и не оттого, что я такъ „грѣшенъ“ былъ сейчасъ, когда обнималъ въ кадрили Васину мать, — я какъ бы уже совсѣмъ успѣлъ позабыть объ этомъ, — а потому, что я теперь здѣсь одинъ, какъ въ пустынѣ, и такъ чудно тиха и тепла ночь, и свѣжій воздухъ такъ сладко льется въ грудь, и сквозь недвижные листья съ недосягаемаго неба глядятъ на меня эти зоркія и непостижимыя *Божьи очи*...

— Вася! позвалъ я снова.

Отвѣта опять нѣтъ, — но мнѣ показалось, что гдѣ-то невдалекѣ кто-то перебѣжалъ по травѣ въ кленовую аллею.

— Зачѣмъ ты отъ меня прячешься, Вася? И я направился ощупью,—подъ деревьями было темно, какъ въ погребѣ,—по тому же направленію.

Но и тутъ не было никого.

— Ну, и Богъ съ тобою! сказалъ я громко, не безъ досады,—и пошелъ прямо.

На встрѣчу мнѣ понеслись опять музыка и смѣхъ: кадриль, предшествуемая скрипачами, возвращалась въ домъ по кленовой аллеѣ. Я свернулъ за дерево, чтобы дать ей мѣсто. Словно легкіе, веселые призраки замелькали предо мною, —

слышны были звуки, шаги и голоса, и никого въ лицо узнать нельзя...

— Вотъ ужасы! Темь какая! Куда это вы насъ завели? звонко восклицала Дарья Павловна.

— Во адъ кромѣшный! діаконскимъ басомъ, отвѣчалъ ей кто-то сзади,—и смѣхъ перекатывался эхомъ по всему длинному ряду паръ.

— Нѣтъ, вотъ у насъ въ Смольномъ, пищала Angèle, — пойти ночью въ *берлогу*—вотъ страхъ!..

— Въ *берлогу*? повторилъ за ней насмѣшливый мужской голосъ:—развѣ у васъ въ Смольномъ медвѣди водятся?

— Ахъ, пожалуйста! обидчиво крикнула Angèle,—у насъ тамъ одинъ корридоръ такъ называется.

— Ахъ, ахъ, спасите! завопила дама въ послѣднихъ рядахъ.

Произошло какое-то смятеніе, остановка.

— Что съ вами? Что случилось? сыпались встревоженно вопросы.

— Лягушка мнѣ на ногу вскочила... я сквозь чулокъ почувствовала...

— И соскочила? сострилъ кто-то.

— Д-да, кажется, трепетнымъ голосомъ отвѣчала трусиха.

— Молодецъ лягушка, видно, въ свѣтѣ жила, отпустилъ тотъ же острякъ.

Новый взрывъ смѣха,—и отставшія пары побѣжали догонять переднихъ.

Одна, послѣдняя, не поспѣшила за другими. Она подвигалась не торопясь и вела тихій разговоръ; нѣсколько словъ долетѣли до меня:

— Что я выстрадалъ! говорилъ Фельзенъ.

— А я!.. точно вырвалось изъ устъ Любови Петровны.

Онъ что-то неслышно прошепталъ во мракѣ... Я могъ почти дотронуться до нихъ рукой... Я едва дышалъ... Шаги замедлились, стали,—на мигъ все замерло,—въ нѣмомъ воздухѣ пронесся какой-то мягкій звукъ, словно взмахъ птичьяго крыла,—и тотчасъ вслѣдъ затѣмъ послышался перепуганный шепотъ.

— Au nom du ciel, laissez moi... Rejoignons les autres...

И песокъ снова заскрипѣлъ подъ ногами быстро удалявшихся счастливцевъ.

Я упалъ въ траву и разрыдался какъ сумасшедшій...

Строгіе, проницательные глаза maman точно блеснули въ темнотѣ предо мною. О, что сказала бы она, увидѣвъ меня въ этомъ положеніи! И чего я хочу, чего плачу? Какое мнѣ дѣло до того, кого *она* любитъ, кому дозволяетъ цѣловать себя... Я бы долженъ былъ горѣть отъ стыда за нее, за *Васину мать*... а я я, несчастный,—я завидую тому, кто...

Я вскочилъ, словно какая-то пружина заставила меня вскочить, словно какая-то сила извнѣ осушила мнѣ вѣки и внушила внезапное рѣшеніе.—Она же увидитъ, что это мнѣ все равно! громко вскрикнулъ я.

Въ это самое время явственно послышались шаги кого-то шедшаго по аллеѣ въ мою сторону.

— Кто тамъ? крикнулъ я въ перепугѣ.—Что, если подслушали мои слова! подумалъ я съ ужасомъ.

— Я, отвѣчалъ слишкомъ знакомый голосъ...

— Это ты, Вася? едва былъ я въ силахъ проговорить засохшимъ языкомъ.

— Я, я... Или ты испугался?

Онъ подошелъ ближе.

— Нѣтъ... но откуда ты?

— Изъ сада,—я гулялъ въ сиреневой аллеѣ, примолвилъ онъ съ какою-то, показалось мнѣ, не совсѣмъ естественною поспѣшностью.

— Боже мой, неужели онъ былъ здѣсь и слышалъ, какъ я!...

— Отчего ты мнѣ не откликнулся, когда я звалъ тебя? спросилъ я его.

— Когда это? какъ бы съ удивленіемъ спросилъ онъ въ свою очередь.

— Да вотъ, сейчасъ... недавно... предъ тѣмъ, какъ прошла кадриль. Вѣдь ты встрѣтился съ нею?

— Да, они сейчасъ прошли, сказалъ онъ, не отвѣчая прямо на мой вопросъ,—я видѣлъ... оттуда, неопредѣленно примолвилъ онъ,—я только сейчасъ повернулъ...

— Хочешь погулять, Вася?

— Нѣтъ, съ меня будетъ, сухо отвѣчалъ онъ,—я къ себѣ пойду.

— Такъ и я съ тобой.

— Нѣтъ, пожалуйста, какимъ-то раздраженнымъ тономъ отказалъ онъ. Дядя обо мнѣ не подумаетъ, онъ знаетъ, что я бука,—а замѣтитъ, что тебя нѣтъ на его балѣ, непремѣнно прискочитъ къ намъ наверхъ, нашумитъ, накричитъ—и отца моего разбудитъ.

Вася никогда не звалъ Герасима Ивановича иначе, какъ „папа“. Мнѣ показалось страннымъ употребленное имъ теперь выраженіе; говоря *„моего отца“*, онъ какъ бы невольно усиливалъ изъявленіе своей нѣжности къ нему, будто болѣе, чѣмъ когда-нибудь, въ эту минуту ощущалъ эту нѣжность къ немощному гдѣ-то въ углу этого ликующаго дома, отцу своему...

Мы пошли молча, рядомъ.

— Я былъ на террасѣ, когда ты съ Сашей о черкесахъ спорилъ, сказалъ я ему,—только ты, кажется, меня не замѣтилъ.

— Не помню, отвѣтилъ онъ разсѣянно.

— Я хотѣлъ непремѣнно побраниться за тебя съ Сашей. Какъ онъ смѣетъ говорить, что у тебя *русской жилки* нѣтъ!

— Онъ правъ, сказалъ неожиданно Вася.

— Какъ правъ?

— У меня никакой *жилки* нѣтъ, — я это самъ знаю. Я самъ понимаю, что я не какъ всѣ люди...

— Отчего же это, Вася?...

Мы выходили изъ аллеи, и яркое освѣщеніе било намъ изъ окна прямо въ глаза. Я воспользовался этою первою возможностью взглянуть въ лицо моего друга.

Но онъ тотчасъ же отвернулъ его и круто повернулъ въ сторону, по направленію флигеля.

— Ты не забылъ, что ночуешь сегодня у меня, Борисъ? громко проговорилъ онъ на ходу.—Пожалуста не шуми, когда вернешься.

Я вздохнулъ, постоялъ нѣкоторое время въ раздумьи на самой чертѣ, отдѣлявшей темень сада освѣщенной огнями дома террасы, — и отправился опять въ эту темень, въ опустѣвшій садъ.

XXVIII.

Уже въ полномъ разгарѣ была мазурка, когда я вернулся на балъ. Ее велъ Трухачевъ, танцовавшій съ Любовью Петровной. Рядомъ съ ними сидѣла, помахивая вѣеромъ, молодая хозяйка; кавалеромъ ея былъ старикъ Опицкій, и по надутымъ губкамъ Галечки можно было предположить, что ей не очень льстило танцовать со старикомъ, а главное съ арендаторомъ ея отца, то-есть „почти съ управителемъ", какъ выразилась она однажды при мнѣ.

А между тѣмъ сѣдой наполеоновскій воинъ былъ лучшій мазуристъ всего общества. Надо было видѣть, съ какою щеголеватою удалью проходилъ онъ по залѣ, въ своей шитой по всѣмъ швамъ синей венгеркѣ и гусарскихъ сапожкахъ, лихо постукивая каблуками и шевеля широкимъ плечомъ, какъ ловко перебрасывалъ онъ даму съ правой руки на лѣвое плечо свое и, подхвативъ ее, отчаянно закидывалъ голову назадъ, будто говорилъ: а попробуй кто-нибудь отнять ее у меня! — и вертѣлъ ее вокругъ себя въ какомъ-то бѣшеномъ вихрѣ. Каждый разъ послѣ этого по всему кругу танцующихъ пробѣгалъ одобрительный смѣхъ, слышались рукоплесканія и громкое *браво*. Молодые офицеры видимо подлаживались подъ него и старались уловить тайну неподражаемыхъ колѣнъ, выдѣлываемыхъ, словно по вдохновенію, его еще удивительно крѣпкими и ловкими ногами. Дамы безпрестанно выбирали его, и старикъ, сдѣлавъ съ ними туръ или два, возвращался на мѣсто, обмахиваясь краснымъ фуляромъ, и опять начиналъ пѣть какія-то любезности Галечкѣ, глядя на нее съ осо-

бенно почтительнымъ, заискивающимъ, почти подобострастнымъ видомъ, странно противорѣчившимъ той молодцевато-гордой осанкѣ, съ которою онъ только-что прошелся въ мазуркѣ... Дарья Павловна съ Фельзеномъ сидѣли, затерявшись въ числѣ прочихъ танцующихъ, на противоположномъ концѣ залы.

Среди общаго движенія танца то-и-дѣло мелькала юркая и назойливая фигура Булкенфресса. То попадаясь на встрѣчу быстро несшейся парѣ и безцеремонно откидываемый въ сторону нетерпѣливою рукой кавалера, то наступая на платья дамъ, взвизгивавшихъ и чуть не со слезами кричавшихъ на него: *противный!*— онъ безпрестанно перебѣгалъ съ одного конца залы на другой. Прибѣжитъ, усядется за спиной Любови Петровны, къ видимому неудовольствію Трухачева, и заболтаетъ, размахивая руками и откидывая кончикомъ носа кверху спадавшія съ этого неудобнаго носа очки. Она, не поворачивая головы, слегка сдвинувъ брови и безъ улыбки, слушаетъ его, едва отвѣчая. Онъ вскочитъ, перебѣжитъ къ Фельзену, и тамъ повторяется то же. Гусаръ хмурится еще болѣе, чѣмъ Любовь Петровна. — Wollen Sie doch endlich ruhig bleiben! говорилъ онъ ему уже болѣе гнѣвнымъ, чѣмъ шутливымъ образомъ, въ то самое время, когда я усаживался за стуломъ Саши Рындина, котораго Дарья Павловна, какъ оказывалось, заставила танцовать съ Angèle и помѣстила рядомъ съ собою.

Булкенфрессъ взглянулъ на барона исподлобья; недобрая, пронзительная какая-то улыбка скользнула по его тонкимъ губамъ,—онъ видимо готовился отвѣчать какимъ-нибудь ѣдкимъ словомъ, но не сказалъ этого слова и съ притворнымъ равнодушіемъ откинулся въ спинку своего кресла.

— Я еще въ Смольномъ всѣ гвардейскіе мундиры знала, объясняла тѣмъ временемъ Сашѣ дѣвица Angèle.

— А уроки свои знали? бухнулъ ей въ отвѣтъ свирѣпо глядѣвшій на ея безбровое и зеленоватое лицо Саша.

— Кому можно вѣрить въ нашъ вѣкъ? говорила въ свою очередь Фельзену Дарья Павловна, вздыхая далеко не печальнымъ вздохомъ.

— Вы это справедливо сказали, m-me фонъ-Дорошенко, вмѣшался въ разговоръ Булкенфрессъ, наклоняясь сзади къ ея стулу,—правда въ нашъ вѣкъ пропалъ...

— Это вы лучше всего своимъ примѣромъ доказываете, съ громкимъ смѣхомъ и очень мило, какъ-то приподнимая свои круглыя плечи, обернулась она къ нему. — Вообразите себѣ, баронъ, онъ предо мною такъ и разсыпается, а за глаза называетъ меня провинціальною Аспазіей. Я даже не знала, что это значитъ,—мужъ ужь мнѣ сказалъ, что это была, кажется, одна греческая наѣздница...

Булкенфрессъ покраснѣлъ какъ ракъ...

— O Gott! das ist doch infam! колотя себя въ грудь кулакомъ, оправдывался онъ. — Я шестный нѣмецъ, che (je) n'ai jamais dite que vous étiez une наѣздница.

Молоденькая жена уѣзднаго судьи подошла въ эту минуту къ Фельзену, держа за руку уже выбраннаго ею кавалера, помѣщика среднихъ лѣтъ, подвитаго à la mougik, въ синихъ очкахъ и атласномъ бѣломъ галстукѣ и съ брюшкомъ, не уступавшимъ брюшку Ѳомы Богдановича, но съ выраженіемъ лица не только глубокомысленнымъ, но даже *фатальнымъ*.

Фельзенъ учтиво вскочилъ и взялъ робко протягивавшуюся къ нему руку судейши.

— Vos qualités? спросила она его басомъ, напоминая въ то же время смущеніемъ всей своей особы оконфуженнаго цыпленка.

— Греческая наѣздница, отвѣчалъ гусаръ, улыбаясь по адресу румяной дамы.

— *Et vos* (то-есть, *ваши* качества?), тѣмъ же басомъ вопросила судейша приведеннаго ею кавалера.

Тотъ подумалъ, подумалъ...

— Твердый малороссіянинъ! неожиданною фистулой объявилъ онъ себя и, повернувшись на высокихъ каблукахъ, побрелъ, увлекаемый робкою судейшей.

Дарья Павловна, какъ закрылась платкомъ, такъ и не въ силахъ уже была отнять его отъ задыхавшагося смѣхомъ лица своего...

Я пошелъ бродить по комнатамъ. Вся эта веселость, музыка,

топотъ не въ состояніи были развлечь меня,—они, напротивъ, навели на меня какъ бы еще большую тоску. Я чувствовалъ что-то похожее на то, какъ если бы тебѣ къ ногамъ привязали пудъ свинца и сказали бы: ну, а теперь поди-ка, попляши! И ни на чемъ не могла остановиться мысль: Вася, мать его, баронъ Фельзенъ, Саша,—все путалось въ моей головѣ; точно облака, гонимыя вѣтромъ, проносились въ ней то тѣ, то другія неясныя черты, безтолковые обрывки фразъ,—безсвязно ныло что-то на сердцѣ тоскливое, противное, давящее. Скверно мнѣ было...

Въ гостиной разставлены были карточные столики. Немилосердо стучали по нимъ костлявыя руки играющихъ. Болѣе всѣхъ горячился генералъ Рындинъ; онъ игралъ въ преферансъ съ Ѳомой Богдановичемъ и старикомъ Золоторенко, которому везло „воловье счастье", какъ выражался генералъ, злобно фыркавшій и придиравшійся къ нему чуть не за каждую взятку. Бѣдный хозяинъ былъ въ отчаяніи: умоляющими глазами глядѣлъ онъ на сосѣда-пріятеля: — поудержи-молъ свою прыть хотя крошечку! — и великодушно самъ ставилъ ремизъ за ремизомъ. Но ничто не помогало; генералу шли однѣ семерки, да девятки, а Золоторенко, ни разу не отрывая глазъ отъ своихъ картъ, свирѣпо забиралъ одинъ за другимъ и его и Ѳомы Богдановича ремизы, обтирая лишь, въ интервалѣ сдачъ, свою отъ удовольствія ужасно потѣвшую, четвероугольную и лысую, какъ колѣно, голову. Петя, сидѣвшій, по обыкновенію, подлѣ отца, вытаскивалъ для этого каждый разъ изъ кармана его фрака огромнѣйшій фуляръ и засовывалъ его туда обратно, по минованіи надобности. Родитель его, когда сдавалъ, муслилъ большой палецъ правой руки толстымъ языкомъ своимъ, а затѣмъ языкъ этотъ такъ и оставлялъ высунутымъ въ углу рта на все время сдачи; эта невинная привычка выводила, видимо, изъ себя проигрывавшаго генерала:

— Послушайте, почтеннѣйшій, брякнулъ онъ ему наконецъ,—вѣдь я не докторъ!

Золоторенко передернулъ бровями и полѣзъ за прикупкой.

— Пантелей Савичъ, растерявшись крикнулъ Ѳома Богда-

новичъ, перекидываясь къ сосѣду и заглядывая ему въ глаза,— слышишь?

— Да, гм... промычалъ на это сосѣдъ, скидывая двѣ карты.

— Онъ знаетъ! успокоительно закивалъ Ѳома Богдановичъ генералу.

— Такъ для чего-жь тогда, гаркнулъ тотъ опять, — для чего же вы мнѣ вашъ языкъ показываете?

Старикъ Золоторенко прижалъ карты къ груди, поднялъ голову, поглядывая на вопрошавшаго,—и объявилъ девять безъ козырей.

— Тьфу! плюнулъ генералъ, швыряя карты свои на столъ.—Какъ сквозь строй прогналъ! Я дѣлюсь!...

Сосѣдъ уложилъ бережно въ портфель проигранныя ему ассигнаціи, а два серебряные рубля, тутъ же случившіеся, сунулъ Петѣ, съ краткимъ объясненіемъ:

— На граматыку просилъ!...

— Ариѳметикѣ самъ выучитъ! желчнымъ смѣхомъ захохоталъ генералъ, кивая Петѣ на почтеннаго его батюшку.

И съ запорхавшимъ тотчасъ же на прытких своихъ ножкахъ Ѳомой Богдановичемъ онъ направился въ бальную залу.

А на сердцѣ у меня ноетъ все та же тоска, та же неодолимая тяжесть пригибаетъ меня, словно огромный мѣдный колоколъ на меня опустили...

— Вася, должно быть, давно уже спитъ. Отправлюсь и я,—что мнѣ здѣсь дѣлать!

Надо было опять проходить черезъ залу, мимо генерала и Ѳомы Богдановича, остановившихся у самыхъ дверей, за креслами Любови Петровны. Ее только-что примчалъ къ мѣсту баронъ Фельзенъ и почтительно раскланивался предъ ней...

— Баронъ, а каковъ баликъ? обратился къ нему генералъ, обнимая взглядомъ эту сіявшую огнями залу, съ гремящимъ оркестромъ на хорахъ и оживленною толпой танцующихъ.—Хоть-бы въ Петербургѣ, а?

— А не дай Боже,—гдѣ-жь намъ до столицы? воскликнулъ, чуть не вспрыгнувъ съ радости, Ѳома Богдановичъ и кинулся обнимать его превосходительство.

— И я осмѣлюсь повторить: „не дай Боже!“ сказалъ улыбаясь Фельзенъ, — потому что въ Петербургѣ этотъ балъ конечно на половину не былъ бы такъ веселъ.

— А, такъ, такъ! еще радостнѣе возгласилъ хозяинъ и кинулся обнимать барона.

Но тотъ успѣлъ ускользнуть во-время....

— Праздникъ вашъ, дѣйствительно, прелесть, дядюшка, обернулась къ нему Любовь Петровна.

Никогда не забуду я ея лица въ это мгновеніе: ничего загадочнаго, русалочнаго не оставалось уже на немъ; никогда еще такою сіяющею улыбкой не улыбались эти раскрытыя, влажныя ея губы. Это было счастливое, почти надменное отъ счастія лицо!...

Необычайное выраженіе его поразило не одного меня.

— Давно-съ, давно-съ, сестрица, не видалъ я васъ такою живою и прекрасною, галантерейно отпустилъ ей генералъ, видимо любуясь ея красотой.

Она не отвѣчала и только глянула на него снизу вверхъ, откинувши свою увѣнчанную лиліями прелестную голову на спинку кресла. „Вы правы“, говорилъ этотъ блаженный взглядъ.

Генералъ, широко улыбаясь, наклонился надъ ея кресломъ.

— Жить, сестрица, значитъ, еще можно?

— Должно! проговорила она, смѣясь; но въ звукѣ ея голоса было что-то болѣе чѣмъ веселый отвѣтъ на шутливый вопросъ генерала.—On ne vit qn'une fois, примолвила она и обернулась къ Трухачеву:

— Намъ начинать, кажется? Велите вальсъ играть...

Она отправилась выбирать кавалеровъ.

— А такъ, такъ, гоготалъ ей вслѣдъ Ѳома Богдановичъ,— треба жить поки живется и пить поки...

Я не слушалъ уже далѣе и за его спиной сталъ осторожно выбираться изъ залы. Я успѣлъ уйти въ другія двери незамѣченный имъ и въ три прыжка очутился въ верхнемъ этажѣ. Максимычъ ждалъ меня въ коридорѣ, на порогѣ Васиной комнаты.

— Шш! шикнулъ онъ на *Сильву*, бывшую съ нимъ и

радостно при видѣ меня застучавшую было хвостомъ по ножкѣ стула, на которомъ онъ сидѣлъ. — Вы тише входите, угрюмо шепнулъ онъ, поднося бережно руку къ замку двери.

— А Вася спитъ?

— Только сейчасъ заснули.

— Онъ у Герасима Иваныча сидѣлъ?

— Нѣтъ,—тамъ Савелій сидитъ. Они давно спятъ.

— А Вася что же дѣлалъ?

Еще угрюмѣе взглянулъ на меня Максимычъ, словно провинился я чѣмъ-нибудь.

— Лежали въ постелькѣ да плакали. Вотъ что дѣлали, пояснилъ Максимычъ и даже отвернулся отъ меня.

— Плакалъ? воскликнулъ я, чувствуя, что у самого меня мгновенно подступили слезы къ горлу.

— А то не плакать?... Чувствительность также имѣютъ... пробормоталъ несвязно Максимычъ, налегая на замокъ и тихо отводя дверь, чтобы дать мнѣ пройти.

Что хотѣлъ онъ сказать этимъ, и что могъ знать онъ о причинѣ слезъ Васи,—я не спрашивалъ. Да едва-ли и отвѣтилъ бы мнѣ на такой вопросъ суровый дядька мой.

Но когда при свѣтѣ внесенной имъ свѣчи, которую Максимычъ тотчасъ же и загородилъ рукой отъ спящаго, я увидѣлъ Васю, — онъ лежалъ въ постели лицомъ къ стѣнѣ, натянувъ одѣяло поверхъ самой головы, и только одна выбившаяся изъ-подъ него прядь длинныхъ его волосъ свивалась кольцомъ на бѣломъ полотнѣ его подушки,—когда подъ этимъ одѣяломъ я различилъ его тонкіе члены, съеженные и подобранные имъ, точно весь онъ хотѣлъ уйти въ себя, какъ бѣдная улитка въ свою хрупкую келейку,—я уже не сомнѣвался: Вася былъ тамъ, въ аллеѣ, онъ *все* слышалъ, какъ я... И не успѣлъ еще разуть меня Максимычъ, какъ самъ я, повалившись на мою кровать лицомъ къ стѣнѣ и забившись въ подушки, чтобы не слышалъ Вася, рыдалъ новыми, иными, еще болѣе горькими, но болѣе чистыми слезами, чѣмъ тамъ, въ саду, въ этомъ „проклятомъ“ саду...

— А суровый дядька мой, стаскивая съ ногъ моихъ чулки,

бормоталъ между тѣмъ своимъ страннымъ, глухимъ и грубымъ шепотомъ:

— Блаженни плачущіе, яко тіи утѣшатся... Помочи отстегните!... На соблазнъ одинъ дѣтей сюда отпустили... Завтра я васъ будить не стану, сами встанете... даже подушку ишь перекрестить забыли...

Онъ покрылъ меня одѣяломъ, заботливо заткнувъ конецъ его подъ тюфякъ, и заскорузлые его пальцы съ сизыми старческими ногтями, слегка задѣвъ меня за щеку, потянулись къ моей подушкѣ:

— Во имя Отца и Сына и...

Слезы мои еще не успѣли высохнуть, какъ я уже спалъ мертвымъ сномъ...

XXIX.

Еще цѣлыхъ три дня продолжался праздникъ въ Богдановскомъ. Щедрою рукой во всѣхъ видахъ сыпалъ удовольствія Ѳома Богдановичъ гостямъ своимъ: онъ ихъ возилъ утромъ въ экипажахъ завтракать въ лѣсъ, за десять верстъ отъ села; вечеромъ угощалъ прогулкой по озеру въ большой, устланной коврами лодкѣ, въ которой пили чай при свѣтѣ безчисленныхъ цвѣтныхъ фонарей. Неизбѣжные пѣвчіе пѣли утромъ въ лѣсу, пѣли вечеромъ въ лодкѣ, пѣли послѣ обѣда на террасѣ, пѣли до сипоты, до потери голоса, до того, что Богунъ разбранился наконецъ со своимъ паномъ и, купно со всѣми басами своего хора, напился съ досады пьянъ до безчувствія. Капельмейстеръ князя Пузины спасъ Ѳому Богдановича отъ печальныхъ послѣдствій гнѣва и отчаянія, въ которыя ввергъ злополучнаго помѣщика такой ужасный поступокъ со стороны коварнаго Богуна: онъ согласился, за большія деньги, остаться съ оркестромъ на лишній день въ Богдановскомъ. Ѳома Богдановичъ расцвѣлъ душой снова, а молодому большинству его гостей приходилось даже гораздо болѣе по душѣ инструментальная, чѣмъ вокальная музыка. Подъ веселые звуки ея расходившаяся молодежь плясала съ утра до вечера. „И во снѣ такой чудесной жизни не бываетъ, какъ у васъ въ дѣйствительности!“ восклицало восторженное „офицерство“, качая на рукахъ умиленнаго и счастливаго хозяина, послѣ каждаго обѣда и ужина...

„Артиллерія“ только не оправдала его надеждъ. Ея „полированные“ и „ученые“ представители оказались черезчуръ

уже полированными и учеными: они вскакивали съ мѣстъ, краснѣли и смущались заранѣе, едва достигало до чуткаго ихъ слуха шуршанье женскаго платья, — за то танцовали плохо, или и вовсе не танцовали, держались особнячкомъ и „занимать“ прекрасный полъ „пріятнымъ разговоромъ“ оказались окончательно неспособными. Гусары безъ труда оттерли ихъ отъ всѣхъ мѣстныхъ „очаровательницъ“, — и Ѳома Богдановичъ, раздѣляя общее впечатлѣніе, не нашелъ въ возраженіе ни единаго изъ обычныхъ ему горячихъ доводовъ и страстныхъ упрашиваній, когда толстый батарейный командиръ, пыхтя и тяжело шаркая ногой, объявилъ ему, на другой же день послѣ бала, что „пора имъ на службу царскую, восвояси“. Безъ сожалѣнія отпустилъ его Ѳома Богдановичъ со всѣми его офицерами. „Никакого вида не имѣютъ“, выражался онъ о нихъ неодобрительно, „и форма у нихъ *такая-жъ брудная* какъ они сами“, — и, проводивъ ихъ до крыльца, тотчасъ же побѣжалъ наверхъ, приказывая людямъ вымести и прибрать оставленную артиллеристами комнату и перенести въ нее вещи барона Фельзена.

Я встрѣтился съ нимъ въ корридорѣ. Фельзенъ догонялъ его.

— Это совершенно безполезно, кричалъ онъ ему,—я послѣ-завтра уѣзжаю; стоитъ-ли перебираться на сутки?

— А тамъ ще побачимъ, какъ вы уѣдете! гоготалъ Ѳома Богдановичъ,—а дорогаго гостя не оставлю жить во флигелѣ съ крысами. Тамъ, о какія крысы ходятъ! отмѣривалъ онъ себѣ пальцами по локоть.

— Тутъ, я помню, кто-то помѣщался, заговорилъ опять гусаръ.

— А вотъ кто съ французомъ жилъ тутъ — Борисъ, о! указывалъ на меня Ѳома Богдановичъ. — А теперь ему еще лучше: съ Васей Лубянскимъ живутъ вмѣстѣ. Правда, лучше тебѣ, Боря? И, не дожидаясь моего отвѣта:—А Герасима моего видѣли?

— Нѣтъ еще... проговорилъ гусаръ.

— Такъ ходимъ, ходимъ до него! Поглядите, какъ онъ у насъ тутъ поправился.

Фельзенъ—я это видѣлъ,—едва могъ совладать съ непріятнымъ впечатлѣніемъ, какое произвело на него это неожиданное имъ предложеніе.

— Не обезпокоимъ-ли мы больнаго? съ замѣшательствомъ проговорилъ онъ, обращаясь болѣе ко мнѣ, чѣмъ къ Ѳомѣ Богдановичу.

— Я сейчасъ узнаю, поспѣшилъ я отвѣтить и побѣжалъ стремглавъ въ комнату Васи.

Онъ читалъ, уткнувъ голову въ обѣ руки.

— Вася, Вася, Ѳома Богданычъ тащитъ сюда, къ отцу твоему, этого гусара... барона...

— Не пускать его, не надо! съ побагровѣвшимъ лицомъ вскочилъ онъ съ мѣста.

— Поздно, Вася. Слышишь, они ужь вошли въ его комнату... Не пойти-ли намъ туда? Я боюсь, Ѳома Богдановичъ заговоритъ его...

— Ступай... Я не могу, промолвилъ онъ, въ какомъ-то изнеможеніи опускаясь снова на стулъ.

Ѳома Богдановичъ успѣлъ уже усадить Фельзена противъ самаго кресла Герасима Ивановича, и больной глядѣлъ на него пристально своими большими, вопрошающими и глубокими глазами.

Фельзенъ, уже вполнѣ овладѣвшій собою, заботливо разспрашивалъ его о здоровьѣ, сопровождая эти разспросы участливымъ, ласкающимъ взглядомъ. Ѳома Богдановичъ, размахивая коротенькими ручками и прыгая на мѣстѣ, отвѣчалъ за племянника, что онъ теперь здоровъ, какъ волъ, и что одна только лѣнь помѣшала ему вчера танцовать съ нимъ, роднымъ дядей своимъ, Ѳомой Галагаемъ, гопака, какъ „когдась диды ихъ танцовали“.

Онъ добился своего: улыбка скользнула по блѣднымъ губамъ больнаго.

— А вы... *сюда*... на... долго? спросилъ онъ гостя, въ свою очередь.

— И хотѣлъ бы, да не могу: служба одолѣла, эскадронъ, объяснилъ Фельзенъ съ видомъ учтиваго сожалѣнія.

— Вы хотѣли... совсѣмъ... уѣхать?

— Да, признаюсь,—и онъ даже вздохнулъ,—какъ ни полюбилъ я здѣшнюю привольную и гостепріимную сторону, — онъ взглянулъ на Ѳому Богдановича, — но честолюбіе не совсѣмъ еще замерло во мнѣ. Я думалъ, въ Петербургѣ успѣли положить гнѣвъ на милость относительно участниковъ этого несчастнаго поединка, quorum pars *minima* fui, промолвилъ Фельзенъ и самъ какъ-то необыкновенно искренно засмѣялся своему латинскому изреченію.

Герасимъ Ивановичъ тоже улыбнулся: добродушный тонъ Фельзена, его прямо и весело глядѣвшее лицо производили на него видимо хорошее впечатлѣніе; я самъ невольно поддавался обаянію этого необыкновенно близкаго къ правдѣ тона простосердечія и откровенности.

— От-ка-зали? спросилъ его опять больной.

— Отложили, отвѣчалъ гусаръ, полуулыбаясь, полувздыхая, — обѣщали, что „при случаѣ вспомнятъ“: а время уходитъ между тѣмъ, — и я все болѣе и болѣе отстаю отъ товарищей... Вы не служили въ военной службѣ, примолвилъ онъ, какъ бы извиняясь, — вамъ и непонятнымъ, и смѣшнымъ можетъ показаться то, что такъ тяжко переносить нашему брату въ эполетахъ,—именно это сознаніе, что *отсталъ отъ товарищей*.

Герасимъ Ивановичъ сочувственно качнулъ головой.

— Я не для этой дороги готовился... и, можетъ быть, не для нея и рожденъ, какъ бы отвѣчая самому себѣ, съ задумчивымъ медленіемъ продолжалъ Фельзенъ,—но въ Россіи теперь она ведетъ ко всему... И, какъ вѣроятно и заключили уже вы изъ моихъ рѣчей, домолвилъ онъ съ прежнимъ веселымъ видомъ,—я успѣлъ окончательно втянуться и полюбить ее...

— Такъ, такъ! поддакнулъ Ѳома Богдановичъ.

— Терпѣть на-до! сказалъ больной.

— Ждать, по крайней мѣрѣ, терпѣливо въ Юрасовкѣ, пока обо мнѣ „вспомнятъ“.

При словѣ *Юрасовка* Ѳома Богдановичъ вдругъ вскочилъ съ мѣста, затопалъ ножками и, лукаво подмигивая племяннику на Фельзена, запѣлъ:

А въ мѐне чàри, чàри готòвы:
Бúлее лыченько, и чòрни брòвы...

И больной, и гусаръ вопросительно взглянули на него.

— А Юхновка отъ Юрасовки сколько верстъ? обернулся онъ къ Фельзену.

— Не знаю.

— А неправду казали,—знаете! Три! *Пѣшки* въ четверть часа дойдете. А Юхновка чья, знаешь? спросилъ онъ уже Герасима Ивановича.

Тотъ кивнулъ утвердительно головой.

— Дорошенки, договорилъ голосомъ Ѳома Богдановичъ.— А Дорошенкова кто? опять повернулся онъ къ гусару.

— Дарья Павловна, проговорилъ съ запинкой баронъ Фельзенъ и, къ величайшему моему удивленію, даже весьма замѣтно покраснѣлъ.

— Гàннусю сèрдце, що-жь ты мúни дала,
Що мене до себе такъ причарувала!...

запѣлъ опять, притоптывая и прищелкивая, бѣдовый Ѳома Богдановичъ.

Широко и свѣтло улыбнулся Герасимъ Ивановичъ; онъ довѣрчиво глянулъ на смутившагося, казалось, гусара и покачалъ головой, въ видѣ шутливаго ему упрека.

— Врѣзался, о до кихъ поръ, объяснялъ Ѳома Богдановичъ, показывая на горло.—Съ того самаго и эскадрона нашего не захотѣлъ брать, а взялъ тотъ, что подъ самою Юхновкой стоитъ; съ того послѣзавтра отсель и ѣхать хотитъ, потому Дорошенкова сама до дому сбирается. А мужъ у нея все въ городѣ, въ опекѣ своей сидитъ, о, — такъ они себѣ вдвоемъ съ бароном спивать будутъ:

Хочь буду быта, знàтыму за кòго:
Прыстàло сèрденько мòе до твòго..

И онъ закатился своимъ заливающимся, сообщительнымъ смѣхомъ, къ которому невольно пристали и Герасимъ Ивановичъ, и я, и Савелій, выглядывавшій изъ передней и мгновенно скрывшійся при этомъ за дверью, зажавъ себѣ ротъ ладонью.

— Вы злой насмѣшникъ и клеветникъ, молвилъ Фельзенъ, какъ бы серьезно сердясь сквозь нятянутую приличіемъ улыбку, — Дарья Павловна не подлежитъ подобнымъ шуткамъ,—она внушаетъ глубочайшее уваженіе всѣмъ, кто имѣетъ честь ее знать.

— А и слѣдуетъ уважать ее, потому душа-женщина, на рѣдкость жена и мать! горячо вступился за нее и самъ добродушный „насмѣшникъ“. — А все-жь вы на то и гусаръ, чтобы „по свиту ходыть, — не одну дивчину зъ розуму зводыть“. Ну, а и пора-жь намъ внизъ: сбиралась тамъ молодежь въ жмурки играть... А ты что, Борисъ, сидишь тутъ? словно спохватился онъ и сконфуженно глянулъ на меня.— Лучше-бъ шелъ туда скорѣе, чѣмъ глупыя слова мои здѣсь слухать!

— Я сейчасъ, за вами, Ѳома Богдановичъ.

Фельзенъ сталъ прощаться съ больнымъ.

— Надѣюсь васъ еще увидѣть, сказалъ ему тотъ по-французски и протянулъ свою, уже почти совершенно свободно двигавшуюся теперь, руку.

Въ отборнѣйшихъ выраженіяхъ, на томъ же языкѣ, отвѣчалъ ему баронъ, что не преминетъ воспользоваться его любезнымъ приглашеніемъ и не уѣдетъ изъ Богдановскаго, не простившись съ нимъ.

Они ушли. Я вернулся къ Васѣ.

Онъ сидѣлъ на томъ же мѣстѣ, опустивъ руки на колѣни и, какъ это часто бывало съ нимъ, совершенно недвижно глядя въ даль, въ открытое окно.

— Ты слышалъ? спросилъ я, садясь подлѣ него.

Онъ кивнулъ головой.

Онъ умѣлъ и твоего отца совершенно „причаровать“, какъ пѣлъ сейчасъ Ѳома Богданычъ, заговорилъ я опять, налаживаясь на шутливую интонацію.

Вася долго не отвѣчалъ.

— Лучше это... тихо промолвилъ онъ наконецъ, какъ бы послѣ зрѣлаго обсужденія и не перемѣняя положенія.

„Лучше, чтобъ *онъ* не зналъ того, что мы съ тобой

знаемъ", договорилъ я себѣ внутренно его мысль, „это конечно!"

Голосъ, отъ котораго онъ вдругъ мгновенно вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ листъ осины подъ набѣгающимъ вѣтромъ, голосъ его матери, раздался въ эту минуту въ комнатѣ его отца:

— А гдѣ же Вася?

— Пойдемъ, Вася, *она* тебя зоветъ, надо идти, говорилъ я ему, толкая его.

Онъ торопливо провелъ себѣ рукой по лицу и вышелъ къ ней. Я шелъ за нимъ.

— И Борисъ тутъ? Такъ! засмѣялась она, какъ только увидала меня. Dites-moi, de grâce, что это вы тутъ вѣчно сидите вдвоемъ? Ваши товарищи бѣгаютъ, шалятъ, веселятся,—а они, точно старцы дряхлые, забьются въ уголъ и ихъ не отыщешь. Вчера вечеромъ, вообразите, обернулась она къ мужу,—*нашъ* Орестъ, comme une étoile filante, блеснулъ и исчезъ въ одно мгновеніе, monsieur ne m'a pas donné seulement le temps de me montrer fière d'être sa mère... И, разумѣется, Пиладъ туда же, — только мы ихъ тамъ и видѣли... Ну-съ, а теперь извольте-ка отправиться оба внизъ,— тамъ превесело...

Она говорила спѣшно, отрывисто, съ преувеличенною живостью и какъ-то странно не глядя на Васю, будто съ перваго же раза, когда онъ подошелъ поцѣловать ей руку, она чутьемъ какимъ-то догадалась, что не слѣдуетъ ей встрѣчаться глазами съ сыномъ, что не выдержитъ она взгляда его строгихъ и печальныхъ глазъ.

— Я съ папа... началъ-было Вася.

— Я и пришла, чтобы посидѣть съ *папа*, нетерпѣливо проговорила она,—а тебя прошу идти внизъ, ко всѣмъ, и не глядѣть такимъ букой.

„Знаетъ кошка, чье мясо съѣла!" подумалъ я, чуть не со злобой взглянувъ на нее. „Она насъ оттого и гонитъ поскорѣе внизъ, что она это знаетъ, и ей неловко съ нами".

— Идите, идите! проговорилъ, въ свою очередь, Герасимъ Ивановичъ...

Онъ глядѣлъ на „коварную“ — такъ я уже называлъ ее мысленно, — какимъ-то пытующе-восхищеннымъ взглядомъ, словно недоумѣвая, безмѣрно-ли радоваться ему или скорбѣть этому неожиданному, никогда еще до сихъ поръ не выражавшемуся ею желанію остаться съ нимъ вдвоемъ наединѣ...

Мы повиновались и отправились внизъ, въ большую залу, гдѣ, вслѣдъ за жмурками, послѣдовали танцы, подъ звуки струннаго квартета, въ ожиданіи имѣвшаго возобновиться вечеромъ бала со всѣмъ оркестромъ. Ѳома Богдановичъ, на сей разъ, заставилъ всѣхъ насъ, юношей и юницъ, плясать безъ перерыва вплодь до самаго обѣда. Любовь Петровна не возвращалась. Анна Васильевна, и та куда-то словно провалилась съ самой минуты „сюрприза“, то-есть появленія Фельзена вчера во время польскаго; на наши спросы о ней намъ отвѣчали, что она сегодня съ утра съ „мальчуганами“ и не танцующими дѣвочками сидитъ и въ фанты играетъ въ Галечкиномъ апартаментѣ. Галечка, на полной своей волюшкѣ, кокетничала, насколько лишь дозволяло ей врожденное ей чувство мѣры, съ благовоспитаннымъ и изящнымъ барономъ Фельзеномъ, съ „cet homme de si bonne compagnie“, какъ чопорно выражалась она,—и, видимо, старалась *отбить* его у Дарьи Павловны. Но усилія ея оказывались тщетными: баронъ не отставалъ отъ болѣе чѣмъ когда-либо румяной, торжествовавшей въ своемъ ребяческомъ тщеславіи, дамы. Она, дѣйствительно, дѣлалась предметомъ вниманія всего общества.

— Dites donc, спросилъ пріятеля своего Булкенфресса m-r Керети, съ которымъ мы почти сутки не видались и который, увидѣвъ меня въ кадрили съ Angèle, подошелъ ко мнѣ смѣясь, pour me donner un petit bonjour en passant, и тутъ и остался по близости,—dites donc, votre don-Juan aurait-il déjà passé d'Elvire à Zerline?

— Peuh!... слегка засвисталъ музыкантъ.

— Que voulez vous dire?

— Di-plo-ma-tie! по складамъ прошепталъ тотъ довольно слышно.

— Ecoutez, mon vieux, заговорилъ Керети, vous en savez plus long.

Онъ не докончилъ, замѣтивъ, что я гораздо внимательнѣе прислушивался къ ихъ разговору, чѣмъ къ повѣствованію дѣвицы Angèle о прелестяхъ сидѣнья на полу въ „берлогѣ“ и о томъ, какъ она „обожала“ учителя рисованія,—и, взявъ Булкенфресса подъ руку, увелъ его въ сторону. Невѣдомо осталось для меня, что передавалъ музыкантъ моему любознательному наставнику, но это, вѣроятно, было очень забавно, потому что Керети помиралъ со смѣху...

„О, Боже мой! думалъ я съ какимъ-то ноющимъ чувствомъ отвращенія,—неужели впереди—въ жизни — будетъ все таже ложь и злоба?...“

XXX.

Die schönen Tage in Aranjuez
Sind nun zu Ende.

Баронъ Фельзенъ уѣхалъ въ назначенный день и предъ отъѣздомъ зашелъ, какъ сказалъ, проститься съ Герасимомъ Ивановичемъ:—онъ просидѣлъ у него даже довольно долго. Изъ Васиной комнаты, куда мы оба тотчасъ же ушли, мы могли слышать его звучный, самоувѣренный и вмѣстѣ съ тѣмъ вкрадчивый голосъ: онъ говорилъ о Кавказѣ, о дѣлѣ подъ какимъ-то ауломъ, въ которомъ онъ былъ вмѣстѣ съ Лермонтовымъ и за которое получилъ солдатскаго Георгія, о генералѣ, представившемъ его къ кресту и оказавшемся старымъ пріятелемъ и товарищемъ Герасима Ивановича. Онъ просидѣлъ и проговорилъ ровно столько, сколько было нужно, чтобы заинтересовать и не утомить больнаго, котораго, послѣ его ухода, мы нашли какъ-то особенно бодрымъ и веселымъ. Его лицо, какъ въ зеркалѣ, отражало то чувство самоуслажденія, что вотъ онъ, послѣ стольких дней отупѣнія и немощи, велъ сейчасъ бесѣду съ умнымъ человѣкомъ, и что этотъ умный человѣкъ говорилъ съ нимъ, какъ равный съ равнымъ,—значитъ, предполагая въ немъ, хотя еще недужномъ, полное присутствіе мысли, несомнѣнную способность понимать то, что говорилось ему, и принимать въ этомъ участіе...

— Очень пріятный молодой человѣкъ... проговорилъ онъ, свѣтло улыбаясь, когда мы подошли къ его креслу.

Онъ, всегда все замѣчавшій и въ которомъ внѣшняя наблюдательность казалась тѣмъ болѣе развита, чѣмъ менѣе былъ

онъ до сихъ поръ способенъ выражать мысль свою словомъ,— онъ не замѣтилъ, что Вася при этомъ быстро отвернулся и отошелъ къ окну, чтобы скрыть отъ отца то выраженіе мученія, какое внезапно приняло его поблѣднѣвшее лицо...

— Командоръ, Герасимъ Иванычъ, называетъ его „ловкій шельмецъ", сказалъ я: мнѣ было почти такъ же какъ Васѣ тяжело, что этотъ несчастный, обманываемый страдалецъ хвалилъ—кого же?—злѣйшаго врага своего!

— Ко-ман-доръ!... повторилъ больной, покачавъ головой, и губы его сложились въ новую улыбку: что понимать можетъ въ этомъ такой добрый, но ограниченный человѣкъ, какъ пріятель нашъ командоръ?—краснорѣчиво говорила эта улыбка.

Я было хотѣлъ продолжать на ту же тему, но черезъ голову Герасима Ивановича встрѣтился глазами съ неодобрительнымъ взглядомъ Васи и заговорилъ о чемъ-то другомъ...

Еще черезъ день отправились Рындины, отецъ съ сыномъ. Далеко нечувствительный на видъ, почти всегда грубый и рѣзкій въ пріемахъ своихъ, Саша неожиданно залился слезами, прощаясь съ Богдановскимъ, съ Анной Васильевной, съ товарищами дѣтства,—и въ первую минуту ужасно устыдился своихъ слезъ. Онъ торопливо глоталъ ихъ, топалъ ногой, сжималъ брови и готовъ былъ, кажется, прибить насъ всѣхъ за то, что не съумѣлъ до конца показать себя суровымъ воиномъ и, вмѣсто этихъ унизительныхъ „бабьихъ" слезъ, отпустить намъ при прощаньи нѣчто въ родѣ приказа по арміи: ребята-молъ, смирно;—прошу помнить мои наставленія и вести себя добропорядочно въ мое отсутствіе; меня же долгъ службы призываетъ на время въ Его Императорскаго Величества Пажескій корпусъ. Но когда все разрюмилось вокругъ него, и Петя Золоторенко, протолкавшись впередъ, сунулъ ему въ руку жбанку *коржиковъ съ медомъ*, которые очень любилъ Саша и которыми снабжалъ его обжора Петя на дорогу, какъ лучшимъ воспоминаніемъ о себѣ,—Саша не выдержалъ: онъ съ громкимъ всхлипываніемъ кидался на шею друзей, окружавшихъ его толпой... Когда очередь дошла до меня, онъ отвелъ меня нѣсколько въ сторону и сказалъ мнѣ тихимъ, прочувствованнымъ голосомъ, глубоко тронувшимъ меня:

— Борисъ, я тебя больше всѣхъ любилъ; ты мнѣ въ послѣднее время измѣнилъ для моего двоюроднаго брата. Но знай, что я на тебя не сержусь и буду тебя всегда помнить и любить. У меня тамъ, въ корпусѣ, будетъ еще не мало товарищей, а онъ—одинъ, ему нуженъ *вѣрный* другъ... Прощай, крикнулъ онъ,—прощай, Вася, милый, вѣрь...

Онъ не докончивъ, разомъ, какъ бы по командѣ, повернулся ко всѣмъ спиной—и побѣжалъ къ колескѣ, въ которой уже сидѣлъ его отецъ, а на подножкѣ стоялъ и глухо рыдалъ Ѳома Богдановичъ, въ отчаяніи своемъ умудрившійся какъ-то засунуть лысую свою голову подъ капишонъ генеральской шинели.

За Рындиными пошелъ общій отъѣздъ. Уѣхала Дарья Павловна; уѣхали робкая судейша и исправничиха съ племянникомъ, котораго она такъ и не успѣла „выдрессировать чрезъ дамское общество“; уѣхали всевозможные Золоторенки, Пушковскіе и Мокшицкіе, съ толстыми женами и свѣжими дочками. Разъѣхалось *офицерство* по эскадронамъ. Богдановское опустѣло...

Вчужѣ тяжко было глядѣть на гостепріимнаго—и вдругъ безъ гостей очутившагося хозяина. Онъ себѣ на первыхъ порахъ нигдѣ мѣста не находилъ. Толкается безцѣльно по пустыннымъ комнатамъ, и вздохи его раздаются по всему дому. А Богунъ съ басами какъ свалились подъ лавку, такъ и лежатъ тамъ четвертый день безпробудно; тенора и дисканты ушли съ дивчатами въ яръ за орѣхами,—развести тоску пѣніемъ и думать нечего! Чуть не плакалъ бѣдный Ѳома Богдановичъ. Къ счастію, вспомнилъ, что у него на току начинаютъ молотить, — тамъ шумъ, и гамъ, и стукъ цѣповъ, и „громада“ съ села. Велѣлъ заложить себѣ *чертопхайку* Ѳома Богдановичъ — и покатилъ на молотьбу. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ почти невидимымъ въ домѣ,—иногда къ обѣду не возвращался: все сидитъ на току и заставляетъ паробковъ и дивчатъ пѣсни пѣть подъ тактъ цѣповъ, и горилкой поитъ ихъ, къ великому отчаянію управляющаго своего Перепеленка, строгаго и честнаго ворчуна, съ которымъ Ѳома Богдановичъ бранится уже тридцать лѣтъ сряду и безъ котораго онъ, не смотря

на свое большое состояніе, пошелъ бы завтра по-міру съ сумой...

И Анна Васильевна не повеселѣла съ отъѣздомъ гостей,— а куда, кажется, обрадовалась бы она этому въ другое время! Анна Васильевна почти все время свое теперь проводила съ братомъ Левой. На нашу половину,—я такъ и остался жить у Васи въ комнатѣ,—она заходила попрежнему каждый день, но не засиживалась уже болѣе подолгу съ нами, *жартуя* и лепеча своимъ милымъ „хохлацкимъ“ говоромъ, какъ бывало это еще такъ недавно. Мы не собирались уже болѣе на завтракъ къ Любови Петровнѣ, и павильонъ ея какъ-то вдругъ сдѣлался недосягаемымъ для насъ. Она сама приходила къ мужу по утрамъ — и заставала тамъ обыкновенно Анну Васильевну. Онѣ встрѣчались все также дружелюбно, но что-то—и мы съ Васей, не говоря другъ другу, оба хорошо понимали что именно,—будто развело ихъ въ послѣдніе дни, будто смущались и тяготились уже онѣ присутствіемъ другъ друга. Это легко было отгадать по тревожно, почти пугливо вопрошавшему взгляду Анны Васильевны каждый разъ, когда, при встрѣчѣ, приходилось ей обращаться къ илемянницѣ;—что ты замышляешь, чего ждать должно теперь отъ тебя? казалось, говорилъ этотъ простодушно допрашивавшій честный взглядъ, причемъ нервно содрогались ея поблеклыя губы и болѣзненно ежилось покрытое тонкою сѣтью морщинокъ маленькое ея лицо. Чуть не до дерзости спокойными глазами отвѣчала теткѣ Любовь Петровна.—Что ты знаешь, что можешь знать о томъ, чего я хочу? будто говорили они въ свою очередь. И какъ лучезарно свѣтились теперь эти, точно расцвѣтшіе, прелестные глаза! Лучезарно — и сосредоточенно, какимъ-то внутрь себя обращеннымъ блескомъ, какъ бы улыбаясь лишь тому, что цвѣло тамъ и пѣло въ тайникѣ ея души, и не находя отблеска ни для чего остальнаго. — Какое мнѣ дѣло до васъ всѣхъ! слышалось за ея улыбкой, за ласковыми ея рѣчами, за снисходительностью, за мягкостью, которою она вся была проникнута теперь. Она словно весь окружающій ее міръ хотѣла бы теперь осыпать благодѣяніями—и вмѣстѣ съ тѣмъ чуждалась его и презирала этотъ міръ со всей высоты своего внут-

ренняго, таинственнаго счастія. Только иногда, когда случайно падалъ ея взоръ на изможженное долгою болѣзнью лицо ея мужа, какъ-то страшно темнѣла и измѣнялась синева этихъ глазъ, — и никто бы не могъ сказать, что выражали они въ тѣ мгновенія: раскаяніе-ли, состраданіе, или непобѣдимую и нетерпѣливую ненависть...

Странное чувство внушала она мнѣ теперь: ея красота уже не смущала, не ставила вверхъ дномъ все существо мое,— она пугала меня! Мнѣ вспомнилась первая наша встрѣча съ Васей въ Богдановскомъ саду, и разговоръ надъ озеромъ о Маріи Стюартъ, и то, что онъ сказалъ мнѣ тогда: „Сколько людей умерло за нее“... Да, она именно такая, думалъ я, съ какимъ-то суевѣрнымъ страхомъ поглядывая на нее,—кто любитъ ее, тотъ погибаетъ... И съ каждымъ днемъ все сильнѣе росло во мнѣ смутное чаяніе какого-то близкаго, невѣдомаго, но неизбѣжнаго удара, который долженъ былъ разразиться надо всѣми нами. И на тревожномъ лицѣ Анны Васильевны, и въ лихорадочно-горѣвшихъ, впалыхъ глазахъ Васи я читалъ все тотъ же суевѣрный страхъ, то же ожиданіе чего-то близкаго, неизбѣжнаго и страшнаго...

Но откуда должно обрушиться оно? Фельзена нѣтъ; онъ не скоро будетъ. — „Недѣльки черезъ двѣ, три, постараюсь побывать въ Богдановскомъ“, говорилъ онъ, прощаясь съ отцомъ Васи. Развѣ Любовь Петровна вздумаетъ поѣхать въ Юхновку, къ Дарьѣ Павловнѣ, откуда въ трехъ верстахъ стоитъ его эскадронъ? Но Дарья Павловна сама *любезничаетъ* съ Фельзеномъ, и „коварная“ — вѣдь я самъ слышалъ, — поощряла его ухаживать за „la nymphe Eucharis“. Для чего же она туда поѣдетъ?...

Галечка въ послѣднее время какъ-то особенно сблизилась съ своею кузиной. Онѣ постоянно гуляли вмѣстѣ по саду и проводили вечера въ павильонѣ Любови Петровны. Миссъ Пинкъ обыкновенно сопровождала туда свою воспитанницу, но тѣмъ не менѣе все это, какъ могъ я замѣтить, не нравилось Аннѣ Васильевнѣ. Добрая женщина не рѣшилась бы никогда огорчать дочь или подвергнуться ея допытыванію, давъ ей почувствовать, что она не желала бы этой близости,—

она притомъ какъ бы побаивалась Галечки, боялась ея самоувѣреннаго приличія, ея не по лѣтамъ сдержанной и сухой рѣчи, ея холодныхъ глазъ. Но она постоянно искала и большею частію не умѣла найти приличныхъ предлоговъ удержать Галечку близъ себя или на половинѣ ея, куда Любовь Петровна рѣдко когда удостоивала приходить...

Однажды я засталъ Анну Васильевну на террасѣ въ оживленныхъ переговорахъ съ Булкенфрессомъ. Музыкантъ раздраженнымъ тономъ жаловался на то, что Fraülein Hanna условилась съ нимъ утромъ повторить „sa leçon de piano“ и просила его зайти къ ней для этого въ 6 часовъ послѣ обѣда, что̀ онъ и исполнилъ, но не нашелъ ея дома, и, узнавъ, что она въ павильонѣ, у „madame von Lubianski“, отправился туда за нею, но что тамъ этотъ „гробіанъ Педрушка, der wilde Grum въ красный жилетъ“, не пустилъ его и „такъ глупо—il est donc si pête (bête), vous savez! — сказалъ ему, что никого дома нѣтъ и не при-ни-ма-ютъ; imachinez vous çà!“ негодуя и передразнивая Петрушку, восклицалъ Булкенфрессъ, очевидно до крайности разобиженный.

— Но... можетъ въ самомъ дѣлѣ ихъ нѣтъ тамъ, можетъ онѣ въ садъ пошли... говорила на это Анна Васильевна.

— Нѣтъ? заколотилъ себя въ грудь Булкенфрессъ. — Можетъ быть, душа ихъ полетѣла въ садъ или другой мѣсто, а ихъ персонъ тамъ сидятъ, въ павильонъ, желчно сострилъ онъ,—я самъ чрезъ окошко слышалъ, какъ онѣ оба смѣялся... Madame Lubianski очень весело жить теперь...

Всѣ черты Анны Васильевны болѣзненно сжались, точно иголкой укололи ее. Она съ отвращеніемъ и тоской отвернулась отъ нахала...

— Борисъ, а, будь такой добрый, взволнованнымъ голосомъ обратилась она ко мнѣ,—сходи... туда... скажи, что прошу я Галечку... что ей надо,—чтобъ урокъ шла брать...

— Сейчасъ, сейчасъ, Анна Васильевна!

Я вбѣжалъ прямо въ гостиную павильона. Въ глубинѣ комнаты, на низкомъ диванѣ, сидѣли рядомъ Любовь Петровна и Галечка и разсматривали какой-то альбомъ.

— Pardon, madame, сказалъ я, расшаркиваясь такъ це-

ремонно, что Любовь Петровна разсмѣялась, — я пришелъ за mademoiselle Anna.

— За мной? Галечка холодно и величаво смѣрила меня удивленнымъ взглядомъ.

— За вами. Вы должны въ 6 часовъ prendre votre leçon de musique, и ваша maman проситъ васъ идти.

— Maman? Почему она знаетъ?

— Ей сказалъ вашъ учитель. Онъ самъ приходилъ сюда, только его не пустили...

— Кто не пустилъ? въ свою очередь, подняла на меня удивленные глаза Любовь Петровна.

— Вашъ Петрушка.

— Quel idiot! засмѣялась она, приподнявъ плечи.

— Хорошо, я сейчасъ приду, все такъ же величаво объявила мнѣ „губернаторша“.

Я поклонился и вышелъ.

Невдалекѣ, подъ деревомъ, ждалъ меня Булкенфрессъ.

— Галечка сейчасъ придетъ, сказалъ я ему и хотѣлъ пройти мимо, но онъ остановилъ меня вопросомъ:

— А вы спросилъ Frau von Lubianski, зачѣмъ она мнѣ дверь въ носъ заперъ?

— Я сказалъ, что васъ не пустилъ къ ней Петрушка.

— А она што сказалъ? съ сверкающими любопытствомъ и нетерпѣніемъ глазами воскликнулъ музыкантъ.

— Она сказала: quel idiot!... Она это про Петрушку сказала, Herr Bogenfrisch.

— А о мнѣ што? спросилъ онъ опять, пропустивъ безъ вниманія мое лукавое намѣреніе.

— А про васъ ни слова, ни единаго.

Булкенфрессъ сложилъ губы въ кислую улыбку и вдругъ озадачилъ меня новымъ, неожиданнымъ вопросомъ:

— Comment prenez vous le thé, cheune homme?

Я, недоумѣвая, поднялъ на него глаза.

— Versteht sich: avec du lait ou du citron?

— Съ молокомъ, отвѣчалъ я, смѣясь.

— А вы знайтъ, што съ цитронъ дѣлаютъ, кагда чай выпилъ?

— А что? Я не понялъ въ первую минуту.

— Какъ што-о, какъ што-о! поблѣднѣвъ отъ какого-то внезапнаго прилива злости, передразнилъ меня Булкенфрессъ.— Сокъ въ чашка остался,—а корка вонъ выкинулъ, въ помойный яма... Вотъ што!

— Ну да,—это конечно! И я окончательно расхохотался.

— А! вамъ ошень смѣшно? уже шипя говорилъ онъ.— А ви желай qu'on vous jette par la fenêtre, въ помойный яма?...

— Нѣтъ, не желаю!

— И я не желай! А это со мной сдѣлалъ Frau von Lubianski! воскликнулъ музыкантъ, задыхаясь и подлавливая кончикомъ носа спадавшія очки, — mit mir, Johann-Maria Bogenfrisch aus Salzburg!...

И, вскинувъ на меня свои маленькіе раздраженные глазки, онъ мотнулъ головой съ какимъ-то угрожающимъ видомъ, — и побѣжалъ прочь по направленію Галечкинаго флигеля.

— Вотъ откуда первая туча! пронеслось у меня въ головѣ. Въ тотъ же вечеръ я передалъ весь этотъ разговоръ m-r Керети.

— Quel animal, quel animal! воскликнулъ онъ, выслушавъ меня,—avec sa manie de fourrer son nez partout! Il se fera écraser comme un insecte,—qu'il est, домолвилъ мой честный французъ, гадливо поморщившись.

— А намъ съ вами давно бы пора вернуться à Tikvode (то-есть въ *Тихія Воды*), проговорилъ онъ, помолчавъ,—l'air n'est plus sain ici!...

XXXI.

Воздухъ становился нездоровымъ и для нашего больнаго,— онъ начиналъ плохо спать. Ночи онъ и прежде проводилъ напролетъ безъ сна, сидя въ своемъ креслѣ у окна,—но за то вознаграждалъ себя продолжительнымъ утреннимъ и послѣобѣденнымъ отдыхомъ. Теперь онъ утромъ не отдыхалъ совсѣмъ. — Не могу, отвѣчалъ онъ коротко и неохотно на заботливые вопросы сына, отворачивая отъ него свои глубокіе, говорящіе глаза, языкъ которыхъ такъ привыкъ понимать Вася. Но мы догадывались, — онъ не спалъ отъ нетерпѣнія, потому что ждалъ *ее* каждое утро, отъ тревоги — потому что она могла и не придти... По мѣрѣ того, какъ шло пока къ лучшему его физическое состояніе, все пламеннѣе, казалось, обнимала его та безконечная страсть къ красавицѣ-женѣ, которая, какъ говорила тогда Анна Васильевна матушкѣ, „загубила и его, и ея жизнь“. Въ ея присутствіи онъ весь замиралъ отъ счастія, онъ жадно упивался звуками ея гортаннаго, низкаго голоса, онъ блаженнымъ и восхищеннымъ взглядомъ весь приникалъ къ ней, любуясь каждою прядью ея волосъ, каждою складкой ея одежды, и будто всю ее, весь ея стройный обликъ, со всѣми этими волосами и складками, хотѣлъ запечатлѣть у себя гдѣ-то внутри, глубоко, глубоко, чтобы тамъ, въ глубинѣ его души, вѣчно и царственно сіялъ ея образъ, какъ царственно сіяла она для него живая, улыбающаяся алыми своими устами и прикрывающая длинными рѣсницами блестящую эмаль своихъ очей, каждый разъ, когда его алчный взглядъ встрѣчался съ ними... Уйдетъ она,— онъ

долго еще сидитъ недвижный и нѣмой, словно очарованный,— „онъ въ свое зеркало на *нее* глядитъ", говорилъ въ этихъ случаяхъ Вася съ натянутою улыбкой. А черезъ нѣсколько времени на выразительномъ лицѣ недужнаго заговоритъ опять какая-то внутренняя и уже мучительная тревога: точно старается онъ припомнить что-то недавнее, близкое и наразрѣшенное имъ, что-то требующее отвѣта и неотвязчиво долженствующее волновать его, пока онъ не отыщетъ въ себѣ этотъ отвѣтъ, пока не найдетъ слова загадки... А какъ найти это слово? И все сильнѣе и видимѣе росло въ немъ скорбное недоумѣніе,— онъ все пристальнѣе и дольше вглядывался въ сына, допрашивая взглядомъ и не смѣя спросить словомъ, какое общее имъ и невѣдомое еще ему горе гложетъ душу этого, черезъ силу улыбавшагося, несчастнаго мальчика? А Вася блѣднѣлъ и худѣлъ съ каждымъ днемъ, и все шире становиличь зрачки его глазъ, очеркомъ своимъ еще такъ недавно напоминавшихъ глаза его матери,—и съ каждымъ днемъ становилось для него труднѣе и тяжелѣй его лицемѣріе — его святое лицемѣріе— предъ недоумѣвавшимъ взоромъ его отца. Съ какою невыносимою тоской, помню, глядѣлъ я на него, когда, бывало, вернувшись въ свою комнату отъ Герасима Ивановича, которому онъ только-что, преувеличенно смѣясь, передавалъ какой-нибудь нѣмецкій анекдотъ, — онъ падалъ, безсильный, на свою кровать, закинувъ руки за голову и устремивъ въ потолокъ эти пугавшіе меня, расширенные и тупо неподвижные зрачки свои. Отъ этой-ли необходимости таиться отъ отца, отъ другаго-ли, еще глубже захватывавшаго его, сознанія, — онъ словно не смѣлъ уже болѣе никому глядѣть въ лицо и, какъ преступникъ предъ судьей, избѣгалъ чужаго взгляда. Съ такимъ же болѣзненнымъ напряженіемъ избѣгалъ онъ и всякаго разговора о матери,—онъ и называлъ ее теперь не иначе, какъ „она", и только въ томъ случаѣ, когда нельзя было не упомянуть о ней. Онъ даже — я это чувствовалъ,—тяготился тѣмъ, что я тутъ, рядомъ съ нимъ, что ему иной разъ нельзя не перекинуться со мною словомъ, сознавая вмѣстѣ съ тѣмъ, что я не безполезенъ ему, что, занимая его отца разговоромъ или чтеніемъ по цѣлымъ часамъ, я принималъ на себя, изъ

дружбы къ нему, половину его обязанностей, что онъ въ это время могъ отдохнуть, прилечь, остаться одинъ, — и робко иной разъ протянутая его рука, слабо сжимая мои пальцы, какъ будто просила меня простить ему... Но одна мысль, одно желаніе владѣли имъ теперь, — отгадать было не трудно, — взять отца и увезти его куда-нибудь далеко, далеко, куда бы и слуха не доходило о *ней*, гдѣ бы не было ни этого печальнаго, перепуганнаго лица Анны Васильевны, ни сверстника, вольнаго и невольнаго свидѣтеля всего этого позора!..

Въ сумерки, по обыкновенію, больной начиналъ дремать, но сонъ его не былъ миренъ и дологъ, какъ прежде. Онъ безпрестанно просыпался, метался въ креслѣ, часто требовалъ пить и своимъ неспокойнымъ состояніемъ держалъ насъ всѣхъ на ногахъ...

— Вы дурно себя ведете, Герасимъ Иванычъ, сказалъ я ему однажды, оставшись съ нимъ вдвоемъ,—не спите совсѣмъ. Вася тревожится о васъ.

— Вася... ахъ... что Вася? Онъ не-хорошъ!... заговорилъ тотчасъ же больной, сжимая мнѣ руки и подымая на меня влажные и мгновеннымъ ужасомъ омраченные глаза.

— Нѣтъ, нѣтъ, не безпокойтесь, увѣрялъ я его. — Это вамъ такъ кажется, потому что онъ о васъ, о томъ, что вы не спите, тревожится. Онъ даже чрезъ Анну Васильевну послалъ въ городъ записку, чтобы докторъ ранѣе обыкновеннаго пріѣзжалъ къ намъ...

— Я бу-ду, буду спать, Боренька, жалобнымъ, какъ у ребенка, нѣжнымъ, какъ у женщины, голосомъ прошепталъ онъ:—онъ не у-ви-дитъ, не у-слышитъ... Только бы онъ... мой Ва-ся, Вася...

Онъ опустилъ на грудь свою слабо качавшуюся со стороны на сторону голову и тихо заплакалъ...

И онъ сталъ съ тѣхъ поръ лицемѣрить предъ сыномъ, какъ сынъ лицемѣрилъ предъ нимъ. Спалъ онъ, или не спалъ,—онъ, равно не открывая глазъ, съ опущенными на колѣняхъ руками, лежалъ въ своемъ креслѣ, уткнувъ голову въ подушки, рѣшаясь приподнять ее лишь когда зналъ онъ, что Вася, „его Вася“, не могъ этого видѣть...

Вася, съ своей стороны, утомлялся ужасно въ продолженіе дня и когда, подъ полночь, отецъ его, окончательно проснувшись, усаживался все къ тому же окну, у котораго онъ вплоть до зари просиживалъ, глядя на тусклый огонекъ лампады, свѣтившей въ спальнѣ Любови Петровны,—бѣдный мальчикъ уходилъ къ себѣ и засыпалъ, часто не успѣвъ раздѣться, какимъ-то мгновеннымъ, тяжелымъ, точно мертвымъ сномъ. Я долго не могъ привыкнуть къ этому, и каждый разъ съ ужасомъ глядѣлъ, когда онъ валился на постель, и черезъ мигъ, безъ кровинки въ лицѣ и не дыша, лежалъ недвижный, какъ въ гробу, съ разсыпанными по подушкѣ кудрями. Совсѣмъ другое впечатлѣніе производило это на Максимыча: умиленнымъ и благоговѣйнымъ какимъ-то взоромъ глядѣлъ онъ изъподъ нависшихъ бровей въ эти минуты на Васю, широко крестился и, обернувшись ко мнѣ, шепталъ наставительнымъ тономъ: „въ свой часъ, значитъ, душѣ праведной успокоеніе послано“...

XXXII.

Мы уже довольно давно спали съ Васей, какъ вдругъ я услыхалъ сквозь сонъ, кто-то шепотомъ зоветъ меня по имени и притрогивается ко мнѣ рукой.

Я раскрылъ глаза и при свѣтѣ ночника—который Максимычъ изъ предосторожности всегда ставилъ намъ въ умывальную лохань,—увидѣлъ Савелія, стоявшаго предо мною съ растерянным лицомъ.

— Извините, Борисъ Михайловичъ, торопливо говорилъ онъ,—Василья Герасимыча не рѣшился будить... измученные они очень,... а у васъ душа добрая...

— Что случилось, ради Бога, Савелій?..

— Да не ладно что-то *тамъ*... Онъ кивнулъ на комнату Герасима Ивановича.

Пока я натягивалъ на себя панталоны и куртку, Савелій сообщилъ мнѣ слѣдующее: онъ дремалъ у дверей больнаго, какъ вдругъ услышалъ не то стонъ, не то его позвалъ баринъ; захвативъ свѣчу изъ передней, онъ поспѣшилъ къ нему: — гляжу, а они совсѣмъ изъ кресла вонъ, на подоконникѣ грудью лежатъ, глядятъ въ окно и Богъ ихъ знаетъ, что лепечутъ...

— Что вамъ угодно, спрашиваю, Герасимъ Ивановичъ?— а они только: „въ садъ“, али „въ саду“, не разобралъ я...— Привыкъ я къ ихнимъ фантазіямъ, говорилъ старикъ,—одначе на этотъ разъ они совсѣмъ съ толку меня, почитай, сбили. Не дойду, просто, чего имъ требуется... Авось, думаю, Борисъ Михайлычъ помогутъ,—я вотъ и рѣшился...

Мы побѣжали съ нимъ въ ту комнату.

Герасимъ Ивановичъ лежалъ все въ томъ же положеніи, грудью на подоконникѣ, ярко освѣщенный въ профиль пламенемъ свѣчи, поставленной Савеліемъ на столѣ подлѣ окна. Что-то пронзительное и страшное изображалось въ рѣзкихъ очертаніяхъ этого блѣднаго профиля съ большимъ, не въ мѣру открытымъ глазомъ, устремленнымъ въ окно...

— Голубчикъ, Герасимъ Иванычъ, что съ вами? Вамъ неловко такъ лежать!...

— Пробовалъ усадить на мѣсто, шепталъ мнѣ Савелій,— не дается!

— Въ садъ, въ садъ! повторилъ недужный. Онъ говорилъ съ замѣтнымъ усиліемъ. „Ему хуже“, пронеслось у меня въ мысли.

Онъ, видимо, при этомъ силился повернуть голову въ мою сторону.

— Позвольте васъ въ кресло посадить, Герасимъ Иванычъ, прошу васъ!

Вѣко его спустилось на глазъ, какъ бы въ знакъ согласія.

Савелій приподнялъ его и опустилъ въ глубину кресла.

— Въ са... въ саа... не договаривая, сказалъ еще разъ больной, подымая на меня умоляющіе глаза...

— Кто въ садъ? Кто въ саду, Герасимъ Ивановичъ?

— Я, я... нетерпѣливо проговорилъ онъ.

— Ахъ, я телятина! хлопнулъ себя въ лобъ Савелій. Это они сами желаютъ въ садъ! Ночью-то? Баринъ,— а что докторъ скажетъ?

— Да, да, настойчиво закивалъ больной.

Савелій смущенно взглянулъ на меня.

— Ночь теплая, сказалъ я.

— Укутать можно, конечно, подтвердилъ и онъ, уже съ улыбкой, видимо успокоенный тѣмъ, что успѣлъ — и даже раньше меня—догадаться, чего хотѣлъ его баринъ.—Ну-съ, а какъ же мы спустимъ ихъ? началъ онъ суетиться.—Павло-то мой, помощникъ, ушелъ должно-быть въ сѣнникъ спать, до смѣны,—а вы, Борисъ Михайлычъ, не сможете, чай?

— Я сейчасъ Максимыча разбужу, предложилъ я.

— Ну, этотъ дюжъ, сможетъ, весело промолвилъ старикъ,—а я пока ихъ на прогулку снаряжу какъ слѣдуетъ.

Я засталъ Максимыча уже на ногахъ. Изъ корридора, гдѣ онъ устраивалъ себѣ каждую ночь постель на полу, онъ своимъ чуткимъ солдатскимъ ухомъ разслышалъ наши съ Савеліемъ голоса въ комнатѣ Васи и черезъ мигъ былъ готовъ.

Савелій тѣмъ временемъ одѣлъ и укуталъ своего барина, надѣлъ ему шапку на голову. Они дружно съ Максимычемъ подняли его и понесли внизъ по черной лѣстницѣ...

Я забѣжалъ взглянуть на Васю:—онъ не шевелился...

— И слава Богу! успѣлъ я только сказать себѣ и побѣжалъ за тѣми...

— Впередъ пожалуйте, Борисъ Михайловичъ, командовалъ Савелій, осторожно спуская больнаго,—колясочка ихняя подъ лѣстницей, вывезти нужно!

Я вывезъ колясочку. Въ нее усадили больнаго и выѣхали въ садъ.

— Ну, спасибо, баринокъ, сказалъ мнѣ ласково старый слуга,—извольте почивать итти: мы и безъ васъ теперича управимся.

— Нѣтъ, нѣтъ, я пойду за вами...

— А Василій Герасимычъ неравно проснутся, кто-жь имъ доложитъ?...

— Ва-а-ся, Ва-а... послышался жалобный голосъ больнаго.

— Такъ ступай ты въ комнаты, кавалеръ! обратился Савелій къ Максимычу. Неравно проснутся, такъ ты и объясни, что батюшка-молъ вашъ изволили на променажъ выѣхать...

— Знаемъ, чего балясы-то точишь! угрюмо фыркнулъ Максимычъ, очевидно недовольный этимъ шутливымъ, неприличнымъ, по его мнѣнію, тономъ Савелія, и отправился назадъ.

— Ве-зи ско-ррр... нетерпѣливо прошамкалъ опять недужный.

Это были прежніе, безобразные звуки, которые онъ издавалъ тогда, при первой встрѣчѣ моей съ нимъ... Языкъ у него снова переставалъ повиноваться мысли. „Боже мой, что же случилось съ нимъ?“ говорилъ я себѣ съ тоской; колѣни мои неудержимо дрожали...

Мѣсяцъ уже шелъ на ущербъ и стоялъ низко на небѣ,— до разсвѣта было недалеко. Косою пеленой падалъ отъ него свѣтъ на широкую лужайку, отдѣлявшую павильонъ Любови Петровны отъ дорожки, по другой сторонѣ которой собственно начинался садъ. Только на этомъ чистомъ и освѣщенномъ мѣстѣ могъ увидать Герасимъ Ивановичъ то, что-то ужасное и непонятное, что привело его въ такое состояніе... Но что же именно видѣлъ онъ? Неужели Фельзена? Неужели этотъ отчаянный гусаръ прошелъ въ павильонъ, къ ней, къ этой „женщинѣ“?...

Но нѣтъ, безъ остановки со стороны больнаго, везетъ его Савелій мимо павильона и сворачиваетъ вправо, въ большую аллею. *Сильва*, сбѣжавшая сверху за мною, съ радостнымъ лаемъ мчится впередъ, взмахивая пушистымъ хвостомъ, и исчезаетъ въ кустахъ... Въ темныхъ аллеяхъ не разглядѣть лица Герасима Ивановича. Я на-ходу низко наклонился къ нему и спрашиваю: какъ онъ себя чувствуетъ? Онъ отвѣчаетъ какимъ-то молчаніемъ... У меня голова начинаетъ ходуномъ ходить.

Но вотъ опять выѣхали на открытое и свѣтлое мѣсто, къ большой клумбѣ, носящей названіе „пріюта Анны Васильевны“, и въ то же время вылетаетъ изъ-за деревъ *Сильва* и съ злобнымъ рычаніемъ, поджимая хвостъ, осаживается на заднія лапы, какъ бы готовясь кинуться на кого-то...

— Halt's Maul, verfluchter Hund! раздался чей-то визгъ.

Я бросился унимать собаку. Ухватившись обѣими руками за рѣшетчатую спинку скамьи и весь съежившись отъ перепуга, стоялъ у поворота дорожки Булкенфрессъ въ оборонительномъ положеніи.

— Что вы здѣсь дѣлаете, Herr Musiker?

Онъ принялся отчаянно, неестественно смѣяться.

— Che (je) vous dois la vie, cheune homme! Я никакъ сегодня засипать не могъ... и пошелъ гуляйть... и вашъ этотъ злой собакъ вдругъ на мене... Ch'ai eu beur (peur), ich erkenn's... Ахъ, господинъ фонъ-Лубянскій, мое почтеніе!... Какъ вы такъ ночью, поздно?...

Онъ, въ свою очередь, съ изумленіемъ и любопытствомъ оглядывалъ насъ.

Я ему объяснилъ въ двухъ словахъ причину нашей поздней прогулки.

Онъ двусмысленно закачалъ головой.

— Ia, ja, les malades ont souvent de tels caprices... И куда ви гуляйть думалъ, господинъ фонъ-Лубянскій?

Изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ больнаго, въ отвѣтъ докучливому музыканту, приподнялись вдругъ такимъ мрачнымъ отчаяніемъ и негодованіемъ засверкавшіе при блѣдномъ свѣтѣ мѣсяца глаза, что у меня руки похолодѣли. „Поможешь-ли ты мнѣ... Кто мнѣ поможетъ?“ казалось, говорилъ этотъ страшный взглядъ...

Булкенфрессъ невольно отступилъ на шагъ. Савелій нагнулся къ барину.

— Куда прикажете теперь, Герасимъ Иванычъ?

— Ве-зи, неясно, но упорно пролепеталъ больной. Голова его снова опустилась, глаза заходили какъ маятникъ по сторонамъ, словно ища чего-то въ потемнѣвшей чащѣ, словно допытывая каждый кустъ, не таитъ-ли онъ искомое въ своей листвѣ непроглядной...

Музыкантъ понялъ это и какъ-то странно сморщилъ губы.

— Cherchez—et vous trouverez! хихикнулъ онъ мнѣ на ухо, безцеремонно завладѣвая моею рукой и шагая рядомъ со мною.

— Подъ дерева нишего не видайть и ошень сиро, ошень не карошъ для больной; вы на шистой мѣсто везить! кричалъ онъ Савелію.

Старикъ вывезъ колясочку прямо къ знаменитому „храму отдохновенія“.

Заходившій мѣсяцъ стоялъ какъ разъ въ ту минуту на небѣ насупротивъ низенькаго крыльца бесѣдки, и палевые его лучи, пробиваясь сквозь окружавшіе ее невысокіе кусты сирени, играли въ трепетныхъ очертаніяхъ на наглухо закрытыхъ его ставняхъ.

Сильва понеслась снова впередъ на этотъ серебристый свѣтъ, въ которомъ какъ-то особенно красиво залоснилась ея длинная, шелковистая шерсть, гавкнула на мѣсяцъ, и вдругъ, потянувъ воздухъ своимъ двойчатнымъ носомъ, метнулась на-

задъ, вспрыгнула на крыльцо и отчаянно залаяла, обнюхивая дверь и нетерпѣливо скребя лапами, какъ бы требуя, чтобъ ей отворили ее...

— Sieh doch, sieh doch den Hund! Что онъ тамъ искалъ? толкнулъ меня Булкенфрессъ и снова хихикнулъ.

Но еще ранѣе донесся до меня надрывающій стонъ недужнаго:

— Тамъ, тамъ, повторялъ онъ какимъ-то металлическимъ звукомъ, похожимъ на звукъ желѣза, падающаго въ мѣдный сосудъ.

— Вотъ онъ, ударъ! мгновенно озарила меня мысль:— въ глазахъ у меня потемнѣло.

Савелій догадался тоже.

— Чего *тамъ*! насилованно грубо отвѣчалъ онъ барину,— песъ мышенка насторожилъ, такъ и скребетъ!...

И, круто двинувъ кресло спиной къ крыльцу, онъ заворотилъ разомъ за уголъ бесѣдки.

— Га-а-а!... заревѣлъ неистовымъ голосомъ больной.

Перепуганный слуга подался назадъ... Я какъ одурѣлый подбѣжалъ къ крыльцу...

— От-ворр... задыхаясь бормоталъ безсильными устами Герасимъ Ивановичъ.—Отворрр...

— Господь съ вами, баринъ! уговаривалъ его, чуть не плача, Савелій, — что вы требовать изволите? Бесѣдка заперта,—чѣмъ же намъ теперича отворить ее, сами подумайте!..

Но тотъ не слушалъ: безсильно расширенные зрачки его устремлены были на стѣну бесѣдки, дрожавшая рука тянулась все далѣе, впередъ и впередъ, а за нею весь онъ, всѣмъ немощнымъ тѣломъ своимъ, словно готовился какою-то сверхъестественною силой дотянуться до той стѣны...

— Свѣ-е-етъ! прохрипѣлъ онъ.

Онъ былъ правъ: едва замѣтная, горизонтальная полоска свѣта сквозила невысоко надъ землей, промежъ вѣтвей куста, за которымъ приходилось одно изъ боковыхъ оконъ „храма отдохновенія“.

— Творецъ Небесный! только могъ пролепетать Савелій.

Булкенфрессъ, какъ змѣя, проползъ между колясочкой и сиреневымъ кустомъ.

— Тамъ никого нѣтъ, господинъ фонъ-Лубянскій, зашепталъ онъ, наклоняясь къ креслу,—тамъ, можетъ быть, только одинъ садовникъ есть... Мы сейчасъ это попробуймъ увидать, si le volet не закрытъ на замокъ...

Онъ юркнулъ за кустъ.

Послышался ржавый скрипъ и стукъ откинутаго ставня, съ размаха ударившагося объ стѣну. Внезапный свѣтъ хлынулъ изъ окна на дорожку... На мгновеніе четко вырисовались въ этомъ свѣтѣ, обезображенныя, какъ у мертваго, черты больнаго, выпуклый черепъ Савелія, безъ шапки, растерянно вперившаго взоръ въ окно, и *они* — тѣ, что были тамъ, въ этой освѣщенной комнатѣ...

Двѣ свѣчи горѣли на столѣ. На широкомъ диванѣ, откинувшись головой назадъ и закрывъ глаза ладонью отчаяннымъ движеніемъ, лежала бѣлокурая женщина, закутанная въ черную шаль. Баронъ Фельзенъ, въ статскомъ платьѣ, стоялъ у входной двери, ухватившись одною рукой за замокъ и сжимая другою что-то длинное и блестящее, показавшееся мнѣ лезвеемъ кинжала. Онъ обернулся на стукъ ставня, сверкнулъ глазами, какъ дикій звѣрь, и, прыгнувъ къ столу, разомъ задулъ обѣ свѣчи...

Произошло затѣмъ что-то невыразимое... Раздался крикъ, котораго и до сихъ поръ не могу я забыть, и надъ кресломъ, будто движимое какою-то невидимою пружиной, высоко приподнялось тѣло больнаго, съ грозно протянутою впередъ рукой,.. приподнялось, качнулось — и рухнуло внизъ, какъ мѣшокъ, мимо кресла, головой въ кусты...

Какъ подняли его, какъ уложили, какъ очутились мы съ нимъ опять въ виду дома, у лужайки противъ павильона,—я не съумѣю сказать. Помню только, какъ, въ первую минуту, я отъ ужаса закрылъ себѣ лицо руками и чуть не упалъ въ траву, какъ кто-то поддержалъ меня, и я пошелъ безсознательно впередъ, и какъ затѣмъ точно ножомъ рѣзалъ мнѣ долго слухъ и сжималъ сердце чей-то нечеловѣческій хрипъ,

и что-то быстро катилось предо мною по темнымъ аллеямъ сада...

— Баринъ, баринокъ, разслышалъ я наконецъ голосъ Савелія, — онъ весь дрожалъ какъ въ ознобѣ и трясъ меня за плечи обѣими руками, — снести ихъ наверхъ надо, дядьку вашего потрудитесь... Господи! бѣда-то стряслась какая! Василью Герасимычу что́ мы скажемъ! говорилъ онъ, путаясь и рыдая...

Булкенфрессъ былъ тутъ же и суетился около кресла.

— Надо Ѳома Богдановичъ будить, докторъ послать, кричалъ онъ, въ свою очередь.

Я кинулся на верхъ. Максимычъ ждалъ меня въ корридорѣ.

— Ступай скорѣе... нести, внизъ... несчастіе, могъ только проговорить я.

Онъ побѣжалъ со всѣхъ ногъ. Я вошелъ къ Васѣ. Онъ спалъ въ томъ же положеніи, съ закинутою за голову рукой, съ разсыпанными по подушкѣ кольцами волосъ,—бѣлокурыхъ, какъ у той женщины, *тамъ*... Безмятежная, почти счастливая улыбка—точно улыбался онъ чему-то радостному, грезившемуся ему въ эту минуту, — играла на его заалѣвшихъ въ снѣ губахъ.

Боже мой, а сейчасъ, сейчасъ внесутъ его отца,... и онъ проснется,... онъ узнаетъ!...

Я упалъ на колѣни предъ его кроватью, охватилъ его голову и прижался къ ней, въ отчаянномъ порывѣ...

Послышались тяжелые, зловѣщіе шаги по корридору.

— Вася, тихо звалъ я его, почти касаясь уха его губами.

Онъ раскрылъ глаза и зажмурилъ ихъ опять, и опять раскрылъ — и съ недоумѣвающею усмѣшкой остановилъ ихъ на мнѣ.

А шаги все тяжеле и ближе слышались въ корридорѣ.

— Что тамъ такое? спросилъ Вася, не отдѣляя еще головы отъ подушки.

— Это... изъ сада... несутъ... Герасима Иваныча, пробормоталъ я черезъ силу.

— Папа?!

Онъ приподнялся, схватилъ меня за руку, близко, близко глянулъ мнѣ въ глаза — и, оттолкнувъ меня, опрометью бросился въ отцовскую комнату... Я побѣжалъ за нимъ.

— На постель надо,—ворочай налѣво, въ уголъ, шепталъ Максимычу въ дверяхъ Савелій, едва переводя дыханіе...

— Папа̀, папа̀! съ раздирающимъ воплемъ кинулся къ этой постели несчастный мальчикъ,—что съ тобою? Отвѣчай... говори!... Это я, Вася,... твой сынъ!

Но тотъ, кого онъ звалъ этимъ воплемъ, уже былъ не въ силахъ отвѣчать ему, понимать его...

Безсмысленнымъ, животнымъ взглядомъ глядѣли въ потолокъ эти большіе, страшно раскрытые глаза, еще такъ недавно горѣвшіе жгучимъ пламенемъ мысли, — и въ уродливо-искривленныхъ, хрипѣвшихъ устахъ его не выражалось уже болѣе ничего человѣческаго, кромѣ тупаго страданія...

XXXIII.

Въ шлафрокѣ, растерявъ дорогой туфли и обливаясь заранѣе слезами, влетѣлъ въ комнату Ѳома Богдановичъ... Онъ успѣлъ уже поднять весь домъ на ноги. Поднялась общая тревога, возня людей, шопотъ громче крика, безсмысленное шмыганье взадъ и впередъ, торопливо отдаваемыя и тотчасъ же затѣмъ отмѣняемыя приказанія. Верховые поскакали во всѣ стороны за медицинскою помощью. Савелій притащилъ цѣлую груду старыхъ сигнатурокъ, хранившихся у него съ перваго дня болѣзни Герасима Ивановича, и дрожащею, нетерпѣливою рукой, точно дѣло дѣлалъ, отыскивалъ между ними какой-то списанный имъ рецептъ микстуры, когда-то, по его увѣренію, необыкновенно помогавшей больному...

Та же нагорѣвшая свѣча въ мѣдномъ шандалѣ, которую онъ въ первую минуту внесъ изъ передней въ комнату, стояла на столикѣ у изголовья постели, на которой безчувственно лежалъ теперь его баринъ, тяжко дыша высоко подымавшеюся грудью. Красноватое пламя отражалось на его бѣломъ какъ бумага лбу и на спутанныхъ, слипшихся отъ пота темныхъ волосахъ. Все такъ же тупо и широко раскрытые зрачки глядѣли вверхъ не моргая. Изъ темнаго угла, съ другой стороны кровати, протягивалась къ нему отъ времени до времени женская морщинистая рука, рука Анны Васильевны, — она очутилась тутъ какъ-то неслышно, незримо, вся съеженная и безмолвная, — и отирала платкомъ кровь, сочившуюся у него изъ довольно глубокой царапины подъ глазомъ, — слѣдъ его паденія въ кусты.

А на подоконникѣ открытаго окна, весь облитый алымъ заревомъ разсвѣта, сидѣлъ Вася, безъ слезъ, безъ вздоха, отвернувшись отъ этого скорбнаго одра и словно прислушиваясь къ чириканью воробьевъ, веселою стаей перелетавшихъ въ саду съ тополя на тополь... Я не смѣлъ подойти къ нему,— пуще всякаго плача и стона пугалъ меня этотъ его недвижный, словно мраморный обликъ...

Ѳома Богдановичъ въ десятый разъ ворвался въ комнату.

— У пана Яна (такъ звалъ онъ старика Опицкаго), заговорилъ онъ, отыскивая глазами жену въ ея темномъ углу,— у пана Яна съ кондиціи пріѣхалъ вчера племянникъ, Людвигъ тотъ Антонычъ, ты знаешь, до университета ѣдетъ назадъ... Такъ треба за нимъ послать, — поки ще настоящіе доктора пріѣдутъ съ города,—а онъ по сосѣдству швитко тутъ будетъ.

— А посылай скорѣе, отозвалась Анна Васильевна.

Онъ убѣжалъ въ корридоръ—и вернулся опять.

— А Любочка не бывала? спросилъ онъ.

— Нѣтъ, слабо проговорила она.

— А какъ же ты о томъ не помыслила! тотчасъ же затормошился Ѳома Богдановичъ.—Хоть и спитъ она, вѣрно,— такъ треба разбудить ее!... А то мужъ, о, — и онъ внезапно захлебнулся слезами,—а она нии-чее-го... не знаетъ... Я заразъ сбѣгаю до нея...

— Это совершенно безполезно, дядюшка, спокойно и отчетливо проговорилъ Вася, оборачиваясь къ нему всѣмъ тѣломъ.

— А якъ такъ безполезно? Изумленный Ѳома Богдановичъ даже ротъ раскрылъ.

— Она придетъ, когда вздумаетъ. А будить къ чему?... Она *ему* не поможетъ, домолвилъ Вася.

— А и правда-жь, послышался изъ угла прерывающійся голосъ Анны Васильевны,—чи-жь на радость пойдешь ты будить ее, Ѳома?..

Ѳома Богдановичъ всхлипнулъ на всю комнату и отправился послать гонца къ пану Яну.

Вася подошелъ къ ногамъ постели, хрустя пальцы о пальцы, и долго и безмолвно не сводилъ глазъ съ отца. Глаза эти

были сухи и воспалены, и подъ ними щеки горѣли какимъ-то страннымъ румянцемъ...

Онъ провелъ обычнымъ своимъ движеніемъ рукой по лицу и, какъ-будто вспомнивъ что-то безотлагательно нужное, обвелъ кругомъ себя взглядомъ и, увидѣвъ меня,—я сидѣлъ въ большомъ креслѣ Герасима Ивановича, почти посреди комнаты,—подалъ мнѣ головой знакъ пройти въ его комнату. Я молча повиновался. Онъ пошелъ за мною.

Изъ-за подушекъ больнаго выглянули безпокойно слѣдившіе за нимъ глаза Анны Васильевны...

Вася опустился на кровать.

— Борисъ, заговорилъ онъ... У меня сердце такъ и упало: я предчувствовалъ, о чемъ будетъ рѣчь...

— Борисъ, разскажи мнѣ, какъ все это было?... Зачѣмъ ты пустилъ *его* въ садъ, зачѣмъ не разбудилъ меня?

— Развѣ я могъ думать, что это случится! А будить тебя... мнѣ было жаль, Вася,—и самъ Савелій не хотѣлъ.... А онъ требовалъ,—мы отказать не могли....

— И вы повезли его... Что онъ говорилъ, зачѣмъ хотѣлъ въ садъ?... Ты не понялъ?

— Меня разбудилъ Савелій. Мы нашли его на окнѣ, — онъ совсѣмъ вывалился изъ кресла и просилъ, кричалъ только: „въ садъ, въ садъ“,—больше ничего я не понялъ.

— И вы повезли его? повторилъ опять Вася, не отрываясь отъ меня взглядомъ:—куда?

— По саду... Я опустилъ глаза, я не могъ глядѣть на это мраморное лицо, покрывавшееся все болѣе и болѣе какими-то неестественными сизо-алыми пятнами, по мѣрѣ того, какъ онъ допрашивалъ меня.

— Борисъ, ты долженъ, я умоляю тебя, разсказать мнѣ все.... Я *долженъ* знать,—ты понимаешь... Я не хочу узнавать это отъ Савелія!...

Я кинулся къ нему.

— Къ чему тебѣ знать, къ чему? Ради Бога, не спрашивай лучше, Вася!....

— Ты послушай,—онъ схватилъ меня за обѣ руки съ какою-то желѣзною силой и заставилъ сѣсть рядомъ съ нимъ

на кровать,—*онъ*.... онъ умретъ,... отецъ мой умретъ, можетъ быть, сегодня!... Вѣдь это же не такъ, безъ причины, случилось.... Онъ же былъ въ полномъ разсудкѣ!.... Вѣдь ты это знаешь, знаешь?

— Да! пробормоталъ я.

— Онъ кричалъ, говоришь ты: „въ садъ, въ садъ“, онъ требовалъ... Вѣдь это же не капризъ былъ, не безуміе? Развѣ я этого не понимаю?... Онъ что-то *видѣлъ*,... онъ оттого... Да развѣ все это не написано на лицѣ твоемъ, Борисъ?... Вася почти грубо схватилъ меня за голову, поднялъ ее и, заглядывая мнѣ прямо въ глаза, — я хочу знать, *какъ убили моего отца*!... проговорилъ онъ какимъ-то страшнымъ шепотомъ.

Въ первый разъ въ эту минуту возникло въ головѣ моей ясное представленіе того, чему я былъ свидѣтелемъ въ саду...

— Его убилъ этотъ мерзавецъ, музыкантъ! вырвалось у меня невольно.

— Музыкантъ? впился въ лицо мое Вася.

— Да, Булкенфрессъ. Мы его нашли въ саду.... Онъ, вѣрно изъ мщенія, я теперь вижу, — онъ навелъ Савелія на эту бесѣдку...

— На какую бесѣдку?

— „Храмъ отдохновенія“, ты знаешь...

— Ну, и тамъ?... стиснувъ зубы, торопилъ меня онъ.

— Подъ ставнемъ Герасимъ Иванычъ замѣтилъ свѣтъ и сталъ кричать: „отворите, отворите“!... И онъ, этотъ мерзавецъ, побѣжалъ и отворилъ этотъ ставень... И все видно стало въ бесѣдкѣ....

Договорить не хватило у меня силы.

— А тамъ, договорилъ за меня, захрустѣвъ опять пальцами Вася,—была *она* со своимъ...

— Къ чему ты спрашиваешь—это пытка! съ отчаяніемъ прервалъ я его.

Онъ весь сразу приподнялся съ мѣста:

— И это моя мать, Борисъ, моя *мать*! проговорилъ онъ глухо и зашатался на ногахъ.

На порогѣ комнаты показалась Анна Васильевна.

— Голубчикъ мой, Вася, сквозь слезы говорила она,—не

томи ты душеньку свою заранѣе,... можетъ ему еще и полегчаетъ... Она обняла его за шею и опустилась съ нимъ вмѣстѣ на кровать, прижимаясь щекой къ его щекѣ и заставляя его тихо качаться вмѣстѣ съ собою, какъ это дѣлаютъ съ больными малютками, чтобъ усыпить ихъ страданія.

Но не помогло это средство Васѣ: онъ отдавался ласкамъ доброй тетки, но не успокоивали, не утѣшали онѣ его, не сообщались ему ея слезы, и его воспаленные глаза горѣли все тѣмъ же пожирающимъ, неумолимымъ какимъ-то огнемъ.

— Тетушка, сказалъ онъ,—вѣдь это конецъ!

— А Богъ съ тобою, Васинька! воскликнула она спѣшно, чтобы не дать ему замѣтить свою собственную тоску, принимаясь цѣловать его волосы,—и хуже ему, можетъ, въ первый разъ было, а Богъ помогъ.

— Его убили, промолвилъ опять Вася.

— Убили! съ ужасомъ повторила Анна Василтевна, вглядываясь въ него лицомъ въ лицо.

Онъ не отвѣчалъ. Она еще крѣпче прижала голову его къ своей щекѣ.

— Пожалуйста, снова заговорилъ опъ, — не зовите *ее* сюда!...

Анна Васильевна смущенно заморгала своими влажными вѣками: она поняла, о комъ говорилъ Вася.

— Звать? зачѣмъ? промолвила она. — Сама придетъ, увидитъ, бѣдняжечка.

— Да, да, захохоталъ вдругъ Вася коротким, судорожнымъ смѣхомъ,—сама увидитъ, *бѣдняжечка*!

Анна Васильевна поблѣднѣла какъ полотно и испуганными глазами глянула на него, потомъ на меня.

Я отвернулся.

— Голубчикъ Вася, начала она торопливо,—а ты бы легъ себѣ, можетъ уснулъ бы, успокоилъ себя?

Онъ разсѣянно, вскользь поцѣловалъ ее въ голову, приподнялся и, какъ будто вспомнивъ что-то вдругъ:

— Доктора! воскликнулъ онъ, ни на кого не глядя.—Да развѣ можетъ онъ остаться живъ послѣ этого!

И онъ быстрыми шагами направился въ комнату отца.

Мы дошли до дверей за нимъ.

Онъ сѣлъ въ уголъ противъ отца, на бывшее мѣсто Анны Васильевны, сжалъ свои обѣ руки колѣнями и словно застылъ въ этомъ положеніи.

Анна Васильевна обернулась на меня и пошла назадъ въ Васину комнату, какъ бы приглашая меня послѣдовать за нею.

— Борисъ, заговорила она и не докончила: ее давили слезы.

— Только, ради Бога, не спрашивайте меня ни о чемъ, голубушка Анна Васильевна! взмолился я,—меня самого душили рыданія.

— А ходи же ты скорѣе до твоего француза! воскликнула она съ новымъ испугомъ, взглянувъ на мое, должно быть, очень разстроенное лицо,—ходи сейчасъ, сейчасъ, чтобы мнѣ еще за тебя не отвѣчать предъ Софьей Михайловной!

И добрая женщина нѣжно обняла меня, какъ обнимала сейчасъ Васю, и, выпроваживая меня въ корридоръ, повторяла:

— И сейчасъ спать ложись, и спи до полудня; французу такъ и скажи, что я просила, чтобы далъ тебѣ спать... И постарайся, примолвила она съ какимъ-то внезапнымъ умиленіемъ,—постарайся мать свою во снѣ увидать. Счастливый ты, Борисъ, что у тебя такая мать есть!

Керети былъ уже на ногахъ; его разбудили шумъ и бѣготня людей мимо дверей нашихъ комнатъ; онъ собирался идти провѣдать меня.

— Ah, vous voila! J'allais vous voir... Mais qu'avez vous? воскликнулъ онъ, съ искреннимъ участіемъ озирая меня.

— Я такъ измучился,... *тамъ* такіе ужасы происходятъ! съ усиліемъ проговорилъ я.

— Oui, oui, Macsimiche—то-есть Максимычъ — m'a tout conté. Il parait que le pauvre homme a été frappé une seconde fois. Mais dites-moi...

— Я не въ состояніи вамъ ничего сказать, cher monsieur Qué, я такъ усталъ, я спать хочу.

Онъ не настаивалъ, заботливо самъ уложилъ меня на свою постель и вышелъ на цыпочкахъ изъ спальни.

XXXIV.

Я тотчасъ же заснулъ и проспалъ довольно долго. Громкій говоръ въ сосѣдней комнатѣ разбудилъ меня.

— Che (je) n'ai rien fait—ch'ai (j'ai) fait voir! острилъ, хихикая, наглый Булкенфрессъ.

— Et vous osez vous en targuer encore (вы смѣете этимъ хвастаться), vous, vous complaisez à en faire le récit (вы самодовольно разсказываете это)? негодующимъ голосомъ отвѣчалъ на это Керети. — Eh bien, c'est hideux tout ça, musicien, — c'est moi qui vous le dis! (это отвратительно, скажу вамъ)... D'autant, примолвилъ онъ, — тѣмъ болѣе, что я въ сущности не обязанъ вѣрить вашимъ словамъ, какъ Евангелію, d'admettre vos assertions comme paroles d'Evangile!

— А! вы мнѣ не вѣрите! Мнѣ, Iohann-Maria Bogenfrisch aus Salzburg! злобно прошипѣлъ Булкенфрессъ. — Такъ можете вашего воспитанника спросить; онъ видѣлъ, какъ я, de ses deux yeux vu.

Искры запрыгали у меня въ глазахъ; я вскочилъ какъ сумасшедшій съ постели и вбѣжалъ къ нимъ въ комнату.

— Да, я видѣлъ и скажу, что вы... задыхаясь отъ негодованія, лишь только проговорилъ я.

— Taisez vous! крикнулъ на меня Керети, ухватывая меня за обѣ руки.—N'osez pas mêler mon élève à vos saletés! громко обратился онъ къ музыканту.—Мой воспитанникъ ничего не видѣлъ. Понимаете вы это?

— Какъ не видалъ, какъ не видалъ! весь перемѣнясь и заикаясь забормоталъ тотъ,—онъ самъ...

— Vous me faites pitié! вы мнѣ жалки! презрительно прервалъ его мой французъ. — Vous voulez un procès verbal, — trés bien! Я допрошу его, но не иначе, какъ въ присутствіи здѣшняго хозяина, господина Галагая, en présence de monsieur de Galagai, le maitre de céans; согласны вы?

Булкенфрессъ глянулъ на него зайцемъ изъ-подъ очковъ и забѣгалъ по комнатѣ.

— Comment ne comprenez vous pas, malheureux, продолжалъ Керети,—qu'il faut vous taire à tout prix, что вы должны молчать, какъ рыба; что если узнаютъ о той роли, какую вы играли dans toute cette lamentable histoire, васъ не продержатъ часа лишняго въ этомъ домѣ,—et vous y êtes bien, on ne trouve pas tous les jours des positions comme celle que l'on vous y a faite! А вы сами лѣзете въ петлю! Et pourquoi—je vous le demande?

— Mon jer (cher) ami, жалобнымъ голосомъ заговорилъ вдругъ Булкенфрессъ, такъ и захлебываясь своими словами и не обращая никакого вниманія на нетерпѣливыя движенія и знаки, которыми Керети тщился остановить потокъ его безстыдныхъ откровеній,—mon jer ami, вы не знаете, какъ они меня обидѣли, какъ оскорбили мою честь, meine Ehre! Я отъ добраго моего сердца вижу, она такая хорошенькая женщена, une si cholie femme, и онъ, этотъ рыцарь изъ Курляндіи, dieser Ritter aus Kurland, такъ влюбленъ въ нее,—и я дѣлалъ для нихъ все, что могъ, я упросилъ ее отвѣчать на его письма,... потому, вы сами знаете, мужъ ея—это болѣе не человѣкъ, er ist ja kein Mensch mehr,—мнѣ было ее такъ жалко, такъ жалко!... А дворянинъ этотъ совсѣмъ пропадалъ отъ любви къ ней, der Edelmann war ganz zu Grunde... Онъ два раза ночью, переодѣтый, пріѣзжалъ сюда,... онъ готовъ былъ застрѣлиться, потому она все не рѣшалась видѣться съ нимъ наединѣ... И когда она наконецъ согласилась, и они подумали, что я имъ болѣе не нуженъ, — очки Булкенфресса свалились, отъ волненія съ его крючковатаго носа, и близорукіе красненькіе глазки просительно обернулись на меня,—вы сами видѣли, молодой человѣкъ, она мнѣ двери свои въ носъ закрыла,... а онъ подарилъ мнѣ жалкую булавку

съ драгоцѣннымъ камнемъ, une misérable épingle mit einem Edelsteine, какъ будто я продажный человѣкъ, какъ какой-нибудь русскій исправникъ, comme un russischer ispravnik, и сталъ таиться отъ меня... Они полагали, что я не узнаю, не открою мѣста ихъ свиданія.

— Et la misérable épingle, la lui avez vous renvoyée, а отослали вы ему булавку? неожиданно фыркнулъ отъ смѣха мой гувернеръ.

Булкенфрессъ глянулъ на него оторопѣлымъ взглядомъ.

— Я хотѣлъ самъ... началъ было онъ. Но Керети не далъ ему продолжать.

— C'est un détail qui nous intéresse peu du reste, mon élève et moi, отрѣзалъ онъ, сообразивъ, что смѣхъ не долженъ былъ имѣть мѣста въ эту минуту, когда ему доставалось играть такую блестящую, рыцарскую роль. — Довольно, assez causé. Тутъ идетъ рѣчь о спасеніи чести женщины, матери, il s'agit de sauver l'honneur d'une femme, d'une mère! проговорилъ мой наставникъ театральнымъ, но искренно прочувствованнымъ голосомъ, и, положивъ руку на мое плечо, примолвилъ, откидывая голову назадъ: — je vous réponds de lui, я отвѣчаю за него! Длинные и жидкіе волосы его, которыми онъ вѣчно старался прикрыть свою лысину, разсыпались при этомъ бахрамой за ушами. Но ему было не до волосъ,—ему надо было доканать Булкенфресса.

— Quant à vous, mon Jago, рекъ онъ ему, — мнѣ отвѣчаетъ за васъ если не вашъ странный нравственный кодексъ, votre singulier code de morale, то во всякомъ случаѣ вашъ собственный интересъ; если вы хотите сохранить ваше положеніе въ здѣшнемъ домѣ... и вашу кожу, votre peau, — car cet officier après tout, объяснилъ Керети, отчеканивая каждое свое слово и видимо наслаждаясь впечатлѣніемъ, какое рѣчь его производила на окончательно, казалось, сконфузившагося музыканта, — car cet officir pourrait n' y point trouver matière à rire (потому что ваша болтовня можетъ, пожалуй, показаться и не забавною этому офицеру),—vous vous tairez. Et sur ce bonjour, bonjour, musicien, докончилъ мой наставникъ и величественно помахалъ ему рукой, изображая

этимъ жестомъ, что аудіенція-молъ кончена, и ты можешь убираться.

Булкенфрессъ поднялъ на него свои опущенные глаза и, схвативъ его за руку, принялся усиленно трясти ее съ громкимъ, напускнымъ смѣхомъ.

— Eloquent comme feu Mirabeau! воскликнулъ онъ, — и, въ виду этого вашего краснорѣчія, ничего другимъ и не остается дѣлать, какъ безмолствовать, какъ рыбы. Nous allons donc tous conchuguer (conjuguer) le ferbe (verbe) „se taire". Je me tairai, tu te tairas, il se taira, — и онъ указалъ на меня пальцемъ... Bonjour, bonjour, poète! передразнилъ онъ вдругъ съ необыкновеннымъ искусствомъ голосъ и движеніе моего наставника,—и съ новымъ смѣхомъ выбѣжалъ въ корридоръ.

Керети сдѣлалъ нѣсколько быстрыхъ шаговъ ему вслѣдъ, но пріостановился, поднялъ преувеличенно плечи и, вернувшись ко мнѣ:

— Вы видѣли предъ собою, наставительнымъ тономъ заговорилъ онъ,—одинъ изъ гнуснѣйшихъ образцовъ человѣческой природы, un des plus abjects spécimens de la nature humaine. Quelle étude pour un grand poète comme Hugo, par exemple! неожиданно присовокупилъ онъ къ этому.

— О, еслибы вы меня не удержали! воскликнулъ я, чувствуя новый приливъ негодованія, затихшаго было во время предыдущей сцены, и удивляясь, какъ это могло во мнѣ затихнуть, — еслибъ вы меня не схватили за руки, я бы, кажется, его... я бы высказалъ ему, но крайней мѣрѣ, все, что я думаю про него!.. Вѣдь это онъ, онъ убилъ этого несчастнаго человѣка, monsieur Qué, онъ привелъ насъ къ бесѣдкѣ, откинулъ ставень, и тотъ увидѣлъ...

— Pardieu, il s'en flatte, le misérable! воскликнулъ мой наставникъ не менѣе горько, сочувственно глядя на меня блестящими глазами, — онъ вполнѣ заслуживалъ бы, чтобъ его отсюда шлепками выгнали. Mais il parlerait alors pour se venger,—и Керети внушительно покачалъ головой, — et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix! Я полагаюсь на васъ, Борисъ, vous ne vous trahirez pas, n'est ce pas? Вы не забудете qu'il y va de l'honneur d'une femme, d'une mère! повто-

рилъ онъ съ новою торжественностью. Эта фраза, повидимому, натолкнула его на новую мысль, и онъ заходилъ вдругъ по комнатѣ, громко задекламировавъ:

Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe!
Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe,
Qui sait....

Онъ вдругъ остановился и пристально поглядѣлъ на меня:

— Я сегодня же напишу вашей матушкѣ и буду настаивать, чтобъ или она пріѣзжала немедленно домой, или позволила бы намъ и безъ нея вернуться à Tikvode. А не то вы кончите тѣмъ, что заболѣете, — tout ce qui se passe ici vous affecte trop, — вы слишкомъ нервны и впечатлительны. Et puis,—досказалъ онъ, снова закачавъ головой,—c'est commencer pour vous à connaître la vie de trop bonne heure...

— А Вася? подумалъ я, — и сердце у меня сжалось, но вмѣстѣ съ тѣмъ точно чѣмъ-то благоухающимъ и свѣжимъ, какъ запахъ ландыша, сорваннаго весеннимъ утромъ, пахнуло на меня при мысли о Тихихъ-Водахъ, о нашемъ старомъ лѣсѣ, гдѣ каждая тропинка хранила мои слѣды, и о моей чистой, безупречной матери, съ ея строгими глазами и невыразимо нѣжною улыбкой...

Дверь изъ корридора съ шумомъ отворилась въ это время, и въ комнату ввалился Ѳома Богдановичъ, таща за руку „племянника пана Яна", того самаго Людвига Антоновича, который такъ удачно тогда, въ саду, предводительствовалъ турецкою арміей и накрылъ подъ шалашомъ Сашу Рындина со всѣмъ его войскомъ.

За ними шелъ Булкенфрессъ, безпокойно выглядывая метавшимися во всѣ стороны глазками: онъ, очевидно, возвращался сюда не по собственному желанію.

— А отъ же самъ онъ, Борисъ! заговорилъ, порывисто дыша, хозяинъ, — спытаемъ и его... Ну, садитесь, панъ студіозусъ, милости просимъ...

Онъ усадилъ его, самъ сѣлъ напротивъ, верхомъ на стулъ и, заглядывая студенту въ лицо:

— То якъ же, пане, повѣдзице, началъ онъ, подлаживаясь подъ польскій языкъ,—кепско съ моимъ Герасимомъ?

Людвигъ Антоновичъ принялъ вдумчивый и ученый видъ, гораздо болѣе забавный, чѣмъ когда онъ, махая шпагой и съ козырькомъ на затылкѣ, велъ своихъ чалмоносцевъ противъ русскаго фельдмаршала.

— По освидѣтельствованіи паціента, убѣдившись, что онъ пораженъ apoplexia cerebri, или, другими словами, что надо полагать здѣсь разрывъ мозговыхъ сосудовъ, я, на основаніи указаній науки, приказалъ выпустить ему достаточное число крови, доказавъ предварительно молодому сыну паціента, что безъ того онъ можетъ моментально лишиться отца своего... Но исцѣленія не доставляетъ это средство, а въ семъ казусѣ вообще даже нельзя и ждать исцѣленія. Употребляютъ еще въ такихъ случаяхъ возбудительныя, какъ-то moschus, arnica и тому подобныя...

Ѳома Богдановичъ неожиданно всхлипнулъ.

— А якъ думаете, чи проживетъ онъ ще долго?

Студентъ пожалъ плечами.

— Медыкъ не профета, — а тимъ болѣе въ такихъ случаяхъ... Паціенты есть, что и долго живутъ послѣ такихъ пораженій,—а другіе умираютъ скоро...

Ѳома Богдановичъ схватился за голову.

— И якъ же то его, такъ *небога*, вдругъ!...

— А апоплексія-жь всегда такъ *вдругъ*, — улыбнулся студентъ, и насмѣшливо примолвилъ по-малорусски же: не пришлетъ съ вечора *паробка* (мальчика) казати, що на утро прійде.

— А все-жь зъ якой-нибудь причины случилось то, не выпуская головы своей изъ рукъ, разсуждалъ, тяжело охая, добрый помѣщикъ.

— Моральна якась, муси быть, была причина, глубокомысленно проговорилъ Людвигъ Антоновичъ.

— А Богъ съ вами! живо возразилъ Ѳома Богдановичъ,— якъ позавчера жилъ онъ, и вчера такъ, и сегодня... Съ чего-жь взять яку-съ тамъ моральну причину?

— Або я знаю! дернулъ опять плечомъ студентъ.

Булкенфрессъ заерзалъ на мѣстѣ и, сорвавъ очки съ носу, началъ протирать ихъ платкомъ. Керети, на половину не понимавшій разговора, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за лицами присутствовавшихъ, стоя и прислонясь спиной къ коммоду, стоявшему въ простѣнкѣ, между оконъ.

Догадка студента о „моральной причинѣ“ тѣмъ не менѣе произвела впечатлѣніе на Ѳому Богдановича. Онъ задумался, потеръ рукой свою лысину и, вспоминая вдругъ:

— Савелій тотъ старый, началъ онъ, взглянувъ на Булкенфресса и меня, сказалъ, что оба вы тутъ были, когда...

— Были, подтвердилъ я тотчасъ же.

— А ты хиба не спалъ, Борисъ, что въ садъ попалъ съ ними?

— Я спалъ, когда меня разбудилъ Савелій и просилъ помочь ему, что Герасиму Ивановичу вздумалось въ садъ...

— А онъ часто на шпацырь (прогулку) въ садъ велѣлъ себя возить ночью? спросилъ меня студентъ.

Я нѣсколько смутился отъ этого вопроса.

— Я не могу сказать вѣрно, отвѣчалъ я, подумавъ, — но меня сегодня въ первый разъ разбудили...

— И не замѣтили въ паціентѣ какого-либо симптома, по коему можно было бы заключить о предрасположеніи его организма къ тому, что случилось съ нимъ? началъ Людвигъ Антоновичъ новый затруднительный для меня вопросъ.

Булкенфрессъ значительно взглянулъ на меня, какъ бы приглашая не торопиться отвѣтомъ.

Я сказалъ, что замѣтилъ необычное Герасиму Ивановичу волненіе, какъ предъ прогулкой, когда онъ настойчиво и безъ всякихъ объясненій требовалъ только, чтобъ его везли въ садъ, такъ и во время прогулки, что причины этой его тревоги ни я, ни Савелій объяснить себѣ не могли, что въ аллеяхъ было, дѣйствительно, темно и нельзя было видѣть его лица, и онъ ничего не говорилъ, кромѣ „вези“ да „вези“, что, наконецъ, когда мы остановились на одномъ мѣстѣ—на какомъ именно я не упомянулъ, и пріостановился, соображая, какъ бы обойти половчѣе весь этотъ страшный эпизодъ предъ „храмомъ отдохновенія“,—на этомъ мѣстѣ, объяснилъ я, я услыхалъ ужас-

ный крикъ,—какъ будто онъ чего-то страшно испугался, домолвилъ я невольно,—и шумъ паденія Герасима Ивановича въ кусты...

— Любопытно, медленно проговорилъ студентъ, — какой предметъ или явленіе могли возбудить въ его мозговыхъ нервахъ это непонятное съ вашихъ словъ ощущеніе страха, или испуга...

Булкенфрессъ привскочилъ на мѣстѣ, какъ будто озаренный мыслью, объвснявшею все.

— А ви забилъ вашъ собака? крикнулъ онъ мнѣ,—какъ онъ мене совсѣмъ хотѣлъ на куски раздирать?...

— Нѣтъ, не забылъ...

— И вообразитъ, Ѳома Богданшъ, началъ снова захлебываться музыкантъ,—я совсѣмъ не знай, што съ этимъ собака сдѣлался, когда мы становились на то мѣсто, онъ изъ-за деровъ выскочилъ и началъ лайть такъ страшно, что я самъ содригался и думалъ, онъ будетъ сейчасъ меня раздирать. И въ этотъ самъ время,—голосъ музыканта рѣзко перешелъ въ минорный тонъ,—я увидалъ бѣдній, бѣдній Герасимъ Иваншъ всталъ въ кресло... и вдругъ, какъ если ноги его срѣзалъ большой ножъ, упалъ какъ полѣнъ дровъ, носъ впередъ въ дерева... И я думалъ, онъ завсѣмъ уже мертвій!.. Ви спрашивалъ, и Булкенфрессъ поворотилъ къ Людвигу Антоновичу плаксиво скорченное лицо свое,—ви спрашивалъ: какой тутъ мошетъ быть моральный пришинъ?... Вотъ онъ пришинъ!

И онъ указующимъ жестомъ ткнулъ пальцемъ по направленію стола, подъ которымъ на коврѣ, мирно уложивъ носъ свой на переднія лапы, отдыхала злополучная Сильва отъ ночныхъ своихъ похожденій.

— А щобъ тебя волки зъили, песъ анаѳемскій! крикнулъ въ первомъ пылу негодованія Ѳома Богдановичъ и отпустилъ „моральной причинѣ“ Булкенфресса такой пинекъ каблукомъ, что бѣдная собака перевернулась на спину отъ перепуга и, съ поджатою отъ боли заднею лапой, кинулась въ спальню Керети подъ кровать, отчаянно взвизгивая и воя.

Наставникъ мой, весь блѣдный, отдѣлился отъ коммода и шагнулъ къ Ѳомѣ Богдановичу.

— Que vous a donc fait *ma* chienne, monsieur, pour que vous lui infligiez ce châtiment? проговорилъ онъ глубоко оскорбленнымъ тономъ.

Музыкантъ невыразимо насмѣшливо глянулъ на него поверхъ очковъ: „Il s'agit de sauver l'honneur dune femme, d'une mère", такъ и говорилъ, казалось мнѣ, его саркастическій и наглый взглядъ.

— Ну, извините, извините, мусье, не сердитесь! тотчасъ же приходя въ себя и, очевидно, ужасно раскаяваясь въ своемъ поступкѣ, бросился Ѳома Богдановичъ обнимать моего гувернера.—Не помретъ отъ того псица ваша, pas mourir, la chienne, объяснилъ онъ по-французски,—а Герасимъ мой бѣдный вѣдь слышали, отъ ея лаю, можетъ, и жизнь свою кончитъ...

Добродушный Ѳома Богдановичъ собирался, повидимому, еще разъ заплакать, какъ дверь изъ корридора снова отворилась и въ нее глянуло чье-то женское лицо.

— А кто тамъ? крикнулъ онъ и немедленно же метнулся къ двери.

Вошла бойкая, не очень молодая, но щеголеватая горничная Любови Петровны, Прасковья Ильинишна.

— Здѣсь господинъ докторъ? спросила она.

— А на что вамъ? полюбопытствовалъ Ѳома Богдановичъ.

Горничная, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ упрека въ выраженіи, отвѣчала, что барыня ея „очень нервами разстроились" послѣ посѣщенія ея Ѳомой Богдановичемъ и такъ себя „слабо чувствуютъ", что „почти съ дивана встать не могутъ". А такъ какъ „онѣ оченно желаютъ посѣтить *больнаго*", то и просятъ господина доктора побывать къ нимъ: не пропишутъ-ли они имъ лавровишневыхъ капель, или другаго подкрѣпительнаго лѣкарства?"

— А чѣмъ, чѣмъ я ее разстроилъ? загоготалъ Ѳома Богдановичъ, подбѣгая къ Прасковьѣ Ильинишнѣ и тревожно заглядывая ей въ глаза.

Та улыбнулась.

— Извѣстно, жеманно молвила оно, скользнувъ взглядомъ по краснощекому лицу „доктора", взиравшаго, въ свою оче-

редь, не безъ удивленія на ея шелковый фартукъ и чепчикъ à la Fanchette,—извѣстно, барыня очень нѣжной комплекціи и деликатнаго характера, а вы изволили такъ безъ *сандута* (что́ хотѣла она сказать этимъ французскимъ *sans doute* въ русскомъ падежѣ — осталось невѣдомымъ), не *приготовимши* ихъ нѣсколько, объявить имъ о Герасимѣ Иванычѣ. Какіе они ни на есть, хотя и мужемъ ихнимъ назвать ихъ, почитай, нельзя, одначе все они имъ не чужой, а супругъ законный, добавила она съ насмѣшливымъ оттѣнкомъ.

— Такъ я же ей про кого говорилъ? Про законнаго ея мужа,—не про чужаго!... оправдывался Ѳома Богдановичъ.— Вы успокойте ее, панъ студіозусъ, чтобъ она, бѣдная, не слишкомъ плакала. Да лѣкарство напишите ей... можетъ такое напишете, что не надо и рецепта: у Богуна снытайтесь,— у насъ всей той медицины много повыписано...

— Я сейчасъ къ нимъ пойду, сказалъ студентъ, вставая съ мѣста.

Горничная ушла.

— А отъ этой дамы я ужь поѣду въ Селище, объявилъ Людвигъ Антоновичъ.

— А на що, на що? закричалъ хозяинъ.

Оказывалось, что студентъ назавтра собирался уѣхать въ К. и уже нанялъ для этого жида-*фурмана*, но Ѳома Богдановичъ удержалъ его и упросилъ остаться при больномъ до пріѣзда доктора изъ города, и что такимъ образомъ ему необходимо отказать жиду, предваривъ его во-время, чтобы „Ицекъ“ не потребовалъ съ него всей суммы, уговоренной между ними за проѣздъ.

— До Селища всего четыре версты, двадцать минутъ ѣзды, объяснялъ Людвигъ Антоновичъ, — я съѣзжу, покончу съ Ицкомъ и черезъ часъ буду назадъ...

— Ну, добре, нехай по-вашему! согласился наконецъ Ѳома Богдановичъ.—Только ворочайтесь швитко, да скажите пану Яну, что, о, кака недоля у насъ приключилася, чтобы пріѣхалъ до насъ,—можетъ совѣтъ какой дастъ и все такое,... за людьми и горе легче человѣку терпѣть...

— Онъ и такъ хотѣлъ ѣхать до васъ, какъ только пріі-

ѣхали за мною кони ваши, молвилъ студентъ, — да пріѣхалъ до него эскадронный ротмистръ овса покупать. Такъ онъ съ нимъ зостался...

— Какой скадронный? воскликнулъ хозяинъ.—Гольдманъ же нашъ тутъ у Герасима съ Ганной моею сидитъ... Сами видѣли!...

— Другій, отвѣчалъ Людвигъ Антоновичъ,—съ четвертаго эскадрона, что въ Юрасовкѣ стоитъ.

— Баронъ!

Ѳома Богдановичъ даже припрыгнулъ.

— А онъ самый есть.

— Такъ прошу же васъ, панъ студіозусъ, засуетился онъ,—напишите рецептъ Любови Петровнѣ, и швитче, швитче поѣзжайте до Селища, чтобы баронъ тотъ не уѣхалъ себѣ до Юрасовки, и такъ и скажите ему: что не можетъ того быть, не повѣритъ старый Галагай, чтобы онъ не пріѣхалъ до Богдановскаго, что, можетъ, какъ не пріѣдетъ теперь, николи больше не увидится онъ съ Герасимомъ, съ тѣмъ самымъ, что онъ его съ генераломъ тогда изъ К. привезли недужнаго до насъ, и что я знаю, что онъ любитъ того *небога*...

— О, да! не могъ удержаться ввернуть сюда свое ѣдкое слово Булкенфрессъ, — баронъ фонъ-Фельзенъ ошень любитъ весь здѣшній семействъ...

Ѳома Богдановичъ поднесъ фуляръ свой къ глазамъ.

— И ужь не скажу (не знаю), какъ и его любятъ здѣсь всѣ, воскликнулъ онъ, махнувъ платкомъ съ рѣшительнымъ видомъ, какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ, и, подхвативъ студента подъ-руку, вышелъ съ нимъ изъ горницы.

Музыкантъ поднялся со стула и, не двигаясь, долго провожалъ его глазами.

— Vieux Paillasse, va! проговорилъ онъ наконецъ, взглянувъ избока на Керети, и махнулъ платкомъ точь-въ-точь такъ, какъ только-что сдѣлалъ это Ѳома Богдановичъ.

Французъ мой не выдержалъ опять и расхохотался... Булкенфрессъ только того и ждалъ, повидимому; онъ вздернулъ очки на носъ съ торжествующимъ видомъ и удалился. Очень

непріятное впечатлѣніе произвелъ на меня этотъ смѣхъ Керети. Онъ самъ очень скоро какъ бы почувствовалъ неумѣстность такого сочувствія наглости Булкенфресса, которую онъ такъ еще недавно громилъ съ высоты своего рыцарства, — и съ презрительно выставленною впередъ губой поглядѣлъ въ спину удалявшагося музыканта: „Animal“ проговорилъ онъ уже громко, когда тотъ изчезъ за дверями, и нетерпѣливо принялся переводить съ затылка на лобъ свои разлетѣвшіеся волосы.

Я поспѣшилъ уйти въ комнату больнаго.

XXXV.

Васю я засталъ на томъ же мѣстѣ, въ томъ же положеніи, со сжатыми межъ колѣней руками, съ неподвижно прикованнымъ къ отцу взоромъ,—точно не прошло цѣлыхъ трехъ часовъ съ той минуты, какъ я ушелъ отъ него. И какъ бы подъ магнетическимъ вліяніемъ этого неотступнаго взора, изъ котораго словно текли незримыя струи молитвенно-нѣжнаго и скорбно-баюкающаго сыновняго чувства, черты недужнаго успѣли потерять свое первое, безобразно-страдальческое выраженіе. Глаза были полузакрыты, искривленныя губы подобрались почти въ прежнія, знакомыя складки, грудь тише и ровнѣе подымалась и падала; мирный сонъ, сказали бы вы, вѣялъ надъ нимъ, еслибъ отъ времени до времени свистящій звукъ, прорывавшійся изъ его гортани, и желтоватая пѣна, закипавшая въ углахъ его рта, не свидѣтельствовали о томъ, что это былъ не сонъ, а тяжкое забытье, не крѣпительный, возрождающій отдыхъ, а развѣ лишь отсутствіе прямаго, сознательнаго страданія.

Окна были всѣ растворены настежъ; свѣжій воздухъ и мягкій свѣтъ первой осени свободно проникали въ обширный покой... Какимъ-то новымъ, страннымъ умиленіемъ охватило меня вдругъ... Къ этому пламенному солнцу, на крыльяхъ этого тихаго вѣтра, чудилось мнѣ сквозь слезы, упорною пеленой застилавшія мнѣ глаза, понесется скоро душа, отрѣшенная отъ той жалкой плоти, что тутъ, въ углу, прячется теперь отъ нихъ за зелеными ширмами, приставленными заботливой рукой Анны Васильевны... И какъ сладко, какъ легко

будетъ этой изстрадавшейся душѣ нестись, нестись безконечно по лазурнымъ волнамъ безпредѣльныхъ пространствъ, гдѣ „ни плача, ни воздыханія“, а все ближе, ближе къ тому вѣчному непостижимому... Но будетъ-ли эта освобожденная душа помнить о молодой, безутѣшной жизни, что такъ неразрывно, такъ болѣзненно сливалась съ ея жизнью на землѣ? Вымолитъ ли сыну отцовская душа тотъ тихій миръ, въ которомъ такъ сурово отказано было здѣсь ей самой? Или не вынесетъ утраты молодая жизнь эта и, вслѣдъ за отцомъ, понесется и она, отрѣшенная отъ оковъ земныхъ, къ тому же вѣчному солнцу, на чьихъ-то невидимыхъ, избавительныхъ крыльяхъ?...

Все тутъ же была и Анна Васильевна: она сидѣла у одного изъ оконъ, выходившихъ на павильонъ, а рядомъ съ нею, спиной къ окну, вытягивалъ длинныя ноги свои впередъ угрюмый командоръ, задумчиво навивая себѣ на палецъ нескончаемый усъ. Они молчали оба, и, въ первую минуту, я ихъ даже не замѣтилъ. Но они внимательно слѣдили за мною и, встрѣтившись нечаянно глазами съ Анной Васильевной, я какимъ-то внутреннимъ чутьемъ почувствовалъ, что та-же печальная и въ то же время отрадная „думка“ объ *избавленіи*, о томъ о чемъ-то другомъ, невѣдомомъ, но лучшемъ, ожидающемъ Васю, проносилась и предъ ея мысленнымъ взоромъ. Да и кто, въ чьей душѣ не изсякла жажда вѣчной справедливости,—а есть-ли такая человѣческая душа, которая, вопреки отрицаніямъ своей гордыни, не взалкала бы хоть разъ въ жизни по этой недостижимой для нея, но несомнѣнной, необходимой, гдѣ-то неизбѣжно сущей высшей справедливости? — Кто не „погадалъ бы той же думки“, глядя теперь на Васю? За что суждена ему была эта безъисходная для нея мука? Что онъ сдѣлалъ, чѣмъ, какъ заслужилъ ее? „Я тоже Божіе созданіе, я тоже имѣю право на счастіе“, говорила *она*, его мать... И она не отреклась отъ того, что почитала этимъ своимъ правомъ, она завоевала себѣ это счастіе, купила его цѣной двухъ жизней... А онъ, этотъ нѣжный, „безгрѣшный“ мальчикъ, который самъ отдавалъ всего себя въ жертву, развѣ не былъ и онъ Божіе созданіе, развѣ менѣе, чѣмъ она, имѣлъ права на счастіе? Боже мой, да и думалъ-ли онъ когда-нибудь требо-

вать, смѣлъ-ли даже мечтать о счастіи? Какъ бѣдный листокъ, распустившійся на полусгнившей вѣткѣ, онъ молилъ лишь о томъ, чтобъ осенняя буря не сломила родной древесины, хилымъ бытіемъ которой питалось его собственное бытіе. И не вняла безпощадная буря, и ударила она, и сокрушила... Чѣмъ, для чего ему жить теперь?...

Командоръ мрачно переводилъ круглые глаза свои съ Васи на меня и обратно, словно злобствуя и негодуя на обоихъ насъ за что-то очень скверное, въ чемъ виноватыми оказывались мы. Точно такимъ же злобнымъ взглядомъ, вспомнилось мнѣ, глядѣлъ онъ на любимую свою собаку, подстрѣленную нечаянно на охотѣ однимъ изъ его товарищей и которую онъ принесъ на рукахъ верстъ изъ-за пятнадцати къ старому нашему коновалу, въ Тихія-Воды, на излѣченіе. Онъ и теперь, какъ и тогда, серьезно сердился, сердился за то, что чужое страданіе могло такъ глубоко захватывать его за сердце...

Я подошелъ къ нему и къ Аннѣ Васильевнѣ.

— Выспался, Боренька? спросила она меня, ласково и печально улыбаясь.

— А ночь на что? пробурчалъ командоръ, исподлобья глянувъ въ мою сторону.

— А ночью-жь онъ тамъ былъ, въ саду, еще тише объяснила Анна Васильевна.

— Съ нѣмцемъ? И маіоръ опять глянулъ на меня избоку.

Я утвердительно кивнулъ головой.

Онъ переложилъ ноги съ правой на лѣвую и, помолчавъ съ минуту:

— А вотъ бы кого выпороть на порядкахъ! промолвилъ онъ.

— А, Богъ съ вами! испуганно возразила Анна Васильевна.—За что?

Онъ наморщился, потянулъ усъ.

— Чтобъ не блудилъ! коротко кивнулъ онъ ей наконецъ въ отвѣтъ.

Она уже не съ первымъ недоумѣніемъ подняла на него глаза, какъ бы что-то припомнивъ и соображая, мелькомъ,

какъ бы съ боязнью глянула на павильонъ—и невольно вопросительно перевела свой взглядъ на меня.

— Вѣрно, милая Анна Васильевна, подтвердилъ я, наклоняясь къ ней.

Она вся покраснѣла, заморгала, опустила голову, какъ будто уличенная сама въ какомъ-то преступленіи...

— А не встрѣтился ты съ Ѳомой Богдановичемъ? спросила она, стараясь уже не смотрѣть мнѣ въ лицо.

— Онъ сейчасъ былъ у насъ, въ комнатѣ m-г Керети, съ Людвигомъ Антоновичемъ. За этимъ присылала сейчасъ Любовь Петровна; онъ и пошелъ къ ней, а съ нимъ и Ѳома Богдановичъ.

— Любочка до себя доктора просила? А что съ ней? проворно спросила Анна Васильевна.

— Горничная ея говорила, что она очень разстроилась тѣмъ, что Ѳома Богданычъ разсказалъ ей про Герасима Иваныча, и что она хотѣла придти сюда, только очень слаба...

— Ахъ, Боже мой миленькій! воскликнула Анна Васильевна,—просила-жь я Ѳому не бѣгать до ней. А онъ, должно быть, не успѣла она глазъ открыть, напужалъ ее до смерти!... Пойду я къ ней, чтобы чего еще горшаго не вышло...

Она глянула за ширмы, потомъ на насъ и на Савелія, уныло и недвижно прислоненнаго къ стѣнѣ въ головахъ своего барина, и, убѣдившись, что больной и Вася могутъ обойтись и безъ нея, вышла изъ комнаты.

Что-то въ родѣ горькой улыбки сложилось подъ длинными усами командора. Его невзрачное, грубое лицо необыкновенно какъ-то вызывало меня на довѣріе въ эту минуту.

Ѳома Богданычъ, началъ я прямо, садясь подлѣ него на мѣсто, оставленное Анной Васильевной, — Ѳома Богданычъ очень просилъ Людвига Антоныча, — онъ сейчасъ ѣдетъ въ Селище,—сказать тамъ барону Фельзену, чтобъ онъ непремѣнно пріѣзжалъ сюда.

— На что? спросилъ маіоръ, не поворачивая головы.

— Проѣдать вотъ... я кивнулъ на кровать. — Ѳома Богданычъ, примолвилъ я, подчеркивая слова, — убѣжденъ, что баронъ очень любитъ бѣднаго Герасима Иваныча...

Командоръ бровью не моргнулъ.

— А онъ въ Селищѣ? сказалъ онъ помолчавъ.

— Да.

— Давно?

— Онъ нынче утромъ пріѣхалъ, говорилъ Людвигъ Антоновичъ, овесъ покупать у пана Яна.

— Откуда?

Я не ждалъ этихъ вопросовъ. Знаетъ-ли маіоръ все, что происходило въ саду, размышлялъ я, — а въ такомъ случаѣ отъ кого же онъ могъ узнать это: неужели отъ того же мерзостнаго Булкенфресса? Или онъ только догадывается о чемъ-то и допытываетъ меня? А если такъ, то я не могу, не имѣю права выдать эту тайну. „Je ne dois pas me trahir", повторилъ я мысленно слова моего гувернера.

— Откуда? повторилъ я. Изъ Юрасовки, должно-быть, вѣдь онъ тамъ стоитъ.

Командоръ одобрительно, показалось мнѣ, покосился на меня и, сморщивъ брови, погрузился въ новое молчаніе.

— Неужели онъ рѣшится сюда пріѣхать? заговорилъ я опять.

Мысль объ этомъ настойчиво преслѣдовала меня, и меня такъ и тянуло высказать ее командору.

— Кто? переспросилъ онъ по своему обыкновенію.

— А баронъ этотъ.

— А для чего ему не пріѣхать? Знакомъ! фыркнулъ онъ мнѣ въ отвѣтъ.

Я поднялъ на него глаза.

— Онъ такъ много зла надѣлалъ здѣсь,... робко прошепталъ я, невольно оглядываясь въ сторону Васи, хотя весь разговоръ нашъ шелъ вполголоса, и на разстояніи, на которомъ мы были отъ него, онъ рѣшительно не могъ ничего слышать.

— Такъ для того и ѣхать! отвѣчалъ маіоръ съ какимъ-то оттѣнкомъ злости въ тонѣ.

— Какъ для того? съ удивленіемъ повторилъ я.

Онъ взглянулъ на кончики своихъ сапоговъ, переложилъ

ноги съ лѣвой на правую и презрительно проговорилъ, оборачиваясь къ окну:

— А то какъ же: сблудилъ, и въ кусты!

Что это? Намекъ на Булкенфресса, или просто, безъ всякаго намека, командоръ хотѣлъ сказать этими словами, что Фельзенъ обязанъ, именно потому, что „много зла надѣлалъ“, не прятаться, не избѣгать тѣхъ, кто пострадалъ отъ этого зла?... Или еще, что пріѣхать въ Богдановское, какъ ни въ чемъ не бывало, по первому приглашенію Ѳомы Богдановича, представлялось лучшимъ для Фельзена средствомъ зажать ротъ тѣмъ, кто сталъ бы доискиваться или объяснять причину удара, поразившаго вновь отца Васи?... Но поди, добейся теперь, что именно хотѣлъ сказать этотъ сфинксъ въ маіорскихъ эполетахъ!...

Я и не добивался; я глядѣлъ на стройный обликъ Васи, отчетливо выдѣлявшійся на темнозеленой обивкѣ ширмъ, служившихъ ему фономъ. Недвижный, безмолвный и печальный, съ наклоненною къ отцу головой, вокругъ которой густыми кольцами вились его свѣтлыя кудри, и опущенными длинными рѣсницами, тѣнь отъ которыхъ падала на его мертвенно-блѣдныя щеки, онъ походилъ въ эту минуту на могильный памятникъ, на изваяніе ангела, слетѣвшаго съ неба за душой умирающаго...

— О, несчастный мальчикъ! вырвалось у меня невольно.

— За то мать красавица, отрѣзалъ маіоръ, глядя въ окно.— Полюбуйтесь!

Она тихо подвигалась вдоль сквозной галереи, по направленію дома, въ сопровожденіи Анны Васильевны. Онѣ шли, очевидно, сюда, къ намъ.

— Надо Васѣ сказать, промолвилъ я громко.

Командоръ опять какъ-то одобрительно покосился на меня и будто еще задумчивѣе потянулъ внизъ свои усы.

Я осторожно прошелъ за ширмы и сталъ въ ногахъ больнаго. Глаза у него были совсѣмъ закрыты, дыханье стало ровнѣе; онъ, казалось, дѣйствительно уснулъ на этотъ разъ.

Въ передней послышались шаги.

— Любовь Петровна идетъ сюда, Вася, тихо проговорилъ я, наклоняясь къ его уху.

Онъ словно проснулся отъ какого-то далеко уносившаго его сна и со страшнымъ изумленіемъ поднялъ на меня глаза.

— Твоя maman идетъ сюда, повторилъ я.

Онъ провелъ рукой по лицу, глубоко и тяжело вздохнулъ и, взглянувъ еще разъ, какъ бы на прощанье, на спавшаго отца, ушелъ въ свою комнату, приперевъ за собою дверь.

Любовь Петровна была уже тутъ, въ комнатѣ мужа, и, остановившись на порогѣ, послала долгій взглядъ вслѣдъ за удалявшимся Васей. Горько и печально было его выраженіе. Она поняла...

Неужели это была та же женщина, которую я сегодня ночью видѣлъ тамъ, въ „храмѣ отдохновенія“, съ закрытыми отъ стыда, казалось мнѣ, и ужаса глазами, которая часъ тому назадъ такъ была „нервами разстроена“, что не могла встать съ дивана отъ слабости? Произвели-ли чудеса предписанныя ей Людвигомъ Антоновичемъ средства, или возбужденная гордость ея давала ей эту силу,—но не униженною, не сломанною горемъ и раскаяніемъ вошла теперь она въ эту комнату. Она вошла спокойная и изящная, какъ всегда, тихо приблизилась къ скорбному одру своего „законнаго супруга“, по выраженію ея горничной, и, опершись локтемъ объ уголъ кровати и подбородкомъ на руку, стала безмолвно глядѣть на него. Рука эта слегка дрожала... Я стоялъ еще тутъ, рядомъ съ ней, и жадно слѣдилъ за нею. Она это видѣла, и глаза ея приняли знакомое мнѣ *русалочное* выраженіе; безъ блеска глядѣли они впередъ загадочно и безучастно, не отражая ни внутренняго трепета, ни лицемѣрной жалости,—только глубже, казалось мнѣ, ушли они внутрь своихъ впадинъ, и сухи были сжатыя губы, которыя она нервно покусывала своими матовыми зубами, какъ бы стараясь заглушить внѣшнею болью что-то еще болѣе болящее въ ея душевной глуби...

— Онъ спитъ, кажется, промолвила она.—Онъ спитъ, не правда-ли? спросила она Анну Васильевну, зашедшую вслѣдъ за нею за ширмы, безпокойно глядя на нее.

Та утвердительно кивнула.

— Спитъ, значитъ—не страдаетъ... Слава Богу! сказала она тихо, какъ бы про себя, и едва замѣтно перекрестилась.

И она осторожною поступью направилась къ креслу, стоявшему у окна.

Командоръ привсталъ и отпустилъ ей глубокій и сухой поклонъ.

— Que je ne vous dérange pas, садитесь пожалуйста, молвила она, усаживаясь сама. — Этого надо было ожидать, начала она, пытливо поглядывая то на командора, то на смущенную тетку, которая, въ свою очередь, вопросительно подымала то-и-дѣло на нее глаза и тотчасъ же боязливо опускала ихъ, какъ только встрѣчались они съ ея взглядомъ: — этого надо было ожидать: всѣ доктора, въ Петербургѣ и за границей,—а съ кѣмъ я не совѣтовалась! примолвила она, слегка приподымая плечи,—всѣ говорили мнѣ, что этого рода пораженія безпощадны, что за ударомъ, раньше или позже, неминуемъ бываетъ другой, третій... Развѣ бывали случаи, чтобъ отъ этого когда-нибудь радикально вылѣчивались? обратилась она къ маіору, какъ бы требуя отъ него подтвержденія своимъ словамъ.

Командоръ промычалъ отрицательно. Она какъ-бы благодарно-ласково улыбнулась ему.

— Мы должны еще благодарить Бога, продолжала она,— что организмъ *его* настолько былъ живучъ, что мы почти три года могли поддерживать его кое-какъ... Въ послѣднее время ему даже было замѣтно лучше...

— А совсѣмъ же къ лучшему шло! печально воскликнула Анна Васильевна.

— Мнѣ впрочемъ, заговорила опять Любовь Петровна,— этотъ молодой человѣкъ, cet étudiant en médecine, говорилъ, что отчаяваться не слѣдуетъ, что жизнь можетъ еще продолжиться...

— Какая ужь къ чорту это жизнь, сударыня! пробурчалъ вдругъ маіоръ и тутъ же сконфуженно отворотился, словно говоря себѣ:—дернуло же меня хватить такую штуку дамѣ!

— Какая жизнь была ему всѣ эти три года! глубоко вздохнула она.—Я бы для себя не хотѣла такой жизни!... Страдать

самому и знать, что изъ-за тебя мучаются другіе! Да развѣ смерть, воскликнула она съ блеснувшимъ мгновенно взоромъ,— развѣ смерть не предпочтительнѣе въ тысячу разъ такого существованія?...

Анна Васильевна потупилась съ такимъ видомъ, что конечно-молъ такая жизнь хуже пекла, но какъ рѣшаешься *ты* говорить объ этомъ?

— А кого изъ докторовъ можно надѣяться увидѣть скорѣе? спросила ее Любовь Петровна.

— А Кикинъ, уѣздный, должно быть пріѣдетъ, отвѣчала та, — только толку съ него не будетъ, потому давно забылъ себя человѣкъ...

— Дядюшка совсѣмъ было уморилъ меня сегодня, заговорила опять Любовь Петровна, — онъ такъ напугалъ меня, что я подумала... все кончено. Конечно, не утѣшительно и это,... но все же надежда еще не совсѣмъ потеряна для тѣхъ, кому онъ дорогъ, задумчиво домолвила она.

Страннымъ оттѣнкомъ звучали эти слова: словно хотѣла она сказать ими, что она допускаетъ, что онъ можетъ быть „дорогъ“ другимъ, не ей, и что ей вѣдомо, что этого никто и не предполагаетъ, и что она слишкомъ горда, чтобъ унизить себя притворствомъ, дѣлая видъ, что она его любитъ.— Знаетъ-ли она, или не знаетъ, что происходило тамъ, подъ окномъ „храма отдохновенія?“—думалъ я:—знаетъ-ли, что не случай, „котораго надо было ожидать“, а то, что видѣлъ ея „законный супругъ“, лишило его послѣднихъ признаковъ человѣческаго существа? И я глядѣлъ на нее все пристальнѣе и внимательнѣе и чувствовалъ на себѣ опять ея прежнее, всегдашнее обаяніе. Да полно, и происходило-ли тамъ что-нибудь, не видѣлъ-ли я все это во снѣ? представлялось мнѣ даже минутами, — такъ хотѣлось мнѣ найти ее невиновною, объяснить просто тѣмъ, что дѣйствительно „напугалъ ее дядюшка“, тѣ пробѣгавшія по ея лицу судорожныя движенія, которыя она старалась видимо прикрыть то зѣвотой, то легкимъ подергиваніемъ плеча, будто платье ея ей было узко. Мнѣ не хотѣлось допустить въ ней сознанія, раскаянія въ совершенномъ ею злѣ, но я чувствовалъ, что чѣмъ сильнѣе

страдала бы она имъ, тѣмъ холоднѣе отливало бы отъ синевы ея глубокихъ глазъ, тѣмъ высокомѣрнѣе улыбались бы эти сухія губы, которыя тщетно старался увлажить пробѣгавшій по нимъ воспаленный языкъ ея... Я читалъ на ея лицѣ выраженіе чего-то непреклоннаго до безпощадности, но очевидно было для меня, что не легко доставалась ей эта непреклонность: ее вызывало, казалось, изъ нѣдръ души ея опасеніе за дорогое ей и угрожаемое право, а не бездушіе преступника...

Командоръ, въ свою очередь, я замѣчалъ, внимательно наблюдалъ за красавицей, изъ-подъ своего равнодушнаго вида, и какъ бы допытывался, насколько въ эту минуту заслуживала она порицанія или снисхожденія. Мало-по-малу разжимались его сурово сдвинутыя брови: и его будто подкупали эти спокойствіе и гордость, и красота, и онъ, какъ я, спрашивалъ себя можетъ быть: да въ чемъ же виновата она въ сущности?

Только на маленькомъ, говорившемъ всѣми своими тонкими морщинками лицѣ Анны Васильевны сказывался приговоръ Любови Петровнѣ; но какою тоской, какою нѣжностью къ виновной сопровождалось, видимо, это строгое осужденіе, которое принуждена она была изречь ей въ глубинѣ души своей! Бѣдная, бѣдная Любочка, словно выражало все это старенькое, подергивавшееся, растроганное лицо,—понимаешь ли ты, сознаешь-ли, какой грѣхъ приняла ты на душу и въ сей жизни, и въ вѣчной, какимъ страшнымъ, неисходнымъ горемъ отзовется на близкихъ тебѣ, на самой тебѣ твое преступное увлеченіе! И зачѣмъ ты это сдѣлала, Любочка? Неужели не могла ты... неужели этотъ „нѣмецъ лукавый“ дороже тебѣ всѣхъ, дороже сына роднаго?...

— Сюда, что ли? раздался грубый голосъ въ передней, съ шумомъ такихъ же грубыхъ, тяжело и неровно двигавшихся ступней, и въ дверяхъ показалось слонообразное, красноносое, заплывшее жиромъ тѣло, принадлежавшее извѣстному каждому мальчишкѣ въ нашей сторонѣ уѣздному врачу Кикину.

— Qu'est ce que cette horreur là? гадливо и удивленно воскликнула, никогда, повидимому, не видавшая его до сихъ поръ Любовь Петровна.

Анна Васильевна съ громкимъ привѣтствіемъ, чтобы заглушить обидное восклицаніе племянницы, пошла къ нему на встрѣчу.

Онъ грузно наклонился къ ней и зашлепалъ губами что-то такое же нескладное, какъ и онъ самъ. Можно было понять только, что онъ видѣлся съ Ѳомой Богдановичемъ и знаетъ о случаѣ съ Герасимомъ Ивановичемъ.

Она повела его за ширмы и вывела оттуда, очевидно для проформы. Полезнаго совѣта она не ожидала отъ Кикина, да и ожидать было трудно: уѣздный эскулапъ еле языкомъ ворочалъ.

— Дѣло видимое, бормоталъ онъ, опускаясь на стулъ,— на чистоту, значитъ... Тарелочки двѣ выпустить можно...

— Чего это? презрительно спросила Любовь Петровна.

Онъ повернулъ къ ней мутные зрачки своихъ отекшихъ глазъ:

— Не извольте безпокоиться,... сударыня, залепеталъ онъ снова, усиленно моргая слипавшимися вѣками,—правило знаемъ,... а противъ Божія произволенія, конечно... потому каждому... каждому, повторилъ онъ съ жалобнымъ, слезливымъ вздохомъ,—предѣлъ свой положенъ...

И онъ совсѣмъ закрылъ глаза.

— А видѣли недужнаго, видѣли? зашепталъ на всю комнату вбѣжавшій Ѳома Богдановичъ, кидаясь къ нему.

— Чего видѣть? громко отвѣчалъ ему со своего мѣста командоръ,—когда у человѣка въ глазахъ вѣдьмы прыгаютъ...

— А бачу-жь я, бачу! съ отчаяніемъ воскликнулъ Галагай, — не въ своемъ видѣ человѣкъ! Проспаться дать ему треба... А закусить съ дороги не хочете? крикнулъ онъ на ухо Кикину.

— Можно, проговорилъ тотъ, раскрывая глаза и тяжело подымаясь со стула.

Маленькій Ѳома Богдановичъ подхватилъ обѣими руками пошатывавшагося слона подъ руку и потащилъ его съ собою вонъ.

— Людвигъ Антоновичъ будетъ заразъ назадъ, съ баро-

номъ, возгласилъ онъ на ходу, обращаясь къ женѣ, и исчезъ за дверями передней.

Анна Васильевна мгновенно приподнялась, какъ бы намѣреваясь бѣжать за нимъ, и въ какомъ-то изнеможеніи опустилась на мѣсто. Командоръ такъ же внезапно подобралъ свои вытянутыя ноги подъ стулъ—и тучъ же злобно дернулъ усъ свой внизъ, какъ бы наказуя себя за это невольное движеніе.

Горячимъ румянцемъ покрылось вдругъ все лицо Любови Петровны и столь же быстро поблѣднѣло вновь, но въ дрогнувшихъ прозрачныхъ ноздряхъ ея, въ рѣзкой улыбкѣ, сложившейся въ углахъ ея губъ, сказалось какъ будто еще болѣе рѣшимости, чѣмъ прежде. Потемнѣвшими, но попрежнему спокойными глазами повела она кругомъ себя, какъ бы спрашивая: чего вы такъ испугались всѣ?...

Я поспѣшилъ къ Васѣ въ комнату.

Онъ ходилъ по ней взадъ и впередъ и вопросительно остановился, увидѣвъ меня.

— Докторъ сейчасъ былъ, сказалъ я ему.

— Докторъ!

Онъ было двинулся къ двери.

— Онъ ушелъ, остановилъ я его,—это Кикинъ, извѣстный пьяница; онъ даже ничего говорить не могъ. А Герасимъ Ивановичъ не просыпался... И *всѣ* тамъ, промолвилъ я тише.

Онъ снова заходилъ по ковру.

— Какъ его зовутъ,—Кикинъ? переспросилъ онъ.

— Да.

— Онъ пьяница?

— Извѣстный. Папа приказалъ не пускать его никогда къ намъ въ Тихія-Воды.

— И онъ ничего не сказалъ?

— Онъ не могъ ничего, Вася...

— А другіе скажутъ что-нибудь, ты думаешь, спасутъ *его*?

Онъ остановился противъ меня и глядѣлъ мнѣ прямо въ лицо съ отчаяннымъ до злости выраженіемъ.

Я опустилъ глаза,—у меня не было отвѣта ему...

— И тѣмъ лучше, проговорилъ онъ, наклоняясь еще

ближе ко мнѣ и пропуская слова сквозь стиснутые зубы, — теперь чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!...

— Вася!... Я схватилъ его за руку. Онъ освободилъ ее изъ моей и зашагалъ опять изъ угла въ уголъ, наталкиваясь на стулья и столы, вздрагивая плечами и безсознательно хрустя суставами судорожно ломаемыхъ рукъ.

— *Она*, все тамъ? нѣсколько разъ принимался онъ спрашивать меня.

— Тамъ, Вася, отвѣчалъ я печально, не зная, что дѣлать съ нимъ, чѣмъ помочь этому безпредѣльному, сосредоточенному, грозному отчаянію...

Такъ прошло довольно много времени.

XXXVI.

Въ корридорѣ послышались опять шаги и голоса, или, вѣрнѣе, гудящій какъ дудка шепотъ, которымъ Ѳома Богдановичъ считалъ нужнымъ говорить съ утра; онъ велъ кого-то и горячо благодарилъ его:

— И не скажу вамъ, просто, якъ одолжили вы насъ пріѣздомъ своимъ; добре зналъ я, что не оставите вы насъ однихъ въ горѣ... И обрадуются же вамъ всѣ мои дамы. Тутъ онѣ всѣ, тутъ, у Герасима, говорилъ онъ у двери нашей комнаты.—Людвигъ Антоновичъ, ходите вы прямо до нихъ и кажите имъ, можетъ, лучше недужнаго одного себѣ оставить, такъ, можетъ, онѣ выйдутъ... Погодите, погодите, я самъ съ вами, перебилъ онъ себя и торопливо промолвилъ еще кому-то:—А милости просимъ васъ, зайдите пока сюда, въ эту горницу...

Дверь изъ корридора отворилась,—и въ эту дверь вошелъ баронъ Фельзенъ.

Съ перваго же взгляда можно было прочесть на его лицѣ, что это былъ человѣкъ, которому выпала тяжелая обязанность и который рѣшился стойко, чего бы это ему ни стоило, выполнить ее до конца. Командоръ не ошибался,—онъ пріѣхалъ въ Богдановское по первому приглашенію хозяина,—для того ли, чтобы никто не могъ подумать, что онъ „сблудилъ—и въ кусты“, или потому, что тутъ была любимая женщина, которая, по его мнѣнію, могла нуждаться въ его защитѣ,—какъ бы то ни было, но онъ, очевидно было, пріѣхалъ потому, что почиталъ это своимъ долгомъ... Холодно, сдержанно и подо-

зрительно глядѣли его темные глаза, искусственная улыбка блуждала подъ его красиво приподнятыми вверхъ усами...

— Извините за нескромность, господа, промолвилъ онъ, учтиво кланяясь намъ,—я никакъ не ожидалъ попасть такъ нечаянно...

Онъ обрѣзалъ вдругъ на этомъ словѣ, встрѣтившись глазами съ глазами Васи, и остановился на полпути, какъ бы выжидая.

Вася стоялъ у окна на противоположномъ концѣ комнаты и, глубоко задумчивый и недвижный, глядѣлъ въ это окно въ продолженіе всей болтовни Ѳомы Богдановича въ корридорѣ; онъ ничего не слышалъ, даже когда скрипнула дверь и вошелъ въ нее гусаръ,—онъ обернулся лишь на неожиданный звукъ этого голоса, этого ненавистнаго голоса...

Онъ обернулся и уставился на Фельзена, какъ бы не вѣря самому себѣ. Его пронимала дрожь, зубы его застучали слышно... Онъ рванулся съ мѣста, пробѣжалъ два шага — и не могъ,—ноги его подкашивались. Онъ ухватился обѣими руками за конторку письменнаго стола, стоявшаго поперекъ комнаты.

— Уходите прочь! едва переводя дыханіе, проговорилъ онъ.

Фельзенъ закусилъ губу и такъ же сдержанно и холодно повелъ на него взглядомъ.

— Что это значитъ? спросилъ онъ и глянулъ на меня, какъ бы призывая меня въ свидѣтели и судьи.

— Вася, ради Бога!... попытался я остановить его.

Но онъ перебилъ меня.

— Уходите! я не хочу... Я васъ ненавижу! крикнулъ онъ Фельзену.

Лицо барона передернуло, но мгновенно вспыхнувшій на немъ гнѣвъ смѣнило тотчасъ же выраженіе искренняго сострадания.

— Вашъ пріятель боленъ, у него начинается горячка, обернулся онъ опять ко мнѣ,—вы бы позвали доктора изъ той комнаты.

— Если вы не уйдете, я васъ убью!

И Вася схватилъ со стола тяжелую фаянсовую песочницу и поднялъ ее съ размаха надъ головой своей.

— Что ты дѣлаешь! бросился я къ Васѣ съ такимъ перепугомъ, что на крикъ мой изо всѣхъ дверей выбѣжали такъ же перепуганные Ѳома Богдановичъ, Максимычъ, Анна Васильевна, командоръ...

Но я не успѣлъ остановить удара: песочница съ грохотомъ ударилась о стѣну, — осколки ея и песокъ обрызгали Фельзена какъ дождемъ.

— Всему есть мѣра! вскрикнулъ онъ и шагнулъ впередъ...

— Ну, это шутишь, баронъ! мгновенно очутился между ними маіоръ Гольдманъ.—Пойдемъ-ка лучше отсюда, тутъ рядомъ у мальчика отецъ умираетъ!... И онъ направился къ двери, приглашая его строгимъ взглядомъ слѣдовать за нимъ.

Фельзенъ опустилъ глаза, повелъ плечомъ — и безмолвно вышелъ.

— А чи ты сказився (съ ума сошелъ)? подбѣжалъ къ Васѣ разгнѣваннымъ пѣтухомъ Ѳома Богдановичъ.—Въ моемъ домѣ? Моего гостя?... Да что-жь ты думаешь, что я, Ѳома Галагай, пущу, чтобъ у меня...

— А ты, Ѳома Галагай, коли не хотишь ты сироту обидѣть, такъ выслухай меня напередки! взмолилась Анна Васильевна, прежде чѣмъ успѣлъ вымолвить слово Вася,—и уцѣпилась обѣими руками за шею мужа.

При словѣ „сирота“ весь гнѣвъ слетѣлъ мгновенно съ раскраснѣвшихся ланитъ Ѳомы Богдановича; онъ опустилъ глаза разомъ и разомъ же поднялъ ихъ на Васю съ какимъ-то трогательнымъ замѣшательствомъ.

— Ну, а кажи-жь ты мнѣ, прошу тебя, Василю, задрожавшимъ отъ волненія голосомъ заговорилъ онъ,—за что ты такъ взбунтовался на барона, на гостя моего?...

— А ходимъ, ну, ходимъ, Ѳома, не допытывай его, самъ видишь, до связовъ-ли ему теперь! торопилась увести его Анна Васильевна.—Отъ меня все узнаешь, почти на ухо ему промолвила она, и съ глубокою жалостью взглянувъ еще разъ на Васю:—дай ему воды напиться, шепнула она мнѣ, а если, не дай Боже, замѣтишь что худое, бѣги скорѣй до меня сказать...

Она ушла, увлекая за собою безпрекословно послушнаго и совершенно растерявшагося Ѳому Богдановича.

Я поспѣшно налилъ въ большой богемскаго стекла стаканъ воды изъ такого же графина—они постоянно стояли у насъ на столикѣ за большимъ платянымъ шкафомъ,—и понесъ стаканъ Васѣ.

Онъ опустился въ кресло у письменнаго стола, еще весь дрожа и блѣдный какъ смерть.

Онъ жадно припалъ губами къ стакану и выпилъ до дна. Я принялъ его обратно изъ его обезсилѣвшей руки и отнесъ на мѣсто. Только въ эту минуту я замѣтилъ, что мы остались въ комнатѣ не одни: у двери, которая вела въ комнату больнаго, какъ бы припирая собою эту дверь, стояла, прижавшись къ ней спиной, мать Васи. Недвижная какъ мраморъ, она глядѣла на сына съ выраженіемъ, въ которомъ ужасъ смѣшивался съ какою-то отчаянною рѣшимостію.—„Я на все готова“, казалось, говорила она.

— Что съ тобою, что ты сдѣлалъ?... начала она.

Я такъ и исчезъ въ креслѣ за платянымъ шкафомъ.

„Боже мой, что же это будетъ!“ съ трепетомъ ждалъ я...

Вася поднялъ глаза,—и онъ только теперь увидалъ стоявшую противъ него мать. Кровь мгновенно прилила къ его лицу и такъ же быстро отступила. Онъ поднялся съ мѣста:

— Пустите меня, я къ папа пойду! воскликнулъ онъ; въ его возбужденномъ воображеніи представлялось, какъ будто въ эту минуту мать загораживаетъ ему единственный путь, чрезъ который онъ могъ бы пройти къ отцу.

— Я не мѣшаю тебѣ, промолвила Любовь Петровна, отодвигаясь отъ двери и садясь на близъ стоявшій стулъ,—только я прошу у тебя объясненія... И голосъ ея дрогнулъ.

— Объясненія? безсознательно повторилъ Вася и такъ же безсознательно снова упалъ въ свое кресло. Взоръ его блуждалъ кругомъ, какъ будто ища какого-либо предмета, который могъ бы припомнить ему что-то ускользнувшее у него изъ памяти.

— Да,—ты сейчасъ неслыханно оскорбилъ человѣка...

Какъ отъ прикосновенія горячаго желѣза, вернулась вся

память къ Васѣ отъ этого слова. Глаза его вспыхнули, и онъ, не давъ матери кончить...

— Вашего любезнаго? поспѣшилъ онъ точно кинуть ей это ужасное слово.

Какъ ни готова была она на все, но этого, видно, она не ожидала... Она приподнялась съ мѣста, качнулась и выпрямилась тутъ же...

— Ты это смѣешь сказать мнѣ... мнѣ, твоей матери?...

— Не матери... Вася злобно закачалъ головой,—не матери, повторилъ онъ,—а убійцѣ моего отца!...

Она кинулась, внѣ себя, къ нему, схватила его за плечи и судорожно принялась трясти ихъ.

— Понимаешь-ли ты, что говоришь, ты—безумный?... Ты обвиняешь меня въ преступленіи!... Что же, по-твоему, я отравила что-ли твоего отца?...

— Безъ отравы,—хуже!.. отвѣчалъ Вася, отводя отъ себя ея руки.

Она опустила ихъ внезапно внизъ, отошла отъ него на шагъ и глянула ему въ лицо испуганнымъ взглядомъ.

— Ты бредишь, ты боленъ? вскрикнула она.

— *И вашъ* сейчасъ говорилъ, что я боленъ, что у меня бѣлая горячка, возразилъ Вася съ короткимъ, ѣдкимъ смѣхомъ,—но я пока еще не брежу, — я ясно вижу, знаю, кто убилъ моего отца!...

— Его никто не убивалъ! гнѣвно проговорила она;—онъ давно уже былъ приговоренъ... немного ранѣе или немного позже, онъ долженъ былъ этимъ кончить.

— Немного ранѣе или позже! надрывающимъ голосомъ повторилъ за нею Вася... — И вы не могли подождать, — *немного* подождать, чтобъ онъ не кончилъ, по крайней мѣрѣ, отъ этого срама и горести, сегодня ночью!... Вѣдь онъ все видѣлъ...

Вася не могъ докончить — и, опрокинувшись въ спинку кресла, зарыдалъ неудержимымъ рыданіемъ.

Не ожидала, какъ видно, и этого, Любовь Петровна, — этого упрека, этого обличенія, этихъ безумныхъ сыновнихъ слезъ... Она растерянно оборотилась кругомъ и безсильно

упала на кровать Васи, стоявшую рядомъ со шкафомъ, за которымъ я сидѣлъ, не смѣя двинуться; и мать, и сынъ словно забыли о присутствіи третьяго въ эту минуту...

Любовь Петровна первая очнулась. Она не могла выдать себя сыну повинною головой. Она почитала себя правою, она,—я это понималъ чутьемъ,— кичилась сама предъ собой этою правотой своею... Не почиталъ-ли самъ я ее правою еще такъ недавно?...

— Я не признаю тебя судьей надъ матерью! воскликнула она. — Отчета въ моемъ поведеніи я не обязана давать тебѣ. Положеніе твоего отца—и это, промолвила она сухо, конечно похвально, — глубоко огорчаетъ тебя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возбуждаетъ до забвенія всякихъ приличій... и всякой справедливости!... Ты видишь предъ собою только *его* несчастіе... и не хочешь знать, что каждая минута жизни твоей матери съ нимъ была для нея нестерпимою мукой... Онъ истомилъ меня, истерзалъ,... когда я неповинна была предъ нимъ, какъ ребенокъ въ колыбели...

— Да, я помню, утеревъ свои слезы, прервалъ ее Вася,— мнѣ было десять лѣтъ тогда, а я какъ теперь помню... Папа— это было въ Петербургѣ, въ вашемъ будуарѣ, — поцѣловалъ вамъ разъ при мнѣ руку и сказалъ при этомъ—какъ теперь слышу: „знай, Любочка, что ты для меня сто разъ дороже жизни“... А вы, только онъ вышелъ, схватили стклянку съ духами и стали тереть ту руку, которую онъ цѣловалъ. И такое лицо у васъ было, что я, помню, убѣжалъ въ свою комнату и горько, горько заплакалъ... Я тогда еще понялъ, что *онъ* любилъ васъ такъ, какъ только можетъ любить человѣкъ, а вы... вы его за это ненавидѣли!...

— Я не могла его любить,—и Любовь Петровна вздрогнула всѣмъ тѣломъ, какъ будто все, что было для нея ненавистнаго въ ея прошедшемъ, воочію представало предъ ней въ эту минуту.—Я не могла, повторила она.—Онъ давилъ меня всю жизнь, какъ пудовая гиря!...

— За это и заплачено ему сполна сегодня ночью! новымъ злобнымъ, больнымъ смѣхомъ отвѣчалъ на новую обиду оскорбленный сынъ.

— А еслибъ это было и такъ! воскликнула Любовь Петровна. И, словно противъ ея воли, словно вырвавшись мятежно изъ-подъ сдерживавшихъ ихъ, опущенныхъ ея рѣсницъ, надменно и страстно засверкали ея темно-синіе глаза. — Еслибъ я, дѣйствительно, любила этого человѣка, котораго ты позволилъ себѣ отсюда гнать, — кто имѣетъ право запретить мнѣ любить его? Не ты-ли, осмѣливающійся говорить съ матерью такимъ дерзкимъ, такимъ ядовитымъ языкомъ? Не ты-ли прикажешь мнѣ отказаться отъ единственнаго счастія, какое мнѣ, можетъ быть, суждено на землѣ послѣ того, какъ въ счастіи отказали мнѣ и мужъ мой, и сынъ!...

— Зачѣмъ отказываться? молвилъ Вася, опуская голову на руку, опиравшуюся о его колѣно:—сегодня одного похороните, завтра другаго,... и вы свободны!...

Любовь Петровна шагнула впередъ къ сыну, наклоняясь къ нему, и вспыхнула снова, и снова безсильно опустилась на первый попавшійся ей подъ руку стулъ.

— Ты меня никогда не любилъ, Вася! тихо сказала она, закрывая глаза себѣ ладонью.

— Я васъ не любилъ! съ мучительною тоской повторилъ онъ. Я за каждое ваше ласковое слово, за то только, чтобы вы посмотрѣли на меня такъ, какъ смотрятъ другія матери на своихъ дѣтей, я бы за это одно, кажется, съ радостію далъ бы себѣ пальцы отрѣзать!...

— А ты отъ меня не видалъ ласки, я на тебя никогда не смотрѣла, какъ смотрятъ другія матери,—ты можешь упрекнуть меня въ этомъ? горько вскрикнула Любовь Петровна, поднимая на него глаза съ дрожавшими на нихъ росинками слезъ.

Онъ закачалъ головой.

— Я вамъ сказалъ,—я съ десяти лѣтъ привыкъ все видѣть и понимать... Вы ласкали меня, вы были нѣжны,... но развѣ это то?... Вы точно купить меня хотѣли ласками, точно говорили: ты видишь, какая я добрая, нѣжная, — люби же меня, Вася, но люби одну меня, только меня! Вы не могли простить мнѣ, что я еще и *его* любилъ, что я не хотѣлъ отказаться отъ него... А вы подумали-ли хоть разъ: кто же бы безъ меня

у него остался?... Вы? кѣмъ можете вы дорожить? Чья нужна вамъ привязанность!... Въ васъ короли влюблены были,... дѣти готовы сломать себѣ шею, чтобы достать вамъ платокъ... Вамъ стоитъ только взглянуть!... А онъ бѣдный,... и рыданіе снова послышалось въ голосѣ Васи, — заброшенный, забытый... О, Боже мой! Когда только вспомню! Вѣдь тамъ, за границей, вы по цѣлымъ днямъ не видали его, вы веселились, принимали гостей,... за вами бѣгали, какъ за богиней какой-нибудь... А онъ? Вы никому его не показывали, стыдились его; вы при мнѣ... при мнѣ сказали разъ одному французу: mon pauvre idiot de mari! Вы это забыли, — да вамъ вѣрно и тогда въ голову не пришло, что мнѣ легче было бы, еслибы вы мнѣ глаза вырвали, чѣмъ это слышать отъ васъ о немъ! Вы вѣрили, вы хотѣли вѣрить, что онъ идіотъ, ничего не понимаетъ и не можетъ никогда выздоровѣть,—вы готовы были тогда, въ Женевѣ, оставить его въ maison de santé, а самимъ уѣхать со мной... Папа,—да это былъ мой сынъ! воскликнулъ внезапно Вася,—я ему былъ одинъ защитникъ, другъ и покровитель; я чувствовалъ, я зналъ, что онъ живетъ потому, что я живу, что я живу и дышу для того только, чтобъ онъ жилъ. И Богъ слышалъ мои молитвы, и ему все легче становилось, легче, онъ воскресалъ... И вы въ одну ночь, въ одну ночь...

Онъ закашлялся—и замолкъ.

Любовь Петровна безмолвно слушала, безсознательно перебирая пальцами по спинкѣ стула, на которомъ она сидѣла бокомъ.

— Для тебя *онъ* все, а мать ничего! горестно проговорила она.

— А *я* для васъ что? горько вырвалось изъ устъ Васи.— Какое вамъ дѣло, что у васъ сынъ есть!...

— Какое дѣло!

Она съ новымъ упрекомъ взглянула на него: она въ эту минуту готова была, казалось, кинуться ему на шею; но онъ не видѣлъ,—онъ сидѣлъ, опустивъ низко голову въ руки.

— Другія матери, заговорилъ онъ опять, — онѣ умѣютъ жертвовать!...

Ее всю покоробило точно...

— Чѣмъ жертвовать? дрожащимъ голосомъ спросила она.

— Всѣмъ! Онъ тихо развелъ руки.

— И ты отъ меня этихъ жертвъ требуешь?

— Развѣ можно требовать? Вася тихо и печально улыбнулся.—Развѣ можно требовать? повторилъ онъ, оживляясь.— Мать... та, которая любитъ,... приноситъ ихъ сама — и не думаетъ, что это жертвы...

— Отдать все счастье моей жизни! съ новымъ страстнымъ увлеченіемъ перебила его Любовь Петровна.

— Вы хотите счастія! И глаза мальчика строго и тоскливо поднялись на мать.—Вы и взяли свое, *отдѣльное* счастіе. На что же я вамъ теперь?...

Она вдругъ заплакала.

— О, Вася... Вася, говорила она сквозь слезы,—вѣдь ты мнѣ сынъ, я носила тебя подъ сердцемъ,... и я такъ счастлива была твоимъ рожденіемъ! Я такъ долго надѣялась, — ты будешь для меня *все!*... Могу-ли я вырвать тебя изъ сердца!... Ты никогда не хотѣлъ вникнуть въ мое положеніе, — ты только о *немъ* думалъ. Но подумай,... ты самъ видишь, — *онъ* приговоренъ, давно приговоренъ: мы скоро останемся съ тобой... вдвоемъ,—ты и я... что же тогда? Неужели, какъ и теперь, ты будешь врагомъ твоей матери,... потому что ты мнѣ врагъ теперь, врагъ твоей матери, Вася, — я это на лицѣ твоемъ читаю...

Она ошибалась: не вражда, а безконечное, невыносимое мученіе читалось на его лицѣ; мрачно опущенные глаза его тупо приподнялись на мать и снова опустились. Онъ не отвѣчалъ.

— А ты подумай... И невыразимою лаской зазвучали глубокія ноты голоса Любови Петровны, — спроси себя самъ въ глубинѣ твоего сердца: возможно-ли это, чтобы сынъ ненавидѣлъ свою мать,... чтобъ онъ желалъ видѣть ее несчастною?..

Онъ уставился на нее тѣмъ же тупо допрашивавшимъ взглядомъ,—онъ не понималъ, о чемъ она ему говорила...

— Другъ мой, продолжала она молящимъ, сладко-звучавшимъ голосомъ,—погоди осуждать,... не торопись ненавидѣть меня!... Время успокоитъ тебя,... освѣтитъ... Ты разсудишь,

Вася, поймешь, что я родилась ни бездушною, ни порочною;— что жизнь, — безпощадная жизнь!... Развѣ ты думаешь, мнѣ было жить легко?... думаешь, что... и теперь... я не страдала... не мучилась... не боролась?... О Вася, mon enfant chéri, говорила она, — неужели не придетъ это время, когда ты все поймешь... и сжалишься—и простишь... простишь *тѣмъ*, кого ты сегодня такъ безжалостно... несправедливо оскорбилъ?...

И влажное лицо ея склонялось къ нему, и съ тревожнымъ, лихорадочнымъ ожиданіемъ заглядывала она ему въ глаза...

Онъ слушалъ ее, — и все шире, болѣзненнѣе и грознѣй раскрывались его воспаленные зрачки... При послѣднихъ ея словахъ нервно стало подергивать его нижнюю губу, и яркія пятна снова выступили на его щекахъ.

— Вы про кого это говорите? коротко отрѣзалъ онъ.

Она пошатнулась всѣмъ тѣломъ назадъ: какъ карточный домикъ отъ дуновенія ребенка, разлетѣлось все зданіе ея призрачныхъ надеждъ отъ одного этого вопроса. Брови ея сдвинулись, и сомкнувшіяся губы приняли не то страдальческое, не то вызывающее выраженіе.

— Простить! съ трудомъ пропуская слова сквозь зубы, заговорилъ Вася. — Кому? Вамъ?... Ему? Ему—съ какимъ-то скрежещущимъ смѣхомъ повторилъ онъ,—для кого вы забыли всякій стыдъ и долгъ вашъ,... потому это долгъ каждой матери, чтобы сыну ея никто не могъ въ глаза бросить, что у него безчестная мать!... А васъ сегодня три человѣка видѣли ночью, запершись съ этимъ *вашимъ*... И вы мнѣ это говорите, когда еще дышетъ и страдаетъ тутъ рядомъ, въ той комнатѣ, отецъ мой!... Отецъ мой, который умираетъ отъ васъ и отъ *него!*...

И, страшный какъ привидѣніе, будто сразу выросшій отъ муки и негодованія, вскочилъ съ своего мѣста Вася.

— Вы скажите ему, грохоталъ онъ сквозь кашель, душившій его,—что я ему не прощу никогда, никогда!... Скажите, чтобъ онъ меня избѣгалъ... скрывался... Я не ручаюсь... Я его убью... чѣмъ ни попало, палкой, камнемъ...

Въ невыразимомъ испугѣ поднялась Любовь Петровна,—и отступила на шагъ, и безсознательно протянула руку впередъ,

какъ бы для того, чтобы защититься отъ сына. Онъ, въ свою очередь,—его била лихорадка, и помутившіеся глаза блуждали какъ у безумнаго, — онъ, въ свою очередь, испугался этихъ, словно для преграды ему, протянутыхъ рукъ его матери.

— Пустите, пустите меня! крикнулъ онъ какимъ-то ребяческимъ визгомъ.—Онъ еще не мертвъ, онъ живъ, папа!... Пустите меня къ нему!...

И онъ со всѣхъ ногъ, оттолкнувъ ее, ринулся въ комнату отца...

XXXVII.

Любовь Петровна ухватилась за стулъ, — она шаталась... Блуждающіе глаза ея остановились на мнѣ.

— Дайте мнѣ воды, черезъ силу проговорила она.

Я растерянно глядѣлъ на нее только... Я сидѣлъ какъ раздавленный всей этою сценой.

— Воды! повторила она еле слышно.

Я кинулся къ ней со стаканомъ. Еще мигъ—и она грохнулась бы безъ чувствъ на полъ... Она уцѣпилась за мое плечо—и такъ и повисла на немъ.

Я обнялъ ее одной рукой, а другой поднесъ воду къ ея губамъ.

— Уведите меня отсюда, прошептала она, еще вся дрожа.

— Вы такъ слабы, — вамъ итти нельзя... Погодите немного! возражалъ я, суетясь и усаживая ее въ единственное кресло, находившееся въ комнатѣ и которое я какъ-то уловчился, не отымая руки отъ ея стана, подкатить къ ней, захвативъ ножку ея моею ногой.

Она мало-по-малу пришла въ себя. Я стоялъ предъ ней, уныло глядя на нее...

— Борисъ, заговорила она, быстрымъ движеніемъ проводя платкомъ по глазамъ своимъ,—вы все слышали... Это сынъ смѣлъ говорить своей матери... Вы свидѣтель,—я все сдѣлала, что могла... Я унижалась предъ нимъ...

— Вы видите, въ какомъ онъ состояніи, началъ я извинять моего друга,—онъ себя не помнитъ... Но вы сказали, время... Современемъ, я увѣренъ, Вася...

Я вовсе не думалъ того, что говорилъ ей теперь, — и не зналъ, какъ кончить... Но она сама себя не обманывала:

— Онъ! сказала она, сдвигивая брови:—онъ непреклоненъ и упоренъ!... какъ отецъ...

Она задумалась на мгновеніе.

— Нѣтъ у меня сына,—кончено! рѣшила она, горько и горестно улыбнувшись. Она говорила не мнѣ, она забыла о моемъ присутствіи,—устами ея лишь невольно громко сказывалось то печальное заключеніе, до котораго она додумывалась въ эту минуту...

Она подняла глаза, и вдругъ—точно только теперь замѣтила меня,—вся зардѣлась отъ стыда, отъ гордости... Ей, можетъ-быть, только теперь пришло на мысль: что онъ? зачѣмъ? къ чему торчитъ здѣсь предо мною?—какою злою насмѣшкой судьбы поставлена я въ положеніе призывать этого мальчика въ свидѣтели, въ судьи?... Что за позоръ!...

И она отвернулась отъ меня съ новою горькою усмѣшкой, — и опять черезъ мгновеніе подняла свои синіе глаза... Какой-то огонекъ пробѣжалъ въ нихъ теперь, словно уже новое ощущеніе выплывало изъ нѣдръ ея души, — словно за этою тоской по утрачиваемомъ сынѣ чуяла она, помимо своей воли, приближавшееся вѣяніе утѣшенія, вѣяніе грядущихъ,—быть можетъ, уже близкихъ—радостей... Такъ сквозь талый снѣгъ пробиваются робкіе побѣги первыхъ травъ подъ лучами весенняго солнца...

Такое, или почти такое сравненіе мелькало у меня въ головѣ, глядя на нее,—и въ то же время, ноя и негодуя, осуждало ее мое молодое, не истрепанное еще жизнью чувство. Она утѣшится, да,—думалъ я,—а онъ, мой бѣдный Вася... сирота, какъ заранѣе назвала его Анна Васильевна,—ему что останется?...

Она между тѣмъ поднялась и попробовала итти — и не могла...

— Дайте мнѣ руку! коротко и сухо проговорила она.

Я повиновался.

Она крѣпко прижалась къ моей рукѣ и кивнула мнѣ на дверь въ корридоръ.

Я повелъ ее медленно и молча; она двигалась съ трудомъ, и нервная дрожь пробѣгала то-и-дѣло по ея членамъ.

У самаго выхода на лѣстницу мы встрѣтились съ Галечкой. Она была одна и шла такъ скоро, что чуть не наткнулась на Любовь Петровну. Она тотчасъ же откинулась назадъ, низко присѣла и промолвила преувеличенно учтиво:

— Pardon, madame.

Любовь Петровна не поняла сначала.

— Bonjour, Anna, сказала она, — мы съ тобой не видались еще сегодня...

И она протянула ей руку.

— Pardon, madame, еще разъ сказала Галечка, не беря этой протянутой ей руки и проскальзывая бочкомъ мимо насъ въ корридоръ, — maman послала меня prendre des nouvelles de mon *pauvre* cousin. Она съ особымъ какимъ-то злорадствомъ проговорила это „mon *pauvre* cousin“,—и убѣжала.

— Ah! on m'insulte déjà ici! едва слышно проговорила Любовь Петровна, и глаза ея запылали, между тѣмъ какъ губы сжались съ выраженіемъ гордаго, злаго презрѣнія...

Несомнѣнно было, что до ушей Галечки дошло уже о томъ, что произошло сегодня ночью (какъ узнала она объ этомъ — осталось для меня навсегда тайной,), и она почитала теперь неприличнымъ сохранять близкія отношенія съ женщиной, виновною въ такомъ страшномъ скандалѣ... Но не изъ одного только приличія дѣйствовала Галечка:—злая дѣвчонка мстила за Фельзена.

Все такъ же молча спустились мы съ лѣстницы и прошли на террасу.

Визгливый голосъ Ѳомы Богдановича раздавался еще издалека оттуда.

Онъ стоялъ къ намъ спиной въ дверяхъ и топоталъ ножками, обращаясь то къ Богуну, то къ такому же круглому и лысому, какъ онъ самъ, управляющему своему Перепеленкѣ:

— *Богацько, іому* (ему) *грошей слидуе?* спрашивалъ онъ.

— *А ще по пёреду* (впередъ) *забравъ за два мѣсяця*, отвѣчалъ управляющій.

— *А ты іому на що дававъ?* тотчасъ же и напустился на него тотъ.

— *А я іому не дававъ*, хладнокровно возразилъ Перепеленко.

— *Якъ не дававъ, якъ не дававъ, — а самъ кажешь, що забравъ винъ онъ по пéреду?*

— *А самы вы до конторы пришлы, давай, кажите, пивдесятъ карбованцивъ* (рублей)...

— Ну, ну, торопилъ его, такъ и прыгая, Ѳома Богдановичъ.

— *А я вамъ и давъ...*

— *Такъ що-жъ, що давъ?*

— *А вы и узялы и заразъ отдалы іому: на, казалы вы,—посылай до свого—Тыроля якогось,—казалы вы...*

— *Винъ и взявъ у меня?* спросилъ Ѳома Богдановичъ, почесывая лысину.

— *А то не возьме якъ даютъ?* уже засмѣялся Перепеленко.

— *Ну, и нехай винъ ими подавится!* рѣшилъ его панъ, махая рукой.—*Такъ ты слухай, Богунъ!* подскочилъ онъ къ дворецкому...

— *А слухаю-жъ!*

— *Ходь ты до іого и кажи такъ, що просыть васъ панъ іихать съ Богомъ туды, звиткиль* (откуда) *вы пріихалы, а що въ Богдановскомъ бильше васъ не треба... А колы, може, будетъ онъ пытать за що то, — кажи іому щобъ шелъ до маіора Гольдмана, — онъ іому повúдае. А щобъ до мене, не дай Боже, ни лазивъ,—не хочу я нѣмецкаго іого носа и бачиты... Чуешь* (понимаешь)?

— А чую! засмѣялся въ свою очередь и Богунъ.

— *Бричьку ему запрягты, и щобъ подставы булы іому до самаго К.*

— *Добре!* закивалъ Богунъ.

— Дайте намъ пройти, дядюшка, молвила Любовь Петровна. — Мы, незамѣченные имъ, пріостановились было за его спиной...

Онъ живо обернулся, увидѣлъ ее и видимо смутился...

— *А идыть соби!* торопливо замахалъ онъ своимъ людямъ.

Богунъ и управляющій удалились.

Страннымъ взглядомъ глядѣлъ теперь на Любовь Петровну Ѳома Богдановичъ: въ этомъ взглядѣ было и смущеніе, и жалость, и какой-то испугъ, и большое, мучающее его, видимо, недоумѣніе...

— Можетъ имѣете что до К? спросилъ онъ ее.

Она подозрительно посмотрѣла на него.

— Зачѣмъ вы меня это спрашиваете?

— А кони наши туда пойдутъ съ музыкантомъ, залепеталъ Ѳома Богдановичъ, — такъ можетъ привезти что, аль отвезти?...

— Развѣ меня самоё, отвѣчала съ полуулыбкой она, — а то мнѣ рѣшительно нечего... А господинъ Богенфришъ ѣдетъ въ К.? небрежно спросила она, будто ничего не слыхала. — Надолго?

— А совсѣмъ себѣ ѣдетъ... И лицо Ѳомы Богдановича приняло еще болѣе сконфуженный и притомъ печальный видъ. *Добре гралъ нѣмецъ!* со вздохомъ глубокаго сожалѣнія примолвилъ онъ.

— Такъ зачѣмъ же вы его отсылаете?... Потому что, полагаю, онъ не по доброй своей волѣ оставляетъ вашъ домъ?...

Слова Любови Петровны звучали холодно, ровно, почти повелительно; глаза ея, въ упоръ устремленные на дядю, настоятельно требовали отвѣта. Гордость ея всевластно овладѣла ею вновь; я не чувствовалъ уже болѣе тяжести ея на моей рукѣ,—она точно вся поднялась, вся выросла опять...

Ѳома Богдановичъ зачесалъ себѣ лысину и сталъ переминаться съ ноги на ногу.

— А всю правду казать вамъ, — разрѣшился онъ наконецъ,—такъ и самъ я не знаю за что!... Тольки треба такъ! поспѣшилъ онъ прибавить, нахмуря брови, какъ бы ожидая опаснаго возраженія со стороны племянницы.

Но она не возражала и двинулась было впередъ, все не покидая моей руки, но Ѳома Богдановичъ очутился предъ нами и остановилъ насъ опять.

— Наробилъ онъ такогось чего, что и не разумѣю я, заговорилъ онъ опять, разводя руками, — только длинный тотъ Гольдманъ нашъ говоритъ, что коли останется онъ тутъ, — хуже будетъ, потому баронъ обѣщалъ морду ему побить...

Я почувствовалъ подъ локтемъ моимъ, какъ вся содрогнулась Любовь Петровна.

— И якъ я его длиннаго ни пыталъ, не хотѣлъ казать, за что такъ тотъ баронъ побить музыканта хочетъ... А самъ баронъ, какъ сверху сошелъ, такъ заразъ и уѣхалъ опять до Селища,—и проститься со мною не хотѣлъ,.. може чегось и соромно (стыдно) ему было, договорилъ сквозь зубы Ѳома Богдановичъ. — А Ганна мнѣ говоритъ: маіоръ задармо не скажетъ, ты его совѣта слухай... Ну, и другое что казала... запинаясь промолвилъ онъ, — такъ съ того всего я его рѣшилъ съ Богомъ до К. отправить...

— И хорошо сдѣлали! невольно вырвалось у меня.

— О! воскликнулъ Ѳома Богдановичъ, — и Борисъ туда же! А ты... Онъ замѣтилъ внезапную краску и смущеніе на моемъ лицѣ, взглянулъ на племянницу—и оборвалъ на полусловѣ. Его собственное лицо приняло невиданное еще мною на немъ выраженіе достоинства, и онъ дрогнувшимъ отъ волненія голосомъ произнесъ:

— Только горько старому Галагаю, что въ его *честномъ* домѣ чтось такое негарное (нехорошее) зробилось, что хозяину того и сказать въ глаза не смѣютъ!...

Любовь Петровна немедленно подняла голову.

— Спросите вашу дочь, злобно и презрительно кивнула она ему,—она вамъ объяснитъ вѣроятно...

Ея рука вынырнула изъ-подъ моей руки, и она быстрыми шагами пошла по направленію своего павильона.

Ѳома Богдановичъ растерянно поглядѣлъ ей вслѣдъ и обернулся на меня,—губы его дрожали...

— А что ей до моей дочки? спросилъ онъ меня.

Я ему откровенно передалъ, что Галечка сейчасъ очень оскорбила свою „кузину“ своимъ колкимъ тономъ и даже руки ей не хотѣла дать.

Бѣдный Галагай схватилъ себя за голову.

— А щобъ тимъ всѣмъ бабамъ!... И чего тамъ Галечка сдурила?... А ты, Борисъ...

И онъ снова, видимо, готовился допрашивать меня, и снова не докончилъ фразы, сообразивъ можетъ-быть, что неприлично ему требовать объясненій по такому щекотливому обстоятельству у мальчика, у ребенка, какимъ неизмѣнно пребывалъ я въ его глазахъ съ тѣхъ временъ, когда въ красной рубашкѣ бѣгалъ, переваливаясь, по тѣнистымъ аллеямъ Богдановскаго. Или, просто, добрѣйшему „старому Галагаю“ не хотѣлось, претило узнать ближе то что-то *негарное*, сотворившееся въ его „честномъ“ домѣ, о чемъ онъ теперь лишь только смутно догадывался и что, предчувствовалъ онъ, должно было глубоко оскорбить и опечалить его...

Онъ съ обычнымъ ему въ такихъ трудныхъ случаяхъ движеніемъ, означавшимъ какъ-бы: „а пропадай же все!“—махнулъ рукой и побѣжалъ въ домъ.

Я остался одинъ на террасѣ. Воздухъ посвѣжѣлъ. Сквозь старыя липы пробивались солнечные лучи, рисуя странные узоры на желтомъ пескѣ аллей... Чѣмъ-то прощальнымъ вѣяло отъ этого осенняго дня, а на сердцѣ у меня было такъ тяжело...

Мнѣ вспомнился тотъ день, когда, лежа на травѣ съ бѣднымъ Васей, я глядѣлъ на пробѣгавшія тучки и удивлялся, что мой новый товарищъ могъ думать о темной могилѣ среди лучезарнаго дня, когда все въ природѣ кругомъ было блескъ и очарованіе, и вся она будто дышала проникающимъ и нѣжнымъ запахомъ каприфолія и бѣлой акаціи... Какъ далекъ я былъ теперь отъ той минуты!...

Знакомая читателямъ горничная Любови Петровны вышла тѣмъ временемъ изъ-за угла дома и, увидѣвъ меня, подошла быстрыми шагами:

— Докторъ не пріѣхалъ? торопливо спросила она.

— А что? воскликнулъ я:—Любови Петровнѣ дурно?

— Очень разстроились, хотятъ...

— Людвигъ Антоновичъ тутъ, перебилъ я ее,—онъ сидитъ должно-быть у больнаго; я сейчасъ...

— Нѣтъ, *ихъ* не нужно, остановила меня Прасковья

Ильинишна. Какой они докторъ! промолвила она, засмѣявшись, и даже почему-то покраснѣла слегка.—Барыня желаютъ знать, не пріѣхалъ-ли тотъ, за кѣмъ въ К. послали,—Кашеваровъ, что-ли, прозывается?...

— До К. семьдесятъ пять верстъ, объяснилъ я ей,—когда же бы успѣлъ онъ пріѣхать!... Да нѣтъ же, вспомнилъ я вдругъ,—сегодня вторникъ... На прошлой недѣлѣ Вася писалъ ему пріѣхать ранѣе и именно сегодня... Онъ навѣрно будетъ!... Любовь Петровна хочетъ съ нимъ посовѣтоваться насчетъ себя?...

— Нѣтъ, съ запинкой отвѣчала горничная,—онѣ бы желали знать... потому въ случаѣ...

— Въ случаѣ смерти бѣднаго Герасима Ивановича? договорилъ я за нее.

— Нѣтъ, напротивъ того... Я впрочемъ ничего не знаю, поспѣшила поправиться Прасковья Ильинишна.—Только ужь будьте такъ добры, миленькій баринъ, со столичнымъ своимъ жеманствомъ промолвила она,—не откажите прислать его къ намъ въ павильонъ, когда онъ тамъ *обревизуетъ* Герасима Ивановича... Барыня теперь ужь ни за что не пойдутъ туда!...

— Да вотъ не онъ-ли ѣдетъ? сказалъ я, не обративъ въ этотъ мигъ особеннаго вниманія на ея слова и прислушиваясь къ еще слабо, но уже несомнѣнно доносившемуся до насъ звуку колокольчика.—Слышите, звенитъ?

— Ну, и тѣмъ лучше, значитъ!

Прасковья Ильинишна припрыгнула безъ всякой надобности и побѣжала во-свояси.

XXXVIII.

Обогнувъ террасу, я вышелъ чрезъ калитку на *красный* дворъ. По прямой линіи добѣгавшей до него дороги, межъ параллельно обрамлявшими ее съ обѣихъ сторонъ пирамидальными тополями, мчалась парой легкая таратайка, въ которой, высоко умостившись, сидѣлъ, дѣйствительно, докторъ Кашеваровъ: я его издалека узналъ по бѣлой пуховой шляпѣ, которую онъ носилъ постоянно, даже въ городѣ.

Это былъ человѣкъ еще не старый, весьма симпатичный и пользовавшійся вездѣ вокругъ большой извѣстностію. Его всѣ знали и всѣ любили...

— А, здорово, молодой человѣкъ, привѣтствовалъ онъ меня на крыльцѣ, живо и весело выбираясь изъ своего экипажа, и тутъ же внимательно взглянулъ мнѣ въ лицо.—А что вы это, никакъ похудѣли? спросилъ онъ.

— Мы тутъ всѣ такъ измучились, Ѳедоръ Ѳедоровичъ,— Герасимъ Ивановичъ совсѣмъ умираетъ. Съ нимъ сегодня опять былъ ударъ...

— Что́ вы?!

Онъ былъ видимо пораженъ этимъ извѣстіемъ.

— Развѣ вы ничего не знали? Къ вамъ же посланъ былъ верховой отсюда рано утромъ сегодня. Не встрѣчался онъ вамъ на пути?...

— Нѣтъ, вѣрно какъ-нибудь разъѣхались... Надо къ нему бѣжать. А поглядите-ка, кто за мною ѣдетъ? съ улыбкой примолвилъ онъ, указывая на дорогу, по которой все ближе и катился къ намъ большой клубъ пыли, вздымаемой ка-

кимъ-то новымъ экипажемъ, котораго разглядѣть нельзя еще было.

Сердце екнуло у меня отъ предчувствія.

Докторъ поспѣшилъ къ больному. Я побѣжалъ, какъ былъ, безъ фуражки, на встрѣчу ѣхавшимъ...

Это коляска, — это наша старая четверомѣстная коляска. Человѣкъ нашъ Степанъ сидитъ на козлахъ, а тамъ...

Я вскрикнулъ, остановилъ ямщика и, вскочивъ на подножку, бросился обнимать maman... Она была одна съ горничной...

Она и бранила меня за неосторожность, и цѣловала, и плакала отъ радости.

— Легко сказать, говорила она, — почти три мѣсяца не видала я васъ... Здоровъ-ли Лева? Отчего ты такой блѣдный?...

Я сѣлъ къ ней въ ноги и доѣхалъ съ нею до крыльца. Кашеваровъ успѣлъ уже предупредить Анну Васильевну: она выбѣжала на встрѣчу пріятельницѣ.

— Софья Михайловна, самъ Богъ васъ принесъ, воскликала она, обнимая ее со слезами.

Я не успѣлъ еще ничего разсказать матушкѣ, ни о чемъ разспросить ее; я понялъ пока лишь то, что она оставила Настю въ К. съ батюшкой и пріѣхала прямо сюда, не заѣзжая въ Тихія Воды, куда поѣхала за день предъ ней тетушка Фелисата Борисовна браниться съ нашимъ управляющимъ за какое-то упущеніе по имѣнію, которымъ она занималась гораздо болѣе, чѣмъ отецъ мой.

Анна Васильевна повела ее въ комнаты нижняго этажа, которыя всегда занимаемы были нами въ обычные пріѣзды въ Богдановское. На пути она сообщила ей о „несчастіи съ Герасимомъ Ивановичемъ“.

Матушку это еще болѣе поразило, чѣмъ доктора.

— Ты мнѣ въ каждомъ письмѣ писалъ, что ему все лучше и лучше? обратилась она ко мнѣ.

— А и лучше-жь все было, повторила Анна Васильевна,— а прошлою ночью, о, при немъ... вырвалось какъ бы у нея.

— При тебѣ? воскликнула матушка.

„Сейчасъ пытка начнется!“ тоскливо подумалъ я, предчувствуя за этимъ вопросомъ цѣлый рядъ мучительныхъ для меня допросовъ и объясненій.

Радостный визгъ Левы, раздавшійся изъ сада подъ окнами покоя, въ который только-что ввела матушку Анна Васильевна, отвлекъ отъ меня, къ счастію, вниманіе maman. Она подбѣжала къ окну.

— Онъ сейчасъ сюда прибѣжитъ, сказала улыбаясь Анна Васильевна,—*я* послала за нимъ.

— Хорошо онъ себя велъ? съ такой же улыбкой спросила maman.

— А чѣмъ нехорошо! *Якъ голубочекъ сызенькій*! отвѣчала ея пріятельница своимъ задушевнымъ, ласкающимъ говоромъ.

— Ахъ, вы добрая моя!...

— Мамаша, мамаша! вбѣжалъ еле дыша въ комнату Лева и повисъ на ея шеѣ.

Керети вошелъ вслѣдъ за нимъ.

Когда поунялись немножко первые восторги Левы, превратившіе окончательно и такъ уже смятый отъ дороги туалетъ чопорной матушки въ какое-то ни на что непохожее тряпье, она успѣла только подать руку гувернеру, спросить его: доволенъ-ли онъ былъ нами? и получивъ въ отвѣтъ весьма утѣшительное: „je n'ai guère eu à m'en plaindre, madame,“— тотчасъ же попросила дозволенія пойти „совершить омовеніе“ и переодѣться.

— А вотъ тутъ все готово.

Анна Васильевна прошла съ матушкой и ея горничной въ сосѣднюю комнату, служившую спальней. Лева побѣжалъ было вслѣдъ за ними, но его не пустила матушка:

— Пойди себѣ пока въ садъ, сказала она ему.

Онъ не преминулъ немедленно же воспользоваться дозволеніемъ, вскочилъ на стулъ, затѣмъ на столъ, со стола на подоконникъ и прыгнулъ въ садъ въ открытое окно.

Матушка было ахнула, но пронзительный голосъ незримаго уже Левы распѣвалъ на весь садъ выученную имъ отъ Опицкаго жидовскую пѣсню:

Якъ поихавъ жолниржъ...

Maman разсмѣялась и заперла двери спальни. Мы остались вдвоемъ съ Керети.

— Madame votre mère est venue sans doute pour nous ramener à Tikvode? началъ было онъ. — Я не успѣлъ отвѣтить: вошелъ докторъ Кашеваровъ.

— Здѣсь хозяйка?

— Здѣсь, у матушки, рядомъ, отвѣчалъ я. — Позвать ее?

— Нѣтъ; матушка ваша съ дороги, вѣроятно, въ порядокъ себя приводитъ; я погожу.

Онъ вошелъ и сѣлъ.

— Видѣли Герасима Ивановича?

— Видѣлъ.

— Ну, что, Ѳедоръ Ѳедорычъ?

— Что! повторилъ онъ, покончeнный человѣкъ!

— Васъ Любовь Петровна Лубянская велѣла просить къ себѣ, когда вы повидаете ея мужа, сказалъ я ему, послѣ общаго непродолжительнаго молчанія...

Изъ спальни вышли дамы. Оказывалось, что матушка нагнала доктора на послѣдней станціи и что они тамъ разговаривали о Герасимѣ Ивановичѣ, нисколько не подозрѣвая того, что случилось. Докторъ былъ даже того мнѣнія, что при правильномъ ходѣ жизни организмъ больнаго, вообще человѣка „крѣпкаго“, могъ бы и совсѣмъ поправиться.

— А теперь нѣтъ надежды? печально спросила матушка.

— Никакой! отвѣчалъ онъ. — Его... докторъ, очевидно, какъ будто искалъ точнѣйшаго выраженія, — его *подрубило* какое-то внезапное, внѣшнее впечатлѣніе, настолько сильное, чтобы произвести моментальный разрывъ сосудовъ въ области мозга... Это весьма желательно было бы уяснить ближайшимъ образомъ... Не было-ли у него предъ этимъ какой-нибудь непріятности? спросилъ Кашеваровъ, обращаясь къ Аннѣ Васильевнѣ.

Она мучительно задвигалась въ своемъ креслѣ — и ничего не отвѣчала.

Докторъ повелъ на нее внимательнымъ взглядомъ и замолчалъ. На его умномъ лицѣ можно было прочесть, что онъ уже не нуждался въ объясненіяхъ: смущеніе Анны Васильевны сказало ему достаточно.

Ѳома Богдановичъ ворвался въ эту минуту въ комнату и съ восторженными привѣтствіями кинулся цѣловать руку матушки. „Онъ былъ у дочки и не зналъ... И глупые слуги не прибѣгли извѣстить его о пріѣздѣ дорогой, дорогой гостьи... И онъ поэтому лишенъ былъ возможности встрѣтить ее у крыльца, какъ подобаетъ, и только теперь узналъ... И да проститъ ему это великодушно Софья Михайловна... И какъ здоровье почтеннѣйшаго Михаила Борисыча... И что вотъ какое горе обрушилось надъ ними“...

— Да, мы объ этомъ сейчасъ говорили, молвила матушка.

Онъ между тѣмъ увидѣлъ доктора и кинулся къ нему съ тѣмъ же гамомъ, вопросами, всхлипываньями... Узнавъ, что докторъ видѣлъ уже больнаго, онъ тотчасъ же вспомнилъ о Кикинѣ, который *муси бутъ*, *вже проспався* и съ которымъ ему, то-есть Кашеварову, не мѣшало бы потолковать...

— Ходымъ, ходымъ до него! приглашалъ онъ его.

— А что этотъ бѣдный мальчикъ? вспомнила матушка о Васѣ, обращаясь къ доктору. Онъ сморщилъ брови.

— На него надо будетъ обратить серьезное вниманіе, сказалъ онъ, обращаясь къ хозяйкѣ, — у него на лицѣ нехорошія пятна... Не нравится мнѣ это... Натура вообще жидкая, и, кажется, случай этотъ съ отцомъ имѣлъ на него потрясающее вліяніе...

Анна Васильевна всплеснула руками и съ ужасомъ на лицѣ поднялась съ своего мѣста.

— Я до него вернусь, извините меня, Софья Михайловна едва могла проговорить она и вышла спѣшно изъ комнаты.

— Стряслась, стряслась бѣда надъ нами! горестно воскликнулъ Ѳома Богдановичъ, хватаясь опять за голову.

— Ну, авось Богъ и поможетъ! утѣшалъ его докторъ и, вставая, объявилъ, что отправляется къ Любови Петровнѣ.

— Я васъ провожу до нея, тотчасъ же вызвался Ѳома Богдановичъ,—только не войду самъ, примолвилъ онъ, — ужь вы тамъ себѣ якъ знаете съ ней...

— Я и одинъ пойду. Я хорошенькихъ женщинъ не боюсь, отвѣчалъ, смѣясь, Кашеваровъ.

Ѳомы Богдановича приняло опять то серьезное выра-

женіе, которое такъ мало привыкли всѣ знавшіе его замѣчать на немъ.

— Якъ не была-бъ она такая *хорошенькая*, съ удареніемъ проговорилъ онъ,—ничего бы того, може, и не случилось!...

Онъ опять подбѣжалъ „къ ручкѣ“ моей матери и ушелъ вмѣстѣ съ докторомъ.

Мы остались втроемъ.

Матушка задумчиво сидѣла на диванѣ. Керети ходилъ по комнатѣ, закинувъ руки за спину. Я стоялъ у окна въ безпокойномъ ожиданіи...

— Я пріѣхала за дѣтьми, начала maman по-французски, обращаясь къ моему наставнику, — и вижу, что должна была бы это сдѣлать гораздо ранѣе: здѣсь происходятъ какія-то невообразимыя вещи... То, что мнѣ разсказывала madame Galagai!...

— Madame, быстро подходя къ ней, заговорилъ Керети,— у меня на столѣ лежитъ начатое письмо къ вамъ; я могу его сейчасъ принести, и вы изъ него увидите, что и я почиталъ необходимымъ намъ скорѣе уѣхать. Ваше материнское предчувствіе, vos pressentiments de mère, предупредили меня...

Онъ наклонился къ ея уху и сталъ шептать что-то оживленно и долго, но голосъ его становился все громче, по мѣрѣ того, какъ оживлялся его разсказъ, и уже совершенно явственно проговорилъ онъ со своею театральною интонаціей:

— Et l'on vit alors, madame, au fond de la chambre apparaître deux visages pâles et haletants: c'étaient monsieur de Fehlsen et madame...

— Quelle horreur! воскликнула матушка. — И Борисъ видѣлъ все это?...— Мы сегодня же ѣдемъ! рѣшительнымъ тономъ провозгласила она.

— Сегодня?

Мнѣ это представлялось невозможнымъ. — Какъ, сегодня, черезъ нѣсколько часовъ, меня разлучатъ съ Васей, оторвутъ *отъ всего этого*, съ чѣмъ я такъ уже успѣлъ сжиться!... На дняхъ садовникъ, разсаживая при мнѣ розаны въ одной изъ аллей Богдановскаго, вырывалъ какое-то не у мѣста посаженное въ прошломъ году деревцо. И мнѣ вспомнилось въ этотъ

мигъ, какъ онъ тогда дернулъ вдругъ, сразу, и тонкіе длинные молодые корни очутились подъ его рукой на воздухѣ, еще всѣ облѣпленные комочками черной земли и дрожавшіе словно отъ боли... „И со мною такъ поступятъ!“ представлялось мнѣ...

— Сегодня же? не безъ нѣкотораго удивленія повторилъ и Керети.

Maman отвѣчала, что батюшка очень желаетъ скорѣе увидать дѣтей, что у него дѣла въ городѣ, и что онъ рѣшилъ остаться въ К., куда и мы поѣдемъ уже на всю зиму...

Керети, осторожно и учтиво прибирая выраженія, далъ ей издали понять, что такой поспѣшный отъѣздъ ея съ дѣтьми не вполнѣ бы, можетъ-быть, соотвѣтствовалъ тому чувству признательности, которымъ мы обязаны, такъ-сказать, нашимъ добрымъ хозяевамъ, à nos bons hôtes. Ils ont été vraiment charmants pour nous, madame, горячо говорилъ онъ, и дѣти ваши поистинѣ...

— Имъ въ родительскомъ домѣ не могло бы быть лучше,— я знаю! тотчасъ же воскликнула тронутая матушка:—mari et femme, ils sont bons, comme le bon Dieu! съ умиленіемъ вспомнила она о Галагаяхъ.

Она, это сейчасъ можно было замѣтить, согласилась внутренно съ доводами Керети и искала теперь въ головѣ средства, какъ устроить дѣло такъ, чтобы не огорчить богдановскихъ друзей нашихъ.

XXXIX.

Входная дверь полуотворилась въ это время, и кто-то, еще не видный, спросилъ не громкимъ скромнымъ голосомъ по-французски:

— Можно войти?

— Конечно можно, отвѣчала матушка.

Вошла Галечка.

— Совсѣмъ взрослая дѣвица! зазсмѣялась maman, глядя на ея длинное платье и прическу à la Clotilde, замѣнившую дѣтскія косы, еще такъ недавно висѣвшія у нея за спиной, между тѣмъ какъ Галечка обнимала ее съ видомъ необычайной радости и нѣжности.

Она такъ и забросала матушку любезными вопросами, разсказами о „жантильесахъ“ Левы, съ которымъ она будто бы не разставалась все время, и такъ далѣе...

— Что ей нужно отъ maman? думалъ я; она была мнѣ рѣшительно противна!

То, что ей нужно было, не заставило себя долго ждать.

— А у насъ, вы слышали, какое несчастіе... Mon pauvre cousin (весь разговоръ шелъ, разумѣется, по-французски,), заговорила она, усаживаясь подлѣ матушки и заглядывая ей въ глаза.

— Да, это ужасно, сказала матушка.

— Это у насъ въ домѣ все вверхъ дномъ поставило, молвила опять Галечка, давъ лицу своему достаточно времени на изображеніе соболѣзнованія о несчастіи ея pauvre cousin.— Папа такъ взволнованъ, что его узнать нельзя. И вы знаете, что у меня нѣтъ болѣе учителя музыки?

— Вотъ какъ! равнодушнѣйшимъ образомъ проговорила maman.

Но та не унывала.

— Вѣдь вы знаете monsieur Богенфриша, — какой онъ отличный музыкантъ, и я съ нимъ такъ успѣла... И вдругъ папа его прогоняетъ! И, и такъ непонятно: приходитъ къ нему Богунъ и объявляетъ, что онъ долженъ уѣхать сейчасъ же. И никакихъ объясненій!... Онъ, бѣдный, прибѣгаетъ ко мнѣ весь въ слезахъ,—je n'ai pas pu y tenir moi-même, madame, j'ai fondu en larmes—и побѣжала къ папа. А онъ даже ногами затопалъ. — „Такъ треба", повторила она иронически слова отца и пріостановилась... Не могли-ли бы вы сказать папа? обратилась Галечка уже прямо съ просьбой своею къ maman,—онъ такъ глубоко уважаетъ васъ, chère Софья Михайловна, я знаю напередъ: вамъ стоитъ только слово сказать...

— Можетъ-быть, но я этого слова не скажу, прервала ее maman—съ серьезною улыбкой.

— Отчего же это?

Галечка вся вспыхнула даже.

— Оттого, что отецъ вашъ не ребенокъ и знаетъ, что дѣлаетъ, я полагаю. Если онъ удаляетъ вашего учителя музыки изъ своего дома, то у него, вѣроятно, есть на это свои соображенія...

„Точно отецъ мой способенъ на какія либо соображенія!" такъ и сказалось въ мелькнувшей на губахъ Галечки насмѣшливой улыбкѣ...

— А слава-жь Богу, согласился Вася прилечь, — хоть и спать не будетъ, а все-жь отдохнетъ себѣ трошечки! молвила, входя, Анна Васильевна, не замѣчая нѣсколько взволнованнаго вида дочери и даже не глядя на нее.

Галечка, въ свою очередь, живо отвернулась и принялась спокойно улыбаться, какъ ни въ чемъ не бывало.

Но я не могъ не замѣтить, что Анна Васильевна продолжала ея не замѣчать—и что это происходило не случайно. Чувствовалось, что опричь ея тревоги за Васю, за отца его, на душѣ милой женщины что-то еще болѣе близкое ей

и болѣе глубоко захватывавшее ее за сердечныя струны, — и что именно Галечка вызывала это мучительное что-то въ ея дѣтски-нѣжной, голубиной душѣ...

Она передавала между тѣмъ матушкѣ о томъ, что Герасима Ивановича она застала въ томъ же не то снѣ, не то безчувствіи, что Ѳедоръ Ѳедоровичъ Кашеваровъ прописалъ ему moschus, за чѣмъ и послано въ городъ, но отъ чего и самъ докторъ не ожидаетъ особенной пользы, что она лишь съ величайшимъ трудомъ убѣдила Васю отдохнуть, и то лишь при помощи Ѳедора Ѳедоровича, который вернулся отъ Любови Петровны и обѣщалъ ему, что будетъ самъ сидѣть у постели его отца до самаго обѣда...

— А Любовь Петровна—не говорилъ докторъ,—гдѣ будетъ обѣдать сегодня?... Съ нами? прервала ее Галечка, — и въ этихъ двухъ словахъ звучалъ какъ бы вызовъ матери на дальнѣйшее объясненіе.

— Не говорилъ, кажется, все такъ же не глядя на нее, отвѣчала Анна Васильевна, — и поторопилась обратиться къ матушкѣ съ какимъ-то вопросомъ.

Галечка дала maman отвѣтить и снова обратилась къ своей матери:

— А если *она* будетъ внизу обѣдать, то какъ *„прикажете*: и *мнѣ* придти?

Болѣзненно, глазами полными упрека и глубокаго душевнаго страданія, взглянула на дочь Анна Васильевна. Я понялъ, что она только-что—и вѣроятно отъ Ѳомы Богдановича—узнала, какъ успѣла уже Галечка обойтись съ Любовью Петровной.

— А для чего тебѣ на это моего приказа просить? промолвила она съ явнымъ усиліемъ.

Галечка потупилась съ такимъ видомъ, что: конечно — молъ не мнѣ вамъ объяснять это!

— Если *вамъ* угодно, maman, я приду, проговорила она тихимъ, покорнымъ, будто приниженнымъ голосомъ, — за который въ ту минуту я бы ей, кажется, съ радостью косу оторвалъ...

Бѣдная мать ея растерянно задвигалась на

не подъ силу ей было совладать съ этимъ самоувѣреннымъ, безсердечнымъ пятнадцатилѣтнимъ существомъ.

— Можешь у себя обѣдать,.. коли со всѣми *не нравится*, проговорила милая женщина, пряча глаза свои отъ невозмутимыхъ глазъ дочери... И какъ еще хватило у ней духа это сказать!...

Галечка, добившись своего, встала, почтительнѣйшимъ образомъ присѣла предъ матушкой, поцѣловала на лету руку Анны Васильевны и вышла изъ комнаты.

Не успѣла еще затвориться за нею дверь, какъ мать ея, ухвативъ мою мать за обѣ руки и наклоняясь къ ней, прошептала сквозь слезы:

— Въ кого она, скажите на милость, Софья Михайловна!...

Мы поспѣшили съ Керети оставить ихъ однѣхъ и отправились гулять въ садъ до обѣда.

Къ обѣду не явились ни Любовь Петровна, ни Галечка, и никогда еще такъ скучно не совершалась въ Богдановскомъ трапеза, какъ въ этотъ день. Довольно сказать, что самъ Ѳома Богдановичъ ни разу не улыбнулся въ продолженіе всего обѣда, никого не тормошилъ и почти рта не разѣвалъ: взглянетъ на незанятые стулья и приборы съ неразвернутыми на нихъ салфетками дочери и племянницы и—вздохнетъ только... Бесѣду за столомъ вели почти исключительно доктора Кашеваровъ и Кикинъ, успѣвшій проспаться и видимо заискивавшій теперь „въ человѣкѣ науки“, какъ называлъ К—го врача Людвигъ Антоновичъ. Студентъ былъ тутъ же, ѣлъ за четверыхъ, молчалъ, какъ булыжникъ, и отдувался послѣ каждаго блюда. О больномъ и его сынѣ не произнесено было ни одного слова: всѣ словно боялись коснуться этого предмета. Матушка переговаривалась вполголоса съ хозяйкой, подлѣ которой она сидѣла, и по печальному взгляду, которымъ милая Анна Васильевна отъ времени до времени поглядывала на насъ съ Левой, не трудно было отгадать, о чемъ шла между ними рѣчь: Анна Васильевна убѣждалась доводами матушки сти намъ скорѣе ѣхать въ К...

Подъ этимъ впечатлѣніемъ побѣжалъ я на верхъ, въ покой Лубянскихъ, едва успѣли встать изъ-за стола.

Савелій, котораго я встрѣтилъ въ корридорѣ, передалъ мнѣ, что Герасиму Ивановичу данъ Васей уже второй пріемъ лѣкарства, которое какъ будто нѣсколько оживило его, но что въ настоящую минуту они, должно быть, опять заснули, — потому Василій Герасимовичъ прошли, кажется, сейчасъ въ свою комнату.

Я отворилъ двери—и вошелъ.

Вася былъ тутъ, дѣйствительно; онъ стоялъ у конторки, облокотившись головой на руку,—и оборотился, слегка поморщившись, на легкій скрипъ двери.

— Это я, Вася, осторожно пробираясь къ нему, сказалъ я,—по ковру не слышно...

— Ничего, теперь всѐ равно, проговорилъ онъ.

— *Его*, говорятъ, нѣсколько оживило лѣкарство?

Вася только плечомъ повелъ.

Какъ онъ страшно осунулся за эти нѣсколько часовъ! Глаза ввалились, и вокругъ нихъ образовались черные большіе круги, а на щекахъ алѣли тѣ зловѣщія пятна, которыя такъ не нравились Ѳедору Ѳедоровичу.

— Спалъ ты предъ обѣдомъ, Вася?...

— Нѣтъ, отрѣзалъ онъ.

— Не могъ?

— Да...

— А къ намъ maman пріѣхала, опять началъ я послѣ долгаго, тяжелаго молчанія.

— А! сказалъ онъ только, и губы его слегка дрогнули.

— Она пріѣхала за нами... увезти насъ въ К... робко заговорилъ я, снова слѣдя тревожно за выраженіемъ его лица.

Онъ повелъ на меня равнодушнымъ взглядомъ...

— Скоро? спросилъ онъ.

— Она сегодня даже хотѣла... Но я надѣюсь,—хоть еще одинъ день...

— Конечно! промолвилъ онъ, разсѣянно переводя глаза въ окно, въ которое горячо и трепетно вливался на минуту золотой лучъ склонявшагося къ западу солн

— Мнѣ будетъ очень... Не знаю даже, какъ сказать тебѣ, — такъ будетъ больно разстаться съ тобою, Вася, сказалъ я.

Мнѣ жадно хотѣлось обнять его, прижать къ груди... Но я не смѣлъ.

— Какъ кукушка закуковала, слышишь! проговорилъ онъ вдругъ вмѣсто отвѣта.

— Онъ и не слышалъ, подумалъ я тоскливо.—Вася!

Онъ снова поморщился и глянулъ на меня во всѣ глаза.

— Я сегодня ужь буду у m-r Керети ночевать... Лучше, не правда-ли?

Онъ кивнулъ въ знакъ согласія.

— Если насъ завтра увезутъ отсюда, Вася, я приду къ тебѣ проститься, жалобно молвилъ я, все надѣясь, что онъ вспомнитъ о нашей дружбѣ, о томъ, какъ я любилъ его...

— Да, да, сказалъ онъ; слова мои очевидно докучали ему, и онъ отошелъ къ окну.

XL.

На другой день утромъ,—мы только-что съ Керети успѣли одѣться,—пришли насъ звать чай пить къ maman внизъ. Она поднялась очень рано и была давно готова, когда мы явились къ ней.

Оказывалось, что, оставшись вчера вечеромъ одна съ Анной Васильевной и ея мужемъ, она окончательно убѣдила ихъ отпустить насъ сегодня же. Матушка была очень довольна: Анна Васильевна сама призналась ей, что на ея мѣстѣ она бы точно также поступила.

— Въ домѣ нашемъ дѣти ваши ничему доброму не научатся, рѣшилась она даже сказать своей пріятельницѣ.

— Сбѣгай же ты сейчасъ къ Максимычу, приказывала мнѣ матушка,—чтобы скорѣе онъ собиралъ ваши вещи.

У меня въ первую минуту опять защемило на сердцѣ. Но я вспомнилъ разговоръ мой вчера съ Васей. „Я ему ни на что не нуженъ, онъ тяготится мною“, съ горечью подумалъ я.

Я отправился къ Максимычу. Онъ даже перекрестился, узнавъ о рѣшеніи матушки.

— Отъ грѣха и соблазна, значитъ, подальше васъ, крикнулъ онъ и вдругъ началъ выпѣвать мнѣ:—Вчера-то съ барыней этой... подъ ручку. Точно сами онѣ идти не могутъ, такъ и навалились на васъ...

— Ну, довольно, однако, Максимычъ, воскликнулъ я, вспыхнувъ.

Но онъ не унимался.

— Мало имъ одного, должно быть, такъ еще васъ нужно... Тьфу! Вотъ только барина этого молодаго жаль, а то бы, кажется, на стѣны на эти самыя плюнулъ. Чтобъ имъ...

Я убѣжалъ скорѣе отъ его причитаній.

Въ корридорѣ повстрѣчалась мнѣ Анна Васильевна: она шла къ Лубянскимъ и казалась очень взволнованной.

— Видѣлъ ты Васю? спросила она на ходу.

— Нѣтъ еще, я хотѣлъ сейчасъ идти.

Она остановилась.

— А ты бы погодя приходилъ лучше... Мнѣ съ нимъ поговорить надо...

— Хорошо, Анна Васильевна, я пойду къ maman.

— И я до ней скоро, такъ ты туда ходи...

У maman я засталъ Ѳому Богдановича; онъ стоялъ предъ ней, переминаясь съ ноги на ногу и держа въ рукѣ какое-то письмо.

— А знаетъ Вася? такъ и огорошилъ онъ меня непонятнымъ вопросомъ, едва я вошелъ.

— Что́ знаетъ, Ѳома Богданычъ? недоумѣвая спросилъ я.

— А что мать его уѣхала?

— Любовь Петровна?... Я ничего не понималъ.—Я Васю еще не видалъ сегодня, объяснялъ я.

— Какъ же все это произошло? съ любопытствомъ спросила матушка.

— А кажу-жь вамъ, Софья Михайловна, съ совершенно растерянным видомъ отвѣчалъ онъ,—съ вечера послала она своего лядащаго Петрушку на село, жида съ конями нанять, а и пришелъ ночью съ конями тотъ жидъ, въ карету ея коней тѣхъ впрягъ, и поѣхала она на томъ жидѣ...

— Куда?

— А въ К. кажутъ.

— И прислала вамъ письмо.

— А и тотъ же Петрушка ея лядащій, какъ уѣзжали они, такой приказъ Марку кучеру далъ, чтобъ какъ я встану утромъ,—будить меня ни за-что не казалъ, шельма!—какъ встану, казалъ, чтобъ мнѣ письмо то и дали...

— Что же она вамъ пишетъ?

— А хоть убейте не скажу (не знаю), Софья Михайловна. Не понялъ я и не дочиталъ, потому тонко такъ, по-аглицкому пишетъ,... да и читать не хотѣлось, о!... Борисъ, обратился

онъ ко мнѣ, протягивая письмо, которое все время мялъ въ комокъ своими вѣчно безпокойными руками,—глаза у тебя молодые, прочти, о!...

Я кое-какъ расправилъ листокъ и началъ читать:

„Любезный дядюшка, писала Любовь Петровна,—я ненавижу объясненія и уѣзжаю отъ васъ ночью, таясь и избѣгая свѣта, какъ какой-нибудь злой преступникъ, единственно для того, чтобъ избѣгнуть ихъ. Но вы сами понимаете, вѣроятно, что я не могу долѣе оставаться въ вашемъ домѣ...“

— Бо сама не хотитъ, такъ и не можетъ, прервалъ меня Ѳома Богдановичъ, съ какою-то ребяческою тревогой, заглядывая въ лицо матушкѣ: не подумайте-молъ, что я въ состояніи выгнать ее изъ моего дома.

— И добре она сдѣлала, воскликнулъ Ѳома Богдановичъ,—похвалю я ее теперь за то,—что отъ сына отказалась она и мнѣ съ Ганною за сына его отдала. Не нужно ему такой матери,—правду она сказала!...

Старый Галагай откинулъ назадъ свою лысую голову, маленькіе глазки его запрыгали, и невзрачное, почти комическое лицо его освѣтилось внезапно невыразимымъ обаяніемъ сердечности и умиленія... Онъ протянулъ руку впередъ, какъ бы совершая обрядъ присяги.

— Клянусь же я предъ Христомъ Спасителемъ нашимъ, съ какою-то тихою торжественностью возгласилъ онъ,—клянусь за себя и за жену мою, что пріймаемъ мы Васю Лубянскаго за сына нашего роднаго и будемъ мы любить и хранить того сына...

— А и надолго-ли будетъ у насъ тотъ сынъ! прервала его Анна Васильевна горестнымъ восклицаніемъ и закрыла себѣ глаза рукой.

Ѳома Богдановичъ глянулъ на жену, дрогнулъ и, подбѣжавъ къ ней, охватилъ ее за шею:

— А не надолго, горячо цѣлуя ее, воскликнулъ онъ,—такъ будемъ мы плакать по немъ, какъ по томъ Павликѣ нашемъ покойномъ плакали мы!...

И онъ стремглавъ выбѣжалъ изъ комнаты.

XLI.

Рѣшено было, что мы уѣдемъ тотчасъ же послѣ завтрака,—и время уже подходило къ нему,—но я напередъ объявилъ, что завтракать не приду. Я желалъ проститься съ Васей: я все надѣялся улучить минуту поговорить съ нимъ „по душѣ“, въ послѣдній разъ; мнѣ жадно хотѣлось взглянуть ему въ лицо, убѣдить самого себя, что докторъ ошибается, что ничего нѣтъ страшнаго въ этихъ пятнахъ, которыя ему такъ не нравятся, что Анна Васильевна напрасно тревожится. „Богъ дастъ, все пройдетъ“, представлялъ я себѣ,—„и мы опять будемъ съ нимъ; Ѳома Богдановичъ пришлетъ его учиться въ К.; онъ у насъ жить будетъ, а лѣтомъ въ Богдановскомъ, въ Тихихъ-Водахъ“...

Но онъ, не отрываясь, все сидѣлъ за ширмами у постели отца, а я боялся зайти туда: можетъ-быть, это будетъ не пріятно Васѣ. Я вспоминалъ сухость его пріема вчера и его недовольные глаза,—мнѣ такъ больно было бы, еслибъ это должно было повториться теперь. Я нѣсколько разъ на цыпочкахъ входилъ въ спальню Герасима Ивановича и выходилъ оттуда опять въ комнату Васи, незамѣченный имъ.

Тамъ у окна сидѣлъ командоръ и лѣниво слушалъ Кикина, что-то вполголоса повѣствовавшаго ему. Длинный маіоръ внушалъ мнѣ теперь какую-то зависть: онъ точно вытѣснилъ меня изъ этого покоя, который я такъ долго почиталъ своимъ, и какъ будто хотѣлъ, думалось мнѣ, замѣнить меня въ сердцѣ Васи. А между тѣмъ добрый человѣкъ, не переставая прислушиваться къ разсказамъ полуцьянаго врача, слѣдилъ, какъ

оказалось, внимательно за моими входами и выходами и угадывалъ ихъ поводъ.

— Вы не видались сегодня съ Василіемъ Герасимычемъ? спросилъ онъ меня вдругъ.

— Нѣтъ еще... Я хотѣлъ съ нимъ проститься,—мы сегодня ѣдемъ, печально объяснилъ я.

Онъ взглянулъ на меня—и нахмурился, какъ всегда это бывало съ нимъ, когда чувствовалъ онъ себя тронутымъ.

— Сегодня? переспрочилъ онъ.

— Скоро, послѣ завтрака...

— А не поглядите вы на больнаго? обратился онъ къ Кикину.—Ѳедоръ Ѳедоровичъ на село ушелъ...

Тотъ только взъерошенною головой своею дернулъ: что-молъ глядѣтъ-то на него теперь...

— Ну, а все-жь для порядка пойдемте,—на то вѣдь пріѣхали вы, безцеремонно отрѣзалъ командоръ, приглашая движеніемъ руки Кикина пройти въ комнату Герасима Ивановича, и самъ пошелъ за нимъ.

Черезъ нѣсколько времени вышелъ ко мнѣ Вася.

— Борисъ, ты ѣдешь! воскликнулъ онъ, протягивая мнѣ обѣ руки.

Я схватился за нихъ, наклонился къ нему и крѣпко поцѣловалъ его въ щеку... Зловѣщія пятна куда-то скрылись: желтоватая, восковаго оттѣнка блѣдность покрывала все его лицо. Глаза его опять поразили меня: лихорадочный блескъ, которымъ они такъ страшно горѣли вчера, потухъ совсѣмъ. Они точно вылиняли и глядѣли тускло и упорно, какъ у слѣпыхъ.

— Какъ ты себя чувствуешь, Вася?

— Ничего, отвѣчалъ онъ совершенно покойно и даже улыбнулся.

— Спалъ ты, по крайней мѣрѣ, хоть сколько-нибудь?

— Да, кажется, дремалъ... Не все-ли равно?

— Какъ все равно! Вѣдь ты заболѣешь, серьезно заболѣешь, если не будешь спать!...

Онъ опять коротко улыбнулся.

— Послушай, Борисъ, сказалъ онъ, подходя къ своему

письменному столу,—ты ѣдешь... Прими это отъ меня на память.

На столѣ лежалъ такъ хорошо знакомый мнѣ толстый томъ, переплетенный въ темную кожу,—компактное изданіе *„нашего друга“*.

— Твой Шиллеръ, Вася? Вѣдь онъ у тебя одинъ!...

— Мнѣ не нужно, сказалъ онъ, а тусклые, неподвижные глаза его добавляли: мнѣ ничего не нужно теперь!...

Я взялъ книгу, и цѣлые ряды блаженныхъ часовъ, проведенныхъ съ нимъ за чтеніемъ ея, мгновенно воскресли въ моей памяти.

— О Вася! сквозь слезы проговорилъ я, — вернутся-ли когда наши вечера?

Онъ поднялъ на меня свои странные глаза и еще болѣе страннымъ голосомъ, утвердительно кивнувъ нѣсколько разъ головой:

— Не здѣсь только! отвѣчалъ онъ.

— Господи! кинулся я къ нему въ перепугѣ:—неужели мы съ тобой уже никогда не увидимся?...

Онъ будто не слышалъ, продолжалъ глядѣть на меня своимъ упорнымъ, мучительнымъ взглядомъ.

— А вѣдь ты любилъ меня, Борисъ, неожиданно вымолвилъ онъ, какъ бы отвѣчая какой-то своей, для меня непонятной мысли.

— И люблю и буду любить, пока живъ! воскликнулъ я, съ новымъ порывомъ нѣжности и обнимая его.—Скажи только одно слово, Вася, и я упрошу, на колѣняхъ умолю maman, чтобъ она оставила меня еще въ Богдановскомъ, съ тобою...

Онъ отвернулся отъ меня вдругъ и, подавляя вырывавшійся у него изъ груди кашель, проговорилъ нетерпѣливо, почти злобно:

— Не надо, не хочу, что́ тебѣ со мною дѣлать!

И онъ быстрыми шагами направился въ комнату отца и заперъ за собою дверь.

Я побѣжалъ въ корридоръ и горько заплакалъ.

Два часа послѣ этого мы катили по́ дорогѣ въ К.... Я уѣз-

жалъ изъ Богдановскаго съ тяжелымъ и оскорбленнымъ чувствомъ и угрюмо молчалъ въ продолженіе всего пути. Матушка, напротивъ, имѣла такой счастливый видъ, будто только-что отъ пожара насъ спасла. Керети, бодрый и веселый, въ свою очередь, смѣшилъ ее всякими разсказами и остротами. Его нескончаемая болтовня, возня и трещаніе Левы наводили на меня еще большее уныніе....

XLII.

Мы жили въ городѣ уже двѣ недѣли. Другія лица, другая рамка жизни, усиленное ученіе,—батюшка рѣшилъ помѣстить меня въ одно изъ привилегированныхъ петербургскихъ заведеній,—начинали мало-по малу заслонять собою печальныя воспоминанія, вынесенныя мною изъ Богдановскаго, которыя въ первое время нашего пріѣзда въ К. неотступно преслѣдовали меня. Я начиналъ опять втягиваться въ нашу обычную городскую жизнь и уже не безъ удовольствія представлялъ себѣ скоро предстоявшій мнѣ отъѣздъ въ столицу, и мундиръ съ шитыми петлицами, и „честь воспитываться тамъ, гдѣ воспитывался самъ Пушкинъ“... Самолюбія было у меня тогда не мало,—и я старательно зубрилъ свои уроки, постоянно тревожась мыслью „какъ бы не хуже быть другихъ *тамъ*“. Въ моихъ понятіяхъ, *тамъ*, на *тѣхъ* скамьяхъ, должны были сидѣть все какіе-то необыкновенно мудрые, прилежные „jeunes gens lettrés“, изъ которыхъ каждому вмѣнено въ обязанность сдѣлаться тотчасъ послѣ выхода какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ.

Однажды послѣ обѣда,—мы сидѣли съ maman въ кабинетѣ батюшки, у вѣчно теплившагося у него камина, — вошелъ слуга и доложилъ: докторъ Кашеваровъ.

— Проси, проси! сказала живо матушка. — Онъ, вѣрно, привезъ извѣстія отъ Галагаевъ, отвѣчала она на вопросительно поднявшіеся на нее глаза батюшки.

— Я къ вамъ съ поклономъ отъ богдановскихъ обитателей,—было, дѣйствительно, первымъ словомъ доктора.

— Ну, что тамъ, скажите, что бѣдный Лубянскій? участливо спросила maman.

— Вчера похоронили, отвѣчалъ онъ.

— Царство ему небесное! Матушка перекрестилась.—Вы, кажется, надѣялись сначала, что онъ протянетъ еще? сказала она, помолчавъ.

— Удивляюсь, напротивъ, слегка улыбнулся Кашеваровъ,—какъ это онъ протянулъ цѣлыя десять сутокъ...

— Но вы, если не ошибаюсь, женѣ его говорили въ такомъ смыслѣ?....

Онъ пожалъ плечами и улыбнулся еще разъ.

— Ей, во что бы ни было, требовалось уѣхать,—такъ, по крайней мѣрѣ, я могъ заключить изъ ея словъ; удерживать ее я не видѣлъ никакой надобности, а ее только и удерживало, что неловко-молъ кинуть мужа, когда онъ при послѣднемъ издыханіи....

— Была она на похоронахъ?

— Къ ней Ѳома Богданычъ эстафету послалъ: пріѣхала она къ самому отпѣванію, а тотчасъ послѣ похоронъ сѣла въ карету и уѣхала.

— Вася ужасно убитъ, должно быть! воскликнулъ я.

Докторъ значительно помолчалъ.

— Наружно, пожалуй, и не замѣтишь, сказалъ онъ, наконецъ,—мальчикъ какъ будто давно успѣлъ освоиться съ этой мыслью.... Посмотрѣли бы вы, съ какимъ спокойствіемъ подошелъ онъ къ умершему и закрылъ ему глаза.... Ни слезки, вѣдь, рука не дрожала! Но все это ушло у него въ глубь и засѣло. Я говорилъ Аннѣ Васильевнѣ: его не надо оставлять одного, примолвилъ Кашеваровъ съ такимъ оттѣнкомъ въ выраженіи, что maman и я мы оба вздрогнули.

— А съ матерью они видѣлись? спросила она опять.

— Нѣтъ, онъ видимо избѣгаетъ ея. Я стоялъ подлѣ него при отпѣваніи. Едва вошла она и пододвинулась ко гробу, онъ отошелъ на противоположный конецъ, а когда въ могилу опустили,—она было къ нему хотѣла подойти, а онъ, будто не видѣлъ, въ сторону,—и скрылся. Насилу отыскалъ его въ саду

маіоръ этотъ гусарскій, что стоитъ въ Богдановскомъ... Такъ она и уѣхала, слова не перемолвивъ съ сыномъ.

— О ней здѣсь совсѣмъ не слышно. Гдѣ она живетъ? обратился къ Кашеварову батюшка, равнодушно все время внимавшій этому разговору.

— Она никого не видитъ, никого не принимаетъ, и докторъ примолвилъ:—она, полагаю, скоро и уѣдетъ отсюда....

— Куда? спросилъ отецъ мой.

— Да въ Петербургъ, должно-быть.... Кашеваровъ засмѣялся. — Кого-то на дняхъ въ гвардію вернули, — вы знаете? сказалъ онъ, глядя на матушку.

— А! холодно отвѣчала она, принимая тотъ презрительный видъ, какой немедленно появлялся на ея лицѣ каждый разъ, когда шла рѣчь о Любови Петровнѣ.

— Une bien jolie femme! жалѣю, что давно не видалъ ея! сказалъ батюшка, насмѣшливо покосившись на maman.

Она отвернулась.

Черезъ нѣсколько дней, вернувшись съ прогулки, которую онъ методически совершалъ ежедневно предъ обѣдомъ, батюшка зашелъ въ садъ, гдѣ мы, обыкновенно, ждали его всѣмъ семействомъ къ обѣду.

— Знаешь, кто меня сейчасъ до дому провелъ? сказалъ онъ весело maman.

— А кто?

— Тотъ музыкантъ, помнишь, что жилъ у Галагаевъ?

— Булкенфрессъ! назвалъ я.

— Une grande canaille! воскликнула матушка.

— Можетъ-быть, отвѣчалъ отецъ мой съ своимъ вѣчно равнодушнымъ видомъ,—но очень золъ и остеръ.... Ему сильно хотѣлось, кажется, чтобъ я пригласилъ его войти. Я обманулъ его пламенное ожиданіе, конечно, но за то потѣшилъ онъ меня всю дорогу. Вообрази...

Онъ, очевидно, собирался разсказать что-то смѣшное, но, взглянувъ на Настю и Лёву, пріостановился.

— Докторъ былъ правъ, сказалъ онъ только, — la jolie femme уѣхала въ Петербургъ. Надѣюсь, примолвилъ онъ, подсмѣиваясь заразъ надъ матушкой и надо мною, — что когда

Борисъ отправится туда, ты ему дашь къ ней рекомендательное письмо?... А то, можетъ-быть, вмѣсто ученья, ты бы юнкеромъ въ лейбъ-гусары хотѣлъ поступить? прищурился онъ на меня: — такъ и это можно. Попроси маменьку оказать тебѣ протекцію: баронъ Фельзенъ, съ тою-же рабскою угодливостью ей, приметъ тебя въ свой эскадронъ, съ какою важивалъ тебѣ отъ нея чулки....

— Какой ты вѣчно вздоръ говоришь, Michel! полусердито упрекнула его за эту шутку матушка.

Прошелъ еще мѣсяцъ; никакихъ извѣстій не доходило къ намъ изъ Богдановскаго. Maman писала къ Аннѣ Васильевнѣ тотчасъ послѣ того, какъ узнала отъ Кашеварова о смерти Герасима Ивановича, но на это письмо не получила отвѣта.

Октябрь былъ уже на половинѣ, но дни стояли еще великолѣпные. Медленно увядала природа въ этомъ году, и въ к—хъ садахъ цѣпко держалась еще на своихъ сучьяхъ вся багряная гамма осенней листвы.—Какъ хорошо теперь должно быть въ Тихихъ-Водахъ! вспоминала не разъ, вздыхая, maman. И не разъ при этомъ заводила со мною рѣчь о добрыхъ богдановскихъ друзьяхъ своихъ и о моемъ другѣ Васѣ, „къ которому ты давно могъ бы, кажется, написать“, замѣчала она мнѣ.

— Что́ ему до меня! отвѣчалъ я ей угрюмо, все еще подъ впечатлѣніемъ моего прощальнаго свиданія съ нимъ, — онъ обо мнѣ и думать пересталъ.

Но бѣдный Вася не забылъ меня.

— Пожалуйте къ маменькѣ, вызвалъ меня въ одно прекрасное утро изъ-за урока Максимычъ, входя въ мою комнату.—Тамъ гость одинъ ждетъ васъ.

— Что за гость?

— Сами увидите.

Керети сложилъ книгу. Я побѣжалъ въ гостиную. Матушку я засталъ на обычномъ ея мѣстѣ, въ углу дивана,—а противъ нея, у стола, сидѣлъ длинный маіоръ Гольдманъ и сообщалъ ей что-то, отъ чего maman казалась очень взволнованной. Я очень обрадовался командору, котораго никакъ не ждалъ видѣть въ К., но, по первому взгляду на мрачное лицо его, я догадался, что онъ пріѣхалъ не съ добрыми вѣстями.

— Что Вася? съ невольной тревогой спросилъ я, подавая ему руку.

— На, прочти, отвѣчала за него maman, протягивая мнѣ письмо, привезенное ей командоромъ отъ Анны Васильевны.

Письмо это говорило слѣдующее:

„Софья Михайловна,—я такъ думаю, что вы не откажете умирающему. Бѣдный нашъ Вася безъ надежды и проситъ Бориса увидать въ послѣдній разъ. Болѣе писать вамъ силы нѣтъ, потому такъ мы измучились надъ нимъ съ моимъ старымъ, что я только одного у Бога молю, чтобы не слегъ въ постель и Ѳома Богданычъ. Прочее все на словахъ скажетъ вамъ добрый человѣкъ, что взялъ отвести вамъ письмо, и Бориса можетъ привести до насъ, и обратно къ вамъ доставить".

„Преданная вамъ Анна Галагай".

Я едва могъ дочесть — и съ ужасомъ поднялъ глаза на командора. Онъ морщился и навивалъ себѣ усы на палецъ, по обыкновенію, и глядѣлъ на меня изъ-подъ нахохлившихся бровей съ такимъ выраженіемъ, будто сбирался съѣсть меня живаго:—онъ былъ глубоко потрясенъ, какъ видно.

— Maman! воскликнулъ я:—неужели вы меня не пустите?

Она, видимо, была въ большомъ замѣшательствѣ: она не рѣшалась согласиться сразу, и потому, что, пожалуй, это батюшкѣ можетъ не понравиться, да и сына было жаль: не на радостныя впечатлѣнія отпустила бы она меня въ Богдановское. А какъ „отказать умирающему" между тѣмъ?... Сомнѣнія ея разрѣшены были съ той стороны, съ которой она, кажется, менѣе всего ожидала содѣйствія.

Въ комнату вошелъ отецъ мой; онъ радушно привѣтствовалъ командора, съ которымъ часто, въ Тихихъ-Водахъ, хаживалъ на охоту.

— Бекасовъ что должно-быть теперь на Толокѣ? засмѣялся онъ ему съ перваго слова, вспоминая о болотѣ, хорошо знакомомъ имъ обоимъ.—Не туда-ли звать меня пріѣхали, достопочтенный воинъ?

— Не тебя,—Бориса, отвѣчала на это матушка. Она, безъ словъ, передала ему письмо Анны Васильевны.

Оно его тронуло, очевидно; его всегда холодное лицо приняло, какъ бы противъ его воли, выраженіе печали и сожалѣнія...

— Мальчикъ такъ плохъ? коротко спросилъ онъ у командора.

— Не вынесъ! еще короче отрѣзалъ тотъ.

— Вы когда пріѣхали? спросилъ опять батюшка.

— Сейчасъ.

— И ѣхать думаете?

— Какъ отъ васъ отвѣтъ получу.

— Съ человѣкомъ вы, или безъ человѣка?

— Одинъ.

— Въ чемъ?

— Въ двумѣстной бричкѣ; на козлахъ мѣсто.

— Ступай, Борисъ, къ Максимычу, собирайтесь скорѣе— и съ Богомъ, рѣшилъ отецъ мой.

Я прыгнулъ ему на шею и побѣжалъ къ своему старику...

Черезъ часъ мы скакали втроемъ, въ бричкѣ командора, по проселочному пути, на которомъ ждали насъ подставы черезъ каждыя двадцать верстъ. Маіоръ хотѣлъ непремѣнно привезти меня въ Богдановское еще засвѣтло. Все это совершилось такъ скоро, что я не успѣлъ ни о чемъ разспросить его, ничего узнать о томъ, какъ вдругъ, такъ скоро, очутился Вася „безъ надежды“, на порогѣ смерти... Все это было такъ поразительно, что въ первую минуту никакіе вопросы не шли мнѣ на умъ: — „онъ умираетъ, онъ хочетъ проститься со мною“, стояло у меня только, точно гвоздемъ забитое въ головѣ.... Лишь теперь, сидя рядомъ въ экипажѣ съ этимъ человѣкомъ, „который везъ меня къ нему, котораго онъ послалъ за мною“, и то лишь проѣхавъ съ нимъ безмолвно добрыхъ часа два,—командоръ какъ сѣлъ, такъ рта не разжималъ, — подумалъ я обратиться къ нему за объясненіями, за подробностями...

Изъ его короткихъ, нескладныхъ, часто недосказанныхъ

отвѣтовъ я могъ себѣ составить о случившемся слѣдующее приблизительно предоставленіе:

Въ самый день смерти Герасима Ивановича Вася захаркалъ кровью. Онъ старался это сначала тщательно скрыть отъ окружающихъ, прятался отъ доктора, не отвѣчалъ на его вопросы. Кашеваровъ, какъ говорилъ онъ и намъ въ К., сталъ подозрѣвать его въ какомъ-то дурномъ замыслѣ. Испуганные Галагаи учредили надъ нимъ бдительный надзоръ, при помощи командора, который даже переселился, по просьбѣ ихъ, въ домъ, въ бывшую нашу съ Васей комнату, послѣ того какъ самъ Вася захотѣлъ непремѣнно перейти въ спальню покойнаго и спать на той кровати, на которой тотъ скончался... Но это только раздражало Васю: онъ забивался въ какой-нибудь уголъ дома или старался уйти въ дальнюю аллею сада, поближе къ озеру, туда, гдѣ, надѣялся онъ, не встрѣтится ему ни единое человѣческое лицо, не дойдетъ до него звука человѣческаго голоса. Но повсюду натыкался онъ на кого-нибудь, приставленнаго „беречь“ его. Добрый Ѳома Богдановичъ, въ особенности, докучалъ ему своими допытываніями, суетливою заботливостію о немъ и неумѣстнымъ выраженіемъ своихъ опасеній.—„Дядя, за что вы меня у себя какъ въ тюрьмѣ держите?“ сказалъ ему, не выдержавъ, однажды Вася. Смущенный Ѳома Богдановичъ ничего лучшаго не могъ сказать въ свое оправданіе, какъ то, что „а ты, можетъ, съ большаго горя своего, Василю, да въ думку возьмешь что-сь такое надъ собою сдѣлать!“ Вася въ эту минуту сильно закашлялся: онъ отнялъ ото рта платокъ, полный крови и, показывая его дядѣ: — „Стóитъ-ли?“ отвѣчалъ онъ только. Бѣдный Галагай такъ перепугался, что съ нимъ дурно сдѣлалось. Послали опять за Кашеваровымъ; онъ призналъ въ Васѣ всѣ признаки скоротечной чахотки. Много было переполоха въ домѣ, и совѣщаній, и уговоровъ между докторомъ и бѣдными Галагаями. Единственнымъ средствомъ къ спасенію считалъ докторъ—увезти немедленно Васю въ Одессу, а оттуда на первомъ пароходѣ въ Константинополь и Каиръ, чтобы въ этомъ послѣднемъ городѣ провести зиму; онъ соглашался самъ, — Ѳома Богдановичъ обѣщалъ ему за это пять тысячъ рублей се-

ребромъ въ годъ,—сопутствовать больному и оставаться при немъ. Но едва заикнулись Васѣ объ этомъ предположеніи, онъ впалъ въ такое нервное раздраженіе, что дальнѣйшая рѣчь объ его отъѣздѣ стала въ общемъ сознаніи уже невозможною.—„Вы не оторвете меня отъ *его* могилы, не смѣете, я не дамся!“ рыдая безумно въ истерическомъ припадкѣ, повторялъ несчастный мальчикъ. Насилу мольбами своими, слезами и клятвами успѣла успокоить его Анна Васильевна. Но въ ту же ночь, осторожно прокравшись мимо заснувшаго на минуту въ передней Савелья,—командоръ, не спавшій въ это время, даже ничего не слышалъ изъ своей комнаты, — Вася о босу ногу выскользнулъ изъ дому... На зарѣ слѣдующаго дня его нашли распростертаго, безъ чувствъ, на мокромъ дернѣ, покрывавшемъ свѣжую могилу его отца... На выздоровленіе нечего былъ разсчитывать. Въ одинъ прекрасный день онъ прямо, съ какимъ-то сіяющимъ лицомъ, сказалъ доктору: „Я вѣдь очень скоро умру, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, неправда-ли?“ Тотъ смутился съ перваго раза и уже совсѣмъ растерялся, когда мальчикъ, до этихъ поръ недовѣрчиво, почти враждебно относившійся къ нему, бросился къ нему вдругъ на шею, восклицая: „не скрывайте, не скрывайте, голубчикъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ,—я вѣдь знаю, папа мнѣ сегодня ночью во снѣ сказалъ!“ Докторъ однако не счелъ нужнымъ далеко таить отъ него безнадежность его положенія... „И не видывалъ я еще его никогда такимъ счастливымъ“, говорилъ мнѣ маіоръ, — „какъ ребенокъ малый, руками даже заплескалъ. Слава Богу, слава Богу! повторялъ только — и смѣется, — а старики наши глядятъ на него и обливаются слезами“...

Съ этой минуты наступила для Васи какая-то, по выраженію командора, для всѣхъ очевидная *оттяжка* физическаго и нравственнаго страданія. Кашель его значительно ослабъ, а съ этимъ и количество извергаемой крови сдѣлалось уже почти ничтожнымъ. Мучительная лихорадка, возобновлявшаяся съ больнымъ каждый вечеръ, перешла въ ничтожный „жарокъ“, какъ будто уже и не замѣчаемый имъ и при которомъ нисколько не измѣнились спокойствіе и ясность его духа. Вася вдругъ сдѣлался необыкновенно тихъ, мягокъ и свѣтелъ;

улыбка не покидала его устъ; по утрамъ онъ прилежно читалъ Евангеліе съ Анной Васильевной, которую не хотѣлъ уже болѣе отпускать отъ себя; вечеромъ любилъ, чтобы къ нему собирались всѣ живущіе въ домѣ и болтали вокругъ него о всякомъ вздорѣ. „На-послѣдяхъ общество полюбилъ“, съ печально-сердитою улыбкой говорилъ командоръ, — но я понималъ, что бѣдный мальчикъ „на-послѣдяхъ“ старался оставить по себѣ добрую память въ тѣхъ, съ которыми онъ долженъ былъ скоро разстаться на вѣки, что хотѣлъ онъ заставить ихъ забыть, простить ему тѣ поводы къ недовольству имъ, въ которыхъ онъ, быть-можетъ, признавалъ себя относительно ихъ виновнымъ... „Я не умру спокойно, не повидавши еще разъ Бориса“, говорилъ онъ прямо Аннѣ Васильевнѣ: „мы нехорошо съ нимъ разстались“...

XLIII.

Раннія осеннія сумерки облегали окрестность, когда мы доскакали до Богдановскаго. Кое-гдѣ въ окнахъ большаго дома уже свѣтился огонь. Богунъ сидѣлъ на крыльцѣ,—онъ выжидалъ насъ.

— Пани просили, какъ пріѣдете, молвилъ онъ, высаживая насъ изъ экипажа,—чтобы на верхъ вы заразъ не шли, а чтобъ ее позвать до васъ: онѣ къ вамъ сойдутъ.

Онъ насъ провелъ въ кабинетъ Ѳомы Богдановича и побѣжалъ на верхъ. Анна Васильевна не замедлила явиться.

Увидѣвъ меня, она не могла удержаться отъ слезъ, хотя видимо силилась не давать имъ воли.

— Спасибо, спасибо Софьѣ Михайловнѣ, что отпустила тебя, говорила она, цѣлуя меня,—спасибо и вамъ, Степанъ Парѳенычъ, что привезли его! Ахъ, Борисъ! воскликнула она: — колибъ въ нашемъ горѣ да не сей человѣкъ золотой...

— Погодите хвалить, пока уйду! чуть не крикнулъ на нее командоръ и сердитымъ шагомъ вышелъ изъ комнаты.

— Анна Васильевна, милая! воскликнулъ я,—меня вдругъ точно какимъ-то вихремъ охватило чувство глубокаго отчаянія.—Вася совсѣмъ умираетъ?...

Она развела руками.

— Самъ увидишь его сейчасъ, Борисъ, какой онъ,—и не повѣришь, можетъ,—ясный онъ, свѣтлый, какъ звѣзда въ небѣ... Какъ звѣзда, съ тоской договорила она,—что къ утру и слѣда не будетъ ея... Часомъ мы даже съ Ѳомой Богданычемъ другъ

на дружку глядимъ и думаемъ себѣ: не можетъ того быть, чтобы помереть ему скоро...

— Онъ хотѣлъ непремѣнно меня видѣть, Анна Васильевна?

— А какъ еще! Сегодня съ утра, какъ узналъ что маіоръ за тобой вчера въ ночь уѣхалъ, все безпокоился, что тебя, можетъ, Софья Михайловна не отпуститъ, хотѣлъ даже самъ писать до нея...

— Онъ одинъ теперь? спросилъ я.

— Сидятъ у него Ѳома Богданычъ, да студентъ тотъ; Кашеваровъ въ уѣздъ уѣхалъ вчера рано; только промежъ насъ ужь сказано, чтобы когда ты будешь, оставить васъ вдвоемъ съ Васей... Они уйдутъ заразъ...

— Такъ можно идти къ нему, Анна Васильевна?

Она смущенно зашевелилась на мѣстѣ и замедлила отвѣтомъ.

— А напередъ хотѣла я тебя чего-сь спросить, Боренька, начала она...—Насчетъ его матери... чтобы ты ему сказалъ, домолвила Анна Васильевна...

Я вопросительно взглянулъ на нее.

— Она, говорятъ, въ Петербургъ уѣхала?...

— Въ Москвѣ она, перебила меня Анна Васильевна,—письмо прислала мнѣ оттуда. Чи тамъ, чи туда ѣдучи, только узнала она, что боленъ Вася,—пишетъ, чтобъ я ей отписала скорѣе, что если нужно, то вернется она заразъ,... только чтобъ знала она, проситъ, что сынъ хотитъ ее видѣть...

— Развѣ въ К. ей не было еще извѣстно о положеніи Васи?

— А не знаю я того, отвѣчала Анна Васильевна.—Тади Васѣ такъ не было еще худо, какъ теперь... Кашеваровъ былъ у нея тамъ, какъ вернулась она съ похоронъ отселѣ, только не приняла она его въ тотъ часъ...

— Онъ говорилъ намъ съ maman, сказалъ я,—что Вася не хотѣлъ говорить съ ней на похоронахъ...

— А отъ же о томъ и хочу я тебѣ сказать, молвила Анна Васильевна съ новою скорбію въ голосѣ:—не хотѣлъ онъ тади ее видѣть и до настоящаго часу не хотитъ!... А ты самъ

помысли, Борисъ, можетъ-ли же то быть, чтобы сынъ матери да предъ смертью не простилъ!...

— Вы говорили ему объ этомъ?

— А говорила-жь, и отца Матвѣя до него посылала...

— Что́ же онъ?

— А онъ что! повторила Анна Васильевна.—Отвѣта отъ него нѣтъ, и вижу я только, что мучаю я его тѣми словами моими... Можетъ, въ разговорѣ найдешь ты случай, Борисъ, скажешь ему,... спросишь, отчего онъ всѣхъ проситъ ему простить, а самъ простить не хочетъ, и кому-жь—матери родной!... Вчера захотѣлъ онъ самъ исповѣдаться и святое причастіе принять,—и еще свѣтлѣй сдѣлался онъ послѣ того, и сегодня такой хорошій былъ онъ день весь... Можетъ, Борисъ, и поможетъ тебѣ Богъ, дойдетъ слово твое до его сердца... Я сейчасъ тади Любочку до него выпишу!...

— Я непремѣнно буду съ нимъ говорить объ этомъ, Анна Васильевна, клянусь вамъ!

— И наградитъ тебя Богъ за это! воскликнула она, снова обнимая меня.—Тольки ты гляди, Борисъ, не труди его слишкомъ разговоромъ, а самъ ему говори больше,... дыханья у него на половину уже нѣту...

Мы отправились на верхъ.

Командоръ вышелъ къ намъ на встрѣчу въ корридоръ.

— Онъ ждетъ васъ нетерпѣливо, сказалъ онъ, пропуская меня въ дверь и задерживая Анну Васильевну какимъ-то вопросомъ...

У меня подгибались ноги... Я пересилилъ себя и вошелъ.

Ничего не перемѣнилось въ этой бывшей комнатѣ Герасима Ивановича. Та же лампа подъ зеленымъ абажуромъ горѣла на кругломъ столѣ, за которымъ Людвигъ Антоновичъ съ Ѳомой Богдановичемъ молча пили чай; та же кровать, задвинутая ширмами, виднѣлась въ дальнемъ углу покоя, а посреди его стояло такъ хорошо знакомое мнѣ большое вольтеровское кресло покойнаго,—и въ немъ, ухватившись руками за ручки, сидѣлъ Вася,... сидѣлъ призракъ прежняго Васи, съ устремленными глазами на дверь.

— Борисъ, милый! проговорилъ онъ довольно слышнымъ голосомъ.

Я кинулся къ нему. Онъ упалъ, ослабѣвъ, на спинку кресла и, закашлявшись короткимъ, деревяннымъ кашлемъ чахотныхъ, промолвилъ опять:

— Я такъ боялся, что ты не пріѣдешь!

Ѳома Богдановичъ не далъ мнѣ отвѣчать,—онъ повисъ мнѣ на шеѣ, и горячія слезы его закапали мнѣ на лицо.

— Ну и будетъ, Ѳома, будетъ! заговорила вошедшая за мною Анна Васильевна,—оставь его, оставь съ Васей, нехай себѣ пріятели переговорятъ промежъ себя тихимъ разговоромъ. А мы пойдемъ чай кончать къ Степану Парѳенычу... Смотри, Борисъ, не давай Васѣ кашлять слишкомъ! поручала она мнѣ, улыбаясь черезъ силу и уводя подъ руку послушнаго и едва сдерживавшаго свои всхлипыванья мужа.

Студентъ, захвативъ съ собою стаканъ свой съ чаемъ, ушелъ вслѣдъ за ними.

Я остался одинъ съ Васей.

Онъ глядѣлъ на меня огромными, словно ввалившимися въ какую-то пропасть и оттуда высматривавшими глазами, и протянулъ мнѣ руку. Я схватилъ ее и тотчасъ же выпустилъ: Вася застоналъ слегка. Я выпустилъ эту бѣдную руку, не переносившую уже болѣе прикосновенія другой руки, и испуганно уставился на него.

Онъ улыбался свѣтлою, умиленною улыбкой.

— Перемѣнился я? спросилъ онъ, и не ожидая моего отвѣта,

Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder;
Mir hat er abgeblüht... *).

проговорилъ онъ тутъ же съ насмѣшливымъ оттѣнкомъ, какъ бы для того, чтобъ я никакъ не вздумалъ *расчувствоваться*.

Но слезы уже подступали мнѣ къ горлу.

— Вася, неужели это правда? вырвалось у меня помимо воли.

— Правда, Борисъ, правда! и въ голосѣ его мгновенно

*) Май жизни цвѣтетъ лишь однажды, и для меня онъ уже отцвѣлъ.

зазвучало выраженіе какой-то безмѣрной, всего его охватившей радости,—теперь близко, очень близко. Онъ закрылъ глаза—и снова открылъ ихъ, и опять съ тою же блаженною улыбкой взглянулъ на меня.

— Иногда такъ и кажется, заговорилъ онъ снова,—что вотъ, вотъ все уже кончилось, и я... Ахъ, Борисъ, еслибы ты зналъ, какъ сладко умирать!

Я тупо глядѣлъ на изсохшія, синія губы, лепетавшія эти страшныя слова... „*Сладко умирать!*“ безсознательно повторялъ я внутренно. Языкъ мой не шевелился.

— Я такъ благодарю Бога, продолжалъ Вася послѣ долгаго молчанія, въ продолженіе котораго усиленно вздымавшаяся его грудь набиралась воздуху,—благодарю, что *это* пришло такъ во-время; послѣ *того*... ты знаешь,—я такой злой, жестокій сдѣлался... Я всѣхъ ненавидѣлъ. Когда ты уѣзжалъ, я признаюсь тебѣ, я даже радъ былъ... Прости меня, Борисъ!

Я опустился на колѣни предъ нимъ и зарыдалъ, прижимаясь къ нему головой. Его тонкіе, холодные пальцы коснулись моихъ волосъ,—я содрогнулся съ головы до ногъ... Что-то уже неживое чувствовалось въ этомъ прикосновеніи.

— Не плачь, милый! говорилъ онъ.—Пойми,... *это* величайшее счастіе... Я бы не хорошій человѣкъ вышелъ, еслибы мнѣ суждено было жить. Но *онъ*, онъ выпросилъ, видно, съ какимъ-то упоеніемъ промолвилъ Вася,—мы съ нимъ опять...

Изъ сосѣдней комнаты послышался мнѣ голосъ Анны Васильевны; она какъ будто подошла къ полураскрытой двери. Я тотчасъ же вспомнилъ...

— Вася, не подымаясь съ колѣнъ и глядя ему прямо въ глаза, началъ я,—ты у меня просишь прощенія... и у всѣхъ... А самъ ты—простилъ?

Онъ тотчасъ же понялъ, о комъ я заговорилъ. Вѣки его широко закрылись, и онъ, какъ въ прежніе дни, провелъ рукой по безжизненному лицу.

— Я о *ней* каждый день думаю,... промолвилъ онъ — и примолкъ.

— И *хорошо* думаешь, Вася?

Онъ заговорилъ точно во снѣ:

Я вспоминаю,... когда я былъ ребенкомъ,... ночью она приходила къ моей кроваткѣ. Я всегда просыпался въ это время,... такъ чудесно запахнетъ вдругъ и зашуршитъ что-то. Я зналъ,— вотъ она сейчасъ наклонится надо мною, красивая такая, съ брилліантовою звѣздой въ волосахъ, и поцѣлуетъ... А свѣтъ отъ моей лампадки упадаетъ на ея звѣзду,—и такъ сверкнетъ она, что глазамъ больно... Я зажмурюсь... и опять засыпаю... И только чувствую теплый поцѣлуй на моей щекѣ... Грезится мнѣ: пришла за мной добрая волшебница,... и мы съ нею сейчасъ... въ золотой колесницѣ...

Кашель, грохотавшій гдѣ-то въ самой глубинѣ его груди, раздирающій ухо кашель не далъ ему кончить.

— Вася, началъ я опять, когда онъ успокоился, — развѣ бы ты не хотѣлъ, чтобъ и теперь, предъ сномъ, мать твоя, *мать*, Вася, пришла къ тебѣ и поцѣловала, какъ тогда?...

— Скоро другая красавица меня поцѣлуетъ, отвѣчалъ онъ на это съ улыбкой, отъ которой всѣ волосы у меня приподнялись.

— Но неужели же, настаивалъ я, перемогая себя,—еслибъ она теперь пріѣхала, была здѣсь, ты бы не захотѣлъ увидѣть ее, помириться съ матерью?

— Она здѣсь? испуганно, съ запламенѣвшимъ взглядомъ, воскликнулъ Вася, ухватывая меня за плечи.

— Нѣтъ, нѣтъ, клянусь тебѣ,—это я только, какъ предположеніе,... перепугавшись, въ свою очередь, его волненія, успокоивалъ я его.

Онъ откинулся снова въ подушки и долго оставался безмолвенъ и недвиженъ.

— Она не будетъ, тихо, съ какимъ-то страннымъ, смѣшаннымъ выраженіемъ и удовлетворенія, и упрека промолвилъ онъ наконецъ,—она искала счастія,... она *земнаго* счастія хотѣла; ей ничего болѣе не нужно... Прежняя,... которая приходила ко мнѣ по ночамъ,... ея нѣтъ давно...

— Вася, милый, прости ей! молилъ я его.

— Пусть придетъ она, какъ тогда,—онъ начиналъ бредить,—возьметъ меня изъ кровати... и унесетъ въ свой чертогъ... Прощать матери!... Развѣ *мать* можетъ быть винова-

та?... Ахъ, какъ тепло цѣловала она меня!.,. Ея нѣтъ... Другая—я не могу эту видѣть. Я не смѣю! *Онъ* запретилъ,... *онъ* не хочетъ... Вотъ онъ!... Онъ за мной... спасти меня!... Папа...

Руки Васи простерлись впередъ—на встрѣчу чудившемуся ему призраку, глаза закатывались въ какомъ-то безумномъ восторгѣ.

— Анна Васильевна! позвалъ я, кидаясь къ дверямъ командора.

Она выбѣжала оттуда, успѣвъ только сказать мнѣ, чтобъ я сталъ у двери и не впускалъ никого, и, подойдя къ Васѣ, наложила ему обѣ руки свои на глаза.

Онъ затихъ мгновенно.

А за дверями слышались мнѣ неудержимыя рыданія Ѳомы Богдановича и голосъ командора, уговаривавшаго его „не терять духа заранѣе"!

Вася не шевелился; Анна Васильевна осторожно, медленно отняла руки. Глаза его были сомкнуты, голова откинулась въ уголъ подушки.

— Заснулъ? прошепталъ я издали.

Она утвердительно кивнула и отошла отъ него ко мнѣ. Я передалъ ей нашъ разговоръ съ Васей. Она глубоко задумалась.

— Видно такъ Богу угодно, чтобы за грѣхъ свой несла *она* наказаніе до могилы! промолвила едва слышно добрая женщина.—И, можетъ, не добрѣ сдѣлала я,—тутъ же упрекнула она себя, — что просила тебя говорить съ нимъ о ней. Мы попапрасну только его мучили... Противъ Бога никто...

— Онъ часто такъ бредитъ, Анна Васильевна? спросилъ я.

— Случается... И все отца своего видитъ... А какъ закрыть глаза ему, такъ и найдетъ на него сонъ тихій...

Мы перешли къ командору. Изъ передней вышелъ тотчасъ же намъ на смѣну Савелій. Бѣдный старикъ, онъ едва волочилъ ноги... Съ Васей исчезала послѣдняя привязанность его преданной жизни.

Прошло часа полтора времени. Не веселы были рѣчи въ

комнатѣ командора. Самъ онъ сурово безмолвствовалъ и злобно поглядывалъ на распустившагося, словно развареннаго Ѳому Богдановича. Бѣдный „старый Галагай“ былъ рѣшительно неспособенъ переносить горе: онъ ни единаго слова не могъ произнести безъ слезъ и каждымъ своимъ словомъ растравлялъ больнѣе то скорбное чувство, которое и безъ того ныло на душѣ каждаго изъ насъ. Напрасно старался Людвигъ Антоновичъ перенести разговоръ на другой предметъ: Ѳома Богдановичъ упорно заговаривалъ снова о „недужномъ“ и принимался опять всхлипывать и плакать. Анна Васильевна, измученная и тревожная, уговорила его наконецъ „успокоиться“ и для того лечь поранѣе въ постель. Онъ согласился и отправился на половину Галечки, „прощаться съ дочкой“.

Его шаги раздавались еще по корридору, какъ полуприпертая дверь въ Васину комнату распахнулась вдругъ, и на ея порогѣ показался Савелій.

— Матушка-сударыня, прошепталъ онъ, — пожалуйте сюда!...

На немъ лица не было.

— Христе Господи! воскликнула Анна Васильевна, поспѣшно вставая и падая въ изнеможеніи снова на свое мѣсто,—Вася?...

— Никакъ отходятъ... проговорилъ Савелій, шатаясь самъ.

Я бросился стремглавъ мимо его, въ ту комнату.

Вася лежалъ въ креслѣ въ томъ же положеніи, въ какомъ мы его оставили съ Анной Васильевной. Только широко открыты были теперь его глаза,—и смерть, безобразная смерть уже задергивала свѣтлую лазурь ихъ своею мутною пеленой... Блескъ свѣчи, поднесенной къ нимъ Людвигомъ Антоновичемъ, не отражался въ потухшихъ зрачкахъ; руки холодѣли.

— Вася, Вася! отчаянно крикнулъ я и близко наклонился лицомъ къ его лицу.

Губы его зашевелились.

— Папа! вылетѣло изъ нихъ съ послѣднимъ дыханіемъ...

. . . . . .

XLIV.

Баронессѣ Любови Петровнѣ фонъ-Фельзенъ недолго суждено было судьбой (*Провидѣніемъ*, чуть-чуть не осмѣлился сказать я,) то „*земное* счастіе“, на которое, казалось ей—и не ей одной, — никто болѣе ея не имѣлъ права и котораго она наконецъ достигла. Черезъ полтора года послѣ вступленія ея во второй бракъ, она скончалась отъ несчастныхъ родовъ, лѣтомъ, въ Царскомъ Селѣ, гдѣ мужъ ея,—какъ вѣрно предсказывалъ отецъ мой, — командовалъ лейбъ-гусарскимъ и даже первымъ эскадрономъ. Въ одномъ письмѣ, полученномъ матушкой въ ту пору изъ Петербурга, говорилось, между прочимъ, что нѣсколько дней сряду вокругъ Царскосельскаго озера, „autour du lac“, ни о чемъ другомъ не говорили, какъ о рановременной кончинѣ этой прелестной женщины, „de cette femme aussi spirituelle que charmante“, о ея успѣхахъ при дворѣ, откуда въ продолженіе ея недолгой болѣзни по два раза на день посылалось узнавать о ея здоровьѣ и о ея неутѣшномъ супругѣ, который тотчасъ же вслѣдъ за постигшимъ его несчастіемъ пожалованъ былъ на маневрахъ флигель-адъютантомъ. Сожалѣніе было всеобщее. Одна короткая пріятельница покойной, прибавлялъ матушкинъ корреспондентъ, попробовала было влить каплю яда въ этотъ чистый сосудъ общественной горести. Она разсказывала, будто бы за день до смерти баронесса Фельзенъ, услыхавъ изъ спальни крикъ своего ребенка, горько вдругъ заплакала и произнесла слѣдующія загадочныя слова: „j'ai tué le premier, le second m'a tué...“ Но такъ какъ, съ одной стороны, дама эта не умѣла представить никакого объясненія такой поистинѣ фантасти-

ческой фразы, то и самая фраза отнесена была посмертными защитниками „прелестной женщины“ въ области фантазіи, тѣмъ болѣе, что мужъ разскащицы, однополчанинъ барона Фельзена и даже старшій его въ чинѣ, на тѣхъ же маневрахъ во флигель-адъютанты пожалованъ не былъ. Поэтическій ореолъ, „l'auréole poétique“, осѣнявшій Любовь Петровну до самой могилы, остался такимъ образомъ неосквернѣннымъ въ памяти ея поклонниковъ.

Шесть лѣтъ послѣ потери жены, баронъ Фельзенъ командовалъ въ нашихъ странахъ тѣмъ самымъ полкомъ, въ который онъ въ минувшіе дни переведенъ былъ съ Кавказа. За годъ предъ его назначеніемъ тихо угасла весеннимъ днемъ въ Богдановскомъ Анна Васильевна; она только нѣсколькими мѣсяцами пережила мужа. Бѣднаго Ѳому Богдановича поразила мгновенная смерть, на пиру, который давалъ онъ корпусному командиру Рындину, въ честь сына его, Саши, получившаго Владиміра съ бантомъ за отличный подвигъ храбрости въ горахъ Кавказа. „За здоровье нашего дорогаго, неустрашимаго Александра Ивановича“, провозгласилъ „старый Галагай“, высоко держа надъ головой пѣнившійся бокалъ,—и вдругъ зашатался и повалился навзничь, обливая виномъ свои нанковые панталоны... Лишившись его, Анна Васильевна почувствовала себя никому ненужною,—она и угасла. Что слезъ пролито было на селѣ о ней, что рыдавшаго народу сопровождало ея останки въ фамильный склепъ, въ которомъ ожидало ее мѣсто рядомъ съ Ѳомой Богдановичемъ, въ головахъ Васи и его отца...

Оставшись сиротой, Галечка, то-есть Анна Ѳоминишна Галагай, — выписала себѣ тотчасъ же изъ Москвы одну дальнюю, очень бѣдную и очень глупую, но приличную грузинскую княжну — тетку и подъ этимъ флагомъ направила паруса за границу—„кончать свое образованіе“. По миновании траура она вернулась въ Богдановское, гдѣ вступила въ управленіе своими большими имѣніями (она была единственная наслѣдница и отца своего, и Герасима Ивановича, за смертью Васи,) полною и притомъ необыкновенно смышленою, дѣльною и уже опытною хозяйкой.

Черезъ мѣсяцъ по ея пріѣздѣ, командиръ *** гусарскаго полка, чрезъ посредство все такъ же румяной, но успѣвшей раздобрѣть до размѣровъ пивнаго котла, Дарьи Павловны Дорошенковой, счелъ своимъ долгомъ просить молодую наслѣдницу о дозволеніи представиться ей „en qualité d'ancienne connaissance". Анна Ѳоминишна отвѣчала Дарьѣ Павловнѣ любезною запиской на изящнѣйшемъ французскомъ языкѣ, которою просила ее пріѣхать обѣдать въ Богдановское и передать приглашеніе о томъ-же „à monsieur de Fehlsen, о которомъ она издавна хранитъ самое пріятное воспоминаніе, какъ объ одномъ изъ любимцевъ ея покойнаго отца, un des grands favoris de mon pauvre feu père"...

Дѣло происходило въ концѣ мая. Въ началѣ августа старыя стѣны Богдановскаго дома огласились въ послѣдній разъ столь обычнымъ имъ когда-то грохотомъ музыки и шумнымъ говоромъ пирующаго люда. Все сосѣдство созвано было на бракосочетаніе Анны Ѳоминишны съ барономъ Эдуардомъ Карловичемъ. Шаферами у невѣсты были два бывшіе обожателя ея: поэтъ и губернскій чиновникъ Жабинъ и я, только что кончившій тогда курсъ въ университетѣ (въ одно изъ тѣхъ привилегированныхъ заведеній, куда желалъ помѣстить меня отецъ мой, я не попалъ—и, вслѣдствіе этой печальной случайности, лишенъ былъ высокаго самоуслажденія почитать себя съ юныхъ лѣтъ призваннымъ законодательствовать и править въ любезномъ отечествѣ). На другой день послѣ свадьбы молодые, по англійскому обычаю, отправились путешествовать...

Стараго Богдановскаго дома не существуетъ болѣе: новый владѣлецъ (баронесса фонъ-Фельзенъ продала всѣ свои украинскія имѣнія одиому „желѣзнодорожному дѣятелю" изъ евреевъ,) передѣлалъ его на сахарную фабрику. Фамильный склепъ, съ могилами старыхъ Галагаевъ, Васи, его отца, исчезъ подъ бугромъ наваленной на него земли, на которомъ высится столбъ съ колоколомъ, призывающимъ рабочихъ на смѣны. Старыя липы террасы, „что за Гетмановъ сажены были", пошли на топливо... Новая жизнь словно съ какимъ-то злорадствомъ постаралась смести всѣ слѣды, оставленные здѣсь минувшимъ...

Минувшее это кануло въ вѣчность и не вернется никогда,—но далекій уже призракъ его вызываетъ и посейчасъ горькія слова упрека и глумленія въ злобныхъ устахъ... А между тѣмъ все-ли въ немъ, по истинѣ, заслуживало порицанія и ненависти? Не было-ли и тамъ, и можетъ-быть болѣе, чѣмъ нынѣ, простыхъ и чистыхъ сердецъ, умѣвшихъ горячо откликаться на чужое горе, и жажды блага и добра, и безпредѣльнаго самоотверженія, и любви,—той любви „къ человѣку“, о которой такъ много хлопочутъ строители „новаго зданія“ и которой, увы, такъ мало въ нихъ самихъ? Не изъ этого-ли, наконецъ, черною грязью закидываемаго теперь минувшаго вышли люди, умиравшіе на Севастопольскихъ бастіонахъ, и тѣ, что сослужили своему народу великую службу его освобожденія?...

Въ числѣ безчисленныхъ новыхъ *вопросовъ*, поднятыхъ *новымъ временемъ*, право женщины свободно располагать собою, по влеченію сердца, занимаетъ весьма важное мѣсто и находитъ себѣ не мало остроумныхъ и горячихъ, если не всегда талантливыхъ защитниковъ. Но, увлекаясь великодушнымъ желаніемъ вызволить „живую душу“ изъ-подъ гнета „узкой морали“ и „условнаго долга“, поборники женской свободы тщательно забываютъ другую душу живую, другое существо, взывающее о защитѣ,—забываютъ ребенка этой женщины, которой предоставляютъ они свободно мѣнять одну привязанность на другую, безжалостно попирая все, что представляется ей при этомъ „неразумнымъ препятствіемъ“.—„Умереть для меня величайшее счастіе“, говорилъ мнѣ Вася предъ кончиной,—„изъ меня-бы нехорошій человѣкъ вышелъ“... Не свѣтлый міръ любви и благоволенія къ людямъ соорудитъ въ себѣ душа ребенка, видѣвшаго слезы отца о покинувшей ихъ матери, — и никакія мудрствованія не вырвутъ изъ него жгучаго сознанія ея позора. Изъ міра первыхъ, неизгладимыхъ впечатлѣній онъ внесетъ въ жизнь дѣйствительную лишь раннюю опытность страданія, преждевременное отрицаніе и злобу къ этой предстоящей ему жизни... А на отрицаніи и злобѣ не созидалось еще ничего на землѣ!...

КОНЕЦЪ.

Stanford University Libraries
3 6105 015 016 673

PG
3467
.M327
1885
v.2

DATE DUE
STANFORD LIBRARIES
SEP 1 1337
I. L. L.

Stanford University Libraries
Stanford, Ca.
94305